

90

**Annales
Universitatis
Paedagogicae
Cracoviensis**

Studia Russologica IV

**Europa Słowian w świetle socjo-
i etnolingwistyki
Przeszłość – teraźniejszość**

pod redakcją

Elżbiety Książek

i

Marii Wojtyły-Świerzowskiej

**Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego
Kraków 2011**

Recenzent

prof. Aleksander Naumow

© Copyright Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011

ISSN 1689-9911

Wydawnictwo Naukowe UP
Redakcja/Dział Promocji
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel./fax (12) 662-63-83, tel. (12) 662-67-56
e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl

Zapraszamy na stronę internetową:
<http://www.wydawnictwoup.pl>

druk i oprawa
Zespół Poligraficzny UP, zam. 47/11

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Aneta Banaszek-Szapowalowa

Образы партнёров в текстах русских и польских брачных анкет в Интернете: гендерные и национальные стереотипы

Брачное объявление рассматривается нами как аутоэксplikативный текст¹ массового характера и источник данных для восстановления образов потенциальных партнёров (в некоторой степени также картины современного этапа эволюции отношений между мужчинами и женщинами). Характер получаемого при помощи анкет материала близок к ассоциативным экспериментам: архистимул „брачный партнёр” и отдельные названия рубрик вызывают ответы-характеристики, на основе которых можно установить понятийную сеть, представляющую собой хранилище социального опыта в данной сфере межличностных отношений.

Предлагаемый анализ вписывается в ряд работ, базирующихся на концепции языковой картины мира (ЯКМ), с тем что его актуальность определяется отсутствием систематических экспериментальных, в том числе и анкетных, исследований по данному вопросу, что замечает Е. Бартмиński, постулирующий реконструкцию ЯКМ на основе трёх типов данных: языковой системы, анкет и текстов. (Bartmiński 2007: 19–20) В случае брачных объявлений, что интересно, объединяются все три типа данных, с одним только условием: рассматривая тексты одного жанра², получаем в итоге текстовую³, а не языковую картину мира.

¹ Термин аутоэксplikативный текст заимствован из работы П. Червинского, вслед за которым утверждается, что в такого рода текстах „себя проявляет не личность и индивид, а социально-психологический и коммуникативный тип”, т.е. имеем дело с „проекцией несубъектного, общего, группового Я” (Czerwiński 2002: 478).

² Брачную Интернет-анкету предполагаем считать отдельным жанром, образованным вследствие контаминации „традиционного” брачного объявления, „традиционной” анкеты и электронного формуляра. Электронный формуляр в ранг отдельного (электронного) жанра ставит Я. Гжениа (Grzenia 2006: 152 и 166).

³ Текстовая (актуальная) картина мира противопоставляется А. Киклевичем языковой (диахронической). В данном случае целесообразно говорить о первой, опирающейся на „ассертивные, а также неассертивные (пресуппозитивные и коннотативные) смыслы, реализуемые в конкретной социокультурной сфере, в частности, в конкретном тексте” (Kiklewicz 2007: 183). Мы склонны усматривать между ЯКМ и ТКМ отношения включения.

Исследование сосредоточивается, главным образом, на стереотипах, составляющих прототипное ядро в текстовой, также как и в языковой, картине мира. Повторяемость межличностных отношений (брачные отношения) между двумя стабильными группами лиц (женщины и мужчины) привела к формированию стереотипных представлений о человеке как о типичном её (одной из двух групп) представителе. Следует заметить, что наличие общих, устоявшихся представлений не исключает возможности одновременного существования и личного мнения, которое не совпадает со стереотипом.

Анализ стереотипных представлений требует, таким образом, учета количественных и качественных характеристик стереотипов на фоне целостных образов брачных партнёров. Учитывая комплементарность каждого объявления в отношении пола, следует выделить четыре отдельных образа: представление женщины о себе и представление мужчин о женщине, и, аналогично, представление мужчины о себе и представление женщин о мужчине. Сопоставительный русско-польский подход пополняет схему анализа осью межкультурного сравнения (в итоге получается 8 картин)⁴.

Обращает на себя внимание разнообразие подходов, целей и результатов анализа стереотипов. В языкознании они исследуются в двух основных направлениях. Анализу подвергается или поверхностная, „видимая“, чисто лингвистическая сторона стереотипа (восстанавливаемые из памяти словосочетания в противопоставлении конструируемым речевым единицам⁵), или глубокий слой стереотипа, его ментальная сторона (специфические группы суждений о фрагментах действительности, присутствующие в сознании говорящих), как это дает в своей систематизации В. Хлебда (Chlebda 1998: 32).

Как представляется, объединение обоих дополняющих друг друга подходов в рамках одного анализа даст целостное представление о названном явлении (даже если стереотипы не всегда находят своё формальное выражение или не все формальные средства актуализируют стереотип). Исследоваться будут одновременно восстанавливаемые единицы и ментальные представления в рамках выбранных параметров трёх идеографических полей характеристики: внешней (физические данные), социальной (общественный опыт, положение, статус) и внутренней (черты характера, система ценностей, способности поведения).

Очень интересный фрагмент образа искомым составляет возрастная характеристика с общим для обеих культур представлением о том, что женщина должна быть моложе, а мужчина старше партнёра. Данный стереотип

⁴ Материальную базу исследования составили 500 русскоязычных и столько же польскоязычных брачных Интернет-анкет, по 250 мужских и 250 женских объявлений для каждого из языков, отбравшихся в октябре и ноябре 2005 года из сайтов: dating.ru, mlove.ru, Свадьба.Net.Ru, sudba.ru, vitadating.ru, amory.pl, cupido.pl, matrymonialne.com.pl, singiel.pl, spotkania.wp.pl.

⁵ Для анализа восстанавливаемых речевых единиц в польском языкознании выделяется отдельная область лингвистики – фразеоматика (ср., к примеру, Chlebda 2001, Awdziejew 2001, Laskowska 2001). „Эквивалентную” русскоязычную научную литературу представляют работы по теме речевых (языковых) клише (напр. Ахмеджанова 1997, Кронгауз 1998 или Лещак 2007).

представлен чаще всего имплицитно – его выявление возможно только при учёте параметров характеристики лица противоположного пола в рамках определённой анкеты, а конкретно, путём сопоставления цифр, обозначающих количество лет, из двух рубрик или мест объявления, в рамках которых определяется собственный возраст и возраст партнёра как в женских, так и в мужских объявлениях на обоих языках⁶.

Эксплицитное выражение стереотипа касается в основном мужского пола – формы сравнительной степени: *starsze* (в одном случае разг. *postaršie*) и *starszy*. Любопытным кажется высказывание польскоговорящей: *Starszy, bo to jest naturalne i tak powinno być* (= *Старше потому, что это естественно и так должно быть*), которое обращает внимание на существующие регуляции. Подобное вербализуют также типичные только для польских текстов клишированные словосочетания с контекстной семантикой сравнения, в том числе такие, как *stosowny wiek, w odpowiednim wieku* – имеется в виду возраст, соответствующий и подходящий для брака.

Наиболее яркие национально специфические гендерные стереотипы обнаруживаются в области внутренней характеристики, причём более чётко (имеется в виду большое количество неповторяющихся при описании лиц противоположного пола параметров) выделяются в образах мужчин. Данный факт подтверждает мнение Шажиньской: „В настоящее время существуют параллельно два стереотипа женщины: традиционный и современный. [...] Стереотип мужчины более стабилен, менее изменчив, хотя и здесь появляются сведения о существовании более современного стереотипа *мягкого* мужчины” [Szarzyńska 2005: 50–51].

К примеру, типично русскими (т.е. нет эквивалента в польских анкетах) и мужскими (актуализаторы стереотипа в отношении лиц женского пола единичны, иногда немного отличаются или отсутствуют вообще) качествами, следует назвать, напр., уверенность (*уверенного в себе, уверенный в себе мужчина, Ценю в мужчинах уверенность в себе...*), надёжность (*надежного спутника жизни, с надежным мужчиной, а ты надеюсь будешь надежным другом и партнером, В мужчине я больше всего ценю надежность...*) или признак щедрый (*щедрого мужчину, хочу чтобы он был щедрый, должен быть щедрым, а также щедрого на комплименты*).

Польскими мужскими стереотипными составляющими образ брачного партнёра являются, к примеру, такие: *roczucie bezpieczeństwa*, т.е. чувство безопасности (*dającego poczucie bezpieczeństwa kobiecie, przy którym czułabym się bezpiecznie i...*), культурный, т.е. культурный (*kulturalnego równolatka, Pana o wyjątkowo wysokiej kulturze, cenię sobie kulturę osobistą*), odpowiedzialny, т.е. ответственный (*mężczyznę odpowiedzialnego, z dużą dozą odpowiedzialności, Odpowiedzialność, [...] to cechy, które cenię...*). Следует отметить, что названные мужские стереотипы проявляют себя в большей степени в рамках требований, т.е. вербализуют их женщины.

⁶ Представление выявлено на основе объявлений, которые имеют в своей структуре рубрику для определения количества лет искомого человека (не все анализируемые здесь анкеты на русском и польском языках предполагают такую возможность).

Стереотипы лиц женского пола по сравнению с мужскими менее многочисленны или появляются не только в характеристике женщин, хотя с заметным количественным превосходством в их пользу. К ним относятся, в частности, жизнерадостность (*жизнерадостная, с жизнерадостной женщиной*), оптимизм (*Оптимистка, Я неисправимая оптимистка, Полна оптимизма...*). Подобным образом женскими будут в польском материале, напр., *pogodna*, т.е. безмятежная (*Pogodna na co dzień, Jestem z natury pogodną kobietą, Mam 177 cm pogody ducha...*), *zawsze uśmiechnięta*, т.е. всегда улыбающаяся (*zawsze uśmiechnięta, Uwielbiam często się uśmiechać*).

С учетом наиболее частотных и при этом различных в отношении пола и/или языка представлений можно сделать вывод о существовании национально-специфических гендерных стереотипов (наряду с не рассматриваемыми здесь общими для носителей русского и польского языка и/или представителей обоих полов). Внутри- и межъязыковое сопоставление параметров характеристики оттеняет стереотипные элементы в каждом из восьми представленных образов. Дальнейший этап исследования предполагает вписывание в названные общие закономерности конкретных значений и установление информационной системности образов.

Литература

- Awdziejew A., 2001, *Problemy wyodrębnienia i klasyfikacji frazemów*, Opole.
- Chlebda W., 1998, *Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania*, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), „Język a Kultura”, t. 12: *Stereotyp jako przedmiot lingwistyki*, Wrocław, s. 31–41.
- Chlebda W., 2001, *Frazematyka*, [w:] J. Bartmiński (red.), *Encyklopedia kultury polskiej XX wieku*, t. 2: *Współczesny język polski*, Lublin, s. 327–334
- Czerwiński P., 2002, *Сигнальные функции слова в аутоэкспликативном тексте*, [w:] K. Bajor, J. Wierzbicki (red.), *Słowo w tekście, przekładzie i słowniku*, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, s. 477–493
- Grzenia J., 2006, *Komunikacja językowa w Internecie*, Warszawa
- Kiklewicz A., 2007, *Языковая vs. текстовая картина мира*, [в:] *Притяжение языка*, т. 1: *Семантика. Лингвистика текста. Коммуникативная лингвистика*, Olsztyn, s. 173–197.
- Laskowska E., 2001, *Miejsce frazemów w kontekście*, Opole.
- Lebda R., 2006, *Słownik polskich i serbskich asocjacji jako kulturowy obraz świata*, Katowice.
- Szarzyńska M., 2005, „*Obyś żył w ciekawszych czasach*”. Czy zmiany w kategorii płci zmieniają nasze społeczeństwo? [w:] A. Barska, E. Mandal (red.), *Tożsamość społeczno-kulturowa płci*, Opole, s. 47–56.
- Ахмеджанова А.Г., 1997, *Языковые клише как корректоры межличностных отношений (на примере драматургических произведений А.Н. Островского)*, http://www.ksu.ru/science/news/lingv_97/n24.htm (25.01.2009).
- Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А., Тарасова Е.Ф., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., 1994, *Русский ассоциативный словарь*, Москва, http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/2/web/xrest/article/leksika/antonim/kra_art02.htm.

Кронгауз М., 1998, *Речевые клише и прагматика текста*, [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), *Tekst. Problemy teoretyczne*, Lublin, s. 123–134.

Лещак С., 2007, *Функционально-семантическая системность языковых клише: валентность – эпидинамика – симилярность – оппозитивность – категориальность*, [w:] P. Czerwiński, A. Charciarek (red.), *Язык в контексте социальном и коммуникативном. Русистические исследования конфронтативные*, Katowice, s. 166–174.

Образы партнеров в текстах российских и польских анкет matrimo- нальных в Интернете – стереотипы гендерные и этнические

Streszczenie

Kwestionariusz internetowy jest rozpatrywany jako eksperyment skojarzeniowy i źródło systematycznej informacji o partnerach. Artykuł poświęcony jest kwestii stereotypów genderowych i etnicznych jako części składowej tekstowych obrazów potencjalnych małżonków.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Leszek Bednarczuk

„Дзяды” Адама Міцкевіча ў беларускім кантэксце

1. Уступныя заўвагі

Сярод выразаў, якія паэт увёў з беларускай абрадаваасці ў польскую мову і літаратуру, найбольш важным падаецца слова *dziady* (SJAM, III: 120–123). І хаця ў польскай і іншых славянскіх мовах назоўнік **dědъ*, pl. **dēdi* занатаваны ў значэнні ‘памерлы продак’, у пратапласце – часамі ‘дамашні дзедан’ (SPS, III:120–121), але ж толькі ў беларускай традыцыі гэтым словам называецца ‘абрад памінавання душ памерлых’.

Нягледзячы на знешняе падабенства пол. *dz*l*iady* і бел. *дзяд*l*ы*, абодва словы адрозніваюцца: (1) месцам націску, (2) іншым паходжаннем галоснай пол. *a* пераглас, бел. *я* аканне, (3) значэннем: пол. ‘(памерлыя) продкі, старыя, бедныя людзі’, бел. таксама ‘абрад клікання душ памерлых (не толькі продкаў)’. У польскай мове няма асобных назваў для душ памерлых і жывых асобаў. Можна толькі заўважыць тэндэнцыю да перавагі ў другім значэнні памяншальна-паскальных формаў, напэўна, у пяхотным значэнні: *duszyca*, *duszyczka*, *dusieczka*, *duszka*. Пачаткі гэтага працэсу выдавочныя ўжо ў XV ст.: „Xr(yst)e [...] daj *duszycy* przeżegnanie, daj ciątu dobre *skonanie*” (SS, II: 225). Больш пэўныя прыклады і фразеалагізмы з’яўляюцца ў наступным стагоддзі: „*podwoje podziemnych gmachow, gdzie blade duszyce*”; „*ukazowały sie przez sen duszyczki przyjacielow zmarłych*”; супастаўленне *dzień duszyczek* ‘задушкі’ (SPXVI, VI: 213–214). Падобна і ў „Дзядах” Міцкевіча: „*Czego potrzebujesz dusieczko, żeby się dostać do nieba?*”; фразеалагізм *czyscowe duszyczki* (ч. II, некалькі разоў). Да сённяшняга дня ў размоўным стылю выступае форма *duszyczki*, таксама і на Віленшчыне як адпаведнік літоўскага *vėlės* ‘душы памерлых’, а ўтворанае ад гэтага выразу *vėlinės* азначае ‘задушкі’ (менавіта так называўся літоўскі пераклад „Дзядоў” Міцкевіча).

2. Баданні

Найбольш старое апісанне беларускіх веснавых Дзядоў з ваколіц Чэрыкава на Магілёўшчыне было апублікавана ў 1817 годзе ў „*Dzienniku Wileńskim*” (VI: 396–408) Марыяй Чарноўскай, якая, не выкарыстоўваючы тэрмінаў *дзяды*,

радаўніца, прыблізіла чытачам газеты (сярод якіх, напэўна, быў і будучы Паэт) гэты абрад, што святкаваўся, як і ў іншых частках Беларусі, чатыры разы ў год. Як праходзяць Дзяды ў барысаўскім павеце, прадставіў Е. Тышкевіч (1847), акрэсліваючы Дзяды перад Зялёнымі Святкамі тэрмінам *стаўроўскія* (пар. грэч. στανρός „крыж”). У сваю чаргу Я. Ярошэвіч (1846) гэты абрад у бельскім, слоніўскім і ваўкавыскім паветах назваў *памінальнымі суботамі*. Напрыканцы XIX стагоддзя гэтую тэму ўзнялі два вялікія даследчыкі беларускай народнай культуры: М. Федароўскі (1897) на Гарадзеншчыне і Ч. Петкевіч (1931, 1938) на Рэчыцкім Палессі. У багатай расійскай пісьменнасці асаблівай увагі заслугоўвае падрабязнае апісанне П. Шейнам (1893) абраду Дзядоў на Віцебшчыне; была звернута ўвага на іх наяўнасць таксама ў лепельскім і быхаўскім паветах. Шэраг беларускіх даследчыкаў адкрывае Я. Карскі (1916), а найбольш багатую дакументацыю абраду Дзядоў на Наваградчыне прадставіў С. Станкевіч (1936), супастаўляючы яго з апісаннем Міцкевіча. У падобным напрамку пайшлі Ю. Голомбек (1925) і О. Свяневіч (скарочаны пераказ: 1960/1961: 87–89), якая прадставіла гэты абрад у вёсцы Сяледчыкі на Міншчыне, звяртаючы ўвагу на сувязь восеньскіх Дзядоў з вячэрай на Каляды (куццёй). Літаратурнае адлюстраванне беларускай абрадаваасці ў ковенска-віленскіх „Дзядах” два разы аналізаваў праф. Станіслаў Пігонь (1930, 1967) на шырокім параўнаўчым фоне, прыводзячы таксама прыклады з Украіны (Жытомір) і паказваючы ўспрыманне Дзядоў польскімі каталікамі.

Распачатыя на Усходнім Палессі баданні К. Мошыньскага (1928; 1929–1939) сёння працягваюць О. Шарая (2002) і С. Толстая (2005), а ў апошнія часы і Г. Харытонюк (2007), якая падрабязна даследвала сучасныя традыцыі святкавання Дзядоў на Усходняй Беласточчыне (Чыжы, Грудэк, Юхнавец Касцельны, Крынкі) і ў розных рэгіёнах Беларусі: на Гарадзеншчыне (Кадыш, Нача), Міншчыне (Калінкавічы, Радашковічы, Вязынка) і Магілёўшчыне (Дрыбін, Горкі). Пасля апісання дакументацыі гэтага абраду ў старэйшай літаратуры яна прадставіла вынікі сваіх мясцовых назіранняў, сцвярджаючы, між іншым, уплыў царкоўных святаў на назву абрадаў: *Пакровы, Каляды, Юр’я* (святы Юрый), *Радаўніца, Сёмуха, Троіца* (ваколіцы Мінска); *бацькоўскія / памінальныя суботы* (Мазырскі). Таксама на Беласточчыне старэйшае пакаленне ўжывае назву *Дзяды, Дзеды*, у той час як на ўсходзе Магілёўшчыны гэтай назвы сёння ўжо не ведаюць (пар. аднак І. Бялькевіч, 1970).

3. Календар беларускіх Дзядоў

У беларускім народным календары ёсць чатыры галоўныя і два другасныя тэрміны святкавання Дзядоў (даты паводле старога стылю):

(1) восеньскія Дзяды, субота перад Дзмітрыем (26.10): *Змітроўскія Дзяды, Змітроўка* (называныя таксама Філіпаўскія або Міхайлаўскія), якія святкавалі вечарам дома; у Наваградскім – і на могілках (пар. С. Станкевіч, 1936).

(2) зімовыя Дзяды, мясапусная субота: *Масляныя Дзяды, Масленіца*, называныя таксама *Вялікія* (ад вялікага паста) або *Бацькоўскія*.

(3) веснавыя Дзяды, аўторак пасля нядзелі св. Фамы (правадной): *Фаміна Нядзеля, Радаўніцкія (Радаўнічыя) Дзяды; Радаўніца*; у Вялікай Русі *Радуніца* (з XV ст.), сёння *Радоніца*, разм. *Рад-у/а/ы-ніца*. Розныя спробы этымалогіі:

(1) ад **rad-* ‘свята рад-асці’ з нагоды Уваскрэсення (М. Фасмэр, III: 431–432); (2) ад **rod-* ‘род-ительская суббота’; (3) ад **rod-ov-ьnica* ‘свята ўспаміну памерлых членаў роду’; (4) уплыў грэчаскага рэбон ‘ружа’ (В. Клінгер, 1949), пар. ροδισμός ‘упрыгожванне магіл ружамі ў свята памерлых’ (інскрыпцыя з II ст.н.эры ў дэлье Дуная) > лац. *rosalia* (часы Даміцыяна), прынятае хрысціянствам (Der Neue Pauly, X: 134–135) і распаўсюджанае на Балканах: сербска-харв. *Rusjaje* ‘Зялёныя Святкі’, балг. разм. *Rusajla* ‘Унебаўшэсце’, падобна ў албанскай і румынскай мовах (П. Скок, III: 175); напэўна, тут мае месца ўзаемадзеянне розных форм і значэнняў і святаў (царкоўных і язычніцкіх).

(4) [летнія?] Дзяды *Троіцкія Дзяды, Сёмуха* (беларуская назва Зялёных Святак паходзіць ад сёмага тыдня пасля Вялікадня); народная назва *Русалчына* або *Няўская Нязделя* – святкуецца, пачаўшы ад чацвярга ці суботы, на працягу тыдня.

(5) *Пятроўскія Дзяды*, у суботу перад пастом св. Пятра (29.06).

(6) *Спаскія дзяды*, перад святам Перамянення (06.08.)

4. Дыялектная дакументацыя

Найбольш старым пасрэднім сведчаннем восеньскіх Дзядоў на Віленшчыне з’яўляецца прыгадванне Стрыйкоўскага: *W Ławaryszkach tam jeszcze drudzy węże chwałę i czary przy obiadach [?obiatach] na listopad palę* (1575–1578 Хроніка: 237). Назва *Дзяды* і абрады, якія іх суправаджаюць, маюць багатую дакументацыю ў слоўніках і дыялектных распрацоўках розных рэгіёнаў, пераважна, аднак, Заходняй і Цэнтральнай Беларусі і памежных рэгіёнах Падлясся (Усх. Беласточчына) і Валынскага Палесся.

Палессе (Мазырскае, Тураўскае): Як заўважае К. Мошыньскі (1928: 211–214), на Усходнім Палессі Дзяды адзначаліся чатыры разы ў год: (1) *осенние / Міхайловскіе*, (2) *на Масляным*, (3) *Радаўнічныя*, (4) *Троечныя*. Восеньскія Дзяды доўжыліся тры дні: у чацвер гатавалі стравы, у пятніцу была *памінаўна вечера*, у суботу *памінаўны обед*. Падчас вячэры падавалі рытуальны *канун* (мёд з вадой і крышаным хлебам), а таксама боршч, прасяную кашу, аладкі (грэчневыя), канаплянае семя, грыбы, ягады, яблыкі, грушы. Пасля яе заканчэння рэшткі прыкрывалі абрусам, бо *старуе з того света ходзяць і вечераюць*. Як заўважае С. Толстая (2005: 76–89), пятнічная пасная трапеза называлася *дзеды*, а суботняя з мяснымі стравамі – *бабы*. А *Радаўніца* адбывалася, як і ўсюды, на могілках з удзелам бацюшкі: на ўпрыгожаных аерам магілах спажывалі тады кашу, мяса, сыр і раздавалі *красныя яйца*, асабліва бедным жабракам, якіх прасілі памаліцца, веруючы ў дзейнасць такой малітвы.

Усходняя Віленшчына (Вілейка, Даўгінава): *На стала стаіць талерачка і місачка для дзядоў; Пяклі тры булачкі на Дзяды, называлі курачкі, і аддавалі іх жабракам; Дзяды былі (1) радушнія пасля Вялікання, (2) сёмушнія, (3) багатыя ўвосень. На Дзяды рабілі сем страў.* (SPNZ, II, 64). Перад 1939 г. таксама і каталікі ў ваколіцах Даўгінава перад задушкамі пяклі абрадавыя хлябцы, якія пазней раздавалі жабракам, каб тыя маліліся за душы памерлых. Назва *дзяды* захавалася толькі ў выразах: *сяходня ў нас дзяды* (шмат ежы); *дэдавікі ‘парасяты’ к дзядам будзем біць і г.д.* (Ф. Селіцкі, 1993: 178–180).

Дзятлава: (1) ‘памерлыя продкі’, (2) ‘дзень успамінаў’: *На Дзяды варылі розныя травы, паміналі родных, хто памёр* (Т. Сцяцковіч, 1972: 145).

Ліда, Баранавічы, Ляхавічы: дзень успамінаў пра памерлых; посныя травы: фасоля, гарох, грыбы, капуста, кампот, крупы, куцця з макам, аладкі з грэчневай мукі (SPNZ, II, 64).

Парэчча, Шчучын: забівалі барана, каб зрабіць Дзяды і каб хапіла для памерлых (ibidem).

Свіслач, Моўчадзь: восеньскія Дзяды – дом, травы, знакі; радаўніца – гаданне на ўданае жніво (М. Федароўскі, 1897: 267–268, 289–329, 364).

Ганцавічы: *сягодня дзяды, а заўтра бабы* (SPNZ, II, 64).

Пухавічы: *перат калядамі ў нас дзядэ робяць* (ibidem).

Чэрвеньскі: *у эту суботу будам спраўляць дзядэ* (М. Шатернік, 1929: 84)

Магілёўская: *святые радзіцелі!* (М.Чарноўская, 1817); *деды, радзіцелі* ‘памінальная субота’ (І. Носовіч, 1870: 133,564); *наеўся як на дзяды* (І. Бялькевіч, 1970: 154).

Смаленская: *радаўніца* (вясеннія Дзяды), *деды* (троіцкія), *осенью к дедам убівает барана* (SRG, VII: 322).

Віцебская: багатая абрадаваць (П. Штейн, 1893).

Пскоўская, Гомельская, Валын: абрад і назва, занатаваныя толькі ў некаторых месцах.

5. Дзяды на Наваградчыне

Падрабязнае апісанне абраду Дзядоў у розных месцах Наваградчыны ў параўнанні з другой часткай „Дзядоў” зрабіў С. Станкевіч (1936: 176–226). Абапіраючыся на некалькі сведчанняў з розных мясцовасцей наваградскага, нясвіжскага, стаўбцоўскага і баранавіцкага паветаў, ён паказаў, што гэтак жа, як і ў Міцкевіча, абрад восеньскіх Дзядоў адбываўся ўвечары/ноччу на могілках, а праводзілі іх там часта *старцы* ‘жабракі’, якім у розных выпадках ахвяравалі абрадавае печыва (часцей за ўсё булчкі з жытняй мукі), паколькі верылі ў асаблівую моц іх задушнай малітвы. Паводле ўспамінаў інфарматара з вёскі Малева нясвіжскага павета, такі старац (прататып Гусляра):

„Кіраваў *Дзядамі* той стары дзед або баба, што найлепш пеў і той канечне, што мыў нябошчыка ў гэткай сям’і. А мыць нябошчыка ў нас запрашаюць таго, хто ўмея пець. Як папяюць, тады *гэты старык бярэ водкі, кілішак ў магілу ўвалье, паздароўкаецца з пакойнікам, тады налівае сабе і парадкам пойдзе кругом водка, а калі хоць капяльку ўвалье ў магілу*” (op. cit., 176).

Як заўважае С.Станкевіч, узорам як для магічных формул, так і для структуры тэксту II часткі „Дзядоў” быў беларускі фальклор, які найлепш захаваўся на Віцебшчыне.

1) Месца пакуты духаў:

Успамяні, Господі,
В нашем поколеніі:
Которые в воды потопали,
Которые на огнях погорали,
Которые на морозах померзали,
Которые голодами повмірали,

W jakiegokolwiek świata stronie:
Czyli która w smole płonie,
Czyli marznie na dnie rzeczki,
Czyli dla dotkliwszej kary
W surowem wszczepiona drewnie,
I piszczy i płacze rzewnie,

Которых зверы, піруны побівалі
Każda spieszcie do gromady!

2) Pyтанне, чаго жадаюць, і прапанова дапамогі:

Святыя дзяды, завём вас,
Святыя дзяды, ідзіце да нас!
Ёсць тут усё, што Бог даў,
Што я для вас ахвяраваў
Чым толькі хата багатая.
Святыя дзяды, просім вас
Хадзіце, ляціце да нас!

3) Як праганялі духаў

Святыя дзяды! Вы сюды прыляцелі,
Пілі і елі,
Ляціце ж цяпер до сябе!
Скажыце, чаго яшчэ вам трэба!
А лепей, ляціце да неба!
Акыш, акыш!

Gdy ją w piecu gryzą żary;

Zstępujcie w święty przybytek .
Jest jałmużna, są pocierze,
I jedzenie, i napitek.
Mówcie, komu czego braknie,
Kto z was pragnie, kto z was łaknie.
Kto z was pragnie, kto z was łaknie.

Teraz z Bogiem idźcie sobie.
A kto prośby nie posłucha:
W imię Ojca, Syna, Ducha!
Widzicie Pański krzyż?
Nie chcecie jadła, napoju
Zostawcie nas w pokoju,
A kysz, a kysz!

Падабенствы праяўляюцца таксама ў далейшых падрабязнасцях: (4) выгляд духаў: знічкі, птакі, прывіды, пазяхаючыя агнём і дымам; (5) месца іх побыту: паветра, вада, агонь; (6) спосабы іх выкліку праз паленне кудзелі, пасвенчанага зеля і водкі; (7) заканчэнне ўрачыстасці рассыпаннем збожжа, маку, чачавіцы (С. Станкевіч 1936).

6. Заўвагі напрыканцы

Як вынікае з папярэдняга аналізу, беларускае слова *дзяды* ‘душы памерлых продкаў, абрад іх успамінення’, з этнаграфічнай дакладнасцю адлюстраванае Міцкевічам у другой частцы „Дзядоў”, трапіла праз гэты твор і ў польскую мову і літаратуру. Узнятая тут праблема адрознення назваў душ жывых/памерлых асоб, а перад усім паходжання абраду Дзядоў, патрабуе далейшых даследванняў, а перш за ўсё высвятлення, чаму гэтая з’ява абмяжоўваецца тэрыторыяй Беларусі. Можа, гэта мае нейкую сувязь з распаўсюджаным у крыху іншай форме ў балтаў і вуграфінаў культам памерлых (К. Мошыньскі, 1968, II, 1: 663; II, 2: 288–290). Несумненна, бачны тут уплыў і праваслаўнай царквы (у назвах), а таксама сляды антычнай традыцыі, прынесенай з Балканаў. У той жа час цяжка акрэсліць праславянскую спадчыну ў сувязі са слабой дакументацыяй магічных кантынуантаў **dēdi* і **rod-ov-ynica* ў іншых мовах і дыялектах).

Бібліяграфія

- Bednarczuk L. / Беднарчук, 2010, „Dziady” Adama Mickiewicza w kontekście białoruskim, [w:] *Symbolae grammaticae honorem Bogusław Dunaj*, Kraków, s. 45–51.
Bjalkevič I. / Бялькевіч, 1970, *Краёвы слоўнік усходняй Махілёўчыны*, Мінск.

* Пераклад на беларускую мову К. Канчэўская.

- Charytoniuk G. / Харытонюк, 2007, *Białoruski obrzęd dziadów w literaturze przedmiotu i pamięci mieszkańców wsi*, [w:] *Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej*, Warszawa, s. 439–459.
- Czarnowska M. / Чарноўска, 1817, *Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach wiejskiego ludu na Białej Rusi dochowywane*, „Dziennik Wileński”, VI, s. 396–408.
- Fedorowski M. / Федороўскі, 1897, *Lud Białoruski na Rusi Litewskiej*, I: *Wiara, wierzenia i przesady ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki*, Kraków.
- Gołąbek J. / Голомбек, 1925, *Dziady białoruskie*, „Lud”, XXIV, s. 1–40.
- Jaroszewicz J. / Ярошэвіч, 1846, *Soboty pominalne*, „Ondyna Druskiennickich Źródeł”, I, s. 21–23.
- Karski J. / Карскі, 1916/2001, *Белоруссы*, III: *Очерки словесности белорусского племени*, Мінск.
- Kašpjarovič M. / Касьпяровіч, 1927, *Віцебскі краёвы слоўнік*, Віцебск.
- Klinger W. / Клінгер, 1949, *Wschodnioeuropejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska*, „Prace Etnologiczne”, II, Lublin–Kraków.
- Moszyński K. / Мошыньскі, 1928, *Polesie Wschodnie*, Warszawa.
- Moszyński K. / Мошыньскі, 1929–1939, *Kultura ludowa Słowian*, I–II, 1–2, Kraków; wyd. 2, 1967–1968, Warszawa.
- Nosowicz I. / Носовіч, 1870/1983, *Слоўнік беларускай мовы*, Мінск.
- Pietkiewicz C. / Петкевіч, 1931, *Umarli w wierzeniach Białorusinów*, „Pamiętnik Warszawski”, II, s. 36–49, III, s. 70–89.
- Pietkiewicz C. / Петкевіч, 1938, *Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego*, Warszawa.
- Pigoń S. / Пігонь, 1930, *Do źródeł „Dziadów” kowieńsko-wileńskich*, Wilno.
- Pigoń S. / Пігонь, 1967, *Formowanie „Dziadów” części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna*, Warszawa.
- Scjaškovič T. / Сцяцковіч, 1972, *Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці*, Мінск.
- Sielicki F. / Сееліцкі, 1993, *Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym*, Wrocław.
- Skok P. / Скок, 1971–1974, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Zagreb.
- Stankiewicz S. / Станкевіч, 1938, *Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej*, cz. I (do roku 1830), Wilno.
- Strykowski M. / Стрыйкоўскі, 1575–1578, *O początkach [...] narodu litewskiego [...]*; wyd. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
- Swianiewiczowa O. / Свяневіч[ова], 1960/1961, *Dziady białoruskie*, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie” XI, s. 87–89.
- Šaraja O. / Шарая, 2002, *Ценностно-нормативная природа почитания предков*, Минск.
- Šejn P. / Шейн, 1893, *Материалы для изучения [...] Северо-Западного края*, Санкт-Петербург.
- Šaternik M. / Шатэрнік, 1929, *Краёвы слоўнік Чэрвенічыны*, Менск.
- Tołstoja S. / Толстая, 2005, *Полесский народный календарь*, Москва.
- Tyszkiewicz E. / Тышкевіч, 1847, *Opisanie powiatu Borysowskiego [...]*, Wilno.
- Vasmer M. / Фасмер, 1950–1958, *Russisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg; *Этимологический словарь русского языка*, перев. с нем. О.Н. Трубачева, Москва 1964–1973.

Скарачэнні

- NP – *Der Neue Pauly, Enzyklopädie die Antike*, I–XV, Stuttgart–Weimar 1996–2003.
- SJAM – *Słownik języka Adama Mickiewicza*, I–XI, Wrocław 1962–1983.
- SPN – *Słownik prasłowiański*, Kraków 1974–.
- SPXVI – *Słownik polszczyzny XVI wieku*, Wrocław 1966–.
- SPNZ – *Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча*, I–IV, Мінск 1979–1986.
- SRJ – *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, Москва 1975–.
- SRG – *Словарь русских народных говоров*, Москва 1965–.
- SS – *Słownik staropolski*, I–X, Kraków 1953–2005.

Dziady Adama Mickiewicza w kontekście białoruskim**Streszczenie**

Białoruski wyraz *дзяд* ‘dusze zmarłych przodków; obrzęd ich wspominania’ został z dokładnością etnograficzną utrwalony przez Mickiewicza w II części «Dziadów», a przez nie trafił do języka i literatury polskiej. W artykule omówiony został żywy do dziś w niektórych częściach Białorusi i na Podlasiu obrzęd *dziadów* oraz jego kalendarium i dokumentacja gwarowa ze szczególnym uwzględnieniem Nowogródzyny. Zasygnalizowany tylko problem odróżniania nazw dusz osób żywych / zmarłych, a przede wszystkim geneza obrzędu dziadów wymagają dalszych badań, a przede wszystkim wyjaśnienia, dlaczego ograniczają się one do terytorium Białorusi. Związek ze znanym także u Bałtów i Ugrofinów kultem zmarłych oraz wpływ Cerkwii Prawosławnej i tradycji antycznej przez Bałkany nie wyjaśniają wszystkiego. Liczyć się też trzeba z dziedzictwem prasłowiańskim wyrazu **dēdi* ‘różne uroczystości obrzędowe, związane zapewne z kultem przodków’.

Елена Л. Березович

«Вдова» и «сирота» в славянских языках

Обозначения вдовы и сироты занимают периферийное положение в составе лексического поля «родственные отношения» и реже привлекают к себе внимание, чем слова, обозначающие членов полной семьи. Вместе с тем сам факт принадлежности этих слов к лексике родства – древнейшей и воспринимаемой ценностно – обуславливает их активное участие в процессах семантической деривации и функционирование в составе устойчивых сочетаний. В настоящей статье предпринимается попытка выявить основные семантико-мотивационные линии, проявляющиеся в языковых образах вдовы и сироты. Материал извлечен из словарей славянских литературных языков и диалектов; менее регулярно приводятся романские и германские данные.

Очевидно сходство в языковом восприятии вдовы и сироты. Оно проявляется, во-первых, на уровне этимологии: к примеру, слав. **sirъ* обнаруживает несомненные родственные связи с литов. *šeirys* 'вдовец' (Трубачев 2008: 254–255); во-вторых, в фактах замены словом *сирота* слова *вдова* (в прямых значениях): ср., например, рус. костр. *сирота* 'вдова'; в-третьих, в регулярном употреблении обоих слов в одних и тех же контекстах: укр. «Сироту та вдовицю то і тріски б'ють», серб. «Zakukalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica» и т. п.; в-четвертых, в сходстве процессов семантической деривации на базе изучаемых слов (что мы покажем в дальнейшем).

Анализ деривационных гнезд и фразеологии с участием слов «вдова» и «сирота» показывает, что в соответствующем смысловом пространстве выделяются два типа мотивов (смысловых признаков): 1) дескриптивные мотивы, содержащие индивидуальную характеристику изучаемых образов; 2) оценочные генерализующие мотивы с более широким смысловым наполнением, объединяющие каждый образ с какими-либо другими. Ниже дадим характеристику каждого из этих типов, перечислив основные входящие в него мотивы (не все!).

Дескриптивные (индивидуальные) мотивы. Эти мотивы наиболее ярко проявлены в образе вдовы. Основные «сиротские» мотивы могут быть включены во «вдовьи», поэтому есть смысл описывать их совместно.

Доминантной в языковом образе вдовы и сироты является тема *печали, несчастья, горя*. Универсальна для всех славянских языков (и, разумеется, не только для них) сочетаемость обозначений вдов и сирот со словами «несчастный», «печальный», «горестный». Мотив горести проявляется и в деривационных связях, ср., например, рус. литер. *сиротливый* ‘унылый, безрадостный’, влг., забайк., курган., олон., сиб. *сиротать* ‘горевать, печалиться, живя в одиночестве’, укр. *сиротливий* ‘печальный, грустный’ и др. Тема горя получает образное звучание в мотиве *горечи*, который проявляется как на уровне сочетаемости (ср. рус. *Вдовье дело горькое*; олон. *Сирота я есть прегорькая* и т. п.), так и на уровне деривации – в обозначениях горьких растений: рус. сибир. *вдовья трава* ‘попынь’: «Глистник еще вдовьей травой называют. Потому то горький он. Говорят, что в нем все людские страдания находятся», дон. *вдовки* ‘календула – растение, в надземной части которого содержатся горькие вещества’.

Горестная участь вдов и сирот находит яркое воплощение в мотиве *плача, слез, рыданий*, ср. в паремиологии: рус. «Нет причитанья супротив вдовьего», «В девках – приторно, за мужем – натужно, а вдовьей чреде – что по горло в воде», укр. «У вдови плакана доля», хорв. «A sjerotska suza mraka nije, teško njemu vrh kog se prolje» и др. В системе языка мотив слез реализуется в номинациях явлений природы – дождя и росы (рус. амур. *сироты плачут, заплачут* ‘о дожде при солнце, затяжном дожде’, арх. *сироты плачут* ‘об обильной росе’, полес. *сирота плачэ* ‘о грибном дожде’), а также растений, стебли и листья которых наполнены влагой или же кажутся влажными (рус. ср.-урал. *вдовьи слезы* ‘комнатное растение с зелеными глянцевыми листьями и красными цветами’, простореч. *вдовый цветок (Ванька мокрый)* ‘бальзамин – растение с сочными, как бы налитыми водой стеблями’, амур. *сирота* ‘растение, которое перед дождем покрывается капельками влаги’). Мотив плача может реализовываться и на «звуковом» уровне, что проявляется в английских фаунистических номинациях, ср. *widow-wail* («вдовый вопль») ‘птица *Frillaria Meleagris*’, *widow monkey* ‘обезьяна *Callicebus torquatus*, издающая пронзительные вопли’.

Отметим, что мотив слез (влаги) более активен в языковом образе сироты. Для проявления этого мотива значимы внутриязыковые стимулы – притяжение к словам с корнем **syr-* ‘сырой, влажный’.

Вдовы и вдовцы связаны с *миром смерти*, ср., например, польскую половицу «U wdowca trupia głowa na stole leży» (предполагается, что вдовец всегда вспоминает умершую жену). В романских языках вдова ассоциируется с призраками, ср., например, исп. *viuda*, *viudita* ‘привидение, ночной призрак, блуждающий огонь’. «Смертные» коннотации вдовы проявляются также в образе виселицы, гильотины, специфичном для романо-германских языков: исп. *viuda*, англ. *widow* ‘виселица’, франц. *veuve* ‘гильотина’, *épouser la veuve* ‘быть гильотинированным’.

С темой смерти оказываются связанными мотивы темного цвета, мрака, ночи, холода. Образ вдовы «окрашен» в *черный (темный) цвет* – цвет траура (ср. строчку из русской песни «Снимай, вдова, платье цветное, надевай, вдова, платье черное!»): рус. *вдовый цвет* литер. ‘траурный, не светлый’, простореч. ‘лиловый, фиолетовый’. Признак черного цвета метафорически преломляется в названиях

темных животных (например, рус. карел. *вдова, вдовица* ‘разновидность зубатки черного цвета’, рус. *вдовушка длиннохвостая*, польск. *wdowa, wdówka*, чеш. *vdova, vdovka rajská*, англ. *widow* ‘африканская птица, самец которой имеет черную спину и очень длинный черный хвост’ (это кальки с лат. номенклатурного названия этой птицы *Vidua*)), минералов (рус. простореч. *вдовий камень* ‘минералы фиолетового цвета – аметист, alexandrit’) и растений (рус. простореч. *вдовий цветок* ‘бальзамин’; польск. *wdówka* ‘фиалка *viola tricolor*’).

Более слабо, но все же ощутимо в языке представлен мотив **мрака**. Ср. польские примеры, где он проявляется на уровне текстовых связей – в контекстах вроде: «...smutne dnie późnej jesieni, sieroce dnie bez słońca, szare i posępne»; «Rzadkie drzewa z wieczornym zlewają się kirem i ziemia tonie w mroku sieroca i wdowia». Показательны романские данные: итал. *orfano* ‘лишенный света, темный’, лат. *viduus a lumine Phoebi* ‘лишенный дневного света’. Есть смысл упомянуть также об укр. *сірий* ‘пасмурный, мрачный (про погоду, утро, день и др.)’, которое сформировалось в гнезде *сірий* ‘серый’ – но, возможно, не без влияния слов с корнем *сир-*.

Мотив **ночи** проявляется в ассоциативных связях вдовы с ночными птицами – совой (ср. укр. *Життя вдовине – совине*; рус. *Совушка-вдовушка и незваная идёт; Совушка – вдовушка бедокурная*), свистящей уткой (чеш. *kachna vdova* ‘белолицая свистящая утка, которая активна ночью’), козодоем (англ. *widow* ‘козодой’).

Реализацию мотива **холода** можно усмотреть в обозначениях физиологических реакций человека на мороз: дрожь, мурашки, «гусиная кожа» получают такие наименования, как рус. юж. *сіроты*, укр. диал. *сіроти*, польск. *sieroty, sierotki, sirotki*; ср. также блр. *сіроты поўставалі* ‘о сильном страхе’, укр. *повиступали сироти, узятися сиротами* ‘покрыться пупырышками от холода или нервного возбуждения’. В языковом «портрете» вдовы этот мотив проявляется на уровне текстовых связей: рус. «Холостой – простой, женатый – богатый, а вдовец – что зяблец»; польск. «U wdowca pół dupy zimnej».

Язык отмечает **социальное и экономическое положение** сироты и вдовы, при этом в образе сироты делается акцент на социальном статусе, в образе вдовы – на имущественном.

«Сирота» обозначает разные варианты социального бесправия (ср., к примеру, др.-рус. *сирота* ‘слуга, холоп’, ‘крестьянин’, полес. *сірота* ‘слуга’), переходящего в асоциальность (итал. *orfanello* ‘один из воров, преступников, входящих в банду’). «Вдова» тоже может иметь статус прислуги: др.-рус. *вдова комнатная, сѣнная* ‘овдовевшая женщина, живущая в услужении в доме состоятельного человека’.

Вдова и сирота бедны, ср. др.-рус., рус. арх. *сирота*, укр. *сірѡма*, болг., серб. *сиромах* ‘живущий подаванием, милостыней, нищий’, рус. литер. *по-сиротски* ‘как свойственно сироте: бедно, скудно’, польск. *wdowi grosz, grosik*, чеш. *vdoví groš* ‘дар неимущего, бедного’ и т. п. Интересно, что в германских языках фиксируется образ не только бедной, но и богатой вдовы, ср. англ. *widow's bench* («вдовья скамья») ‘доля имущества мужа, которое вдова получает в дополнение к своей вдовой доле’, *widow* ‘прикуп’. Такой образ отсутствует в восточнославянских языках (и, кажется, в южнославянских), однако отмечается

в польском, ср. *ciepła wdówka* 'богатая вдова', которое является калькой из германских источников.

Не остается не замеченным языком **физический облик** вдовы, на котором сказывается в первую очередь ее тяжелый труд. У вдовы вздуваются жилы (рус. арх. *вдовья жила* 'вздувшаяся вена на внутренней стороне пальцев рук'), появляется горб (ср. рус. простореч. *вдовый горб* 'грудной кифоз, избыточное прогибание позвоночника назад', которое имеет эквиваленты в других европейских языках и является калькой англ. *widow's hump* 'то же'; ср. также рус. поговорку «Мушь умереть – жына горпъ наживеть»). Вдовы – обычно пожилые и полнеющие женщины (рус. арх. *вдовье мясо* 'полнота, округлость, развивающаяся у стареющей женщины').

Вдовцы и вдовы имеют **тяжелый характер**, из-за чего они сравниваются с колючими растениями – различными разновидностями репейника, чертополоха, осота: севернорус. *вдовец*, влг. *вдова*, укр. диал. *вдова*, чеш. диал. *vdova* и др. (ср. один из контекстов: рус. карел. «Вдовец колючий, как вдовый мужик»); ср. также исп. *viuda* («вдова»), итал. *vedovina* («вдовушка») 'садовая скабиоза – растение, имеющее шершавые листья'. Возможно, сходные ассоциации отражены в англ. *widow rock cod* («вдовый групер (порода рыб)») 'колючий морской окунь *Sebastes*'.

Негативную оценку получает и жизненный опыт овдовевших людей, что отражается в мотиве **«бывшего в употреблении», «вторичного»**. Это проявляется при сравнении вдов и вдовцов, стремящихся к замужеству, с теми, кто вступает в брак впервые. Вдовец уподобляется волокну, которое подвергалось обработке (трепанию и проч.) – в отличие от необработанной кожи: рус. пск. *волокняный жених* 'вдовец, собирающийся жениться вторично' – *кожаный жених* 'жених, который ранее не состоял в браке'. С вдовой связывается еще менее лестный образ старых штанов: польск. «Kto pojął wdowę, jakby też kupił portki na tandecie»; рус. «На вдове жениться, как старые штаны вздевать, не вошь, ин гнида укусит». Похожий образ представлен и в невербальной сфере культуры: так, в Прикамье считалось, что если девушке при святочных гаданиях на жениха достанется старая тряпка, то это предвещает брак со вдовцом.

Несмотря на негативную оценку этого брака со стороны «невдовой» половины, сами вдовы и вдовцы **стремятся к вступлению в новый брак**. Это отражено в названиях «липучих», цепляющихся за одежду растений (рус. костр. *вдовушка* (= *липучка*) 'растение *Coronaria flos cuculi*', блр. диал. *удава* '*Viscaria viscosa* Aschers., смолка клейкая'), а также в паремиологии: болг. «Надява се като вдовица на ерген»; польск. «Każdy wdowiec to jak pies do owiec», «Wdowu za mąż gotowy»; словц. «Vdovička – každému lavička».

Оценочные генерализующие мотивы. Эти мотивы не дают точной характеристики реалий, а указывают на какие-то весьма общие (и имеющие разную степень абстрактности) свойства, которые, как правило, приписываются не только вдове или сироте, но и всей категории «неполноценных» родственников (например, мачеха, пасынок, холостяк) и другим лицам, которые в народных представлениях наделяются низким социальным статусом («бабы», инородцы и др.).

Идея **обособленности** может предполагать пространственную отделенность, расположение в стороне: укр. *сиротливий* 'расположенный обо-собленно, отдельно от других', рус. днестр. *сиротка*, укр. черниг. *сирота*, *сиротка* 'рыба ерш-носарь, обитающая отдельно от других видов рыб', ср. также англ. *widow's lock* 'небольшой локон или челка, растущие отдельно от волос надо лбом'. «Сироты» нередко встречаются среди наименований объектов ландшафта (ср. болг. диал. *сирѣк* 'небольшой арык, отведенный от главного канала для орошения лугов, садов и проч.'), в том числе в топонимии: реки *Сиротинка* (Вологодск. обл. России; среднее левобережное Поочье; Верхнее Поднепровье); болото *Сиротка* (Архангельск. обл. России) и др. Фиксируется также ряд значений, выражающих идею обособленности во времени: болг. *сираче* 'растение мерендера опрысковая, которое зацветает очень рано по таким местам, где в это время другие цветы не встречаются', рус. ворон. *сиротки* 'растение пролеска двулистная, зацветающая рано', болг. диал. *сирак*, чеш. *sirotka*, рус. ср.-урал. *сын без отца*, польск. *filius ante patrem* 'растение синий осенний безвременник, плоды которого появляются весной раньше цветов, распускающихся осенью или в начале зимы' и др. Для этих значений есть параллели с участием образов других «неполноценных» родственников, ср. рус. дон. *бобыль*, ряз. *бирючок* 'рыба ерш-носарь', рус. арх., ворон. *пасынок*, блр. *пасынак* 'ответвление холма, оврага, реки; водоотводный канал'.

Идея **непарности, единичности** реализуется в таких фактах, как польск. *wdowiec* 'танцор без пары', болг. *сирѣченце* 'один, единичный узор', рус. арх. *вдова*, *вдовая свая* 'свая, состоящая из одного бревна', укр. диал. *удовець, удова* 'первое или второе блюдо, подаваемое без другого': «Борщ без каші удовець, а каша без борщу удова» (ср.: в Польше после рождественского ужина ставили в углу стола горшок с кутьей и горшок с вареными сухофруктами, чтобы не оставить кутью *samotną wdowicą*); ср. также франц. арг. *orphelin* 'разрозненный непарный предмет', англ. *orphan terminal* 'одиночный терминал' и др. Как и в предыдущем случае, аналогичные значения могут быть выражены с помощью образов других «родственников», ср., к примеру, рус. сиб. *холостой столб* 'столб в любой постройке, в котором нет паза для соединения досок'. «Рекордсменом» по количеству образных вариантов можно считать наименование растения анютины глазки: серб. *удовица*, *сирота*, *маћаха*, словен. *sirotica*, *mačeha*, болг. *засмян ерген* («смеющийся холостяк»), польск. *wdówka*, чеш. *maceška*, *sirotka*, н.-луж. *syrotka*, *matuška*; ср. также англ. диал. *stepmother* («мачеха»), итал. *suocera e nuora* («свекровь и невестка»). Очевидно, в этих названиях обыгрывается такой яркий признак растения, как наличие непарного нижнего лепестка (в отличие от средних и верхних, образующих пары).

Идея **отсутствия важного содержимого, пустоты** тоже имеет разные варианты воплощения: без начинки, заправки – рус. арх. *вдовица* 'лепешка, изделие из теста без начинки', твер. *сиротка* 'пустая гречишная каша', пск. *холостянка* 'пустая похлебка'; без рыбы – рус. арх. *вдовая сеть* 'рыболовная снасть, вытянутая без рыбы или с незначительным количеством рыбы', арх. *холостой* 'без рыбы (о ловушке на рыбу)', пск. *с молодушкой приехал* (кто-либо) 'о том, кто совсем не поймал рыбы (но ср. чеш. диал. *ženatý* 'о рыболовном снаряде с рыбой')'; без воды – итал. *védovo* 'безводный (о реке)'; без

урожая, плода – блр. диал. *удава*, рус. башк. *холостой цвет* ‘пустоцвет’, сиб. *холостой брусничник* ‘листья брусничника без ягод’, ср. также лат. *viduertās, ātis* ‘бесплодие, неурожайность’, *solum viduum arboribus* ‘безлесная почва’; без удачи, выигрыша – рус. простреч. *вдовку в жены взять* ‘проиграть при игре в шашки’, ср. также итал. *orfanello* ‘в игре рулетка: цифры, дистанцированные от нуля и не относящиеся к серии 5/8’.

Что касается идеи **неполноты, нецелостности**, то она проявляется, например, в типографской терминологии – в обозначениях неполной абзацной или висячей строки, ср. рус. *сиротка, вдова*, англ. *widow, orphan* и др. (термины с такой внутренней формой являются международными и представлены в разных европейских языках). Сюда же можно отнести рус. костр. *сиротки*, ср.-урал. *пасынки* ‘черепки разбитой посуды’ (ср. серб. «Udovac – razbijen lonac»), а также франц. арг. *orphelin* ‘окурок’.

Идея **недостаточности проявления признака, низкий интенсивности, насыщенности** и т. п. представлена, к примеру, в серб. *сѣротѣ* ‘маленький, незначительный по количеству, значению, величине, ничтожный’, рус. простреч. *сиротская баня* ‘недостаточно жаркая баня’, *сиротская зима* ‘нехолодная зима’, хорв. *sirotinjsko leto* ‘потепление осенью или зимой’. Сходные смыслы выражаются словами с внутренней формой «бабий» или «цыганский», ср. рус. литер. *бабье лето*, польск. *babie lato*, болг. *циганско лято*, серб. *циганско лето*. Возможно, здесь же следует рассматривать рус. арх. *вдовьей палец* ‘безымянный палец руки’: этот палец «уступает» другим по размеру и функциональной значимости, отсюда такие его наименования, как рус. арх. *бабка*, блр. диал. *глухі палец, нямы палец* и др.

Даже этот выборочный перечень оценочных генерализующих мотивов позволяет утверждать, что изучаемые образы – своего рода эталоны образного предметного воплощения признака каритивности, который изучался прежде всего на материале атрибутивной лексики, т.е. прилагательных со значениями ‘пустой’, ‘сухой’, ‘пресный’ и др. (Толстая 2008: 50–98), – и это понятно, поскольку каритивность демонстрирует обобщенность семантики качественных прилагательных, которые способны к генерализации своих вторичных значений, воплощающих общие идеи недостаточности, неполноты и проч. Предметные существительные, казалось бы, не должны выражать столь обобщенных смыслов. В то же время включенность изучаемых слов в сферу лексики родственных отношений, имеющей высокий аксиологический потенциал, обусловила появление у них генерализованной оценочной семантики. Это важное свидетельство силы и яркости оценки, стоящей за анализируемыми словами.

* * *

Изучаемые образы обладают значительным сходством, однако образ вдовы более конкретен и индивидуален, в нем преобладают дескриптивные мотивы, что позволяет учесть даже такие «подробности», как вздувшиеся жилы на руках, горб от тяжелой работы, длинный черный наряд, тяжелый характер, стремление повторно выйти замуж и др. Портрет сироты далеко не так конкретен, при этом некоторые присутствующие в образе сироты

дескриптивные мотивы (несчастья, социальной ущербности, слез) близки к собственно оценочным, которые составляют доминанту в образе сироты, нарисованном как бы размытой «плачущей» акварелью.

Многие оценочные генерализующие мотивы являются общими в обоих языковых портретах, однако для образа сироты более значим мотив слабости, непроявленности признака, для вдовы – мотив отсутствия содержимого, пустоты.

В перспективе представляется интересным поставить вопрос о лингвокультурной специфике анализируемых образов. Так, уже наш краткий обзор показывает, что для славянских (особенно восточнославянских) языков не типичен образ богатой вдовы, встречающийся в германских языках. Однако изучение этого вопроса требует привлечения более широкого языкового и культурного материала.

Литература

Толстая С.М., 2008, *Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе*, Москва.

Трубачев О.Н., 2008, *Труды по этимологии: Слово. История. Культура*, т. 3, Москва.

Исследование выполнено при поддержке госконтракта 14.740.11.0229 в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (тема «Современная русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении»)

«Wdowa» i «sierota» w językach słowiańskich

Streszczenie

W artykule pokazano językowy obraz wdowy i sieroty. Analiza opiera się głównie na formacjach powstałych drogą derywacji semantycznej od wyrazów ze znaczeniem 'wdowa' i 'sierota', a także od idiomów zawierających te wyrazy. Materiał pozyskano ze słowiańskich słowników ogólnych i dialektalnych. W mniejszym zakresie przedstawiono też fakty romańskie i germańskie. Na obraz wdowy i sieroty składają się dwa czynniki: indywidualna charakterystyka badanych obrazów i poszerzony semantycznie motyw uogólniającego wartościowania.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Tadeusz Borucki

O związkach poezji Wisławy Szymborskiej z malarstwem. Rosyjski przekład *Kobiet Rubensa*

W twórczości wielu wybitnych poetów obserwujemy związki ich poezji z różnymi odmianami sztuki, w tym także – a może przede wszystkim – z malarstwem. Ta swoista korespondencja sztuk – tak nazywa te powinowactwa Jerzy Kram (1986: 182) – jest obecna również w wierszach Wisławy Szymborskiej. Z poetyckimi wyprawami autorki *Chwili* w świat malarstwa mamy do czynienia chociażby w takich utworach, jak *Dwie mały Bruegla*, *Mozaika bizantyjska*, *Pejzaż*, *Ludzie na moście*, *Miniatura średniowieczna*. Dla potrzeb niniejszego artykułu wybrałem opublikowany w tomiku *Sól* w 1963 roku utwór *Kobiety Rubensa*, w którym powinowactwo poezji i sztuk plastycznych jest szczególnie widoczne. Właśnie ten wiersz uważany jest za najbardziej znany dialog Wisławy Szymborskiej z malarstwem (Pelczar 1997: 466). Anna Legieżyńska przestrzega czytelnika, że analiza *Kobiet Rubensa* wymaga „tylę znajomości konwencji dawnej sztuki (średniowiecznej, baroku), co i reguły poetyckiej ironii” (Legieżyńska 1997: 453). Chciałbym podjąć próbę odczytania obecności sztuki w tym wierszu oraz oceny przekazu treści malarskich w jego rosyjskim tłumaczeniu, dokonanym przez Asara Eppela.

Przed przystąpieniem do analizy *Kobiet Rubensa* warto krótko wspomnieć epokę, w której tworzył flamandzki mistrz płótna, najwybitniejszy przedstawiciel baroku w malarstwie, twórca około dwóch tysięcy dzieł, o którym Maria Rzepińska pisze, iż w jego sztuce „wszystkie cechy barokowe występują w komplecie” (Rzepińska 1988: 230). Peter Paul Rubens malował tryptyki, obrazy religijne, w tym ołtarzowe, i dzieła ze scenami mitologicznymi, ale wielu miłośnikom malarstwa kojarzy się z portretami, a przede wszystkim z kobietami, obfitującymi w bujne kształty, które stały się później symbolami malarstwa barokowego. Dla dzieł najwybitniejszego malarza baroku bliskie są przepych, żywiołowość, dynamizm form, a nawet wybujałość i zmysłowość, co pozwala mówić o charakterystycznej dla twórcy *Oplakiwanie Chrystusa* apologii życia i kobiecego ciała. Nierzadko bohaterowie, a częściej są to bohaterki, płócien Rubensa znajdują się jakby w wirze, wielu z nich cechuje rozedrgany, falisty ruch. Geniusz twórcy *Sądu Parysa* polegał m.in. na tym, że przy tworzeniu kolejnych wybitnych dzieł rezygnował on z korzystania z optyki, bez której wielu artystów nie mogłoby namalować swoich obrazów. David Hockney przedstawiając sekrety technik malarskich twierdzi, że *camera lucida* stosowana była przez

artystów na szeroką skalę, podczas gdy flamandzki mistrz malował obrazy z pamięci, metodą obserwacji naocznej. Według Hockney'a, Rubens „zaledwie kilkoma pociągnięciami pędzla potrafił przekonująco oddawać kształty i bryłę”, dzięki czemu powstawał „cudowny, żywy obraz o wspaniałym wyczuciu przestrzeni” (Hockney 2007: 147, 149).

Kobiety Rubensa nie są ekfrazą, czyli opisem konkretnego dzieła mistrza z Antwerpii, lecz – jak podkreśla Seweryna Wyślouch – „sygnalizują tylko tematykę jego malowideł” (Wyślouch 2007: 7). Sama poetka również zaprzecza, jakoby istniało konkretne płótno, które zainspirowałoby ją do napisania tego wiersza. Jej zdaniem, „jest to opis stylu” (cyt. za J. Grądział: 1996: 96). Alicja Krawczyk analizująca literackie fascynacje malarstwem różnych poetów pisze, że w *Kobietach Rubensa*, podobnie jak to dzieje się w innych wierszach, Wisława Szymborska prowadzi dialog ze sposobem kreowania świata w twórczości artysty czy stylu i estetyce epoki, w danym przypadku stylu baroku, a także „stawia odważnie problem prawdy artystycznej i wartości poznawczych sztuki” (Krawczyk 2006: 198–199). Wiersz współczesnej polskiej poetki nawiązuje do przedstawianych na płótnach niekiedy ogromnych ciał i – jak podkreśla Wojciech Ligęza – mamy w nim do czynienia z „identyfikacją stylistyczną z dziełem i epoką, kiedy zabawowe naśladowanie poetyki baroku przybliży płótna flamandzkiego mistrza” (Ligęza 2001: 173). Oto pełny tekst utworu w oryginale i jego rosyjskie tłumaczenie:

KOBIETY RUBENSA

Waligórzanki, żeńska fauna
jak łoskot beczek nagie.
Gnieźdzą się w stratowanych łóżach,
śpią z otwartymi do piania ustami.
Żrenice ich uciekły w głąb
i penetrują do wnętrza gruczołów,
z których się drożdże sączą w krew.

Córy baroku. Tyje ciasto w dzieży,
parują łaźnie, rumienią się wina,
cwałują niebem prosięta obłoków,
rżą trąby na fizyczny alarm.

O rozdylone, o nadmierne
i podwojone odrzuceniem szaty,
i potrojone gwałtownością pozy
tłuste dania miłosne!

Ich chude siostry wstały wcześniej,
zanim się rozwidniło na obrazie.
I nikt nie wiedział, jak gęsiego szły
po niezamalowanej stronie płótna.
Wyganki stylu. Żebra przeliczone,

Ptasia natura stóp i dłoni.
Na sterzcących łopatkach próbują ulecieć.

Trzynasty wiek dałby im złote tło.
Dwudziesty – dałby ekran srebrny.
Ten siedemnasty nic dla płaskich nie ma.

Albowiem nawet niebo jest wypukłe,
Wypukli aniołowie i wypukły bóg –
Febus wąsaty, który na spoconym
Rumaku wjeżdża do wrzącej alkowy.

РУБЕНСОВСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Богатырессы, бабья фауна,
голые, как гулкие кадлушки,
сидят в своих затоптанных постелях,
спят с закрытым ртом, готовым кукарекнуть.
Зрачки их ускользнули внутрь
и проникают в глубь желез
и те сочат по жилам дрожди.

Дщери барокко. В деже вспухает тесто,
пар наполняет бани, рдеют вина,
по небу мчатся облаков подсвинки,
и плотскую готовность трубы ржут.

О разарбуженные, о избыточные,
удвояемые откидыванием одежд,
утрояемые внезапным поворотом
дородные блюда любви!

Худые сестры – те пораньше встали,
покамест на холсте не развиднелось.
И – незамеченные – шли гуськом
по незакрашенному обороту.

Изгойки стиля. Ребра перечтешь.
Ладоней и ступней природа птичья.
Попытка улететь на худеньких лопатках.

Им век тринадцатый – фон золотой бы отдал.
Двадцатый бы – серебряный экран.
А вот семнадцатый ничто им, плоским, не дал.
Поскольку выпуклы и сами небеса,

выпуклы ангелы и выпукл бог плечистый –
усатый Феб, который на вспотевшем
коне въезжает в пышущий альков.

Wojciech Pelczar wyróżnia w *Kobietach Rubensa* trzy segmenty, różniące się pod względem liczby strof i wersów. Pierwszy obejmuje trzy strofy i stanowi opis bohaterki obrazów mistrza z Antwerpii, „uzupełniony zarysowaniem obyczajowego tła XVII wieku” (Pelczar 1997: 466). W tym segmencie dominantę stanowią liczne hiperbole, z otwierającym leksemem *Waligórzanki* – złożeniem, które można uznać za żeński odpowiednik olbrzymia Waligóry, który – jak mówi baśń o Waligórze i Wyrwidębie – był w stanie swoją siłą powalać góry. Rosyjski tłumacz nie mógł zastosować tu ekwiwalencji formalnej i hiperbolę polskiej poetki oddał poprzez użycie leksemu *Богатырессы*, również będącego żeńską formą męskiego *Богатырь*, odznaczającego się niezwykłą siłą bohatera rosyjskich bylin, ale również potężną budową ciała; używany jest przecież w języku rosyjskim zwrot *богатырское телосложение*.

Pierwsze dwa wersy tekstu zawierają porównanie: *Waligórzanki, żeńska fauna / jak łoskot beczek nagie*. Mamy tu do czynienia z animizacją, która, zdaniem Seweryny Wysłouch, degraduje bohaterki (Wysłouch 2007: 10). Degradację kobiet intensyfikują dwie konstrukcje opisujące zachowania „żeńskiej fauny”: *gnieźdźą się w stratowanych łóżach oraz śpią z otwartymi do piania ustami*. Poetka korzysta z chwytu animizacji, wyrażonego przy pomocy czasownika *gnieździć się* oraz połączenia wyrazowego *otwarte do piania usta*. Tłumacz z dwóch przykładów animizacji zostawił tylko jeden. Trudno znaleźć bowiem wytłumaczenie dla wyboru Asara Eppela, który zdecydował się zastąpić w przekładzie użyty przez Szymborską w znaczeniu przenośnym polski czasownik *gnieździć się* neutralnym *cuдеть*. Metaforyczny epitet *żeńska fauna* służy podkreśleniu zwierzęcego niemal neologizmu, podczas gdy porównanie *jak łoskot beczek nagie* czyni nagość bohaterki obrazu Rubensa wprost ogłuszającą (Pelczar 1997: 466) Rosyjski tłumacz nie rezygnuje z porównania zamieniając *łoskot beczek* na *гулкие кадушки*. Wybór tłumacza nie budzi zastrzeżeń, gdyż słownikowy ekwiwalent leksemu *łoskot* (*грохот, покат*) w badanym przez nas kontekście brzmiałby zbyt mocno, podczas gdy przymiotnik *гулкий* – oznaczający według słownika języka rosyjskiego: ‘громкий, далеко слышный, не сразу смолкающий; усиливающий звуки, сильный резонанс’ (Словарь русского языка, т. 1: 356) wydaje się spełniać kryteria adekwatności.

Wróćmy jeszcze do hiperboli. Ich nagromadzenie spotykamy przede wszystkim w pierwszym segmencie *Kobiet Rubensa*. Szczególnie widoczne jest to w trzeciej strofie wiersza: *rozdynione, podwojone odrzuceniem szaty; potrojone gwałtownością pozy*. Pierwszy z przytoczonych leksemów – *rozdynione* – to swoisty neologizm utworzony od leksemu *dynia*. Jak wiadomo, roślina o tej nazwie może rodzić owoce, przybierające niekiedy olbrzymi kształt. Dodanie do tematu słowotwórczego przedrostka *roz-* niesie znaczenie powiększania się, rozrastania, co w sposób oczywisty nawiązuje do obfitych kształtów kobiet na płótnach Rubensa, sprawiających niekiedy wrażenie Niemieszczania się w ich ramach, a nawet swoistego ich rozsadzania. Ekwiwalent tłumaczeniowy również nawiązuje do kształtu owocu, ale innej rośliny (także z rodziny dyniowatych) – arbuza. Asar Eppel zachował ten sam prefiks,

zmienił tylko nazwę rośliny i także utworzył poetycki neologizm, przypominający formą imiesłów bierny – *пазарбуженные*. Taki wybór tłumacza wydaje się wyjątkowo trafny.

Zatrzymajmy się jeszcze nad pierwszym segmentem tekstu. Drugą strofę *Kobiet Rubensa* otwiera oryginalna peryfraz *córy baroku*, nawiązująca do innego wyrażenia *córy Koryntu*, tj. nierządnic, z których znane było to starożytne miasto. Porównanie jednych cór z drugimi wydaje się usprawiedliwione z tego powodu, że w trzeciej strofie wiersza polska Noblistka przedstawiając kobiety na płótnach Rubensa deprecjonuje i reifikuje je używając epitetu *thuste dania miłosne*. Jak pisze Seweryna Wysłouch, reifikacja kobiet, która leży u genezy metafory organizującej analizowany tekst, kojarzona jest z konsumpcją i bierze się stąd, że kobiety są traktowane jako „przedmiot gry miłosnej” (Wysłouch 2007: 10). Słuszne wydaje rozwiązanie zaproponowane przez tłumacza, który polski leksem *córy*, niekiedy w sposób podniosły nazywający członkinie jakichś zgromadzeń, społeczności, narodu, oddaje poprzez rosyjski ekwiwalent *дщери*, opatrzone w słowniku języka rosyjskiego kwalifikatorami *книжное* i *устаревшее* (Словарь русского языка, т. 1: 458).

W pierwszej i drugiej strofie liryku mamy do czynienia z nagromadzeniem czasowników, występujących w jednej formie gramatycznej. Leksemy dobrane są nie przypadkowo, a ich sekwencja wydaje się być otwarta, z możliwością uzupełniania. Spotykamy tu wyjątkowe zagęszczenie tych poetyckich środków wyrazu: *śpią, penetrują, sączą się, tyje, parują, rumienia się, cwałują, rzą*, które, zdaniem Joanny Zajkowskiej, podkreślają eksplozję cielesności, objawiającą się w różnych wariantach, a nawet zamieniają opis w liryczne opowiadanie o triumfie materii (Zajkowska 1998: 57). Powiększoną o jeden element sekwencję czasowników z zachowaniem ich oryginalnej formy gramatycznej odnajdujemy w rosyjskim tłumaczeniu *Kobiet Rubensa*.

Niezwykłe interesujące są środki wyrazu ukazujące w wierszu Wisławy Szymborskiej fizjologię i witalność bohaterek. Poetka wykorzystuje tu bowiem procesy, jakie zachodzą w zwykłej domowej kuchni i dotyczą leksyki związanej z kręgiem semantycznym produktów żywienia. Mamy tu do czynienia z zabiegiem personifikacji: *drożdże sączą się w krew; tyje ciasto w dzieży; rumienia się wina*, który sprawił tłumaczowi sporo trudności w jego oddaniu w języku tłumaczenia. W rosyjskim odpowiedniku opisu zjawisk kulinarnych spotykamy czasowniki: *сочат, вснухают, рдеют*, które trudno było uznać jako personifikujące, szczególnie ostatnie dwa. Skorzystajmy ze słownika języka rosyjskiego: leksem *вснухать – вснухнуть* oznacza ‘увеличиться в объеме, вздуться’; podczas gdy rzadko używany czasownik *рдеть* posiada znaczenie ‘выделяться своим рдяным цветом’ (Словарь русского языка т. 1: 234, т. 3: 688). Należy sądzić, że tłumacz celowo zrezygnował w przekładzie z często używanego czasownika *краснеть* i zastąpił go leksemem *рдеть*, aby zachować specyfikę tekstu poetyckiego. Czasownik *рдеть* odnosi się jednakże głównie do zjawisk przyrody (закат рдеет, рябина рдеет) lub do części ciała ludzkiego (щеки рдеют, лицо рдеет). Polskie czasowniki *tyć* i *rumienić się* odnoszą się natomiast głównie do ludzi. Według słownika języka polskiego, czasownik *tyć* oznacza ‘przybierać na wadze, stawać się grubym, tłustym’ (Słownik języka polskiego, t. IX: 381). Wszystkie przykłady ilustrujące wspomniane hasło słownikowe dotyczą wyłącznie osób. Leksem *rumienić się* – posiada znaczenie ‘stawać się

czerwonym na twarzy, dostawać rumieńców, wypieków; czerwienić się' (Słownik języka polskiego, t. VII: 1394).

Wróćmy do zaproponowanego przez Wojciecha Pelczara podziału wiersza Wisławy Szymborskiej. Drugi segment znaczeniowy liryku tworzą strofy czwarta i piąta, które, zdaniem badacza, wyraźnie kontrastują ze strofami ich poprzedzającymi (Pelczar 1998: 466–467). Po szczegółowym opisie kobiet kojarzących się z epoką baroku i płótnami Rubensa, poetka prezentuje bohaterki, a może nawet antybohaterki, będące ich przeciwieństwem. Ten widoczny kontrast stanowi zasadę kompozycyjną tekstu (Zajkowska 1998: 57). Słusznie podkreśla Ewa Letachowicz, że ten fragment wiersza w sposób diametralny odbiega „w obrazowaniu językowym i stylistycznym od fragmentów prezentujących rubensowskie piękności” (Letachowicz 1994: 77). Dla „chudych sióstr” cór baroku nie ma miejsca na obrazie. Styl baroku nie pozwalał na to, aby na obrazach przedstawiających kobiety mogły się znaleźć te z nich, które nie wyróżniały się rubensowskimi kształtami. Autorka *Stu pociech* wyraźnie akcentuje to w drugim segmencie tekstu. Efekt kontrastu został osiągnięty dzięki użyciu określonych środków wyrazu: *chude siostry, wygnanki stylu, policzone żebra, sterczące łopatki*. Z jednej strony mamy obraz kobiet o bujnych, rozrośniętych ciałach, a z drugiej – kobiet przesadnie wychudzonych, z widocznymi kośćmi na ich ciele. Spotykamy zatem wyraźną opozycję: kobiety Rubensa i kobiety „nie-Rubensa” (Letachowicz 1994: 79). Właśnie tę drugą grupę kobiet jakby odrzuca styl baroku, nie mieszczą się one w przyjętych konwencjach, i – jak pisze poetka – zanim ich dobrze zbudowane siostry pojawiły się na barokowych płótnach, te zdążyły oddalić się po niezamalowanej stronie obrazu. W istocie można przyjąć, że w epoce baroku w ogóle nie miałyby szans, by się tam pojawić.

Przyjrzyjmy się warstwie leksykalnej rosyjskiego tłumaczenia *Kobiet Rubensa*, oddającej przedstawione wyżej treści. Warto zatrzymać się tu przede wszystkim na dwóch połączeniach wyrazowych: *изгойки стиля* i *худенькие лопатки*. Jako ekwiwalent występującego w oryginale rzeczownika *wygnanki* Asar Eppel użył leksemu *изгойки*, stosując podobny zabieg, jak uczynił to w przypadku z rzeczownikiem *богатырессы*, o którym już wspominaliśmy wcześniej. Forma gramatyczna *изгойка* nie jest poświadczona w słowniku współczesnego języka rosyjskiego, ale tłumacz dla potrzeb oddania polskiego *wygnanki* utworzył żeńską formę od rzeczownika *изгой*, oznaczającego w przenośni ‘Человек, стоящий вне какой-либо среды, общества, отвергнутый ими; отверженный, отщепенец’ (Словарь русского языка, т. 1: 641). Podane znaczenie omawianego leksemu w pełni usprawiedliwia zabieg słowotwórczy tłumacza i utworzenie przez niego dla celów poetyckich formy żeńskiej. W drugim interesującym nas połączeniu wyrazowym spotykamy epitet *худенькие*, odnoszący się do wyrazu określanego *лопатки* i zastępujący polski odpowiednik *sterczące*. Tłumacz kolejny raz rezygnuje z ekwiwalentu słownikowego *торчащие лопатки*, który występuje w języku rosyjskim, i zastępuje łagodniejszym, a nawet w pewnym stopniu pieszczotliwym *худенькие*, co na pierwszy rzut oka można potraktować jako błąd translatorski, gdyż polskie określenie *sterczący* bliskie jest znaczenia ‘wystający; nieprzylegający do czegoś’. Ktoś, kto ma sterczące łopatki, należy do osób wyjątkowo chudych, może nawet cierpiących głód. Rosyjski ekwiwalent nie w pełni oddaje wspomniane odcienie znaczeniowe.

Przejdźmy teraz do segmentu końcowego omawianego liryku. Znajdziemy w nim odpowiedź, dlaczego kobiety szczupłe były nieobecne na płótnach Rubensa, dlaczego – jak pisze Wojciech Pelczar – były one skazane na niebyt przez sztukę baroku (Pelczar 1998: 37). W odróżnieniu od wieku trzynastego, kiedy kobieta szczupła spełniałaby wymogi kanonu piękna i przedstawiana byłaby na złotym tle, a także dwudziestego, kiedy szczupłość niekiedy na granicy anoreksji pozwalałaby znaleźć się jej na srebrnym ekranie, być może nieodstępnym dla współczesnych cór baroku.

Ostatnie cztery wersy wiersza to powrót barokowej poetyki. Poetka operuje znów epitetami wyraźnie kontrastującymi z poprzednimi trzema strofami: *wąsaty, spocony, wrzący* i wskazującymi na barokowy styl. Z punktu widzenia pragmatyki przekładu najbardziej interesujący wydaje się ostatni z wymienionych leksemów – *wrzący*, który w tekście *Kobiet Rubensa* określa alkowę i został oddany w języku przekładu jako *пышущий*. Epitet *wrzący* kojarzymy zwykle z wysoką temperaturą, osiągającą jakieś maksymalne wskaźniki. Jej użycie w tekście, podobnie jak motyw *spoczonego rumaka*, eksponuje erotyzm i pierwiastek cielesny, tak charakterystyczne dla sztuki barokowej. Zaproponowany przez tłumacza leksem *пышущий* wyjątkowo trafnie oddaje znaczenie jego polskiego ekwiwalentu, gdyż jedno ze znaczeń czasownika *пыхать* również kojarzy się z tworzeniem wysokiej temperatury: *пыхать* – ‘излучать (жар), обдавать (жаром)’ (Словарь русского языка, т. 3: 569), co można przetłumaczyć jako ‘buchać gorącym powietrzem’.

Przedstawiona analiza nie wyczerpuje podjętej w tytule artykułu problematyki powinowactwa poezji Wisławy Szymborskiej ze sztukami plastycznymi. W samych tylko *Kobietach Rubensa* nie poruszyliśmy kilku interesujących zagadnień, chociażby takich jak problem świata barw czy problem instrumentalizacji. Być może staną się one w przyszłości przedmiotem odrębnych rozważań.

Teksty

Wisława Szymborska, *Kobiety Rubensa* – *Рубенсовские женщины*, [w:] Wisława Szymborska, *Wiersze wybrane* – *Избранное*, wydanie dwujęzyczne z rosyjskim przekładem Asara Eppela, Moskwa 2007, s. 32–35.

Literatura

Grądział J., 1996, *Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej*, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 85–102.

Hockney D., 2007, *Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów*, Kraków.

Kram J., 1986, *Dzieła plastyczne – Inspiracje w poezji współczesnej (Herbert – Grochowiak – Szymborska)*, „Polonistyka”, nr 3, s. 182–192.

Krawczyk A., 2006, *Literackie fascynacje malarstwem*, Kielce.

Legiężyńska A., 1997, *Powtórka z Szymborskiej*, „Polonistyka”, nr 8, s. 452–457.

Letachowicz E., 1994, *Wiersz Wisławy Szymborskiej „Kobiety Rubensa” jako płaszczyzna prezentacji dwóch światów wartości*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu”, z. 34, s. 75–80.

Ligęza W., 2001, *Świat w stanie korekty. Poezji Wisławy Szymborskiej*, Kraków.

Pelczar W., 1997, *Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu*, „Polonistyka”, nr 8, s. 466–473.

Pelczar W., 1998, *Wisławy Szymborskiej ze sztuką obrazu poetycki dialog*, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, Seria Filologiczna, z. 29, s. 37–51.

Rzepińska M., 1988, *Siedem wieków malarstwa europejskiego*, Wrocław.

Słownik języka polskiego, t. I–XI, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1958–1968.

Wysłouch S., 2007, *Dwa spotkania z Rubensem – Różewicz i Szymborska*, „Polonistyka”, nr 7, s. 6–11.

Zajkowska J., 1998, *Kobiety Rubensa*, „Cogito”, nr 9, s. 56–58.

Словарь русского языка, т. 1–4, под ред. А.П. Евгеньевой, Москва 1981–1984.

О связях поэзии Виславы Шимборской с живописью.

Русский перевод стихотворения «Рубенсовские женщины»

Резюме

Легко заметить тесные связи поэзии Виславы Шимборской с живописью. Автор статьи прослеживает эти отношения на примере стихотворения «Рубенсовские женщины». Произведение не представляет собой описания какого-либо полотна Питера Пауля Рубенса, оно лишь вскользь затрагивает тематику его картин. Анализ оригинального и переводного текстов показывает, каким образом Асару Эппелю удалось передать гиперболы, сравнения, поэтические неологизмы, олицетворения, эпитеты – тропы, к которым прибегала при создании произведения польская поэтесса. Переводчик находит адекватные художественные средства, чтобы передать атмосферу эпохи барокко, которой исполнено произведение Виславы Шимборской.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Ewa Donesch-Jeżo

Język medycyny: analiza porównawcza prezentacji systemu języka w materiałach do nauczania specjalistycznego języka angielskiego i rosyjskiego na tle współczesnych teorii przyswajania języka obcego

Wstęp

Rozwój międzynarodowej współpracy w różnych dziedzinach, jak nauka, kultura, wymiana handlowa, turystyka oraz otwarcie granic w Europie, zwiększyło możliwości podjęcia pracy, a także studiów poza granicami danego kraju. Warunkiem koniecznym do podjęcia działalności na polu zawodowym lub naukowym za granicą jest znajomość nie tylko języka ogólnego, lecz także języka używanego w danym środowisku zawodowym, lub akademickim, czyli języka specjalistycznego. W związku z tym w ostatnich latach można zauważyć gwałtownie rosnącą popularność specjalistycznych (zawodowych) kursów języków obcych.

Zasadniczo, nauka języka obcego specjalistycznego ma miejsce w szkołach wyższych, gdzie kształcenie języka używanego przez przedstawicieli danej grupy akademickiej i zawodowej często jest włączone w program lektoratów języków obcych.

Nauczanie języka obcego dla celów specjalistycznych jest podejściem do nauczania języka, określanym jako LSP (*Languages for Specific Purposes*), a ze względu na to, że początek tego podejścia miał miejsce w obszarze języka angielskiego, który jest obecnie traktowany jako *lingua franca* w wielu dziedzinach, określane jest również jako ESP (*English for Specific Purposes*). W ramach tego podejścia nauczany jest również język medycyny na lektoratach w uczelniach medycznych. Nauczanie LSP, czyli każdego języka specjalistycznego, nie należy do łatwych zadań, bowiem wiąże się z opracowaniem odpowiedniego programu, wyborem i/lub preparacją odpowiednich materiałów nauczania, a także wyborem odpowiednich metod nauczania, których celem jest rozwinięcie u słuchaczy znajomości specjalistycznego słownictwa, frazeologii i struktur gramatycznych niezbędnych do poprawnej komunikacji zawodowej.

Celem niniejszego artykułu jest:

1. Teoretyczne wyjaśnienie pojęcia języka specjalistycznego.
2. Przedstawienie ogólnej charakterystyki podejścia do nauczania języka specjalistycznego LSP/ESP.
3. Przedstawienie współczesnych trendów w przyswajaniu/nauczaniu języka obcego ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodologię nauczania LSP.

4. Porównanie metod prezentacji systemu języka w materiałach do nauczania specjalistycznego języka angielskiego i rosyjskiego w uczelniach medycznych.

Definicja języka specjalistycznego

Nie można przygotować optymalnego programu i preparować materiałów do nauczania języka specjalistycznego nie znając definicji tego języka i metodologii jego nauczania.

Definicja podana w *Podręcznym słowniku językoznawstwa stosowanego* mówi: „Język specjalistyczny (fachowy) jest to szczególna postać języka ogólnonarodowego, przystosowana do możliwie precyzyjnego opisu określonej gałęzi wiedzy lub techniki” (Szulc 1984: 106–107).

Podobną, nieco rozbudowaną definicję znajdziemy w *Słowniku dydaktyki języków obcych*, która traktuje język specjalistyczny jako wariant lub subjęzyk języka ogólnego, używanego przez określone grupy zawodowe i przystosowany do możliwie precyzyjnego opisu danej gałęzi wiedzy lub techniki. Różni się on od języka potocznego głównie słownictwem, pozwalającym na dokładniejsze i bardziej skrótowe definicje przedmiotów, relacji oraz procesów odnoszących się do danej specjalności (np. język medycyny, chemii, fizyki, język drukarzy itp.). Słownictwo języka specjalistycznego zawiera terminy standardowe (tzw. znormalizowane), niestandardowe oraz żargonowe (Szulc 1997: 102).

Nieco inaczej ujmuje to Babik (1996), który określa język naukowy danej dziedziny wiedzy, czyli język specjalistyczny, jako podzbiór języka naturalnego, w skład którego wchodzi głównie terminologia naukowa.

W swej strukturze formalnej (gramatycznej) języki specjalistyczne nie odbiegają w zasadzie od języka ogólnego, jakkolwiek mogą one posiadać nieco inną częstotliwość występowania określonych form niż w języku ogólnym (np. częstsze występowanie strony biernej).

Kubiak (2002: 6) podaje następujące kryteria wyróżniające język zawodowy od języka ogólnego:

1. użytkownicy języka (grupa, warstwa społeczna),
2. obszar użytkowania,
3. stopień formalności (dostępności, zrozumiałości),
4. medium (pismo, mowa),
5. cel i wynik posługiwania się językiem,
6. stopień normalizacji (normy skodyfikowane i rzeczywiste użycie języka).

Inne cechy charakterystyczne dla subjęzyka, podane przez tego autora to: określone struktury gramatyczne, przewaga terminologii fachowej nad słownictwem ogólnym, różne typy tekstów fachowych (np. dyskusja, recenzja, wykład, sprawozdanie, pogadanka popularnonaukowa, referat itp.) (Kubiak 2002: 7).

Według Wojnickiego (1991: 46) precyzyjne odróżnienie jednego języka specjalistycznego (subjęzyka) od innych jest technicznie niemożliwe ze względu na to, iż oprócz cech wspólnych dla danego subjęzyka, jak słownictwo, składnia, spójność tekstu, dyskurs czyli typ przekazu dostosowany do sytuacji i konwencje socjolingwistyczne, każdy subjęzyk posiada również takie, które występują w innych subjęzykach lub w języku ogólnonarodowym.

Z definicji subjęzyka wynika, iż język medycyny, czyli taki jakim posługują się lekarze, stomatolodzy i pielęgniarki, można zaliczyć do języka zawodowego (czyli subjęzyka), bowiem jest to specyficzny język, którym posługuje się określona grupa zawodowa. Obszarem użytkowania tego języka są przede wszystkim miejsca ich pracy, tj. szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, prywatne gabinety, a także domy pacjentów, a w przypadku dokształcania się przez osoby z tej grupy społecznej – konferencje, sympozja naukowe, kursy, a także literatura specjalistyczna.

Stopień formalności języka specjalistycznego zależy od adresata wypowiedzi, bądź pisma. Lekarz, czy pielęgniarka w ustnej komunikacji z pacjentem używa języka w formie dla niego zrozumiałej, czyli języka prostego często nawet kolokwialnego z jak najmniejszą ilością niezrozumiałej terminologii medycznej. Natomiast w rozmowach na tematy zawodowe między lekarzami, jak również lekarzem i pielęgniarką, granica formalności przesuwają się na rzecz większej ilości terminologii fachowej. Dużą formalnością charakteryzuje się język pisany. Język używany w dokumentach, pismach czy kartach pacjentów posiada cechy charakterystyczne dotyczące terminologii fachowej i struktur gramatycznych poszczególnych typów tekstów.

Charakterystyka podejścia LSP/ESP

LSP/ESP jest to podejście, lub, jak twierdzą niektórzy glottodydaktycy, ruch, oparty na założeniu, iż nauczanie języka obcego powinno być ściśle dopasowane do specyficznych potrzeb lingwistycznych i komunikacyjnych określonej, zwykle wąskiej, grupy słuchaczy dorosłych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na socjokulturowy kontekst, w którym słuchacze będą posługiwali się językiem obcym (Hutchinson, Waters 1987: 21; Strevens 1988: 1–3; Dudley-Evans et al. 1998: 4). W podejściu tym dominującą rolę odrywają trzy elementy: (1) analiza potrzeb uczących się, związanych z ich przyszłą pracą zawodową i planami na przyszłość; (2) analiza sytuacji docelowej, czyli określenie cech konkretnej sytuacji, w której uczący się będą używali języka obcego; (3) analiza dyskursu, czyli analiza charakterystycznych cech języka używanego w tych sytuacjach. Powyższe procedury mają na celu przygotowanie słuchacza do efektywnej komunikacji w konkretnej sytuacji docelowej (Hutchinson, Waters 1987: 12; Jordan 1997: 22; Dudley-Evans et al. 1998: 121).

W podejściu ESP ważną rolę odgrywa analiza specyficznych tekstów pod kątem ich struktury i funkcji (*discourse analysis*) (Widdowson 1978; Hyland 2005). Dlatego też materiały glottodydaktyczne powinny dostarczać odpowiednich modeli dyskursu, dostosowanych do potrzeb uczniów, które w połączeniu ze strategiami ich analizy pozwolą na rozwinięcie u uczących się umiejętności samodzielnego formowania dyskursu, odpowiednio dostosowanego do kontekstu społecznego. W analizie dyskursu rozpatruje się głównie dwie cechy, tj. spójność w łączeniu zdań (*cohesion*) oraz związek między zdaniami i aktami komunikacji przez nie tworzonymi (*coherence*). Analiza cech dyskursu, jego różnych stylów (*genre*), analiza funkcji dyskursu, jak również zasad jego tworzenia i rozwijania jest jedną z podstawowych technik stosowanych na kursach ESP/LSP, dostarczających wiedzy o formalnych właściwościach języka używanego w różnych dziedzinach naukowych i sytuacjach zawodach.

Przykładem może tutaj posłużyć stosowanie strony czynnej i biernej w tekstach naukowych, które uwarunkowane jest funkcjonalnie: autorzy stosują formę czynną kiedy opisują własne dokonania, np. „*we selected certain patients for detailed study*”, podczas gdy strony biernej używają w opisie standardowych procedur, np. „*the study group was divided into three subgroups*”. Również stosowanie, tzw. aseku-racji (*hedging*), czyli czasowników, takich jak *suggest*, *appear to*, *seem to*, *tend* oraz czasowników modalnych, jak *can*, *could*, *may*, *might*, etc. ma na celu zaznaczenie dystansu autora lub jego neutralnego stanowiska w stosunku do stwierdzenia, które przekazuje, np.: „*The data quoted in [...] suggest that the value [...]*”, „*I can conclude that [...]*” (Dudley-Evans et al. 1998: 76–77; Hyland 2005: 52).

Współczesne trendy w nauczaniu/uczeniu się języka obcego

Metodologia LSP/ESP nie różni się radykalnie od metodologii stosowanej w nauczaniu języka ogólnego (Dudley-Evans et al. 1998; Jordan 1997). Istnieją jednak dwie cechy charakterystyczne odróżniające metodologię LSP od metodologii języka ogólnego. Pierwszą jest fakt, iż zidentyfikowane potrzeby uczniów mają zasadniczy wpływ na sylabus, treści i metody nauczania, a dyskurs używany w danej sytuacji docelowej ma istotny wpływ na ćwiczenia leksykalno-gramatyczne i zadania komunikacyjne. Drugą cechą charakterystyczną dla LSP, która staje się coraz wyraźniejsza w miarę rosnącej specyfiki kursu jest to, iż uczniowie często mają większą wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie naukowej niż nauczyciel języka obcego. Sytuacja ta może być doskonale wykorzystana przez nauczyciela do generowania autentycznej komunikacji w grupie.

Istnieją jednak pewne trendy we współczesnym nauczaniu/uczeniu się języka obcego, które mają istotny wpływ na metodologię LSP. Przede wszystkim znamienną rolę odgrywa ekspozycja na znaczący *input* językowy, najlepiej autentyczny, wraz z równoczesną świadomą i analityczną percepcją formalnych cech języka docelowego (DeKeyser 1998; Marton 1988). Nauka gramatyki wraz z rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych jest zadaniem, którego nie można pominąć, z tym że wybór technik prezentacji materiału powinien uwzględniać takie czynniki, jak poziom nauczanego języka, potrzeby komunikacyjne uczniów, indywidualne właściwości uczniów i preferowany przez nich styl i strategie uczenia się oraz rodzaj wprowadzanego materiału.

Jednym z istotnych czynników ułatwiających przyswajanie gramatyki jest świadome zwracanie uwagi na podobieństwa i różnice w systemach języka ojczystego i docelowego oraz stosowanie graficznych reprezentacji wyjaśnień gramatycznych, na przykład w formie kwantów informacji lingwistycznej (Henzel 1996a, b).

Dominującym podejściem do nauczania szeroko pojętej kompetencji obcojęzycznej, w tym również kompetencji niezbędnej do posługiwania się językiem specjalistycznym, jest podejście komunikacyjne, które jest podejściem najbardziej metodologicznie otwartym, tzn. sięgającym do technik nauczania wypracowanych przez inne metody. Jest w nim miejsce zarówno na eksplicytnie nauczanie, jak i na nauczanie implicytne, które jest rezultatem spontanicznych podświadomych mechanizmów, aktywowanych, kiedy uczniowie są włączeni w komunikację w języku obcym (Komorowska 1993, 2001; Littlewood 1981). W podejściu tym ważną rolę odgrywa aktywizowanie uczniów do wykonywania zadań podnoszących ich

świadomość lingwistyczną i ukazujących funkcjonowanie struktur gramatycznych w autentycznej, lub zbliżonej do autentycznej, komunikacji (Sharwood-Smith 1981; Rutherford 1987). W ramach tego podejścia rozwinął się nurt „focus on form”, który zakłada, iż zwrócenie uwagi uczniów na określoną formę językową powinno mieć miejsce w trakcie dyskursu, którego zasadniczym celem jest przekazywanie znaczeń na drodze autentycznej komunikacji, integrując, w ten sposób, naukę poprawności z nauką płynności w użyciu języka (Long et al. 1998).

Chociaż w odniesieniu do LSP nie istnieje jednolita, ściśle określona teoria metodologiczna, większość glottodydaktyków podkreśla następujące aspekty tego podejścia: funkcjonalny sylabus, komunikacyjne i zorientowane na strategię uczenia się (*learning-centred*) metody prezentacji systemu języka, ćwiczenia i zadania podnoszące świadomość odnośnie funkcji i znaczenia form językowych (*task-based learning*), autentyczność tekstów ściśle powiązanych z przedmiotami kierunkowymi studiów i sytuacją docelową, oraz analiza dyskursu.

Metody prezentacji systemu języka w materiałach do nauczania specjalistycznego języka angielskiego i rosyjskiego w uczelniach medycznych

Chociaż podręczniki i skrypty do nauczania języka medycznego na lektoratach języka angielskiego i rosyjskiego w uczelniach medycznych uczą dwóch różnych języków, należących do dwóch odmiennych rodzin językowych, w kształtowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej widoczne są pewne cechy wspólne:

1. Podejście do nauczania gramatyki w większości podręczników jest eksplicytne, polegające na podaniu gotowej reguły gramatycznej, zilustrowanej, lub nie, przykładami.
2. W żadnym z analizowanych podręczników nie zastosowano podejścia, które wydaje się być jak najbardziej odpowiednie dla osób dorosłych, tj. podejścia indukcyjno-dedukcyjnego, gdzie dużą rolę odgrywa samodzielne dochodzenie do znaczenia zawartości syntaktycznej tekstów.
3. W żadnym podręczniku nie zastosowano graficznych reprezentacji wyjaśnień gramatycznych w formie algorytmów, mediatorów, czy kwantów informacji lingwistycznej, efektywnie wspomagających reguły gramatyczne.
4. W większości podręczników ćwiczenia kontrolowane (przedkomunikacyjne) poprzedzają swobodne (komunikacyjne).
5. Niewiele podręczników w prezentacji materiału gramatycznego i ćwiczeniach gramatycznych kładzie nacisk na aspekt semantyczny i funkcję komunikacyjną ćwiczonych elementów strukturalnych.
6. W większości podręczników i skryptów nie występuje płynne przechodzenie od ćwiczeń kontrolowanych do coraz bardziej swobodnych, mających cechy autentycznego porozumiewania się.
7. Niewiele podręczników oferuje zróżnicowane formy pracy, jak np. rozwiązywanie zadań w grupach i parach, rozwijające autonomię ucznia, jak również niewiele podręczników daje studentom możliwość wyboru postępowania, odpowiadającego jego stylowi i strategii nauki.

Wnioski

Przedstawione powyżej wyniki skłaniają do wniosku, iż samodzielna preparacja materiałów do nauczania języków obcych specjalistycznych, która dokonywana jest według programów autorskich, skonstruowanych przez indywidualnych autorów-wykładowców, powinna być zawsze oparta na wcześniej przeprowadzonej: (1) analizie potrzeb studentów, która powinna określić: (a) w jakich rolach społecznych i w jakich sytuacjach studenci będą używać języka obcego, (b) jaki jest zakres tematów, na które rozmawiają i będą rozmawiać, (c) jakie treści wyrażają i będą wyrażać w przyszłości, (d) jakie sprawności językowe są dla nich najważniejsze; (2) analizie dyskursu, która pozwoli określić: (a) charakterystyczne cechy języka używanego w sytuacjach docelowych studentów, (b) cechy języka i elementy systemu języka, z którymi należy zapoznać studentów.

Aby ułatwić percepcję nowo wprowadzanych w tekście elementów gramatycznych, należy uczynić je zauważalnymi. W związku z tym sugeruję, aby w tekście podręcznika prezentowane zjawiska gramatyczne były wyeksponowane graficznie poprzez użycie podkreśleń, odmiennej czcionki itp.

Aby zoptymalizować proces przekodowywania wypowiedzi z L1 na L2 poprzez zwiększenie dostępności wiedzy deklaratywnej, należy oprócz komentarza gramatycznego podawać jego zredukowany wariant w postaci kwantu informacji lingwistycznej. Proponuję zastosowanie bilingwalnych kwantów egzemplifikujących, które nie tylko przydatne są do bezpośredniego zastosowania w operacjach refleksji momentalnej, ale ze względu na ich bilingwalny charakter pozwalają również na kontrastywną prezentację struktur gramatycznych języka ojczystego i docelowego.

Literatura

- Babik W., 1996, *Generowanie języków informacyjno-wyszukiwawczych ze słowników terminologicznych*, Kraków.
- DeKeyser R.M., 1998, *Beyond Focus on Form: Cognitive Perspectives on Learning and Practicing Second Language Grammar*, [w:] K. Doughty, J. Williams (red.), *Focus on Form in Classroom: Second Language Acquisition*, Cambridge, s. 42–63.
- Dudley-Evans T., St John M.J., 1998, *Developments in English for Specific Purposes: A Multi-disciplinary Approach*, Cambridge.
- Henzel J., 1996a, *Russian Psycholinguistic Theories and the Bilingual Model of Sentence Production*, „Prace Komisji Słowianoznawstwa” 50. „Collectanea Slavica”, s. 261–371.
- Henzel J., 1996b, *Квантование лингвистической информации и его применение в лингводидактических материалах по русскому языку*, [w:] T. Żeberek (red.), *Вопросы лингвистики и лингводидактики*, Kraków, s. 214–222.
- Hutchinson T., Waters A., 1987, *English for Specific Purposes*, Cambridge.
- Hyland K., 2005, *Metadiscourse*, London–New York.
- Jordan R.R., 1997, *English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers*, Cambridge.
- Komorowska H., 1993, *Podstawy metodyki nauczania języków obcych*, Warszawa.
- Komorowska H., 2001, *Metodyka nauczania języków obcych*, Warszawa.
- Kubiak B., 2002, *Pojęcie języka specjalistycznego*, „Języki Obce w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli”, nr 5, Warszawa, s. 6–12.

- Littlewood W., 1981, *Communicative Language Teaching*, Cambridge.
- Long M.H., Robinson P., 1998, *Focus on Form: Theory, Research, and Practice*, [w:] K. Doughty, J. Williams (red.), *Focus on Form in Classroom: Second Language Acquisition*, Cambridge, s. 13–42.
- Marton W., 1988, *Methods in English Language Teaching: Frameworks and Options*, New York.
- Polański K. (red.), 1999, *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*, Warszawa.
- Rutherford W.E., 1987, *Second Language Grammar: Learning and Teaching*, London.
- Sharwood-Smith M., 1981, *Consciousness Raising and the Second Language Learner*, „Applied Linguistics” nr 2, s. 159–169.
- Stevens P., 1988, *ESP after Twenty Years: A Re-appraisal*, [w:] Tickoo M. (red.), *ESP: State of the Art*, Singapore.
- Szulc A., 1984, *Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego*, Warszawa.
- Szulc A., 1997, *Słownik dydaktyki języków obcych*, Warszawa.
- Widdowson H.G., 1978, *Teaching Language as Communication*, Oxford.
- Wojnicki S., 1991, *Nauczanie języków obcych dla celów zawodowych*, Warszawa.

Язык медицины: сопоставительный анализ представления языковой системы в материалах для обучения профессиональному английскому и русскому языкам на фоне современных теорий усвоения иностранного языка

Резюме

Преподавание иностранного языка в вузах связано с подходом к обучению языку в целях профессионального общения, называемого ESP (*English for Specific Purposes*, т.е. английский для специальных целей его изучения), или LSP (*Languages for Specific Purposes*, т.е. язык для специальных целей). ESP/LSP охватывает обучение как в профессиональных, так и в научных целях. В настоящей статье представлены особенности профессионального языка и важнейшие аспекты методики ESP/LSP, касающиеся методов и технических приемов преподавания профессионального языка. На этом фоне проведен сопоставительный анализ представления языковой системы в пособиях для обучения английскому и русскому языкам в медицинских вузах.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Ирина Дулебова

К вопросу об общем и особенном в словацком и русском политическом дискурсе

Политическая коммуникация призвана эмоционально воздействовать на граждан, формировать в их сознании соответствующую политическую картину мира. „Коренные социально-политические трансформации в России и в странах её бывших союзников привели к большим изменениям в системе коммуникации, в первую очередь имеем в виду либерализацию общественных отношений, которая концентрируется в свободе слова во всех СМИ... а все названные процессы отражаются в языковой системе” (Сипко 2008), что особо очевидно в политическом дискурсе России и Словакии последних лет.

Особенности политического дискурса в сложных процессах трансформации Словакии и России – тема для компаративного исследования наших славянских языков весьма актуальная и сложная одновременно. Одним из интереснейших аспектов такого исследования является языковой феномен коммуникативной корректности, так называемой „политической корректности” (далее ПК), ведь как следствие политических изменений последних лет в России и в Словакии, социального расслоения общества, нерешённых проблем национальных меньшинств, феминизации общества всё чаще встаёт вопрос о ПК в политическом дискурсе.

Политическая корректность языка выражается в стремлении „найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью и прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида” (Иванова 2002: 11). В Словакии и России, стремящихся как можно быстрее приблизиться к главным ценностям западной демократии, эти процессы также чрезвычайно активны, однако в целом можно констатировать, что в развитых демократиях люди к вопросу языковой ПК более чутки, нежели в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы. В Словакии и России тенденции ПК пока лишь намечаются, и словацкий политолог М. Кусый справедливо в связи с этим замечает, что у нас пока отсутствуют соз-

данные обществом неписанные законы, где в языке политики проходит граница между нормой и оскорблением: „Vždy sa nájde niekto z politikov, kto prekročí hranice. Za normálnych okolností by mal byť za to odsudzovaný, u nás sa takýto politický bulvár pokladá za obveselenie” (всегда найдётся кто-то из политиков, кто перейдёт границы. В нормальных условиях его необходимо бы было порицать, у нас же такая политическая желтизна считается развлечением) (Kusý 2001: 325). При изучении российского политического дискурса мы приходим к выводу, что в России ситуация с ПК весьма подобна нашей, словацкой. Вместо *снижения размера пособий, зарплат – вынуждены приступить к социально непопулярным мерам* и т.д. при этом дословно одинаково как в русском, так и словацком языках. *Передвижение сроков выплат* о невыплате месяцами зарплат бюджетникам в России. В Словакии, к счастью, подобный прецедент не имел места, а потому и язык не изобрёл соответствующую эвфимизацию. В России у всех на слуху *социально непривилегированные / малообеспеченные слои населения*. В Словакии это, соответственно, не бедные, но *sociálne slabé* (социально слабые) слои населения. Эвфемизмом является выражение *nedofinancované školstvo* (недофинансированное образование, читай „нищее”) или *situácia je taká, aká je* (ситуация такая, как она есть, то есть весьма неприглядная). Уже почти 20 лет, не желая припоминать не так давно ушедшие языковые социалистические клише, в Словакии не используется термин *trieda* (класс). Интересно, что в русском языке подобных процессов со словом *класс, классовый* не происходит, а вот на словацкий язык даже нейтральный *средний класс* необходимо переводить как *stredná vrstva* (средний слой). Лишь в историческом контексте используется в Словакии и слово *kapitalizmus* (капитализм), уступая место сегодня более приемлемым *postkomunistická spoločnosť* (посткоммунистическое общество) или *trhová ekonomika* (рыночная экономика). Такие выражения как *простые люди* (в России), *социально слабые слои населения* (в Словакии) вместо *бедные* или попросту *нищие* стали уже неотъемлемой частью современного русского и словацкого политического дискурса.

Часто правомерность ПК в политическом дискурсе становится спорным вопросом потому, что подвергает ревизии и такие аксиомы наших веками почитаемых моральных установок, как *бедность – не порок* в России и *čo chudobnému dáš, to ti pánboh stonásobne vráti* (что бедному дашь то господь бог воздаст сторицей). В нашей общеславянской традиции в бедности жить трудно, но не позорно, а вот богатство положительно не оценивается, да и русскому *богатому черти деньги куют* очень удачно вторит словацкое *skôr chudobný udelí ako bohatý* (бедный даёт охотнее чем богатый). Ум явно предпочтительнее, глупость не похвальна, но осуждается беззлобно, к тому же у русских как известно *много ума – много греха, а на дурне не взыщут / глупый про себя согрешит, а умный многих соблазнит* / да и вообще свой дурак лучше чужого умника. Со снисходительной, но доброй улыбкой смотрит на дурака и словацкая традиция: *Aj hlúpy niekedy niečo múdre povie / Sprostá hlava neplešivie, nešedivie, nebolieva / Sprostý máva šťastie* (у дурак может умное сказать / глупая голова не лысеет, не седеет, не болит / дуракам счастье).

Христианские страны, Россия (преимущественно православная) и Словакия (с её очень сильной католической традицией) предположительно тяжело могут принять ПК ревизию языка и применительно к этически организованной системе общехристианских ценностей, составляющих практическую мораль, что относится и к текстам Священного Писания, где широк состав слов, называющих человеческие немощи, телесные и духовные. А политический дискурс последних лет в наших странах особенно склонен апеллировать именно к христианскому сознанию своих реципиентов.

Что такое ПК сегодня в современном российском и словацком языке политики: модное слово или действительно существующий языковой и культурный феномен? Ведь появление все большего количества политкорректных слов и выражений отрицать невозможно. Мы не можем проводить в данном случае однозначную параллель между Словакией и Россией потому, что словацкая история и российская история а значит и языковой и культурный опыт весьма отличны, и современность далеко не одинакова. Невозможно оспаривать словацкий европоцентризм, страна входит в Европейское сообщество, в то время как о азиатско-европейской двойственности менталитета России спорить не приходится, и сегодняшнее состояние политики и экономики подтверждает эту двойственность. Политическая корректность в наших странах сегодня как направление развития языка вызывает много вопросов, критики, сомнений, но можно констатировать с уверенностью, что и в России, и в Словакии политическая корректность уже существует, хотя в отличие от Америки в наших странах она пока не переросла в идеологию.

В политлингвистике России и Словакии в последние годы весьма повысилось и внимание к анализу фразеологического бума в политической коммуникации, росту количества образных выражений, используемых в выступлениях политиков с констатацией, что оно возросло в несколько раз по сравнению с предыдущими периодами.

Чудинов в своей книге „Политическая лингвистика” среди прочих характеристик современной политической коммуникации выделяет её *ритуальность и агрессивность, эзотеричность и интертекстуальность* (Чудинов 2007: 89) чему использование фразеологизмов и образных выражений безусловно весьма способствует, ведь фразеологическая теория одним из существенных признаков фраземы считает экспрессивность, то есть именно её убеждающую и побуждающую коммуникативную функцию. К интернациональной фразеологии (далее ИФ) принято относить фразеологические единицы, источником которых является христианство (в первую очередь Библия), античная литература, мифология, история и всемирная литература. Многие из таких единиц относятся к крылатым выражениям. Интернациональная фразеология несмотря на особенности варианта и инварианта каждой локальной культуры, имеет свои изоморфные черты. Коммуникативное же послание в основном тождественно. Лингвистическом анализ политической коммуникации полностью подтверждает мысль словакиста Й. Млацека „в фразеологии языков тех народов которые несколько предыдущих десятилетий жили в социалистическом лагере все исследования подтверждают выразительную ревитализацию христиански и библейски мотивированных

фразем” (Mlacek 2007: 253). Проиллюстрируем это на примерах использования ИФ в сегодняшнем политическом дискурсе Словакии и России. Библиизмы используются практически одинаково, и что касается семантической их окраски и частотности в языке, общность христианской религии и общность книжного источника и у православного и у католического вероисповедания тому немало способствует.

Вот несколько примеров весьма популярных в политической коммуникации библиизмов :

Манна небесная / manna nebeská

To, čo sa v novembri 1989 zdalo mannou nebeskou, sa dnes ukazuje ako omyl (Slovo, 2001)

Можно сидеть и ждать манны небесной, а лучше, засучив рукава самому заработать на пропитание (РФ сегодня, 2006)

метать бисер перед свиньями / hádzať perly sviniam

Новый рубеж — завоевание международного признания, иначе и не стоило метать бисер перед свиньями (news.ntv.ru)

To je ako hádzať perly sviniam (о школьной реформе в Словакии, декабрь 2008, www.aktuality.sk)

волк в овечьей шкуре / vlk v ovčej koži

Про волков в овечьей шкуре. Недавно Госдума подготовила очередной ряд поправок в пакет антирейдерских законов (Российская газета, ноябрь 2008)

– *Prichádza vlk v ovčej koži* (SME, 2007)

Словацкая лингвистка Яна Складана пишет „мы исследовали фразеологические интернационализмы христианского происхождения в прессе и пришли к выводу, что в сравнении с ситуацией до 1989 года их использование значительно возросло и имеет значительную частотность” (Skladaná 2003: 112).

Что касается ИФ берущих своё начало в сокровищнице мировой литературы то мы не можем совместно со словацким русистом профессором Й. Сипко не отметить большую (по сравнению со словацкой) литературоцентричность русскоязычной политической коммуникации, что проявляется соответственно в том, что в современном языке политики России значительно больше ИФ берущих своё начало в наследии мировой литературы. В российских СМИ это, несомненно, литературоцентристская интертекстуальность, когда прецедентным текстом становятся именно литературные реминисценции. Суммаризируя многолетние наблюдения над особенностями интертекстуальности русского текста профессор Сипко подчёркивает, что здесь „однозначно доминируют литературные реминисценции... которые представляют один из принципиальных этнопсихолингвистических признаков русской культуры. Они подчёркивают её литературоцентризм...” и далее „...русско-словацкое сопоставление функционирования литературных реминисценций в современной русской и словацкой периодике имеет соотношение 16:1 в пользу русских литературных реминисценций” (Сипко 2003: 113).

Интересно по этому же поводу высказывается и словацкий профессор Й. Млачек, это мысль что в Словакии „вместе с отказом от классического

образования большая часть литературных фразем отходит на второй план" (Mlacek 2007: 266). Следующие ИФ нам удалось зарегистрировать лишь в русскоязычном политическом дискурсе: *Ярмарка тщеславия* (У. Теккерея), *Школа злословия* (Р. Шеридан), *Слуга двух господ* (К. Гольдони), *Что он Гекубе? Что ему Гекуба?* (В. Шекспир), *Человек – животное общественное* (Аристотель), *Остановись мгновенье, ты прекрасно* (Гёте), *Тайны Мадридского двора* (Г. Борн), *Страдания молодого Вертера* (Гёте), *С точки зрения вечности* (Спиноза), *Со щитом или на щите* (Плутарх), *Собака на сене* (Эзоп, Лопе де Вега), *Синяя птица* (Метерлинк), *Люди гибнут за металл* (Гёте).

Данные крылатые выражения весьма и весьма популярны в сегодняшней русскоязычной политической коммуникации, и пока ещё у российского реципиента политического дискурса достаточно „фоновых” знаний для их адекватного восприятия, авторы политических текстов будут их использовать вновь и вновь.

Современную перенасыщенность текста фразеологией и в Словакии и в России связывают с общей демократизацией жизни общества и соответственно свободным отношением участников коммуникации к выбору языковых средств выражения, с отсутствием политической и языковой цензуры, с реструктуризацией системы стилей русского и словацкого языка, с повышенной эмоциональностью современной политической речи, с поиском новых языковых средств для повышения выразительности текстов и привлечения к ним внимания слушателей.

Литература

- Kusý M., 2001, *Na vlnách Slobodnej Európy*, Kalligram, Bratislava.
- Mlacek J., 2007, *Študie a state o frazeológii*, KU v Ružomberku, Filozofická fakulta, Ružomberok.
- Skladaná J., 2003, *Textotvorné potencie frazeologických internacionalizmov*, „Jazykovedný časopis”, roč. 54, č. 1–2.
- Иванова О., 2002, *Политкорректность в России*, „Вестник Евразии”, № 3.
- Сипко Й., 2003, *Этнопсихолингвистические основы русско-словацких сопоставлений*, Прешов.
- Сипко Й., 2008, *В поисках истинного смысла*, FFPU v Prešove.
- Чудинов А., 2007, *Политическая лингвистика*, Москва.

Z problematyki cech wspólnych i osobliwych w politycznym dyskursie słowackim i rosyjskim

Streszczenie

Artykuł dotyczy obecnego stanu politycznego dyskursu w Rosji i na Słowacji. Koncentruje się na wspólnych dla obu i specyficznych dla każdego języka aspektach współczesnego dyskursu politycznego. Analiza odnosi się głównie do faktu pojawiania się eufemizmów i rozwoju międzynarodowej frazeologii w obu językach. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że mimo znacznych narodowych osobliwości istnieje oczywisty wspólny trend w zakresie rozwoju współczesnego języka polityki w obu krajach.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Renata Dźwigoł

Diabeł tkwi... we frazeologii

*diabeł dycki diabłem zostanie 'diabła nie da się zmienić w nic lepszego':
ciesz. Djoboł dycki djobłym zostanie (SGP PAN V: 517); Diabeł zawsze
diabłem zostanie (PBŚ: 210)*

Dwa lata temu ukazał się artykuł prof. Kazimierza Długosza z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. *Językowy obraz diabła w przysłowiach*. Autor opisał m.in. wygląd, cechy charakteru, miejsce przebywania (w suchej wierzbie, rokitinie, w konopiach, na bagnach), czas, w którym się pojawia, a także czynności demona zła. Zaledwie zaznaczył, że „w wielu przysłowiach zestawia się Boga z szatanem”, zilustrował to kilkoma przykładami przysłów (Długosz 2007: 153–158).

Mnie zainteresowało to, jak w „diabelskich” przysłowiach zostało odzwierciedlone sacrum – to, co święte. Jak w świadomości potocznej (przede wszystkim w świadomości ludowej) te dwie sfery wierzeniowe funkcjonują. Na ile są osobne, na ile się przenikają.

Wyróżniane jest tzw. sacrum pozytywne (Bóg, anioł → dobro) i tzw. sacrum negatywne (diabeł → zło). Chciałabym tu przedstawić próbę opisu jak te płaszczyzny wierzeniowe współistnieją w świadomości ludowej, w świadomości nosiciela folkloru. Na marginesie dodam, że Kaszubi nazywali diabła *czarnym bogiem*, a także *czarnym aniołem* (Długosz 2007: 155)¹.

Diabeł tkwi... we frazeologii. Frazeologię traktuję tutaj szeroko – materiał językowy, który przeanalizowałam stanowią bowiem przysłowia właściwe, zwroty przysłowiowe, tj. frazeologizmy (Lewicki, Pajdzińska 2001: 324), powiedzonka, skrzydlate słowa. Wyescerpowałam je z NKPP, z drugiego wydania 60. tomu DWOK-u (zawierającego przysłowia)², ze słowników frazeologicznych, ze słowników ogólnych języka polskiego (historycznych i współczesnych), ze słowników gwarowych.

Wykorzystałam też dwa zbiory przysłów, w których tytułach pojawił się wyraz *diabeł*: *Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Zbiór przysłów i wyrażen przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur* w opracowaniu Tadeusza Orackiego z 1977 r. oraz *Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Sprawy boskie i sprawy diabelskie w przysłowia i zwrotach przysłowiowych polskich* w opracowaniu Anny Jach oraz Barbary i Adama Podgórskich z 2004 r.³

¹ Zob. Dźwigoł 2004: 94.

² Skrót: Kolberg.

³ Skrót: PBŚ. Autorzy (pracownicy policji, zob. *podgorscy.comoj.com*) piszą we wstępie: „Są to zwroty i przysłowia wyłącznie polskie, wybrane, a niekiedy żmudnie wyłowione

Przeanalizowałam te jednostki frazeologiczne, w których zostały użyte równocześnie: 1. leksem *diabeł* lub jego synonimy (takie jak *czart*, *bies*, *diasek*, *złe*, *lichy*), lub przymiotnik od niego utworzony (*diabelski*) oraz 2. leksemy reprezentujące tzw. sacrum pozytywne, religijne – ale tylko te, które wyraźnie są osadzone w profanum, w ziemskiej doczesności: nazwy rzeczy, czynności, miejsc i osób związanych z sacrum. Grupa frazeologizmów „diabelskich”, w których występują podstawowe dla sacrum leksemy: *Bóg*, *anioł* będzie przedmiotem osobnego opracowania.

Diabeł tkwi... we frazeologii. *Diabeł*, nie *szatan*. Ten ostatni wyraz pojawia się sporadycznie. Np. w Kolbergowskim tomie przysłów zostały zarejestrowane tylko 3 przysłowia z leksemem *szatan*: *Gdzie ksiądz swatem, tam szatan kumem* – jako odmianka przysł. *Gdzie ksiądz swatem, tam diabeł kumotrem* (Kolberg: 219); *Nazwał szatan symoniją⁴ prezentem, lichwą interesem* (Kolberg: 445); *Nie masz gorszego szatana, jak z chłopą zrobić pana* (Kolberg: 78).

Diabeł a rzeczy oraz czynności związane z sacrum

– ‘KRZYŻ’ (boża męka, figura)

Często *diabeł siada za krzyżem* (NKPP I: 426 – z A) – w *Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny* podano znaczenie: ‘pozory mylą’ (Zgółk VIII: 345); także: *Często diabeł siada pod krzyżem* (PBŚ: 203);

Diabeł się krzyża boi (NKPP I: 427)⁵; także: *boi się jak diabeł krzyża* (PBŚ: 198);

Bies na Bożą Mękę ni może zgarac (kaszub.) (PBŚ: 28) ‘patrzeć’;

iść jak diabeł wedle krzyża ‘obchodzić z daleka, unikać’ (SGP PAN V: 514);

obłązić (kogoś), jak diabeł Bożą mękę [‘krzyż’] ‘obchodzić z daleka, ostrożnie’ (SGP PAN V: 515); także: *Obchodzi z daleka, jak diabeł kole krzyża* (ciesz.) (PBŚ: 243);

Dyabła się nie boi, kto przy krzyżu stoi (Kolberg: 219) – Linde podaje znaczenie: ‘cnota puklerz; cnotliwy bezpieczny’ (Linde I: 576);

Samo się złe o bożą mękę rozbije; także: *Samo się złe (diabeł) o bożą mękę rozbije*; *Do czasu człek bezbożny krzywdzi, broi, mąci; mówią, że się samo złe o drzewo roztrąci* (Kolberg: 533);

Krzyż na piersiach, a diabła ma na / w sercu (PBŚ: 228);

Modli się pod figurą, a ma diabła pod skórą ‘znaczy obłudnego świętoszka, czyhającego na zgubę współbraci; figura jest to krzyż lub postać świętego przy wioskach lub na rozstajnych drogach wzniesiony’; także: *Modli się pod figurą, a ma diabła za skórą*; *Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą*; *Modli się pod figurą, a nosi diabła pod skórą* (Kolberg: 274); *Kłęczy pod figurą, a diabła ma za skórą* (SGP PAN V: 509); *Siedzi pod figurą, a dyabła ma za skórą* ‘świętoszek, obłudnik’ (Linde I: 576); *Siedzi pod figurą, a dyabła ma za skórą* (Swarsz I: 455); *Siedzi pod figurą, a ma diabła pod skórą* (Kolberg: 274); *Modli się ze skrucą, a diabła ma za pazuchą* (PBŚ: 236); *Kłęczy pod krzyżem, a diabła ma za kołnierzem* (PBŚ: 227);

przestroga:

Niech każdy się strzeże nogi na krzyż założyć: złęknie się bowiem diabeł i przyśni się (PBŚ: 242).

z licznych opracowań, a także zebrane przez nas samych” (PBŚ, 5). Podobnie zgromadził swój materiał Oracki (zob. Oracki 1977: 14–15).

⁴ *Symonia* ‘handlowanie urzędami kościelnymi’ (Kolberg: 569).

⁵ Pierwsza notacja – 1735 r.

– WODA ŚWIĘCONA

bać się (kogoś, czegoś) jak diabeł święconej wody ‘ogromnie się bać’ (SGP PAN V: 514); *Boi się jak diabeł święconej wody* (PBŚ: 198); także: *Kurczy się jak diabeł pod święconą wodą* (PBŚ: 231);

Diabłu i święcona woda nie pomoże (NKPP I: 430)⁶ – w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny jako synonimiczne podaje się przysł.: *Diabeł zawsze diabłem zostanie* (Zgółk VIII: 345).

– KADZIDŁO

kasz. *Diabeł kadzédła sę nie bòi* (NKPP I: 427); *Diabeł kadzidła się nie boi* (PBŚ: 207).

Pośród rzeczy związanych z sacrum moc apotropeiczną mają (jak pokazują zgromadzone przysłowia i frazeologizmy): krzyż i woda święcona. Kadzidło takiej mocy nie posiada – być może ze względu na swoją ulotność. *Kadzidło* pojawia się tutaj bowiem nie tyle w znaczeniu ‘żywica różnych drzew, wydająca wonny zapach przy spalaniu’, co w znaczeniu metonimicznym: ‘dym, zapach kadzidła’.

– PACIERZ [zob. wyżej *Modli się pod figurą, a ma diabła pod skórą*]

Kto się modli w kościele, ten czasem diabła miele (Masłowsky: 244);

Co po diable w kościele, kiedy pacierza nie umie (NKPP I: 426)⁷;

Jak się diabeł zestarzeje, uczy się pacierza; także: kasz. *Na starosc diôbeł robi sę pobożny* (NKPP I: 430)⁸;

Najgorszy jest diabeł wtenczas, kiedy się modli (NKPP I: 433 – z A)⁹; *Najgorszy jest diabeł wtedy, kiedy się modli* ‘potępienie obłudy i lęk przed nią’ (Zgółk VIII: 345);

Pacierz z ust, diabeł w usta (PBŚ: 244);

Kto ma być u diaska, zgorszy się z pacierza (Kolberg: 106);

krak. *diabelski pacierz* ‘czary, gusła, zaklęcia’ (SGP PAN V: 503)¹⁰ [por. *apostołka wężnaniô djóbelskiego* ‘czarownica’ (Ramułt: 2); *čârni pâcuř* ‘czary, gusła’ (Sychta SGKasz IV: 5); *paršyvy počiř* ‘diabelski pacierz, modlitwa do złego ducha, z którym czarodziej lub czarownica ma spółkę, o uleczenie choroby’ (Bąk 1960: 111); *robaczywy pacierz* ‘zaklęcia czarownicy’ (DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII: 102; Szulczewski 1996: 67, 163)];

kasz. *diabli pacierz* ‘nałóg przeklinania’ (Sychta SGKasz IV: 5; SGP PAN V: 523).

– NABOŻENSTWO (*msza, roraty, chrzest*)

Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni (NKPP I: 428)¹¹ – w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny podano znaczenie: ‘potępienie obłudy’ (Zgółk VIII: 345); także: *Diabeł na mszę ogonem dzwoni* (PBŚ: 207);

Kto klnie, dzwoni diabłu na mszę (PBŚ: 229);

Masz diable kaftan / kubrak / roraty ‘źle się stało; masz babo placek’ (SGP PAN V: 519); *Masz, diable, roraty!* (PBŚ: 234); *Mosz, dioble, roroty* (NKPP III: 69); także:

⁶ Jest to wariant przysł.: *Nie pomoże mu i święcona woda* (NKPP III: 735).

⁷ Jest to wariant przysł.: *Co po psie w kościele, kiedy pacierza nie mówi* (NKPP II: 887).

⁸ Jest to wariant przysł.: *Gdy się diabeł zestarzeje, chce zostać mnichem (pustelnikiem)* (NKPP I: 430).

⁹ Starszą wersją tego przysł. jest: *Najgorszy diabeł, kiedy się zmniszy*.

¹⁰ Ten sam cytat (zob. DWOK 7: Krakowskie III: 84) J. Karłowicz opatrzył wyjaśnieniem: „= mówiony nawspak” (Karł I: 323).

¹¹ Pierwsza notacja: *Potop* H. Sienkiewicza.

Masz roraty, diable rogaty (NKPP I: 433); *Masz tobie roraty, czarcie / diable rogaty / czubaty; Naści roraty, diable rogaty!* (NKPP III: 69); *Oto masz roraty, diable rogaty* (PBŚ: 244);

zebrać się jak diabeł na roraty 'przyjść w nieodpowiednim momencie' (SGP PAN V: 516);

Adalberg w swoim zbiorze przysłów odnotował formę: *Masz, babo, roraty*. Autor zbioru facecji podolsko-lwowskich dominikanin Sadok Barącz stwierdził, że źródłem przysłowia: *Masz roraty, diable rogaty!* jest następująca historyjka: „Pewna dama, rano jadąc na roraty do kościoła, lekko bardzo się wybrała, a że był tęgi mróz, od zimna na piękne zamarzała. Stanąwszy przed kościołem lokaj otworzył drzwiczki powozu, aby pani wysiadła. Ale pani nie mogła wstać, bo już nie żyła. A że miała głowę utrefioną lokami, więc lokaj zawołał: *Otóż masz roraty, diable rogaty!*”. Przytaczając tę informację, J. Krzyżanowski twierdzi, że jest to mało prawdopodobne, bo taka anegdota w innych źródłach nie jest notowana. Wysnuwa też przypuszczenie, że powiedzonko: *Masz, babo / diable, roraty* może pochodzić od znaczeniowo identycznego, dźwiękowo bardzo podobnego powiedzonka: *Masz, babo, reduty / redutę*. To ostatnie w polszczyźnie pojawiło się zapewne wraz z *redutami* 'publicznymi balami maskowymi, zabawami karnawałowymi rozpowszechnionymi w Polsce od poł. XVIII w., na które przychodzono w maskach i bez broni, a wstęp miał każdy, kto zapłacił' – zapożyczenie z języka francuskiego (MG I: 49–50)¹².

Wyrzeka się go jak diabła na chrzcie (Kolberg: 518); *Wyrzeka się jak diabła na chrzcie* (PBŚ: 262);

kasz. diable nabożeństwo 'odwiedzanie karczmy tuż po nabożeństwie w kościele' (Sychta SGKasz I: 214; SGP PAN V: 523).

– POKUTA

Nudzi się jak diabeł na pokucie (PBŚ: 243).

– ODPUST¹³

*wystroić się jak diabeł do ośpic*¹⁴ ['szczepienie przeciw ospie'] / *na odpust* 'ubrać się dziwacznie, przesadnie' (Sychta, Skoc I: 96; SGP PAN V: 516).

– POŚWIĘCIĆ [zob. wyżej WODA ŚWIĘCONA]

Diabeł / czort ci poświecił 'tzn. postąpił bardzo źle' (NKPP I: 426)¹⁵; *Czort ci poświecił* 'o kimś, kto postąpił bardzo źle, nieuczciwie, niegodnie' (PBŚ: 186); *diabli (komuś) poświecili* 'komuś udało się zrobić coś złego przy pomocy diabła' (SGP PAN V: 519); także: *Diabeł cię poświecił* (PBŚ: 205).

– DAĆ NA OFIARĘ

dać (coś), jak diabłu na ofiarę 'dać coś bardzo niechętnie': *Doł to jak djabłu na ochfiare* 'o skąpym, który darował coś z przymusu' (SGP PAN V: 514); *Dał to jak diabłu na ofiarę* (PBŚ: 204).

¹² Definicja wyrazu *reduta* pochodzi z: Kopaliński 1988: 969.

¹³ *Odpust* 'odpuszczenie kar doczesnych należnych za grzechy odpuszczone już co do winy [...] w związku z różnymi uroczystościami. [...] Doroczne święto w dniu patrona miejscowego kościoła, w którym wówczas można uzyskać odpust zupełny, mające w Polsce charakter lokalnego święta ludowego, głównie w miasteczkach i na wsi' (Kopaliński 1988: 774).

¹⁴ Także: *Wymignął się jak diabeł do ośpic* (PBŚ: 262).

¹⁵ Jest wariant powiedzenia: *Niech mu kat święci* (NKPP II: 42).

– ZAPALIĆ ŚWIECZKĘ

Diabłowi świecę zapalić (NKPP I: 430); *Djabłu świeczkę palić* 'złemu pochlebiać' (Swarsz I: 455); *diabłu w południe świeczką [!] zaświecić* 'zgodzić się na kompromis [?]': *ciesz. Trzeba też czasym i djobłu w południe świyczkóm zaświyćić* (SGP PAN V: 514); *Diabłowi świecę zapalić* 'pochlebiać złemu człowiekowi, pochwalać zło' (PBŚ: 213); *Djabłu świeczkę* 'złemu nadskakiwać' (Swil I: 221); *I diabłu świeczka nie zawadzi* (PBŚ: 220);

Bogu świeczka, a diabłu ogarek (NKPP I: 146) – w *Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny* podano znaczenie: 'dwom panom służyć, stać po dwu przeciwnych stronach jednocześnie' (Zgółk VIII: 345); *Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek* (Dubisz I: 605); także: *I Bogu świeczkę, i diabłu kaganek* (PBŚ: 219); także: *Diabłu dwie świeczki, Bogu jedna* (Zgółk VIII: 345); *Dyabłu dwie świeczki, Bogu jedna* 'złemu więcej nadskakują' (Linde I: 576);

Ni Bogu świeczki, ni djabłu ożoga 'człowiek do niczego, ni do tańca, ni do różańca' (Swarsz I: 455); *Ani ty Bogu świeczki, ani diabłu ożega* (MG I: 87); także: *Ni Bogu świeczki, ni dyabłu ogarka* (Linde I: 576); *Z naszego Zacharka*¹⁶ *ni Bogu świeczki, ni diabłu ogarka* (MG I: 87).

W zbiorze przysłów Adalberga znajdujemy formę: *Bogu świeczka, a diabłu ogarek*. Osobno leksykograf zapisał podobne znaczeniowo przysł.: *Bogu służ, a diabła nie gniewaj*. Postać najdawniejsza pierwszego przysłowia – jak pisze J. Krzyżanowski – pochodzi z 1527 r. i brzmi: *Ani ty Bogu świeczki, ani diabłu ożega* (ożeg 'niedopałek łuczynwa'; ogarek 'niedopałek świecy') (MG I: 87–89).

Diabeł a miejsca związane z sacrum

– KOŚCIÓŁ / KAPLICA 'karczma'¹⁷

Co po diable w kościele, kiedy pacierza nie umie? (PBŚ: 202);

kichać jak diabeł w kościele 'jakby z uczulenia' (SGP PAN V: 515);

zobaczył diabła na kościele 'dziwno mu' (Kolberg: 106);

Wpuść diabła do kościoła, on na ołtarz wlezie; także: *Wpuść lichu do kościoła, to na ołtarz wlezie* (NKPP I: 436);

Kiedy gwizdze kobieta, diabeł kościół zamiata (PBŚ: 226);

kasz. *Xtoŭ Buegu kuescył budėje, tyjn djöbłu budėje kaplico* (Sychta SGKasz I: 210); także: *Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam diabeł kaplicę stawia* (PBŚ: 218); *Gdzie Pan Bóg pobudował kościół, tam niedaleko diabeł kościółek* (PBŚ: 218); *Obok kościoła, przy którym mieszka ksiądz, przystawia sobie diabeł kaplicę* 'tzn. karczmę, gdzie hulają we święta przy muzyce' (Kolberg: 209); także: *Podle kościoła czart karczmę buduje* (PBŚ: 189); także: *Wedle przysłowia naszego polskiego: podle kościoła czart karczmę buduje* (PBŚ: 190);

Przy kościele ma dyaboł kaplicę 'złe wszędzie nęci' (Linde I: 576 – z R); *Przy kościele ma diabeł kaplicę* (Kolberg: 209).

¹⁶ Zacheusz 'człowiek, który bywa na wszelkich publicznych zabawach, kiermaszach, odpustach i festynach; od imienia bogatego celnika z Biblii, Ew wg Łuk, 19, 1–5, który będąc niskiego wzrostu i chcąc zobaczyć Jezusa w ciżbie, wdrapał się na drzewo sykomoru' (Kopaliński 1988: 1319).

¹⁷ *Kaplica* w metaforycznym znaczeniu 'karczma' należy do profanum. O opozycji karczma : kościół zob. J. Adamowski 1996: 20–21.

Jak pokazują powyższe przysłowia, kaplica – stojąca (czy raczej budowana) koło kościoła – została zaanektowana przez diabła. W ten sposób zobrazowano dychotomię: dobro – zło. *Kaplica* ma w analizowanych przysłowiach metaforyczne znaczenie ‘karczma’ (podobnie jak *kościółek*). Jak wiadomo, dawniej na wsi często świętowanie niedzieli rozpoczynano nabożnie w kościele, po czym udawano się do karczmy¹⁸. Z tym ostatnim miejscem kojarzone są nieobyčajne zachowania, przede wszystkim pijaństwo¹⁹.

– CZĘSTOCHOWA / CZĘSTOCHOWSKA GÓRA / KOCHAWINA / DZWONNICA / ŚWIĘTE MIEJSCE

potrzebny jak diabeł w Częstochowie; także: *potrzebny jak diabeł w częstochowskiej górze*; *potrzebnyś tu jak diabeł w Częstochowie* (Kolberg: 6); także: *(ktoś jest) potrzebny jak diabeł na dzwonnicy / w Częstochowie / w częstochowskiej górze* ‘niepotrzebny, niepożądany’: *krak. Potrzebny, jak djeboł na zwonicy, [...] w Częstochowie, [...] w częstochowskiej górze* (SGP PAN V: 520); *potrzebny, jak djabeł w Częstochowie* ‘jak dziura w moście²⁰; piąte koło u wozu’ (Swarsz I: 455); *potrzebny jak diabeł w Częstochowie / w Kochawinie* ‘wieś w dawnej Małopolsce Wschodniej, w której był kościół z cudownym obrazem Matki Boskiej’ (PBŚ: 248)²¹; *potrzebny jak diabeł w świętym miejscu* (PBŚ: 248);

jest (kogoś gdzieś) pilno jak diabła w Częstochowie ‘ktoś jest niepożądany, nieoczekiwany’: *ciesz. Pilno cie tam jak diabła w Częstochowie* (SGP PAN V: 519).

– BETLEJEM

zaglądać / zazierać jak diabeł do Betlejem ‘zaglądać ostrożnie, z daleka; rzadko gdzieś bywać [?]’ (SGP PAN V: 516); także: *Zagląda jak diabeł do Betlejemu* (PBŚ: 265); *Chodzi jak diabeł koło Betlejemu* (PBŚ: 200);

siedzieć jak diabeł w Betlejem ‘dąsać się’ (SGP PAN V: 515).

– RAJ

Nie ma dyabeł cząstki w raju ‘nie licz go do pocziwych; nie tu go szukaj; nie tu on doma; nie tu mieszka, nie z tego cechu’ (Linde I: 576).

Święte miejsce to hiperonim nazw odnoszących się do polskich realiów: *Częstochowa* (metonimicznie *częstochowska góra*), *Kochawina*, a nawet *dzwonnica*. Pozostałe „święte miejsca”: Betlejem oraz raj znane są z Biblii. Ostatnie z ziemską

¹⁸ Por. przywołane wyżej *diable nabożeństwo* ‘odwiedzanie karczmy tuż po nabożeństwie w kościele’.

¹⁹ Por. przysł.: *Chodzi do kościoła, gdzie szklankami dzwonią* (Wallis: 27); *Gorzałka jest rodem z piekła, Lucyperowi uciekła* (Masłowsky: 118); *Gdzie karczma, tam prawie i Łysa Góra* (MG I: 131–132); *Na wódeczce do piekła się płynie, karczmarze tyją, marniej ci, co piją* (Masłowsky: 466); *Kto pije gorzałkę z anyżem, to wychodzi za nim ksiądz z krzyżem* (Masłowsky: 118); *Dobrego i karczma nie zepsuje, złego i kościół nie naprawi* (Masłowsky: 79).

²⁰ Por. *potrzebny jak diabeł w moście* (PBŚ: 248).

²¹ Kochawina – dawna miejscowość na Ukrainie, obecnie wyludniona. Na pocz. XVII w. na dębie w lesie w pobliżu Kochawiny znaleziony został obraz Maryi, od 1680 r. czczony jako cudowny. W 1755 r. powstał tu pierwszy kościół, a w 1780 r. wyodrębniono osobną parafię pod opieką karmelitów. W latach 1868–1894 powstał nowy budynek kościoła. W 1931 r. zarząd parafii przeszedł ręce jezuitów. Po II wojnie światowej Kochawina znalazła się w granicach ZSRR. Kościół sprofanowano, cudowny obraz został przeniesiony do Starej Wsi, następnie do Krakowa. Obecnie znajduje się w Gliwicach.

doczesnością nie ma nic wspólnego. Zostało uwzględnione w tym opracowaniu na prawach wyjątku.

Diabeł a osoby związane z sacrum

– ŚWIĘTY

Chory diabeł chciał świętym zostać, jak ozdrowiał, to o tym zapomniał (NKPP I: 425)²²; *Chory diabeł chciał świętym zostać, jak ozdrowiał, to zapomniał* (PBŚ: 200);

Świętego udaje, a diabła ma za kołnierzem (PBŚ: 255); także: *Robi się świętym, a diabła ma za kołnierzem* (PBŚ: 250).

– KSIĄDZ / POP ORAZ ORGANISTA, KSIĘŻA KUCHARKA / GOSPODYNI ‘czarownica’

Ksiądz diabła wypędzi, a sam za dziesięć stanie (PBŚ: 228);

kasz. *Vzól djábel ksqąza, nex vezńe i organistą* (Sychta SGKasz I: 211; SGP PAN V: 509); także: *Wziął diabeł księdza, niech weźmie rektora* (PBŚ: 263);

Gdzie ksiądz swatem, tam diabeł kumotrem; także: *Gdzie ksiądz swatem, tam szatan kumem* (Kolberg, 219); *Gdzie ksiądz swata, tam diabeł ślub daje* (PBŚ: 218);

Ksiądz w dzwon, a diabeł w słomiankę (Kolberg: 220);

Ksiądz swoje, a czart swoje (PBŚ: 188); także: *Pop swoje, czart swoje* (PBŚ: 190); *Czart swoje, pop swoje* (PBŚ: 185); *Ciort swoje, a pop swoje* (PBŚ: 184)²³;

Co ksiądz i kawaler zbiera, to czort zbiera (PBŚ: 184); także: *Po księdzu i juryście diabeł bierze oczywiście* (PBŚ: 246); *Księżę zbiory do biesa idą* (PBŚ: 29); *Na księży zbiór szyje diabeł wór* (PBŚ: 237)²⁴;

*Gdzie się księża i kobiety wadzą*²⁵, *tam się diabeł wmiesza* (PBŚ: 219);

Kmieć na grosz, pan na kmiecia, ksiądz na pana łowiec, na księdza czart po śmierci, na świecie Lipowiec ‘Lipowiec, słynne więzienie dla przestępców duchownych w okolicach Chrzanowa’ (PBŚ: 188);

Diabli księżę kucharki po powietrzu noszą (PBŚ: 211)²⁶; także: *Księżą gospodynię diabli niosą do piekła* (PBŚ: 228);

Diabeł nie chciał być kucharzem, furmanem, mamką, ale młynarskim wieprzem, urzędniczym koniem i księżą kucharką (Kolberg: 105).

– ZAKONNIK (mnich, kapucyn) ORAZ PUSTELNIK

Gdy się diabeł zestarzeje, chce zostać mnichem / pustelnikiem; także: *diabeł na starość został kapucynem* (NKPP I: 430)²⁷; *Gdy się diabeł zestarzeje, chce mnichem / pustelnikiem zostać* (PBŚ: 216);

²² Pierwsze poświadczenie źródłowe: *Kiedy diabeł by chory, był wszelkiej nabożności pełen; skoro zdrów został, jak pierwszej diabłem był* (Linde I: 576).

²³ Także: *Czort swoje, chłop swoje* (PBŚ: 186).

²⁴ Por. *Na kwardy zbior syje deboł wor* (PBŚ: 237).

²⁵ Por. [...] *wdadzą* [...] (Masłowsky: 184).

²⁶ Zob. MG I: 131–134 [wyd. IV, Warszawa 1994]: Przysłowie mówi o „schadzkach czarownic, sabatach diabelskich, odbywanych na Łysej Górze. [...] Zdarzało się, że czarownicami były księżę gospodynie czy kucharki, jak je przysłowie nazywa. [...] w przysłowiu o diabłach noszących księżę kucharki po powietrzu chodzi o wycieczki łysogórskie, a nie o piekło”.

²⁷ Łac. *Daemon languebat, tum monachus esse volebat; demon convaluit, demon ut ante fuit*.

Chory diabeł chciał mnichem zostać, jak ozdrowiał, to o tym zapomniał (NKPP I: 425)²⁸;

Najgorszy diabeł, kiedy się zmniszy (NKPP I: 433);

I diabeł chodzi w habicie, jeśli mu dogodnie (Kolberg: 105; PBŚ: 220);

Mnich a baba – narzędzie diabła (Kolberg: 273);

Mnich diabła w kapturze nosi (PBŚ: 235); także: *Diabła nosi za kapturem* (PBŚ: 212).

– KOŚCIELNY (*zakrystian*²⁹)

Z diabła kościelny nie będzie (NKPP I: 436); także: *ciesz. Z djobła nigdy nie będzie kościelny* (SGP PAN V: 509); *Nie będzie z diabła kościelny* (PBŚ: 239); *Stworzony jak diabeł na zakrystiana* – podstawowa forma przysłowia została zdefiniowana w *Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny* jako: 'człowieka złego nie zmienisz w dobrego' (Zgółk VIII: 345);

fraz. *jak z diabła kościelny* 'nieudolny, nieodpowiedni': *krak. Taki ś niego robotnik jak z djebła kościelny* (SGP PAN V: 513); *jak z diabła kościelny* 'o człowieku do niczego, marnym fachowcu' (PBŚ: 223); *Ś niego robotnik jak z dyabła kościelny* (NKPP I: 436–7); *Taki ś niego robotnik jak z diabła kościelny* (NKPP I: 436–7); *Z niego robotnik jak z diabła kościelny* (PBŚ: 264); *Z niego pomocnik jak z debła kościelny* 'o pomocniku nieprzydatnym, z którego nie ma żadnej pociechy' (żyw.) (PBŚ: 264); *Z niego majster jak z diabła kościelny* (NKPP I: 436–7); *Taki z ciebie gazda, jak z debła kościelny* (PBŚ: 255); *Z niego rolnik jak z diabła kościelny* (PBŚ: 264).

Wnioski

1. Tzw. sacrum pozytywne i tzw. sacrum negatywne to dwie osobne, oddzielone od siebie sfery. Istnieje świadomość niezmienności tego porządku: 'diabeł zawsze będzie diabłem'.
2. Z drugiej strony te dwie sfery przenikają się, nakładają (częściowo) na siebie, wtedy gdy diabeł „wkracza” w sferę sacrum pozytywnego. Warto przypomnieć, że z sacrum pozytywnego diabeł się wywodzi, taka jest zresztą geneza diabła – diabeł to przecież upadły anioł, anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu. Wkraczając w sferę sacrum pozytywnego diabeł „udaje kogoś innego” niż jest w rzeczywistości, np. księdza, mnicha. Ten zaburzony porządek jest od razu spostrzegany przez człowieka (bo jest nienaturalny, dziwny, nieakceptowany) – człowiek nie daje się nabrać. Traktuje tę sytuację z dystansem. W przysłowiacz, które ją przedstawiają, pojawia się komizm oraz ironia. Z drugiej strony pojawia się konstatacja, że diabeł „niediabelski”, „zafałszowany”, zakamuflowany jest bardziej niebezpieczny. Zło czyli diabelskość są skrywane, a tym samym groźniejsze dla człowieka. To powszechne przekonanie ilustruje struktura: 'najgorszy (jest) diabeł...'
3. Diabeł wkraczający w sferę sacrum pozytywnego jest przede wszystkim wykorzystywany w celach dydaktycznych, moralizatorskich – jako przestroga przed złem jakim jest np. przeklinanie, nadużywanie alkoholu, fałsz i obłuda, zbytne przywiązanie do pieniędzy. Ta ostatnia cecha (wraz z kłótnością) pojawia się

²⁸ W NKPP wariant formy podstawowej: *Chory diabeł chciał świętym zostać, jak ozdrowiał, to o tym zapomniał*.

²⁹ *Zakrystian* 'osoba nadzorująca zakrystię i dbająca o porządek w kościele'.

w językowym obrazie księdza. Negatywny jest też obraz drugiej osoby duchownej – zakonnika.

4. Diabeł widziany oczyma człowieka, bardzo go przypomina, można zaryzykować stwierdzenie, że niekiedy bywa upostaciowaniem „człowieczego losu”, np. *‘na starość diabeł...’* / *‘gdy się diabeł zestarzeje...’*, *‘chory diabeł...’*. Znacznie częściej jednak w analizowanej grupie przysłów diabeł jest wykorzystywany jako przestroga przed złem. Zło, grzech jest wyraźnie pokazywane, piętnowane – tym wyraźniej, że zostało umieszczone na kontrastowym tle, którym jest sacrum.

Literatura

- Adamowski J., 1996, *Obraz karczmy w przysłowiaach polskich*, „Twórczość Ludowa”, nr 3, s. 17–22.
- Bąk S., 1960, *Słownictwo gwary okolic Kramsk na tle kultury ludowej* [Kramsk koło Konina i Koła nad Wartą], Wrocław.
- Długosz K., 2007, *Językowy obraz diabła w przysłowiaach*, *Prace Filologiczne*, t. LIII, Warszawa, s. 153–158.
- Dźwigoł R., 2004, *Polskie ludowe słownictwo mitologiczne*, Kraków.
- Kopaliński W., 1988, *Słownik mitów i tradycji kultury*, Warszawa.
- Lewicki A.M., Pajdzińska A., 2001, *Frazeologia*, [w:] J. Bartmiński (red.), *Współczesny język polski*, Lublin, s. 315–333.
- Oracki T., 1977, *Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur*, oprac. T. Oracki, Olsztyn.
- Szulczewski J.W., 1996, *„Pieśń bez końca”. Zbiór tekstów folklorystyczno-etnograficznych* [z Kujaw], pod red. W. Łysiaka, Poznań.

Skróty bibliograficzne

- | | |
|-----------|---|
| A | – Samuel Adalberg (w NKPP). |
| Dubisz | – <i>Uniwersalny słownik języka polskiego</i> , pod red. S. Dubisza, t. I–IV, Warszawa 2003. |
| DWOK | – O. Kolberg, <i>Dzieła wszystkie</i> , t. 1–84, Kraków–Warszawa–Poznań–Wrocław 1961–2002. |
| Karł | – J. Karłowicz, <i>Słownik gwar polskich</i> , t. I–VI, Kraków 1900–1911. |
| Kolberg | – O. Kolberg, <i>Przysłowia</i> , oprac. S. Świrko, Warszawa 1977 [2. wyd. 60. tomu DWOK-u]. |
| Linde | – S.B. Linde, <i>Słownik języka polskiego</i> , t. I–VI, wyd. 2, Lwów 1854–1860 [reprint: Warszawa 1951]. |
| Masłowsky | – D. i W. Masłowsky, <i>Przysłowia polskie i obce od A do Z</i> , wstęp K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2003. |
| MG | – J. Krzyżanowski, <i>Mądrej głowie dość dwie słowie</i> , t. I: <i>Trzy centurie przysłów polskich</i> , t. II: <i>Dwie nowe centurie przysłów polskich</i> , Warszawa 1960. |
| NKPP | – <i>Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich</i> , w oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół redakcyjny pod kierownictwem J. Krzyżanowskiego, t. I–III, Warszawa 1960. |

- PBS – *Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Sprawy boskie i sprawki diabelskie w przysłowia i zwrotach przysłowiowych polskich*, zebrali i opracowali A. Jach, B. i A. Podgórcy, Kęty 2004.
- R – Salomon Rysiński (w NKPP).
- Ramułt – S. Ramułt, *Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Dodatek: Podania i powieści ludu kaszubskiego*, Kraków 1893.
- SGP PAN – *Słownik gwar polskich*, pod red. J. Reichana, S. Urbańczyka, t. I–VI, Wrocław 1977–1992, Kraków 1992–2004.
- Swarsz – *Słownik języka polskiego*, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927 [reprint: Warszawa 1952–1953].
- Swil – *Słownik języka polskiego*, pod red. A. Zdanowicza, t. I–II, Wilno 1861 [reprint: Warszawa 1986].
- Sychta SGKasz – B. Sychta, *Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*, t. I–VII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1973.
- Sychta Skoc – B. Sychta, *Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej*, t. I–III, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980–1985.
- Wallis – S. Wallis, *Przysłowia i „pogodki” ludowe na Górnym Śląsku*, Wrocław 1960.
- Zgółk – *Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny*, pod red. H. Zgółkowej, t. I–L, Poznań 1994–2005.

Дьявол кроется... во фразеологии

Резюме

Статья представляет собой анализ польских пословиц и фразеологизмов, в которых наряду выступают так называемые положительный и отрицательный сакрум. Олицетворением последнего является дьявол. Положительный сакрум ограничивается в этом случае лишь элементами, тесно связанными с бренностью земного бытия. Рассматриваются следующие вопросы: 1. дьявол и предметы, а также действия, связанные с сакрумом (в том числе крест, святая вода, молитва, пожертвование); 2. дьявол и места, связанные с сакрумом (в том числе церковь, часовня, Ченстохова, Вифлеем); 3. дьявол и лица, связанные с сакрумом (в том числе святой, ксендз, церковнослужитель). Пословицы, касающиеся отношений между дьяволом, Богом и ангелом, будут предметом отдельного рассмотрения. Проведенный анализ показал, что: 1. положительный сакрум и отрицательный сакрум – это две отдельные сферы; 2. упомянутый порядок нарушается, когда дьявол вмешивается в сферу положительного сакрума, „притворяясь кем-то другим”, например, ксендзом, монахом (комизм и ирония являются доказательством факта, что человек относится к таким ситуациям снисходительно, осознавая заодно, что закамуфлированный дьявол бывает еще более опасным); 3. дьявол, вмешивающийся в сферу положительного сакрума используется нередко в морализаторских целях (предостережение от ругания матом, злоупотребления алкоголем, страсти к деньгам и т.п.); 4. дьявол, видимый глазами человека, очень его напоминает (бывает олицетворением „человеческой судьбы”).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Ж.И. Ерома

Структура судебных протоколов Великого княжества Литовского (на материале Актов Виленской археографической комиссии XVI–XVII вв.)

Система судебных органов в Великого княжества Литовского складывалась постепенно, но в законченном виде сформировалась в XVI в. (Вишнеўскі 1998; Довнар 1993; Ігнатоўскі 1991; Ковкель 1998; Кузнецов 1999; Споргіс 1895; Улашкі 1973). Одним из источников судебных документов ВКЛ являются книги актов местных судебных учреждений Великого княжества Литовского. Это «Акты Виленской археографической комиссии» (АВАК) – научное учреждение в Вильно, созданное по инициативе генерал-губернатора М.Н. Муравьева при участии попечителя Виленского учебного округа И.П. Корнилова в начале 1864 г.

Объектом нашего исследования стали тексты протоколов земских судов. Наиболее обширный материал представлен в книгах записей дел Гродненского земского суда: I т. содержит некоторые документы, начиная с 90-х гг. XVI в. (1592–1697 гг.), XVII т. – некоторые документы второй четверти XVI в. (первая актовая книга 1539–1540 гг., вторая актовая книга 1540–1541 гг., третья актовая книга 1541–1542 гг., 1555–1558, 1560, 1561, 1563–1565 гг.). XXI т. является продолжением XVII т., поскольку в нем целиком изданы четвертая книга Гродненского земского суда за 1555 г., пятая книга за 1556–1557 гг., шестая книга за 1558 г. Таким образом, три тома АВАК содержат протоколы с 1539 по 1558 и с 1592 по 1697 гг.

Судебная процедура в ВКЛ

Судебный процесс начинался с протестации – подачи иска в суд. Далее составлялся *позев* – вызов ответчика в суд, в котором излагались требования, обвинения, факты, доказательства, а также указывалось время, в которое обе стороны должны были явиться в суд. Содержание данного документа записывалось в судебную книгу, а копию, подтвержденную печатью и подписью писаря, *возный* передавал ответчику в присутствии свидетелей.

В один судебный день каждой стороне давалось два раза по одному часу на обдумывание возражений и на доводы другой стороны. Решение суда (*вырок*) выносилось не позднее, чем через 3 дня после представления сторонами всех доказательств. О желании подать апелляцию (*отозву*) требовалось сообщить

немедленно, иначе судебное решение приобретало законную силу. Высшей апелляционной инстанцией для решений земского суда был Главный Литовский трибунал (Юхо 1992: 125–126).

Земские суды появились в каждом повете ВКЛ в 1447 г. Впервые состав суда определил Статут 1529 г., а закрепил Бельский привилей 1564 г. и Статут 1566 г. Земские суды имели 3 каденции в течение года, рассматривали гражданские и уголовные дела. Канцелярия земского суда имела *вечистое право*, согласно которому документ, вписанный в земские книги, приобретал юридическую силу.

Исследуемые судебные тексты Гродненского земского суда написаны по старобелорусски. Они фиксируют два типа решений. Протоколы, записанные в I и XVII тт. содержат решения, которые в современном процессуальном праве соответствуют определению *судебное решение*, т.е. в данном случае земский суд является судом первой инстанции, в котором дело разрешается по существу. Составители АВАК дали им один тип заголовков: *Судъ кого с кем/ против кого*. Постановления XXI т. можно назвать *судебными определениями*, т.е. промежуточными решениями суда первой инстанции по отдельным процессуальным вопросам, возникающим в ходе уголовного или гражданского дела. Составители АВАК озаглавили их совершенно в современном понимании: *Судебное определение по делу кого с кем*.

Формулы, организующие текст протокола

Структуру судебных протоколов формируют шаблоны, инициированные соответствующими правовыми документами. В ВКЛ источниками процессуального права, определяющими правила судебного производства – процесса рассмотрения *дела в суде*, являются Статуты 1529, 1566 и 1588 гг.

Стандартные повторяющиеся формулы, формирующие структуру судебного протокола, являются одной из главных особенностей языка юридической практики (Zieliński 1999: 64). Они утверждают ценности, существующие в данной социальной группе, фиксируют определенное вербальное поведение. Они также позволяют с легкостью генерировать подобные тексты. Имеющиеся в нашем распоряжении протоколы позволили описать некоторые стандарты, связанные с формулами начала судебного разбирательства, и изменения этих стандартов на протяжении XVI – начала 20-х годов XVII в., когда протоколы были написаны по-белорусски.

Вступительные шаблоны обычно включают цикл высказываний, информирующих о дате и месте судебного заседания, а также о составе суда, присутствии сторон и главной тематической линии

Вступительные формулы первой половины XVI в. Заполняют следующую структуру:

Часть I	дата	<i>Року Божьего нароженья/ Подъ лето Божого нароженья год + месяца + дня + индикта + праздник по греческому или латинскому календарю + день недели + роковъ судовыхъ</i>
	место	<i>Деялося въ Городне</i>
	состав суда	<i>Я XX а XX смотрели есми того дела</i>
	присутствующие	<i>а при мне на тот час люди добрые XX, XX, XX ...</i>
	истец	<i>Жаловаль передо мною за позвы нашими XX</i>
Часть II	ответчик	<i>на XX</i>
	главная тематическая линия	<i>тымъ обычаемъ/ въ тотъ обычай, штожъ дей / ижъ дей ...</i>

Дата всегда употребляется в родительном падеже, отвечает на вопрос *когда?*, год и день записаны сокращенно по традициям древнерусского письма. Дата в полном виде встречается редко, поскольку ведение книг сплошное, она записывалась только один раз в первом в этот день протоколе, а в последующих была только ссылка: *Тогожъ дня у волторокъ тогожъ часу. Тогожъ дня у понеделокъ. Тогожъ дня.*

Индикты указаны только в документах первой половины XVI в. Гражданский год начинался 1 января, а индикт 1 сентября, поэтому первые 8 месяцев каждого года принадлежали к одному индикту, а 4 остальные – к следующему.

Заседания земских судов (*рочки судовые*) по статутам (*порядку статутному*) проводились несколько раз в год, поэтому в инициальных партиях есть указание на очередные *рочки* через отнесение к празднику по церковному календарю.

Почти всегда в протоколе пропущено указание на место проведения судебного заседания. Оно появляется в начале каждой судебной книги. Только несколько самых ранних текстов не игнорируют этот пункт.

Первоначально порядок представления состава суда в протоколах не был подчинен иерархии. Часто было пропущено указание на должность, а в некоторых случаях какая-либо информация о составе суда отсутствовала вообще, поскольку была дана в начале книги, а повторение, вероятно, посчитали лишним.

На суде присутствовали депутаты, вызванные в суд, большей частью местные чиновники. Как правило, это представители тех сословий, к которым принадлежат стороны. Если в тот же день судья выносил решения по нескольким делам, если состав суда менялся или приходили новые депутаты, был использован: *а еще к тому делу кто? пришелъ*. Например: *Тогожъ часу притехъ же паняхъ, а еще къ тому дѣлу Янь Ляшко, мещанинь, а Стась Жомойтиновичъ, мещанинь Новодворьский пришелъ* (АВАК XVII № 15).

Наибольшее количество вариантов заполняют часть, связанную с участниками процесса, что конечно определено внеязыковыми факторами.

Стороны и суть жалобы (главная тематическая линия) представлены в рамках конструкции: *Жаловаль передо мною за позвы нашими XX на XX тымъ обычаемъ/ въ тотъ обычай, штожъ дей/ ижъ дей...*

Во второй половине XVI в. после появления Статута 1566 г. появляются новые шаблоны:

Часть I	день	Лета отъ нароженья Сына Божого + года + месяца + дня.
	состав суда	Передъ нами врадниками судовыми земскими повету Городенского, XX судьёю, XX подсудкомъ, а XX писаромъ
	место	на месцу судовомъ у Городне
Часть II	реестр	кгда справа ниже помененая с колеи реестровое ку отсуженю/ ку розсудку нашому припала,
	истец	стоялъ очевисто XX который далъ привольвать до права черезъ возного XX,
	ответчик	за которымъ воланьемъ возного одозвалъсе XX
Часть III	правильность составления и вручения позова	затымъ XX доведшы слушного подання ему ото позову на имяню F, в повете M лежачомъ, написомъ возного XX на враде признанымъ и трою пильности на позве рукою писарскою написаную оказавшы,
	главная тематическая линия	жаловаль с того позову на XX о томъ, ижъ дей онъ ...

В первой части в состав суда включено общее определение чиновников *судьи земские повету Городенского, врадники судовые повету Городенского, слуги короля его милости* и уже соблюдена иерархия в перечислении состава суда *судья – подсудок – писарь* с перечислением занимаемых должностей. Указание на место проведения судебного заседания является обязательным в каждом протоколе.

Несомненно, интересным является появившееся вслед за Статутом 1566 г. (VI, 14) указание на реестры (порядок рассмотрения дел) при упоминании об истце и ответчике. Упоминание о явке сторон или их представителей является обязательным, очень усложнился порядок представления сторон, вписан в реалии судебного процессуального права того времени.

Обязательным по прежнему является упоминание представителей сторон с той разницей, что названы имя и фамилия представителя, с помощью специальных фраз: *Очевисто злетилъ моц правную/ речь въ права мовити кому?*

В том случае, когда стороны не являлись в суд, *моц правную* можно передать документально: *умоцовалъ листовне/ ставилса за моцою листовною правною/ ставилса за листовною моцею ... ку мовеню на письмѣ данною.*

Главная тематическая линия была представлена через *приволанье позова*, который читал истец или его представитель. Вслед за Статутом 1588 г. (IV, 18) обязательным стало упоминание на обстоятельства составления и вручения позова.

В 10-е годы XVII в. (впервые в нескольких документах 1617 г.) появляются нововведения. Формулы протокола укладываются в следующую структуру:

Часть I	дата	<i>Лета отъ нароженья Сына Божого + года + месяца + дня. На рокахъ судовыхъ земскихъ водлугъ порадку статувого на завтрее/ завтре/ завтрей + праздник + святе Рымскомъ припалыхъ</i>
	место	и судовне у Городне порядкомъ правнымъ одтправованыхъ
	состав суда	Передъ нами владниками судовыми земскими повету Городнеского, XX судьей, XX подсудкомъ, а XX писаромъ
Часть II	реестр	кдгы съ порадку реестрового ку суженю припала справа XX зъ XX о
	стороны, представители сторон	до которое справы, за приволаньемъ (за докладомъ, за позвомъ) черезъ енерала сторонъ до права становили XX, XX
Часть III	о вручении позва	за покийкакротнымъ приволаньемъ и положена в D черезъ енерала повету Городенского XX на имению его D, правне доведшы и трою пильности воланя на томъ позве рукою мене писара/ пана писара подписанную оказавшы...
	Содержание позва = главная тематическая линия	Жалобу с него читаль, жаловаль о то, ижъ дей...

Древняя традиция обозначения цифр в дате с помощью букв кириллицы совершенно не встречается в документах Гродненского земского суда этого периода. В сравнении с прежней датой отсутствует название дня недели. Наибольшую вариативность в этом блоке имеет именно указание на рочки через упоминание религиозного праздника: *на завтре по светомъ Михале святе рымскомъ; на завтрее по светомъ Михале святе рымскомъ припалыхъ; по святомъ Михале святе Рымскомъ водле права припалыхъ; на завтрей по Трехъ Короляхъ святее Рымскомъ припалыхъ.*

Информация о позве становится более обстоятельной. Протокол фиксирует кому (ответчику), через кого (енерала имя и фамилия), где (название имения и его локализация) был передан позев. Кроме этого, обязательной становится формула, сигнализирующая, что позев написан собственноручно писарем.

Таким образом, специфика судебного действия требует употребления определенных формул в установленном порядке и определенных обстоятельствах, как например в нашем случае – в начальных партиях судебного разбирательства. Начальные партии судебного разбирательства во второй половине XVI в. приобретают структуру, состоящую из трех частей. На протяжении второй половины XVI–XVII вв. нововведения касаются второй части, поскольку добавляется упоминание на реестры. Значительно разрастается третья часть, в которой добавлены новые пункты, связанные с обстоятельствами составления и вручения позва.

Источники

АВАК I – *Акты, издаваемые комиссией, высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильне*, 1865, т. 1, Акты Гродненского земского суда, Вильна.

АВАК XVII – *Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею*, 1890, т. 17, Акты Гродненского земского суда, Вильна.

АВАК XXI – *Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов*, 1894, т. 21, Акты Гродненского земского суда, Вильна.

Статут 1529 г. – *Первый Литовский Статут, 1985–1991*, т. 1–2, (ред.) С. Лазутка, Э. Гудавичюс, Вильнюс.

Статут 1566 г. – *Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года*, 2003, (рэд.) І.І. Доўнар, У.М. Сатолін, Я.А. Юхо, Мінск.

Статут 1588 г. – *Статут Вялікага княства Літоўскага 1588*, 1989, (рэд.) І.П. Шамякін, Мінск.

Литература

Ігнаціўскі У., 1991, *Кароткі нарыс гісторыі Беларусі*, Мінск.

Вішнеўскі А., Юхо І., 1998, *Гісторыя дзяржавы і права Беларусі у дакументах і матэрыялах*, Мінск.

Довнар Т., Шелкопляс В., 1993, *Государство и право Беларуси в XV–XVI веках*, Минск.

Ковкель И., Ярмусик Э., 1998, *История Беларуси с древних времен до нашего времени*, Минск.

Кузнецов И., Шелкопляс В., 1999, *История государства и права Беларуси*, Минск.

Спрогис И., 1895, *Древний копный суд в Северо-Западной Руси*, Витебск.

Улащик Н., 1973, *Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода*, Минск.

Юхо Я., 1992, *Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі*, Мінск.

Zieliński M., 1999, *Języki prawne i prawnicze*, [w:] W. Pisarek (red.), *Polszczyzna 2000*, Kraków, s. 50–74.

Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1529, 1566, 1588 reprezentowały wysoki stopień formalizacji zapisów sądowych. W artykule zanalizowano językowe aspekty formalizacji zapisów białoruskich od XVI–XVII w.

Streszczenie

W artykule, na materiale dokumentów sądowych należących do zbiorów Aktów Wileńskiej Komisji Archeograficznej, ukazano strukturę protokołów sądowych Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego z lat 1539–1558, 1592–1697. Opisana została początkowa faza posiedzenia składu orzekającego. Są to partie informacyjne, które we wzorcowym wariantcie dotyczą czasu, miejsca, składu sądu, stron i ich obecności oraz głównej linii tematycznej. Specyfika przekazu sądowego wymaga używania ustalonych zwrotów w ściśle sprecyzowanej kolejności i wyznaczonych okolicznościach. W ciągu XVI w. i na początku XVII w. w WKL odbywa się standaryzacja przekazu. Innowacje w zakresie tych standardów są uwarunkowane zmianami prawa procesowego poświadczonymi w II i III Statutach WKL.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Henryk Fontański

Modyfikacje fazowe i modalne w łemkowskich zdaniach monopredykatywnych

Środki wyrażania modyfikacji fazowych w łemkowskich zdaniach elementarnych są zróżnicowane zarówno w zależności od modeli składniowych, jak i od łączliwości leksykalnej.

Wśród elementarnych struktur zdaniowych miejsce szczególne zajmują tzw. zdania egzystencjalne¹, oparte są one na modelu o postaci **(Loc/Temp) – (Vf_{exist}) N₁**, z typowym znaczeniem charakterystyki wyznaczonego miejsca lub okresu czasu ze względu na występowanie, tj. istnienie tam (wtedy) czegoś. Zazwyczaj mają one na celu skierowanie uwagi odbiorcy na przedmiot, o którego istnieniu/obecności informuje się, aby następnie uczynić ów obiekt podmiotem dalszych wypowiedzi. W modelu egzystencjalnym składnikiem podmiotowym – pomijanym w wypadku oczywistości sytuacyjnej lub kontekstowej – jest oznaczenie miejsca (Loc) bądź okresu czasu (Temp), a obecność tam/wówczas przedmiotu, osoby lub zjawiska orzekana jest rzeczownikiem w formie mianownika (N₁). Charakterystyka predykatywna może być uściślana, m.in. przymiotnikami. W modelu podstawowym skorelowany jest z nim formalnie czasownik egzystencjalny, obligatoryjny przy komunikowaniu dodatkowo sposobu bytowania czy też gramatycznych znaczeń czasu przeszłego lub przyszłego, ale w innych sytuacjach fakultatywny. W wypadku modyfikacji fazowych czasownik fazowy ma jednocześnie znaczenie egzystencjalne.

Modyfikację fazową początku w łemkowskich zdaniach egzystencjalnych z nazwami osób, zwierząt i niektórych przedmiotów naturalnych w predykanie wyrażają czasowniki *появити ся / появляти ся, вказати ся / вказувати ся, зъявити ся / зъявляти ся*, np.: [...] *на естраді [...] **появило ся** перше дівча* (С. Мадзелян); [...] *В садах **появлят ся** зелена трава*. (Буквар 1935); *Ясне сонечко ся уж **вказало*** (Я. Дудра); [...] *о півночі **вказал ся** біс* [...] (Я. Горощак); [...] *Нихто **ся не зъявил*** (М. Буряк).

¹ Omówienie i interesujące ujęcie problematyki zdań egzystencjalnych znajdziemy w książce: J. Lubocha-Kruglik, *Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi*, Katowice 2001. Autorka opisuje m.in. także modyfikacje fazowe w rosyjskich i polskich zdaniach egzystencjalnych (s. 78–95).

Z niektórymi rzeczownikami pełniącymi funkcję predykatywną łączą się specyficzne czasowniki egzystencjalno-inchoatywne o ograniczonej, selektywnej łączliwości, np.: *Задули вітри над Карпатами* (Я. Дудра); *Зас ден коли прийде і сонце кед зыйде* [...] (П. Мурянка) – ostatnie zdanie ma sens perfektywny. W wypadku stopniowego ujawniania się tego, co jest nazwane w predykacie, dodatkowo inchoatywność (początkowa faza tego procesu) może być zakomunikowana czasownikiem *зачати / зачынаати*, np.: [...] *зачынают ся появляти інсекты* [...] (Т. Курило, tłum. П. Трохановскій);

Na sytuację egzystencjalną spojrzeć można z innej strony, czyniąc podmiotem (tj. składnikiem oznaczającym to, co jest charakteryzowane w predykacie) bytujący przedmiot, osobę lub zjawisko. Charakterystyka egzystencjalna dotyczyć może miejsca lub czasu istnienia, np.: *Вшыткы знають, же злы духы наubarже ради ся появляють о пілночы, або медже пілночом а третьом годином рано* (Я. Горошак); por. też w takiej personifikacji z metaforycznymi modyfikacjami fazowymi: [...] *змрек скорым кроком Потихіцькы іде в село И сіл над потоком* (І. Русенко). Takie odwrócenie ról składniowych znamionuje już inny model zdaniowy.

Czasownik *появити ся / появляти ся* w zdaniach z nazwami konkretnych obiektów implikuje percepcję wzrokową i często występuje w kontekstach ujawniających obserwatora, np.: [Во сьні...] *появили ся они, мама*. [Віділ їх, як заплаканы одпроваджают го на війну...] (Т. Кузяк), por. też w konstrukcji z nominalizacją: *Ціла гурма народа каждый раз чекат появління ся тых мучеників* [...] (Т. Курило, tłum. П. Трохановскій). Jawnie perцепcyjną modyfikację typu egzystencjalnego wprowadza czasownik *вказати ся*: *Ясне сонечко ся уж вказало* (Я. Дудра); [...] *о півночы вказал ся біс* [...] (Я. Горошак).

Sens egzystencjalno-perцепcyjny ujawniający obserwatora, tj. pojawienie się w określonym miejscu, a jednocześnie ukazanie się komuś mogą mieć również zdania o postaci typowej dla zdań egzystencjalnych, tj. **(Loc/Temp) – (Vf_{exist}) N₁**, z czynnościowymi czasownikami ruchu, uzyskującymi w takiej konfiguracji sens perfektywno-egzystencjalny, np.: *Аж ту, нагло, споза плота Выскочыла псив голота* (І. Русенко).

Zdania typu **Loc – Vf [появити ся / появляти ся] N₁**, w których komponent lokatywny, m.in. o postaci **серед N₂**, nazywa zbiorowość, mogą komunikować sens 'niektóre elementy (członkowie) zbiorowości uzyskują nową jakość, stają się jakimiś (kimś)', np.: *Серед нас появляють ся фризьеры-самоуки* (Т. Курило, tłum. П. Трохановскій); *Серед нас появили ся торгуючы цибульом і чесноком* [...] (Т. Курило, tłum. П. Трохановскій); [...] Tego typu zdania, zbudowane wedle modelu egzystencjalnego, można traktować jako synonimiczne względem zdań reprezentujących model odniesienia (przejścia) podmiotu do określonej w predykacie klasy pojęciowej, tj. *Серед нас появляють ся фризьеры-самоуки ≈ Декотры з нас стали (зостали) фризьерами-самоуками*, albo – w wypadku czasownika fazowego przy imiesłowie – jako synonimiczne względem zmodyfikowanych zdań czynnościowych mających sens imperfektywno-charakteryzujący, tj. *Серед нас появили ся торгуючы цибульом і чесноком ≈ Декотры з нас зачали (начали, стали) торгувати цибульом і чесноком*.

Istotnymi charakterystykami miejsca lub okresu czasu są stany pogodowe i inne zjawiska naturalne. W zdaniach egzystencjalnych informujących o zjawiskach,

o postaci (**Loc/Temp**) – (**Vf_{exist}**) **N₁**, modyfikatorami początku są czasowniki *прийти* (*прийти*)/ *приходити*, np. w wypowiedzeniach wypowiedzeniach o zjawiskach pogodowych i ich skutkach: *Приде теплий дощук, Земличку замочыт* (М. Собин); *Аж, як **пришла** сильна буря, Така з перунами, Вывернула гет яличку Догоры ногами* (М. Буряк); *Але **приде** буря [...]* (І. Горошак); *Листочку дубовий, Не падай до воды, Бо як **приде** велька вода, То тя буде шкода* (С. Мадзелян), o porach roku: *Яр-весна до нас **приходить** [...]* (Я. Дудра); *Аж, як **пришло** тепле літо, Спеки і посухи [...]* (Я. Дудра). Zbliżony sens wnosi czasownik *надыйти* / *надходити*, np.: *[...] пополудни **надышла** велика буря* (М. Дзіндзьо). Z niektórymi nazwami zjawisk pogodowych (*вітер*, *гмла*) funkcję modyfikatora początku pełni w takich razach czasownik *появити ся*: *Початком дня тепло, та вітер што **ся** **появил** пред полудньом, прошыбат холодом* (Т. Курило, tłum. П. Трохановскій). Podobnie z nazwami epidemii: *[...] в Санчы **появила ся** холера [...]* (Т. Курило, tłum. П. Трохановскій); por. w nominalizacji: *[...] констатували **появління** в нашым бараку плямистого тифусу* (Т. Курило, tłum. П. Трохановскій). Początek gwałtownych zjawisk atmosferycznych komunikowany jest czasownikiem *зорвати ся*: *Потім **зорвала ся** страшна злива* (М. Дзіндзьо).

Mianownikową formę predykatu mają też zdania elementarne komunikujące pory dnia, pory roku oraz ogólne oceny sytuacji. Charakterystyki tego rodzaju odnoszą się nie tyle do miejsca, co do okresu czasu – z fazową modyfikacją zapoczątkowania wyrażoną czasownikami *наставати* / *настати*, *запанувати* i *прити* (*прийти*), np.: *[...] ніч **настала*** (Я. Дудра); *[...] **настал** теплий весняний час* (С. Мадзелян); ***Настал** теплий ярній ден [...]* (С. Мадзелян); *Зас ден коли **прийде** [...]* (П. Мурянка). Istotnym sensem zdań komunikujących ocenę sytuacji są stany emocjonalne ludzi lub innych personifikowanych podmiotów: *[...] смутны часы втовды **настають*** (Я. Дудра); *Аж **настала** біда* (М. Буряк); *Так даколи і для люди Злы часы **настають** [...]* (М. Буряк); ***Настане** час голоду і жалобы знамена*. (І. Горошак); *І **настають** дни страшны* (І. Горошак); *И ульга **запанує** в лісі, та спокій і радост* (Я. Дудра); *Але **пришла** нова біда [...]* (М. Буряк); ***Пришол** розлуки час* (М. Собин); *Раз на волка **пришла** біда [...]* (М. Буряк). Ograniczoną łączliwość ma czasownik perfektywno-fazowy *зробити ся* łączący się z ocennymi nazwami sytuacji: *[...] гармідер **зробил ся** такий як в псярни [...]* (Т. Кузяк).

Modyfikację zakończenia (końca istnienia, znajdowania się w określonym miejscu i czasie) wyraża w łemkowskich zdaniach egzystencjalnych kilka czasowników fazowych. Z nazwami istot żywych i przedmiotów materialnych łączy się w tej funkcji czasownik *пропасти*, np.: *Пропали снігы, пропали морозы [...]* (Я. Дудра).

Innym typem zdań elementarnych są zdania czynnościowe, o podstawowej postaci **N₁ – Vf**, tj. z rzeczownikiem w formie mianownika w podmiocie oraz formą osobową czasownika w orzeczeniu. Najczęstszym modyfikatorem ze znaczeniem zapoczątkowania czynności jest czasownik *зачати* / *зачынати*. Formę osobową ma modyfikator, natomiast czasownik oznaczający czynność występuje w bezokoliczniku, np.: [Петрусь] ***Зачал** ручками торгати траву* (П. Мурянка); *І іщы більше **зачал** Ваньо крутити ся коло Парасі*. (М. Дзіндзьо); *Хлопец клякнул на шолковий мох і грибочок за грибочком **зачал** обрізувати цизориком [...]* (І. Головчак); *Селяне **зачынають** ярувати* (П. Мурянка); *Мала Ганя **зачынат** плакати* (Буквар 1935). Synonimiczny sens mają rzadziej spotykane modyfikatory *почати*,

начати і стати, пр.: Люде [...] аж по землі **почали** качати ся (І. Головчак); По ярі пришли майстры і **начали** ставляти нову хыжу (Буквар 1935); Діти **начынають** втікати домів (Буквар 1935); Тоту зваду почув шатан, **Стал** змыю судити [...] (М. Буряк). Частка **ся** lokuje się regularnie pomiędzy czasownikiem fazowym a bezokolicznikiem, пр.: И так **зачали ся** сперечати стары кумове и добры сусіды (Т. Кузяк). Przy podmiocie osobowym modyfikatorem ze znaczeniem zapoczątkowania czynności konkretnej może być czasownik *взяти ся*, komunikujący dodatkowo chęć wykonania czynności, пр.: Птах, рыба і рак **Взяли ся** віз тягнути (І. Русенко). Znaczenie leksykalne czasownika w bezokoliczniku oraz kontekst leksykalno-gramatyczny determinują sens iteratywny, пр.: **Зачал** Ваньо вечерами ходити до того села (М. Дзіндзьо), bądź uzualno-charakteryzująco, пр.: А як нам было по яких десяти років, то **зачали зме** курити [...] (Т. Кузяк). Rolę modyfikatora fazowego pełni prefiks czasownikowy *за-*: Люде **зареготали ся** (І. Головчак).

Z modyfikacjami fazowymi możliwa jest nominalizacja składnika oznaczającego czynność, пр. *сьнівати* → *сьнів*: Бо там пастушок, а ту дівчына, **Єдно сьнів кінчыт, друге зачынат** [...] (Я. Дудра).

W modelach kwalifikacyjnych, z typowym znaczeniem odniesienia do klasy pojęciowej odnotowałem w badanych tekstach modyfikatory fazowe *стати*, *стати ся* і *зостати*: Нашым безпосереднім паном од того часу **стал** шеф (С. Мадзелян); [...] „Лемком року” **зостал** Ярослав Трохановскій. (С. Мадзелян); Военний цминтар на Куземчаківці **зас стал ся** звычайном луком [...] (С. Мадзелян).

To jeszcze niepełny, choć już pokazny wykaz łemkowskich modyfikatorów fazowych stwierdzonych w tekstach pisanych powstałych w ostatnich dziesięcioleciach.

Zestaw łemkowskich modalizatorów modalnych jest również obszerny i zróżnicowany. Niewątpliwie, nie uda mi się wymienić i omówić wszystkich tego typu, a tym bardziej ich szczegółowych podtypów, choćby ze względu na nieostrość istniejących klasyfikacji operatorów modalnych, ale też i na ograniczony korpus tekstowy stanowiący bazę materiałową tego opracowania.

Zajmę się tu środkami wyrażania tzw. modalności logicznej (aletycznej), czyli dotyczącej koniecznej lub przygodnej prawdziwości twierdzeń, modalności epistemicznej, odnoszącej się do wiedzy i przekonań oraz modalności deontycznej, dotyczącej norm i ocen, w szczególności obowiązku i zezwolenia. Osobno wyróżniana jest też modalność prawdziwościowa, której przykładem wyrażania może być interesująca konstrukcja składniowa z bezokolicznikiem i formą osobową tego samego czasownika, spotykana w językach słowiańskich, w tym też w łemkowskim: **Затігати** то мы **ся не затігали** [...] (Т. Кузяк) – chodzi o zaciąganie się dymem tytoniowym. Konstrukcja ta służy utwierdzeniu faktywności, potwierdzeniu faktu.

W ramach modalności aletycznej obiektywną możliwość lub niemożność wyraża czasownik *мочи* lub, odpowiednio z zaprzeczeniem – *не мочи*: [...] ты **ся тіж можеш** дочекати старости (П. Стефановскій); Як вода **може быти** желізна? (П. Мурянка); [...] президентом **може быти** каждый, кого лем выберут (Бесіда).

Znaczenie możliwości aletycznej wprowadza przy odpowiednich bezokolicznikach czasowników pełnoznaczących modalizator *неє* / *не было* *можливости*:

Давнійше не іздили, бо **не было можливости**, ани **не было за што** (Т. Кузяк). W tym samym zdaniu funkcję modyfikatora aletycznego dotyczącego okoliczności obiektywnie umożliwiających lub uniemożliwiających zaistnienie sytuacji pełnią konstrukcje z czasownikiem *быти* i *мати* oraz różnymi sytuantami, np.: *Мі ся сподабала проца, лем в тамтых часах **не было** гумы **де** взяти* (Т. Кузяк); *неє коли ани в гору пізрїти за тыма грушками* (Т. Кузяк); *він все **нема коли*** (Т. Кузяк).

Obiektywną możliwość z odcieniem wolicjonalnym (tj. jeśli ktoś zechce coś uczynić, to ma ku temu warunki) wyraża konstrukcja *мочи собі позволити* oraz *быти стати*, np.: *На таке могли собі позволити лем богачы.* (Т. Кузяк); *мене **не было** на то **стати*** (Т. Кузяк). Niezależną od woli niemożność wyraża modalizator *не годен / не годны*, często w kontekście zdania podrzędnego ze spójnikiem *бо*, przedstawiającego przyczynę niemożności: *Житя дає ся лем еден раз і його никто **не годен** продолжыти ани закупити [...]* (Н. Репела); *я **не годен** ити пішком, бо ня стрікло в крижах* (Т. Кузяк); *Два гусаки і десят гусок. **Не годни** плавати, ани ся напїти, бо вода замерзнена* (П. Мурянка).

Obiektywną nieskuteczność działania pomimo usiłowań, a więc modalność aletyczną z odcieniem wolicjonalnym, wyrażają konstrukcje (przeważnie w czasie przeszłym) z modalizatorem *не ити*, np.: *З таким кумом як вы, **не иде** ся добесїдувати [...]* (Т. Кузяк).

W wypadku oceny o nieskuteczności działania jeszcze niepodjętego, a więc w zdaniach z czasem przyszłym lub w trybie przypuszczającym, mamy do czynienia z modalnością epistemiczną, tj. z komunikowaniem wiedzy lub przekonania, co wyrażają modalizatory *на даст ся / на дало бы ся* oraz *не даст рады*: *Інакше **ся не даст** зробити* (П. Мурянка); *без згорїлки нияк бы ся не дало обыйти* (Т. Кузяк); [Лідка] *Сама **не даст рады*** [однести] (П. Мурянка).

Obiektywną zdolność lub niezdolność do działania wyrażają modalizatory o charakterze epistemicznym *знати* i *потрафити*: *Хоц бесїда наша проста, Выповісти вшытко **знає** [...]* (І. Русенко); *Оля **знає** читати* (Буквар 1935); *Марися потрафит замінити ся в водне створиня* (П. Стефановскій).

Wiedzę lub przekonanie komunikują wyrażenia modalne *можна* i *мож*, np.: *Ищы гнес тоты кресты **можна** споткати в декотрых селах на Лемківщині* (Т. Кузяк); *Не мал прапорця, ане одраз **мож** было познати же то староста* (Бесїда).

Znaczenie obiektywnej konieczności wprowadza czasownik *прити* (*прийти*): *Ой, нещестна Лемковино, Бідных Лемків мати, Чому-ж **пришло** Тобі в жытю Так гірко страдати?* (Я. Дудра) podobne znaczenie mają też zdania z modalizatorem *треба*, np.: ***треба было** отворяти двери* (Т. Кузяк).

Konieczność typu aletycznego, tj. obiektywną, wyraża też modalizator *мусити*: *Марта [...] **мусит** сидити дома* (Буквар 1935); *І **мусіла** Лемковина В кайданах страдати [...]* (Я. Дудра) W innym znaczeniu *мусити* wyraża modalność epistemiczną, tj. przekonanie: *він мусіл быти литвином* (П. Стефановскій).

Szeroka jest gama łemkowskich modalizatorów deontycznych, tj. wyrażających możliwość lub konieczność ze względu na normy społeczne lub etyczne. Znaczenie obowiązku, powinności wprowadzają – zazwyczaj przy bezokoliczniku czasownika pełnoznacznego – modalizatory *мусити* i *мус*: *Лідка **мусит** однести клітки до стодолы* (П. Мурянка); ***мус** ся як суцо породинити* (Бесїда). Wyraziście znaczenie

то комунікують конструкції з речовником *обовязок*: [...] *то його обовязок дба-ти о дорогу* (Т. Кузяк); *Обовязком хресного вітця, было піти по селі и проси-ти в імени родича, до ксту* (Т. Кузяк).

З dużą częstotliwością в текстах лемківських зустрічаємо деонтичний мо-далізатор повинності *треба*: *Треба го было окстити* (Т. Кузяк) З negacją, т. є. *не треба* комуніковане є значення браку необхідності в семісе алетичному: *Преці муку не треба молоти!* (П. Мурянка) Значення необхідності деонтичної вводить також модалізатор *не мож не*: *І не мож не сіяти зерна* (Бесіда).

Модальне значення повинності вводить вираження *належит* і *повинен*: *До ксту належало просити и тых кумів. котры были при ксті попередніх діти* (Т. Кузяк); *Книжка повинна бесідувати правду* (П. Стефановський).

Заказ комунікує модалізатор *не вільно*: *на його поли пасти не вільно* (Т. Кузяк).

Значення зezwolenia вводить вираження *можна* oraz *мати право*: [...] *до св. Юрія можна было пасти де ся хтіло* (Т. Кузяк); *Лем Кузьма мал пра-во ходити за „полазниками”* (Т. Кузяк).

Не займалися ми в цьому розмові тзв. модальністю внутрішньорічковою, т. є. воліційною. Буде вона предметом окремого розмові.

Література

- „Бесіда”. Лемківський тримісячник. Крениця [Головний Заряд Товаришів Лемків].
Кузяк Т., *Давно, то были часы... Оповідання и гуморески з Лемковины*, Крениця 1999.
Курило Т., *Дневник Лемка з Талерхофу (од 14 вересня 1914 року до 20 серпня 1915 року)* [з великоруского мови переклад Петро Трохановський, [w:] *Лемківський Річник 2004. Видання посвячене і культурі Лемків*, Товаришів Лемків, Крениця – Ліґни-ця 2004, s. 4–116.
Lubocha-Kruglik J., *Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi*, Katowice 2001.
Мамко, куп ми книжку. Антологія дитячої поезії. Зібрав і упорядкував П. Троханов-ський, Товаришів Лемків 1995.
Мурянка П., *А Я ЗНАМ АЗБУКУ. Лемківський буквар*, Warszawa–Legnica 2003.
Стефановський П., *Любовь неволю лае*. Сценична штука из життя лемков в карпатах в часі и послі другої світової війни в 4-х актах, Білянка, Лемковина, 5 квітня 1959, Издание Лемко-Союза, Юнкерс, Н. Й., США, 1960.
[Трохановський М.] *Буквар. Перша книжечка для народных школ*. Накладом Державного видавництва книжок шкільних, Львів 1935.

Фазисные и модальные модификации в монопредикативных лемковских предложениях

Резюме

Статья вносит вклад в синтаксическое описание современного лемковского языка. Описываются лексико-грамматические средства, выражающие модификации основных предложенческих структур: фазисные (начала, продолжения и конца) и модальные (алетические, эпистемические и деонтические).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Halszka Górny

Obraz idei współżycia Słowian zachowany w toponimii Polski – na przykładzie nazw miejscowych motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi

Dawny sposób percypowania, kategoryzowania i utrwalania w nazwach własnych świata wybranych pojęć i wartości stanowi punkt wyjścia rozważań opartych na opisie relacji wynikających z transonimizacyjnych zależności między dwiema grupami onimów¹. Przedmiotem niniejszego artykułu są nazwy miejscowe pochodzące od imion złożonych, których jeden, rzadziej oba człony nawiązują do istotnych dla ówczesnego człowieka kwestii związanych z utrzymaniem pokoju, stosunkiem do wroga, walki, wojny, a także z przejawami gościnności, będącej jednym z elementów współistnienia w społeczeństwie i rodzinie. Obraz idei współżycia Słowian można zatem odtworzyć m.in. z toponimów motywowanych imionami dwuczłonowymi z leksemami *mir* (**mirъ* 'pokój, spokój, dobro'), *bor* (**borti* (sę), **boriti* (sę) 'zмагаć się, walczyć', **borъ* 'walka'), *woj* (**vojъ* 'wojownik') czy *gost* (**gostъ* 'gość', **gostiti* 'gościć')², rzucającymi światło m.in. na skalę interesujących mnie procesów nominacyjnych.

Zbiór słowiańskich imion złożonych, też zrekonstruowanych z nazw miejscowych i nazwisk, ich geneza, budowa, pierwotne znaczenie czy pełnione funkcje, znane są przede wszystkim dzięki pracom M. Malec (np. 1971, 1975: 259–307, 1993: 30–36, też 2005: 217–236), a także innych badaczy, m.in. M. Karasia (1956: 260–281), K. Rymuta (2003: 68–71), K. Skowronek (1995: 73–100), J. Nalepy (1991: 87–97, 1992: 9–15) czy A. Bańkowskiego (1984: 127–160). W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono ponad 80 imion z członem *-mir* (4 z *miro-*), np. *Dobromir*, *Kazimir*, *Przedmir*, *Spycimir*, *Twardomir*, *Zdzimir*, *Mirogniew*, *Mirosław*. Podobną frekwencję miały imiona z rdzeniem *-bor* (*borzy-*), np. *Chociebor*, *Czabor*, *Lutobor*, *Przemyslibor*, *Wyszebor*, *Borzygniew*, *Borzywoj*. Wśród imion z pierwszym członem *woj-* wymieniane są: *Wojciech*, *Wojmir*, *Wojśław*, *-woj* w drugim członie tworzy imiona *Budziwoj*, *Mściwoj*, *Nawoj*, *Sędziwoj*, *Strzeżywoj* itp. Człon *-gost*

¹ O próbie odtworzenia obrazu dawnego świata utrwalonego w nazwach własnych pisała m.in. A. Cieślíkowa (1999: 269–276), zob. też Z. Kaleta (1996: 7–13).

² Por. **gostъ* 'człowiek obcy, nietutejszy, wędrowiec, przybysz', łac. *hostis* najpierw 'cu-dzoziemiec', później 'nieprzyjaciół' (Bańkowski 2000: I: 462–463).

występował w 19 imionach typu: *Dobrogost, Miłogost, Trzebiegost, Uniegost*, a gości- w 7, np. *Gościrad, Gościśław, Gościwit, Gościwuj*.

Treści semantyczne imion złożonych, również tych, które zachowały się w toponimii Polski, zostały objaśnione w literaturze onomastycznej. Istotą niniejszych dociekań nie jest opis semantyki leksemów tworzących poszczególne imiona, lecz ukazanie stopnia rozpowszechnienia imiennictwa dwuczłonowego na podstawie historycznych i współczesnych zapisów nazw miejscowych³ oraz zarysowanie frekwencji, rozmieszczenia i chronologii ojkonimów motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi. Tak sformułowany cel badawczy, stanowiący kontynuację podjętych już przeze mnie rozważań, poświęconych nazwom miejscowym pochodzącym od imion złożonych z pierwszym członem rozpoczynającym się na literę *B*- typu *Boguchwał, Borzysław, Budziwoj* (zob. Górny 2007: 101–117), pozwala spojrzeć na grupę toponimów odimiennych w relacji *imię dwuczłonowe* – *nazwa miejscowa* – *obiekt geograficzny*. Ogląd materiału badawczego, dokonany z takiej perspektywy, umożliwia ukazanie żywotności i produktywności interesujących mnie imion oraz trwałości ojkonimów w związku z trwałością lub nietrwałością obiektów (por. Cieślakowa 1996: 5–19). Przypisanie nazw nowym obiektom geograficznym w XIX w. oraz urzędowe zmiany nazw w XX w. przyczyniły się do wzbogacenia zasobu nazw odimiennych nawiązujących do najstarszej warstwy imiennictwa słowiańskiego. Nazwy, wprowadzane m.in. w miejsce wcześniejszych nazw niemieckich lub ziemczonych, sygnalizują powrót do korzeni, do polskiej tradycji nazewnictwa, w związku z czym zostały również uwzględnione w niniejszym tekście, np. *Choćmirowo*, słup.⁴ (: *Chociemir, Chocimir*), *Miłogoszcz*, kosz. (: *Miłogost*), *Mściwojów*, legn. (: *Mściwoj*), *Niedamirów*, jel. (: *Niedamir*), *Ścibórz*, opol. (: *Ścibor*).

Przyjrzenie się dawnym i obecnym zapisom nazw miejscowych, a także ciągłości chronologicznej dwuczłonowych nazw osobowych zachowanych w toponimii Polski daje obraz stopnia rozpowszechnienia imion złożonych, wskazując jednocześnie imiona znane w staropolszczyźnie i zachowane lub nie do dnia dzisiejszego oraz takie, które nie są znane z żadnych przekazów historycznych, a jedynym potwierdzeniem ich istnienia jest nazewnictwo miejscowe⁵. Dużą produktywność wykazują antroponimy z rdzeniem *mir*, co z pewnością świadczy o ich popularności w związku z przypisaną im treścią. Wskazuje także na wyznawane pierwotnie wartości, mentalność, sposób utrwalania w nazwie tego, co istotne w relacjach społecznych.

Podstawę nazw miejscowych stanowi ponad 50 imion z *-mir* (1 imię z *miro-*), wśród których znajdują się imiona potwierdzone w dokumentach historycznych z okresu od XII do XV w. o różnej współcześnie częstości występowania, np. *Chwalimir* (1265; 3 – 3)⁶, *Dobromir* (1265; 156 – 5), *Gniewomir* (1202; 223 – 3), *Godzimir*

³ Źródła nazw miejscowych wziętych pod uwagę w niniejszej pracy zostały zamieszczone w części bibliograficznej tekstu.

⁴ Przy lokalizacji toponimów stosuję podział administracyjny obowiązujący do 1998 r.

⁵ T. Skulina w artykule *O staropolskich regionalizmach w kobiecej antroponimii* (1994: 84, 89) zwraca uwagę na potrzebę ustalenia geografii imion męskich, a także opracowania zagadnienia dawności nazw rekonstruowanych z nazw miejscowych.

⁶ W nawiasach podaję datę pierwszego zapisu nazwy dwuczłonowej w *Słowniku staropolskich nazw osobowych* (SSNO), współczesną liczbę nosicieli na podstawie *Słownika*

(1434; 6 – 1), *Lubomir* (1400; 972 – 4), *Ludomir* (1398; 881 – 1⁷), *Lutomir* (ok. 1265; 2 – 5), *Jaromir* (1287; 1010 – 4), *Kazimier*, *Kazimierz* (1468, 1400 (Kazimirz); 10, 357361 – 56⁸), *Miroslaw* (1385; 231247 – 10), *Radomir* (1618; 967 – 5), *Sędzimir* (1434; 13 – 1), *Skarbimir* (XII; 14 – 3), *Sławomir* (1155; 208874 – 2), *Sulimir* (XIII; 3 – 3), *Świętomir* (1297; 1 – 2), *Włodzimir*, *Władzimir*, *Włodzimierz* (1382, 1265, brak; 6, 0, 84105 – 5), oraz takie, które nie należą do zasobu imion obecnie nadawanych: *Będomir* (ukr. *Budomir*) (1339 – 1), *Będzimir* (1388 – 1), *Chociemir*, *Chocimir*, *Kociemir*, *Kocimir* (1224, 1389, 1320, 1393 – 4), *Falimir* (1387, zob. *Chwalimir*), *Domiemir* (1397 – 1), *Kanimir*, *Kajmir* (1384, 1398 – 1), *Kazimir*, *Każmir* (1122, 1339, zob. *Kazimier*, *Kazimierz*), *Małomir* (1297 – 2), *Męcimir* (1237 – 1), *Myślimir* (1442 – 1), *Naczęmir* (1386 – 2), *Przemir* (1427 – 1), *Racimir* (1193 – 1), *Sędomir* (1391 – 1), *Świemir* (1470–1480 – 1, por. *Wszemir* 1136), *Tworzymir* (XII – 1), *Więcimir* (1253 – 1), *Wyszemir* (1391 – 3), *Zdzimir* (1204, por. *Zdzimierz* 1 – 3).

W toponimach utrwalone zostały nieużywane dziś (z wyjątkiem *Niemir*) imiona z negacją o pierwotnej funkcji magicznej, takie jak: *Niedamir* (1275 – 4), *Niemir*, *Niemier*, *Niemierz*, *Niemierza*, *Niemirz* (1136, 1410, 1388, 1244, 1456; 3, 0 – 18), *Niezmir* (1417 – 1), *Nieznamir* (1379 – 1). Semantyka wymienionych form wynikająca z ich struktury nie odpowiada właściwej treści przypisywanej im przez dawnych Słowian.

Nazwy miejscowe: *Bromierz* (dziś *Bromierz* i *Nowy Bromierz*), płoc., 1405 *Bromirz*⁹, *Brzezmiarz*, wroc., 1285 *Bresmir*, *Damirów*, cz. wsi Ruda Tarnowska, dawniej wś, siedl., 1540 *Damyrowo*, *Kotomierz*, bydł., 1315 *Cothomirze*, *Kupimierz*, rad., 1416 de *Cupijmierz*, *Ludźmierz*, nowosąd., (1234) *Ludemir*, (1235) *Ludzimierz*, *Mędomierz* (dziś *Mały Mędomierz* i *Wielki Mędomierz*), bydł., 1313 *Mandromize*, *Mandromicze*, *Rozmierz*, opol., (1256) *Lozymyrza Polska*, 1375 *Rozmierz*, *Waćmierz*, gdań., (1282) *Wartzimir*, 1305 *Warcimirz* potwierdzają istnienie w staropolskim zasobie nazewniczym złożień: **Bromir*¹⁰, **Brzezmir*, **Chotemir*, **Chotomir*, **Damir*, **Kupimir*, **Ludzimir*, **Mędomir*, **Rozmi(e)r*, **Warcimir* niezapisanych w innych źródłach średniowiecznych¹¹. Co ciekawe, imiona *Bromir* i *Damir* mają współcześnie odpowiednio dwóch i dwunastu nosicieli. Imię **Czędomir* zostało odtworzone z nazwy nieistniejącej dziś osady *Czędomierz*!¹², koniń., notowanej w XV i XVI w. Brak późniejszych zapisów wynika z nietrwałości obiektu geograficznego. Zależność zaginiona nazwa – nietrwały obiekt potwierdza też nieistniejąca dziś nazwa wsi

imion współcześnie w Polsce używanych (SIW), po myślniku – orientacyjną liczbę toponimów (w tym także nazw osad, przysiółków, rzadziej części wsi) motywowanych przez imię złożone z uwzględnieniem form współcześnie nieistniejących, dubletów nazw identyfikujących różne obiekty i nazw powstałych w XIX i XX w. w wyniku zmian urzędowych lub w związku z koniecznością nazwania nowego obiektu.

⁷ Nazwa *Ludmierzyce*, wś, opol., dawniej *Lubomirzyce* (: *Lubomir*).

⁸ Liczba oikonimów podana łącznie z nazwami pochodnymi od imion *Kazimir*, *Każmir*.

⁹ Data i postać pierwszego zapisu nazwy miejscowej, sporadycznie również zapisów późniejszych.

¹⁰ Znak * przy imieniu oznacza, że zostało ono odtworzone z nazwy miejscowej.

¹¹ Z toponimu *Podamirowo*, wś, kosz. (1313 *Puddemersdorp*) rekonstruowana jest nazwa osobowa **Budimir* (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 260).

¹² Wykrzyknik przy nazwie własnej oznacza, że dany toponim nie istnieje współcześnie.

Ludzimierz!, tarn., odnotowana w źródłach w XVI i XVII w. Przyczyną zaginięcia nazwy miejscowej *Gorzemirz!*, rad., 1456, motywowanej zrekonstruowanym imieniem dwuczłonowym **Gorzemir*, było zastąpienie nazwy inną formą onimiczną (por. *Godzimierz*). Nowa nazwa identyfikująca ten sam obiekt prezentuje identyczny typ nazewniczy, z tą różnicą, że w procesie nominacyjnym wykorzystano imię *Godzimir* znane zarówno z przekazów staropolskich, jak i z obecnej, wyjątkowo rzadkiej, praktyki nazewniczej.

Różny stopień rozpowszechnienia form imiennych sugeruje frekwencja nazw miejscowych. Zdecydowanie największą produktywność w tworzeniu nazw dawnych, ale też np. w nadaniach dziewiętnastowiecznych, można przypisać imionom: *Kazimir* (i warianty) – *Kazimierz*, *Kazimierowo*, *Kazimierów*, *Kazimierówka*, *Kazimierzów*, *Kazimierzew*, *Kazimierzewo*, *Kazimierzówka*, *Kaźmierów*, *Kaźmierz*, *Kaźmierzewo*, *Kaźmierzów*, *Kaźmierzyn*, *Kaźmirów* (zob. też Bijak 2001b: 125–135), *Niemir* (i warianty) – *Niemierze*, *Niemierzewo*, *Niemierzyce*, *Niemierzyn*, *Niemierzyno*, *Niemirowice*, *Niemirowo*, *Niemirów*, *Niemirówek*, *Niemiry*, *Niemirzewo!*, *Mirosław* – *Mirosław*, *Mirosławice*, *Mirosławiec*, *Mirosławy!*¹³.

Obszerna grupa toponimów, choć mniej liczna od wskazanej wcześniej, pochodzi od imion złożonych z leksemami *bor*, *woj*. Semantyka wymienionych rdzeni, antonimicznych względem leksemu *mir*, wskazuje pośrednio na kolejny istotny w kulturze Słowian aspekt relacji interpersonalnych, budujących – zachowany w onimii – obraz dawnego świata. Spośród ok. 30 imion dwuczłonowych z leksemem *bor*, stanowiących bazę nazw miejscowych, budowę przynajmniej 6 z nich znamy jedynie dzięki toponimom istniejącym od czasów najdawniejszych do współczesnych w takiej samej lub wariantywnej postaci, por. *Danabórz*, cz. Bukowca, dawniej wś, pil., 1153 ville ... *Domabore*, *Donaborów*, kal., 1219 *Domaborouo* (: **Domabor*), *Poborowo*, słup., 1436 *Poberow*, *Pobierowo*, szczec., 1368 *Poberow* (: **Pobor*), *Tanibórz*, pozn., (1292) 1561 *Tanborz* (: **Taniebor*), *Tęgobórz*, częst., 1356 de *Thangoborza* (: **Tęgobor*), *Unibórz*, szczec., 1308 *Unibur* (: **Uniebor*), a także dzięki nazwom znanym ze źródeł historycznych, lecz nienotowanym współcześnie ze względu na nietrwałość obiektu: *Chodziebórz!*, os., pozn., 1406 *Chodziborze*, 1780 *Chdzieborz* (: **Chodzibor*, **Chdziebor*).

Produktywność pozostałych złożań imiennych z *bor* i *woj*¹⁴ jest różna. Największą frekwencję mają toponimy bazujące na imionach: *Cibor*, *Ścibor* (1316, 1243; 0, 31) – ok. 18: *Ciborowice*, *Ciborów*, *Cibory*, *Cibórz*, *Ściborzyce*, *Ściborzyce Małe*, *Ściborzyce Wielkie*, *Ściborowice*, *Ścibórz* i nazwy typu *Cibory-Chrzczone*, *Cibory Gałęckie*, *Borowskie Cibory*, *Sambor*, *Szembor* (1325, 1410; 79, 0) – ok. 15¹⁵: *Samborowice*, *Sambórz*, *Samborza!*, *Samborzewo!*, *Samborzec*, *Sambory*, *Szembory*, *Szymbory*¹⁶, *Przybor*, *Przebor* (1424, XII; 0, 1) – 12: *Przyborowice*, *Przyborowo*,

¹³ Niektóre nazwy identyfikują kilka, a nawet kilkanaście obiektów geograficznych.

¹⁴ Nazwy miejscowe Polski pochodzą zaledwie od kilku imion dwuczłonowych z leksemem *woj* (*Budziwoj*, *Mściwoj*, *Sędziwoj*, *Wojciech*, *Wojstaw*).

¹⁵ Zob. też E. Kowalczyk 1992: 164–181.

¹⁶ S. Rospond (1984: 340) toponimy *Samborze*, potem *Samborz*, uznaje za nazwy toponograficzne pochodzące od **sqborъje* w znaczeniu kompleksu borów, gdyż przedrostek *sq-* oznaczał współ, razem. E. Rzetelska-Feleszko (1992: 235) pochodzenie imienia *Sambor* wiąże z prasłowiańskim wyrazem **sqborъ* 'to, co zebrane razem, zbiór'. Według wcześniejszych

*Przyborów, Przeborowice*¹⁷, *Myślibor* (1212; 1) – 11: *Myślibory, Myśliborz!, Myśliborzyce, Myślibórz, Myślibory!* lub *Myślibórz* (dziś *Myśliborki*), *Racibor* (1189; 3) – 8: *Raciborów, Racibory, Raciborowice, Racibórz, Raciborów, Kropiwnica-Racibory, Borzysław* (1220; 0, por. *Borzysława* fem. 14) – 8: *Borysław, Borysławice, Borzysław, Borzysławice, Wojciech* (XI; 270332) – ok. 13: *Wojciechów, Wojciechowice, Wojciechowo, Wojciechówka, Wojcieszyn*. W innych nazwach miejscowych tego typu utrwalone zostały antroponimy rzadziej wykorzystywane w toponimicznym procesie nominacyjnym. Są to imiona funkcjonujące we współczesnym obiegu nazewniczym, ale nadawane – poza wyjątkami – niezwykle rzadko, np. *Dalebor* (1218; 1 – 1), *Lutobor* (1189; 1 – 2), *Nadbor* (1393; 1 – 3), *Przedbor* (1224; 1 – 2), *Sławobor* (XIII–XIV; 1 – 1), *Sulibor* (1497; 1 – 2), *Wszebor* (ok. 1265; 7 – 7), *Zabor* (ok. 1166; 1 – 3¹⁸), *Mściwoj* (1247; 13 – 2), *Wojśław* (1224; 42 – 4), oraz imiona niepoświadczane w dzisiejszym zasobie antroponimicznym: *Bolebor* (1223 – 1), *Borzygniew* (1424 – 2), *Chociebor* (1293 – 2), *Częstobor* (1203 – 1), *Osiębor* (1252 – 2), *Przybor* (1424, zob. *Przebor*), *Ruśbor* (1404 – 1), *Strogobor* (1382 – 1), *Włościbor* (1224 – 2), *Świebor* (XII, zob. *Wszebor*), *Zbor* (1204 – 4), *Zdziebor* (1404 – 1), *Budziwoj* (1198 – 5), *Sędziwoj* (1193 – 2).

Nietrwałość obiektu geograficznego (wieś, osada), do którego przypisany jest dany toponim, prowadzi do zaginięcia nazwy miejscowej, równoznacznego niekiedy z niezachowaniem – nawet w tej kategorii nazewniczej – imienia życzącego, np. *Chodziebórz!* (zob. wyżej), też *Osiemborowice!*, włoc., *Samborza!*, leszcz., *Świeborowice!*, leszcz.¹⁹, a w przypadku nazw miejscowych o tym samym brzmieniu powoduje jedynie zmniejszenie frekwencji występowania określonej formy onimicznej, np. *Borzygniew!*, włoc., *Borzysław!*, wroc., *Samborowice!*, leszcz., *Zaborowice!*, kal.

Zmiany leksykalne nazw obserwujemy przy stałym trwaniu obiektu, a także wtedy, gdy – jak na to wskazują np. zapisy nazwy *Gościśławie!* (> *Goszanowo!*), pil. – osada współcześnie nie istnieje. Zaginione nazwy wsi *Gościhradzice!*, krak., *Gościśław!*, legn., wpływają na zmniejszenie liczebności form motywowanych imionami dwuczłonowymi z *gost*. Imiona *Gościрад*, *Gościśław* zachowały się jednak w nazwach innych obiektów, np. *Gościрадз*, bydg. Dwuczłonowe nazwy osobowe z leksemem *gost*, utrwalone m.in. w nazewnictwie miejscowym, świadczą – zdaniem J. Nalepy (1992: 15) – „o wybitnej cesze gościnności u dawnych Słowian”, potwierdzając realny związek treści zawartych w imionach złożonych z wartościami istotnymi dla naszych przodków. Dla większości spośród ok. 17 imion z rdzeniem *gost*, motywujących ponad 30 toponimów nazwa miejscowa jest jedynym dowodem na istnienie w staropolszczyźnie określonej formy imiennej, np. *Bydgoszcz*, 1238

ustaleń – zawartych m.in. w pracy M. Malec (1971: 69, 108) – wymienione imię należy uznać za złożenie z zaimka *самъ* + **borъ* < **boriti* ‘walczyć’, które można traktować jako formę skróconą z pierwotnej **Samobor* (por. serbsko-chorwackie *Samobor*) (zob. też Keber 1996: 423).

¹⁷ W niektórych nazwach istnieje możliwość podwójnej motywacji, np. *Przyborowo* (: *Przybor* lub wyrażenia przyimkowego *przy borze*).

¹⁸ Nazwa miejscowa *Zaborowice* może pochodzić również od nazwy określającej ludzi mieszkających za borem.

¹⁹ Imię *Osiębor* zachowało się w nazwie wsi *Osiemborów*, rad., notowanej po raz pierwszy w 1407 r., natomiast *Sambor* i *Świebor* w kilku innych toponimach.

Budegac (: **Bydgost*), *Gostchorz*, siedl., 1507 *Gosthchorza* (: **Gostochor*), *Witrogoszcz*, pil., 1467 *Jutrogosky* (: **Jutrogost*), *Lubogoszcz*, ziel., 1208 *Lubogosch* (: **Lubogost*)²⁰, *Radgoszcz*, gorz., 1378 *Radgoscze*, *Redgoszcz*, dawniej wś, dziś cz. wsi Rąbczyn, pil., *Radgoszcz*, tarn., 1508 *Radgosza* (: **Radogost*²¹, **Radgost*), *Sadłogoszcz*, bydg., 1362 *Sodlogosz* (: **Siodłogost*), *Skorogoszcz*, opol., 1223 *Scorogostow most* (: **Skorogost*), *Sulgostów*, dawniej *Suligostów*, rad., 1508 *Sulygosthow* (: **Suligost*), *Zagość*, dziś dwie wsi *Nowa Zagość* i *Stara Zagość*, kiel., 1153 *Zagost* (: **Zagost*), *Zelgoszcz*, 1534 *Zeligosza* (: **Żeligost*). Inne złożenia z *gości*- i *-gost* utrwalone w nazewnictwie miejscowym, znane też ze źródeł średniowiecznych, współtworzą zbiór imion współcześnie nadawanych: *Dobrogost* (1153; 5 – 6), *Gościrad* (1204; 1 – 3), *Gościśław* (1214; 2 – 3), *Miłogost* (XII; 7 – 3). Warianty zaginionej nazwy wsi *Gościradzice*! (1198 *Gostiradic*, (1228) in *Gosciradichi*, (1232) *Radogoscice*), ilustrują pośrednio typowe dla antroponimii słowiańskiej, a utrwalone w toponimii Polski, zmiany w obrębie członów złożeni imiennych, prowadzące do wykształcenia dwóch różnych imion.

Sufiksalne, fleksyjne, fonetyczne czy graficzne warianty nazw miejscowych mogą ułatwić m.in. dotarcie do prawidłowej motywacji nazwy, por. *Adamierz*, koniń., 1377 *Nadamirza*, 1404 de *Nedamirz* ... in *Nedamirze*, 1502 *Nyedamyrz*, 1511–1523 *Jadomyerz*, *Jadamyerz*, 1545 *Niedamierz* (: *Niedamir*), *Znamirowice*, nowosąd., 1389 de *Nesnamirouicz*, 1536 *Nieznamirovice* (: *Nieznamir*). Często ukazują proces stopniowej stabilizacji formy przypisanej do konkretnego obiektu, por. *Damyrowo* (1540), *Damirów* (1565), *Damirowo* (1576) (dziś *Damirów*, cz. wsi Ruda Tarnowska, dawniej wś), *Zandomir* (1136), *Sudomir* (1166), *Sandomiria* (1176, 1442, 1508), *Sandomirie* (1236) (dziś *Sandomierz*) itp. Zmiany nazw, najczęściej leksykalne, prowadzą do zmniejszenia liczebności odmiennych nazw miejscowych przy stałym trwaniu obiektu. Powstanie nowego obiektu geograficznego, zwykle z istniejącej wcześniej miejscowości, sprzyja powieleniu nazwy przez wprowadzenie członów odróżniających, np. *Gościeradów* > *Gościeradów Plebański*, *Gościeradów Ukazowy*, tarnob., *Jaromierz* > *Jaromierz*, *Nowy Jaromierz*, *Stary Jaromierz*, ziel., *Raciborowice* > *Raciborowice Dolne*, *Raciborowice Górne*, legn., a jego nietrwałość (obiekt zaginiony, niezidentyfikowany współcześnie lub być może włączony do innej miejscowości) powoduje zanik toponimów (ponad 20 form), np. *Budziwojewice*!, łęcz., *Chodziebórz*!, pozn., *Czędomierz*!, koniń., *Gościradzice*!, krak., *Jadamierz*!, pil., *Kajmirz*!, rad., *Ludzimierz*!, tarn., *Małomierz*!, piotr., *Myśliborz*!, kosz., *Niedamirowice*!, pozn., *Niemirzewo*!, koniń., *Osiemborowice*!, włoc., *Racimierowo*!, pozn., *Samborza*!, leszcz., *Samborzewo*!, pozn., *Świeborowice*!, leszcz., *Świemirowo*!, gdań., *Świętomirowo*!, kal., *Zdzimirze*!, ostroł., lub ograniczenie występowania tak samo brzmiących nazw: *Borzygniew*!, włoc., *Borzysław*!, wroc., *Gniewomirowice*!, legn., *Gościśław*!, legn., *Samborowice*!, leszcz., *Zaborowice*!, kal.

Opisane w artykule ojkonimy tworzone były głównie w XIV, XV i XVI w. Najstarsze zapisy odnajdujemy w źródłach z XII i XIII w., np. 1238 *Budegac*, 1242 *Budegosta*, 1279 *Bidgoscha* (*Bydgoszcz*), 1198 villam ... *Gostiradic*, 1228 in *Gosciradichi* (*Gościradzice*!), 1153 *Zagost* (*Zagość*), (1273) 1445 *Racziborouicze*

²⁰ W SSNO zanotowana jest znana już w XII w. forma *Lubgost*.

²¹ Imię *Radogost*, niezapisane w dokumentach historycznych, potwierdzone jest czterokrotnie w SIW.

(*Raciborowice*), 1136 *Zandomir*, 1166 *Sudomir*, (1176) *Sandomiria* (*Sandomierz*)²², ok. 1240 *Sdzijmiirze* (*Zdzimirze!*). Powstanie nazwy wsi *Kazimierza Mała* datuje się na wiek XI (por. 1063 in *Parva Cazimirza*).

Opis rozpowszechnienia dwuczłonowych nazw osobowych zachowanych w toponimii Polski wskazuje na ich różną produktywność. Imię złożone, zapisane w dokumentach średniowiecznych i istniejące lub nie w dzisiejszej bazie imion, lub zrekonstruowane z nazwy miejscowej²³, stanowi bazę jednego, kilku lub kilkunastu toponimów identyfikujących nawet kilkadziesiąt obiektów geograficznych. Zdecydowanie najwięcej nazw miejscowych zawiera w swojej podstawie imiona z leksemem *mir* (ok. 180), nieco mniej powstało od wyrażających odmienne treści złożenia z *bor* (ok. 115). Słowiańskie antroponimy z nagłosowym i wygłosowym członem *woj* tworzą ok. 25 toponimów, a z rdzeniem *gost* – ponad 30. W wyniku omówionego w artykule sposobu nominacji powstało co najmniej 350 onimów²⁴, identyfikujących obiekty w różnych regionach kraju. W tej grupie nazw ponad 130 ojkonimów (w tym ok. 90 form od imion z rdzeniem *mir*) to nazwy nadane nowym obiektom w XIX w. lub ustalone urzędowo w wieku XX. Część nazw nie dotrwała do dziś ze względu na nietrwałość obiektów lub zmianę onimu. Niektóre nazwy określające dawniej odrębną jednostkę administracyjną zmniejszyły swój zasięg do części danej miejscowości, np. *Mięćmierz*, lub. (cz. *Kazimierza Dolnego*, dawniej *wś*). Zwiększeniu frekwencji niektórych formacji toponimicznych sprzyjało, wskazane wyżej, wyodrębnienie nowego obiektu.

Najwięcej toponimów motywowanych imionami odzwierciedlającymi centralną dla dawnych Słowian wartość związaną z zachowaniem pokoju, powstałych przed XVIII w. (ponad 80 nazw), występuje (bądź występowało) w Wielkopolsce, nieco mniej w Małopolsce, na Śląsku i Mazowszu. Sporo nazw miejscowych ustalonych urzędowo w XX w., nawiązujących do słowiańskiego dziedzictwa antroponimicznego, a mających na celu wyeliminowanie wcześniejszych nazw niemieckich lub nazw zgermanizowanych identyfikuje obiekty zlokalizowane na ziemiach odzyskanych. Nazwy nadane miejscowościom w XIX w. (często o charakterze pamiątkowym) występują w Wielkopolsce, też na Mazowszu i w Małopolsce (zob. mapy). Nacechowane pozytywnie imiona z członami *-gost*, *gości-* wykorzystano przede wszystkim do utworzenia nazw w Wielkopolsce, też na Śląsku. Idei pokoju towarzyszą przeciwstawne jej tendencje do wojny, związanej paradoksalnie także z utrzymaniem pokoju. Te ścierające się, a jednocześnie nakładające na siebie, sfery egzystencji człowieka bliskie były również dawnym Słowianom. Świadczy o tym semantyka leksemów zachowanych w dwuczłonowym imiennictwie staropolskim motywującym nazwy miejscowe. Kartograficzne zestawienie najstarszej

²² Niektóre dokumenty znane są jedynie z późniejszych odpisów.

²³ Imiona odtworzone z nazw miejscowych stanowią zbiór obejmujący ponad 30 form, por. **Bromir*, **Brzezmir*, **Chotemir* // **Chotomir*, **Czestmir* // **Czimir* // **Cieciemir*, **Czędomir*, **Damir*, **Gorzemir*, **Kupimir*, **Ludzimir*, **Mądroimir*, **Rozmir* // **Rozmier*, **Warcimir*, **Wielimir*, **Zdziemir*; **Chodźbor*, **Domabor*, **Pobor*, **Taniebor*, **Tęgobor*, **Uniebor*, **Bydgost*, **Gostochor*, **Jutrogost*, **Lubogost*, **Małogost*, **Radogost* // **Radgost*, **Siodłogost*, **Skorogost*, **Suligost*, **Zagost*, **Żeligost*.

²⁴ Podana liczba obejmuje wszystkie nazwy, a zatem również dublety nazewnicze, nazwy nieistniejące obecnie oraz nadane w czasach współczesnych.



Rozmieszczenie nazw miejscowych motywowanych imionami dwuczłonowymi z *-mir*, *miro-*, utworzonych do XVIII w.



Rozmieszczenie nazw miejscowych nawiązujących do toponimów od imion dwuczłonowych z *-mir*, *miro-*, nadanych po XVIII w.

grupy toponimów pochodzących od złożzeń z *bor* wskazuje ich największą frekwencję na Mazowszu, zwłaszcza północnym (np. w Łomżyńskim i Ciechanowskim) oraz w Wielkopolsce. Nieco mniej nazw powstało w Małopolsce i na Śląsku. Nazwy pochodzące od imion z *woj* znane są głównie w ziemi kieleckiej i opolskiej.

Omówione nazwy miejscowe można traktować jako przyczynek do historii osadnictwa. Najstarsze toponimy pochodzące od imion, których pierwotne treści sytuują je na antonimicznej skali *pokój – wojna*, identyfikują obiekty m.in. w dawnych centrach osadniczych (por. np. mapa).

Zarysowany w artykule opis nazw miejscowych motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi w kontekście relacji *imię dwuczłonowe – nazwa miejscowa – obiekt geograficzny* ukazuje – dzięki zestawieniu onimów – powszechność tego sposobu nominacji, produktywność i żywotność form imiennych, stanowiących bazę nazw miejscowych, trwałość toponimów w związku z trwaniem lub nie-trwaniem obiektów, frekwencję i rozmieszczenie nazw, ich wariantywność oraz typy strukturalne. Wśród nich można wyróżnić nazwy dzierżawcze z pierwotnymi sufiksami **-jb* (**-ja*, **-je*), np. *Borzygniew!*, *Budomierz*, *Brzezmierz*, *Czędomierz!*, *Gościsław!*, *Gościsławie!*, *Jaromierz*, *ziel.*, *Kazimierz*, np. *sier.*, *Kotomierz*, *Kupimierz*, *Mirosław*, *pil.*, *płoc.*, *Rusibórz*, *Rozmierz*, *Samborza!*, *Sandomierz*, *Tęgobórz*, *Zagość*, *Zdzimirze!*, **-ovъ* (**-ova*, **-ovo*), np. *Falmierowo* (1402 *Chwalimirowo*), *Koćmierzów* (1413 *de Choczimierow*), *Racimierowo!*, *Sulgostów*, *Świemirowo!*, *-evъ* (**-eva*, **-evo*), np. *Samborzewo!*, *-inъ* (**-ina*, **-ino*), np. *Lutomierzyn*, *Suliborzyno!* czy z przyrostkiem *-ec*, np. *Samborzec*, a także nazwy patronimiczne z sufiksem *-ice* (*-owice// -ewice*) < *icy* < **itjo*, np. *Mirosławice*, *płoc.*, *sier.*, też *pozn.* (dziś *Mirosławki*, por. 1411 *Mirosławicze*), *Osiemborowice!*, *Sulmierzyce*, *Wyśmierzyce*. Rzadziej pojawiają się nazwy rodowe, np. *Myślibory*, *Szembory*²⁵.

Literatura

- Bańkowski A., 1984, *Staropolskie imiona dwuczłonowe z osobliwymi składnikami*, „Onomastica”, t. XXIX, s. 127–160.
- Bańkowski A., 2000, *Etymologiczny słownik języka polskiego*, t. I. A–K, Warszawa.
- Cieślakowa A., 1996, *Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych*, „Onomastica”, t. XLI, s. 5–19.
- Cieślakowa A., 1999, *Nazwy własne w procesie rekonstrukcji obrazu dawnego świata*, [w:] Pajdzińska A., Krzyżanowski P. (red.), *Przeszłość w językowym obrazie świata*, Lublin, s. 269–276.
- Górny H., 2007, *Nazwy miejscowe motywowane imionami dwuczłonowymi typu Boguchwał, Borzysław, Budziwoj – rozmieszczenie, chronologia, frekwencja*, „Onomastica”, t. LII, s. 101–117.
- Kaleta Z., 1996, *Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (semantyka imion staropolskich z członami - mir, - myśl, - sław na tle indoeuropejskim)*, „Slavia Occidentalis”, t. LIII, s. 7–13.

²⁵ Niektóre toponimy pierwotnie miały inne sufiksy, co potwierdzają pierwsze zapisy nazw, np. *Będźmierowice*, *bydg.*, (1365) 1400 *Bandzemyr*, *Bandzemir*, *Kotomierz*, *bydg.*, por. 1315 *Cothomirze*, *Lutomierzyn*, *ciech.*, por. 1404 *Lutomerzino*, *Luthomirzs*, *Radgoszcz*, *gorz.*, por. 1378 *Radgoszcze*.

- Karaś M., 1956, *O staropolskich imionach dwuczłonowych zachowanych w nazwach miejscowych*, „Onomastica”, t. II, s. 260–281.
- Keber J., 1996, *Leksikon imen. Izvor imen na Slovenskem*, Celje.
- Malec M., 1971, *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
- Malec M., 1975, *Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez*, „Polonica”, t. I, s. 259–307.
- Malec M., 1993, *Dobór znaczeniowy członów imiennych w słowiańskich imionach złożonych*, [w:] W. Wenzel (red.), *Namenkundliche Informationen*, Beiheft 17, *Anthroponymica Slavica*, Leipzig, s. 30–36.
- Malec M., 2005, *Staropolskie imiona dwuczłonowe w XX wieku. Dziedzictwo i innowacje*, „Onomastica”, t. L, s. 217–236.
- Nalepa J., 1991, *Pokój i wojna w staropolskich imionach* (cz. 1), „Język Polski”, t. LXXI, z. 2, s. 87–97.
- Nalepa J., 1992, *Pokój i wojna w staropolskich imionach* (cz. 2), „Język Polski”, t. LXXII, z. 1, s. 9–15.
- Rospond S., 1984, *Słownik etymologiczny miast i gmin PRL*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
- Rymut K., 2003, *Warstwy chronologiczne w słowiańskich dwuczłonowych nazwach osobowych*, [w:] idem, *Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe*, Kraków, s. 68–71; przedruk za: *Zbornik referatov*, Ljubljana 1981, s. 417–476.
- Rzetelska-Feleszko E., Kowalczyk E., 1992, *Nazwy obronne Słup, Samborza i Zawada a zagadnienie obrony stałej ziem polskich w średniowieczu*, Warszawa 1992, rec., „Onomastica”, t. XXXIX, s. 233–236.
- SIW – *Słownik imion współcześnie w Polsce używanych*, wyd. K. Rymut, Kraków 1995.
- Skowronek K., 1995, *Imiona dwuczłonowe motywujące współczesne nazwiska polskie*, „Onomastica”, t. XL, s. 73–100.
- Skulina T., 1994, *O staropolskich regionalizmach w kobiecej antroponimii*, [w:] M. Kucała, Z. Krążyńska (red.), *Studia historycznojęzykowe I*, Kraków, s. 81–92.
- SSNO – *Słownik staropolskich nazw osobowych*, Taszycki W. (red.), t. I–VI, Wrocław 1965–1983, t. VII. Suplement oprac. pod kierunkiem M. Malec, Wrocław 1984–1987.

Źródła nazw miejscowych

- Bijak U., 2001a, *Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego*, Kraków.
- Bijak U., 2001b, *Imię Kazimierz i jego derywaty w toponimii polskiej*, [w:] Cieślíkowska A., Czopek-Kopciuch B. (red.), *Toponimia i oronimia*, Kraków, s. 125–135.
- Borek H., 1972, *Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych*, Opole.
- Borek H., 1988, *Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych*, Opole.
- Kopertowska D., 1984, *Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych*, Warszawa–Kraków.
- Kopertowska D., 1994, *Nazwy miejscowe województwa radomskiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy osiedli mieszkaniowych, placów, alei i ulic*, Kielce.
- Kowalczyk E., 1992, *Nazwy obronne Słup, Samborza i Zawada a zagadnienie obrony stałej ziem polskich w średniowieczu*, Warszawa.

Lubaś W., 1968, *Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego*, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Nazwy geograficzne Śląska, 2004, 2007, Sochacka S. (red.), t. XI, XIII, Opole.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, 1996–2007, K. Rymut (red.), t. I–VII, Kraków i kartoteka.

Rymut K., 1967, *Nazwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego*, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Rzetelska-Feleszko E., Duma J., 1985, *Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Rzetelska-Feleszko E., Duma J., 1991, *Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego*, Warszawa.

Wójcik U., 2001, *Nazwy miejscowe dawnego województwa rawskiego*, Warszawa–Kraków.

Zierhoffer K., 1957, *Nazwy miejscowe północnego Mazowsza*, Wrocław.

Skróty

bydg.	– woj. bydgoskie
cz.	– część
częst.	– woj. częstochowskie
fem.	– femininum
gorz.	– woj. gorzowskie
kal.	– woj. kaliskie
kiel.	– woj. kieleckie
koniń.	– woj. konińskie
kosz.	– woj. koszalińskie
krak.	– woj. krakowskie
legn.	– woj. legnickie
leszcz.	– woj. leszczyńskie
lub.	– woj. lubelskie
łęcz.	– ziemia łęczycka
łomż.	– woj. łomżyńskie
nowosąd.	– woj. nowosądeckie
opol.	– woj. opolskie
ostroł.	– woj. ostrołęckie
pil.	– woj. piłskie
piotr.	– woj. piotrkowskie
płoc.	– woj. płockie
pozn.	– woj. poznańskie
przem.	– woj. przemyskie
rad.	– woj. radomskie
siedl.	– woj. siedleckie
śłup.	– woj. ślupskie
szczec.	– woj. szczecińskie
tarn.	– woj. tarnowskie

włoc.	– woj. wrocławskie
wroc.	– woj. wrocławskie
wś	– wieś
ziel.	– woj. zielonogórskie

Представление идеи сосуществования славян, сохранившееся в топонимии Польши, на примере топонимических наименований, мотивированных избранными двуосновными именами

Резюме

В статье представлены наименования географических объектов мотивированных общеславянскими двуосновными именами с лексемами *мир* (**mirъ* 'мир, спокойствие, добро'), *бор* (**borti* (sę), **boriti* (sę) 'бороться, воевать', **borъ* 'борьба'), *вой* (**vojъ* 'воин') и *гост* (**gostъ* 'гость', **gostiti* 'гостить') в отношении *двуосновное имя – название топонима – географический объект*. Вышеизложенная группа ойконимов показывает степень распространения и живучесть двуосновных имён, лежащих в основе географических названий, их расположение, частотность, хронологию и вариантивность, а также их устойчивость в связи с продолжительностью или исчезновением объектов.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Refleksy słowiańskiego kodu kulturowego w staroruskich nazwach osobowych nawiązujących do świata roślin

Pamięci prof. Vladimira Nikolaeviča Toporova (1928–2005)
oraz prof. Nikity Il'iča Tolstoja (1923–1996)

Siedemnastowieczne księgi celne północnego szlaku rzeczno¹ są rejestrami zawierającymi olbrzymią liczbę nazw indywidualnych, co czyni je nieocenionym źródłem materiału antroponimicznego. W przejrzanym przeze mnie dokumencie za lata 1633–1636 oraz 1678–1680 pochodzących z Wielkiego Ustiuga zostało poświadczonych łącznie 6101 męskich nazw osobowych (odpowiednio 3429 i 2672). Liczną reprezentację znalazły w nich antroponimy tradycyjne. Wobec postępującej akulturacji chrześcijańskiej słowiańskie nazwy osobowe odnotowane w badanych zabytkach piśmienniczych są już wprawdzie jedynie wyrwanymi ze swego pierwotnego kontekstu okruchami dawnej kultury, jednakowoż nawet tak szczątkowe dane zdają się odsyłać do złożonych koncepcji kosmologicznych. Zbiór analizowanych antroponimów zawiera m.in. liczne nazwy motywowane słownictwem roślinnym, które w moim przekonaniu *mogły* stanowić element rodzimego kodu kulturowego².

Do spojrzenia na odapelatywne nazwy osobowe badanego okresu z tej perspektywy skłoniły mnie poglądy V.N. Toporova (1979), który wypowiadając się w szeroko dyskutowanej kwestii sposobu, w jaki odbywało się przekazywanie wzorców kulturowych w społecznościach niepiśmiennych, zwrócił uwagę na prawdopodobne pełnienie przez pewne imiona osobowe funkcji konserwującej, polegającej na ich wykorzystywaniu przez tradycję w celu aktualizowania jej zasadniczych wartości³.

¹ W latach 1950–1951 ukazało się ich trzytomowe wydanie *Таможенные книги Московского государства XVII века. Северный речной путь: Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма* (red. А.И. Яковлев), przy czym tom I zawierał dokumenty z lat 1633–1636, II – 1650–1656, III – 1675–1680.

² W pracach onomastycznych wiele uwagi poświęca się zagadnieniu odróżnienia odapelatywnych imion osobowych *sensu stricto* i charakteryzujących przezwisk. Dotychczas nie udało się wskazać ostrego kryterium takiego podziału. Celem niniejszej analizy jest wskazanie antroponimów o podstawach, których semantyka przemawia za funkcją optatywno-magiczną czy też konserwującą, o których dalej w tekście artykułu.

³ Autor ten poddał analizie m.in. technikę kodowania naczelnego bóstwa gromowładnego w tak lub inaczej genetycznie z nim związanych postaciach za pomocą nie jednego, lecz całego ciągu imion: *Gromowładca – Elias – Karp – Sidor – Siemion*, a także wyrazu *koziół*

W opinii tego autora, poprzez używanie nazwy w ten czy inny sposób nawiązującej do sytuacji mitycznej czy imienia postaci z nią związanej szeregowy członek społeczności zabezpieczał nomenklaturową i hipostatyczną dziedziczność wewnątrz danej tradycji i zapewniał translację modeli kulturowych z najmniejszymi stratami⁴. Wypracowane schematy nominacyjne i ekstensywne wykorzystywanie nazw osobowych umożliwiały dyskretną aktualizację związku z sytuacją początkową, a tym samym trwanie tradycji⁵.

Podstawę przedchrześcijańskich zapatrywań Słowian stanowił przy tym właściwy wszystkim kulturom tradycyjnym dychotomiczny podział uniwersum na sferę opanowaną przez ludzi („ten świat”) i drugą – dla nich obcą („tamten świat”), który znajdował liczne semiotyczne i symboliczne reprezentacje. Odniesienie dla wielu badanych antroponimów stanowiły nazwy obiektów przyrodniczych, pełniących funkcję granicy dzielącej obszar pod względem fizycznym na przestrzeń bezpieczną i niebezpieczną, strefę codziennej egzystencji i peryferia. **Krańce ziemi oswojonej** wyznaczały rzeki, jeziora, moczary, bagna, w których spotykały się ziemia i woda, ekumena i anekumena, domena ludzi i sił pozaziemskich, zob.: *край* ‘skraj, krawędź; brzeg, strona; ziemia, kraina, kraj’; dial. ‘las’ (> **Край***); *хохряк* ‘wzgórek, kępa, pło, pleso’ (> **Хохряк***); *дунай* ‘strumień, ruczaj; rzeka; woda’ (> **Дунай***); *колмак* ‘kępa, pło, spleja’ (> **Колмак***); *лузь* ‘łąka; wolna przestrzeń wodna pomiędzy płem, prześwit na zarastającym jeziorze; porośnięta lasem nizina i in.’ (> **Лузь***); *озерко*

(w czwartek, będący dniem poświęconym bóstwu piorunowemu, składano ofiarę z kozła). Podobny szereg taksonomiczny udało mu się też ustalić dla bóstwa żeńskiego: *Mokosz – Praskowia – Pjatnica – Matrona – Maria – Matka Boska* wraz z sekwencją wyrazów pospolitych: *pszczola – skowronek – kulik – tkactwo – przędzenie – woda – klucze*. Badane przezeń późne teksty folklorystyczne odzwierciedlają przy tym naturalnie częściową asymilację idei pogańskich z treściami chrześcijańskimi.

⁴ V.N. Toporov omawia to zjawisko w nawiązaniu do teorii domniemanego słowiańskiego „mitu podstawowego”, prezentującego konflikt pomiędzy głównym bóstwem (gromowładnym) i jego przeciwnikiem (wężem), wywołany zdradą żony Gromowładcy. Jej dzieci z powodu podejrzeń o bycie „cudzymi” zostają zamienione w chtoniczne zwierzęta (węże, robaki, myszy, krety itp.), owady, grzyby, nasiona roślin, z których wytwarza się napoje oszłamiające lub halucynogenne, jak również podstawowe kultury rolne, odznaczające się szczególnie plennością. Tym samym zgładzenie dzieci (zwykle synów) powoduje możliwość ich corocznego progresywnie postępującego odradzania, z przejściem od skostnienia i ekstensywnego застою do dynamicznego i intensywnego rozkwitu (chaos > kosmos). Wiąże się ono z ideą obfitości i płodności, odebranej siłom nieczystym przez czynnik boski.

⁵ Rozsiewanie tego typu informacji następowało przy tym dwutorowo: 1) poprzez dziedziczenie nazwy osobowej ojca (lub innego męskiego przodka) przez syna; 2) poprzez nominację dzieci jednego ojca za pomocą tej samej nazwy lub z wykorzystaniem nazw nawiązujących do tego samego precedensu (ros. *сквозное именование*). Przykłady antroponimów odapelatywnych motywowanych wyrazami pospolitymi należącymi do tego samego pola semantycznego, używanych przez członków jednej rodziny (jednego pokolenia lub różnych pokoleń) zob.: Веселовский 1974: 285, 328; Wójtowicz 1986: 67; Унбегаун 1989: 166–167. W analizowanych zapisach siedemnastowiecznych napotkałam świadectwa nadawania tego samego imienia rodzonym braciom: *Иван да Иван Ивановы же дети* (16.03.1679); *Иван Стефанов сын Обуздин Меньшей ... Иван же Стефанов Большей* (15.09.1679 i 10.11.1679).

'jeziorko' (> **Озерко***); *нустоха* 'pustkowie, odludzie' (> **Пустоха***); *ручей, ручай* 'potok, ruczaj, roztoka' (> **Ручей***).

Strefy te porastała specyficzna roślinność: *белоус* 'bliźniczka psia trawka' (> **Белоус**); *ягель* 'porosty; chrobotek reniferowy' (> **Ягель***); *куст* 'krzew, krzak' (> **Куст***); *мох* 'mech' (> **Мох***); *ольшняк, олешник* 'olszyna, ols, oles', *ольшак, ольшак* 'nizinne miejsce lub niewielkie mokradło porośnięte olszą' (> **Ольшук***); *рогоза, рогоз* 'pałka szerokolistna, rogoża' (> **Рогоза***); *ситник* 'sit; sitowie' (> **Ситник**); *согра* 'zarośla; tajga; mokradło, kąpiaste bagno' (> **Согра***); *шаста* 'mech porastający pnie drzew' (> **Шаста***).

Szczególny stosunek Słowian do **lasu** odzwierciedlają antroponimy motywowane różnymi jego określeniami: *чаща* 'gąszcz, gęstwina leśna, matecznik, knieja' (> **Чаща***); *частик* 'gęstwina leśna; częstokół' (> **Частик***); *дубрава / дуброва* 'las liściasty, dąbrowa'; dial. 'trawa' (> **Дуброва***). Las był pojmowany jako jedna z form chaosu i jego ekwiwalent, siedziba i teren działania sił nieczystych. Tutaj możliwe było przekroczenie granic świata pozagrobowego. W rytuałach inicjacyjnych okresowa izolacja w lesie symbolizowała śmierć, po której następowały „ponowne narodziny”. Również mokradła, trzęsawiska, jeziora uznawano za miejsca medialne, strefy graniczne pomiędzy światem ludzi i strefą dzikości. Demony przyrody symbolizowały jej złowrogi charakter i stanowiły potencjalne zagrożenie, toteż w relacjach z naturą ludzie zachowywali daleko posuniętą ostrożność. Las pozostawał obszarem nieoswojonym, kryjącym wiele zagrożeń, rządzonym przez inne moce, chociaż zapewniał byt i wraz z występującymi w nim roślinami oraz zwierzętami był równocześnie traktowany jako symbol obfitości i płodności.

Drzewa stanowiły i stanowią charakterystyczny element środowiska przyrodniczego Słowiańszczyzny. Osiągającymi rozmiarami i długowiecznością przewyższają inne spotykane na jej terytorium organizmy roślinne. Drzewa kodyfikowały w kulturze tego obszaru energię życiową, nieśmiertelność, nieograniczoną moc, odradzającą się w cyklu pór roku siłę witalną (szerzej o tym Marczeńska 2001). Dla ich utwierdzenia się w tradycyjnej wyobraźni jako wariantów zmaterializowanej *axis mundi* decydująca była pionowa orientacja i obejmowanie wszystkich sfer Kosmosu. Stawały się tym samym centrami rytualnymi, wypełniając rolę mediacyjną podczas składania ofiar (por. święte gaje Słowian). Same w sobie nie stanowiły przedmiotu kultu. Czczono je jako symbole sił oraz istot nadprzyrodzonych. Drzewami szczególnymi były przy tym dla Słowian dąb i lipa (na obszarze wschodnim również brzoza), odpowiednio o symbolice męskiej i żeńskiej, stanowiące roślinne konkretyzacje przeciwstawnych sił działających w kosmosie (Tomiccy 1975: 85–88; Kowalski 1998: 33–37). Silna antropomorfizacja elementów otoczenia przyrodniczego i materialnego stanowiła refleks tradycyjnego widzenia świata w całej jego złożoności na wzór i podobieństwo społeczności ludzkiej⁶. Rośliny – niczym ludzi – klasyfikowano według kryterium płci, jako że należały w tym samym stopniu, co człowiek do naturalnego porządku świata. Tradycyjne wyobrażenia słowiańskie koncentrowały się przy tym wokół opozycji „żeński/niski/wilgotny” i „męski/wysoki/suchy” (Kowalik 2004: 71, 212–215). W związku z tym gatunkom drzew porastających obniżenia terenu oraz obszary podmokłe przypisywano zazwyczaj atrybucję żeńską (np. olcha,

⁶ Wiele uwagi problematyce nadawania otaczającemu światu witalnych znaczeń i jego seksualizacji w kulturach archaicznych poświęcił M. Eliade (2003: 33–42).

wierzba, czeremcha, kalina). Skojarzenie drzewa i wody wzmacniało w tym przypadku symbolikę płodnościową.

Za podstawy siedemnastowiecznych antroponimów północnoruskich posłużyły następujące nazwy drzew: **dąb** (*дуб* > **Дуб***), **lipa** (*липа* > **Липа***), **brzoza** (*береза* > **Береза**), **wierzba** (*райда* > **Райда***), a także **sosna** (*сосна* > **Сосна***) i **świerk** (*ёлка* > **Ёлка***). Nie podlegająca zmianie w rytmie wegetacyjnym wieczna zieleń drzew szpilkowych bywała kojarzona z przestrzenią nieodróżnicowaną, zaświatami. Rośliny iglaste wiązano ze śmiercią, stąd, z jednej strony, przypisywano im właściwości medycyjne, z drugiej natomiast stosowano w zabiegach związanych ze stymulowaniem mocy witalnych i płodności.

Wśród **pozostałych roślin dziko rosnących**, których nazwy dały asumpt badanym antroponimom, najliczniejszą grupę tworzyły gatunki występujące na obszarach granicznych w odczuciu ludności chłopskiej, tzn. na terenach podmokłych, nad brzegami rzek i jezior, w lasach i przy drogach, m.in.: **borówka brusznica** (*брусенка* > **Брусенка***), **dziewięliś** (*дудник* > **Дудник***), **cykoria podróżnik** (*щербак* > **Щербак**), **ślaz** (*проскурят* > **Проскурят***), **mniszek pospolity** (*пушник* > **Пушник***), **dziewięciornik błotny** lub **bobrek trójlistkowy** (*поповка* > **Поповка***), **przetacznik leśny** (*синюшка* > **Синюшка**). Roślinom tym przypisywano z reguły moce uzdrawiające i magiczne. Wiele nazw osobowych było motywowanych określeniami gatunków o pewnym znaczeniu żywieniowym, m.in. **lebiody** (*селедник* > **Селедник***), **rzeżuchy** (*сердечник* > **Сердечник***) i **stokłosa** (*костёр* > **Костёр***). Co ciekawe, młode liście lebiody i rzeżuchy są jadalne, podczas gdy starsze wykazują właściwości toksyczne. W badanym materiale imienniczym zostały zaświadczone również nazwy innych roślin trujących, m.in. **firletki lepkiej** lub **kokornaku** (*смольник* > **Смольник***), **czworolistu pospolitego**, **kokoryczki wonnej** lub **czerńca gronkowego** (*воронец* > **Воронец***).

W funkcji siedemnastowiecznych podstaw antroponimicznych odnotowano także nazwy roślin o działaniu psychoaktywnym: **lulek** (*беленица* > **Беленица***), **psianka słodkogórz** (*грезд* > **Грезд***), **tatarak** (*лепиха* > **Лепиха***) oraz wzmiankowana wcześniej **borówka brusznica**, stosowana w celu wzmacniania wizji. W opinii A. Kowalika (2004: 231), stan rytualnego odurzenia, uzyskiwany w wyniku picia wywarów czy palenia roślin o właściwościach halucynogennych współgrał najprawdopodobniej z wyobrażeniami Słowian na temat „innej” przestrzeni. Z czasem substytutem służących osiągnięciu obrzędowej ekstazy intoksykantów pochodzenia roślinnego stały się napoje oszałamiające, m.in. miód pitny i piwo. Jednak dla nadania im ostrzejszego smaku i większej mocy wciąż krzepiono je m.in. tatarakiem, jagodami wilczego łyka, bielunią, startymi na proch suszonymi liśćmi konopi, lulkiem, kąkolem, bagnem pospolitym, sokiem z zielonych makówek (Kowalik 2004: 328). Po odkryciu techniki destylacji alkoholu trunki te zostały zastąpione gorzałką. Również **grzyby** z racji występowania w lasach i miejscach wilgotnych, a także posiadania przez wiele spośród nich właściwości toksycznych i halucynogennych uznawano za organizmy medycyjne. W badanym materiale odnotowano nazwy m.in. niejadalnego **mleczaja bukowego** (*беянка* > **Беянка***) i **mleczaja biela** (*груздь* > **Груздь***) o ostrym smaku, spożywanego wszelako w Rosji po różnorodnych maceracjach i zasoleniu lub ukiszeniu. U podstaw jednego z antroponimów le-

gła ponadto nazwa **huby brzozowej** (*чара* > **Чара***), z której wytwarza się obecnie preparaty o działaniu przeciwnowotworowym.

W kulturach indoeuropejskich żywność, w tym **rośliny uprawiane w celach spożywczych**, pełniła funkcję medium pomiędzy naturą a kulturą (zob. Kempański 1993: 470–472), co przejawiało się w szeregu zwyczajów (ugoszczenie jadłem, niwelujące różnicę między „swoim” i „obcym”, uczty w miejscach pochówku w celu zjednoczenia żywych i umarłych, wzywanie duchów zmarłych na wspólny posiłek, składanie ofiar z pokarmów). W charakterze podstaw antroponimicznych użyto następujących nazw roślin uprawnych: **brukwi** (*бушман* > **Бушман***) i **rzepy** (*pena* > **Pena***), uznawanych przy tym za żeńskie i stosowanych w leczeniu chorób kobiecych, **cebuli** (*цивуля* > **Цывуля***), której ze względu na bardzo intensywny zapach przypisywano działanie antydemoniczne, odznaczającego się wysoką plennością i wchodzącego w skład potraw ofiarnych **grochu** (*горох* > **Горох***), zapomnianej rośliny oleistej **lnianki siewnej**, zwanej też **rydзем** (*льняник* > **Льяник**), a także **jęczmienia** (*ячмень* > **Ячмень***).

Przegląd słownictwa roślinnego motywującego analizowane nazwy osobowe uprawnia do wniosku, iż w okresie XVII wieku na północnych ziemiach ruskich żywa pozostawała wiara w nadprzyrodzoną moc natury, a tradycyjne wierzenia i zaufanie do środków magicznych nie zostały całkowicie wyparte przez ideologię chrześcijańską. Zrekonstruowane z siedemnastowiecznych antroponimów określenia roślin odnoszą się do gatunków o rozbudowanej symbolice i licznych zastosowaniach rytualnych, a przez to zajmujących istotną pozycję kultową w systemie religijnym Słowian wschodnich⁷. Tworzą one kilka podstawowych podzbiorów: 1) rośliny porastające obszary graniczne w rozumieniu społeczności rolniczych; 2) drzewa w przekonaniu ludowym wyobrażające oś kosmiczną i symbolizujące odnawialną energię kosmiczną; 3) rośliny halucynogenne i trujące; 4) rośliny uprawne. Nie sposób naturalnie autorytatywnie wypowiadać się o indywidualnych pobudkach towarzyszących ich nadawaniu. Wielce prawdopodobne wszelako, że nazwy osobowe odsyłające do innych, nie-ludzkich obszarów rzeczywistości pełniły funkcje religijno-magiczne. Możliwe, że nadanie komuś nazwy motywowanej wyrazem pospolitym oznaczającym organizm związany z otoczeniem przyrodniczym miało sprawić, że jej nosiciel będzie partycypować w cechach obiektu określanego początkowo tym mianem. Tym samym trudno wykluczyć, że mamy tu do czynienia z przejawami odmiennego pojmowania czasu i niezwykle intrygującego zjawiska projektowania przyszłości w kulturze niepiśmiennej (zob. o tym Lotman 2001: 245–253). Pośrednim celem nominacji z wykorzystaniem takich nazw mogło też być uchronienie przed zapomnieniem zdobytej w toku dziejów wiedzy teoretycznej o swoistych właściwościach pewnych obiektów, w danym wypadku gatunków flory. Jak więc wiadać, uprawnione zdaje się **przypuszczenie**, iż użycie przynajmniej niektórych nazw nawiązujących do świata roślin w charakterze podstaw antroponimicznych **mogło** nie stanowić dzieła przypadku i efektu indywidualnej decyzji jednostki dokonującej nominacji, lecz raczej być wynikiem działań większej zbiorowości ludzkiej. Należy jednak z całą mocą podkreślić, iż przedstawione tutaj poglądy mają w całości charakter bardzo hipotetyczny i wymagają dalszych dogłębnych interdyscyplinarnych

⁷ Obszerne charakterystyki wielu roślin o funkcji znaczącej w systemie wierzeń słowiańskich zawierają prace: Tolstoj 1995, 1999, 2004, 2009; Kowalski 1998 i Sześciński 2008.

studiów na szerokim materiale. Dodatkowe światło na analizowane zagadnienie mogłyby rzucić badania z zakresu etnografii i antropologii kulturowej. Jako iż w obrębie wskazanych pól badawczych nie otrzymałam systematycznego wykształcenia, powyższe dociekania siłą rzeczy mają dość powierzchowny charakter.

Literatura

- Eliade M., 2003, *Kowale i alchemicy*, tłum. A. Leder, Warszawa.
- Kempiński A.M., 1993, *Słownik mitologii ludów indoeuropejskich*, Poznań.
- Kowalik A., 2004, *Kosmologia dawnych Słowian*, Kraków.
- Kowalski P., 1998, *Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie*, Warszawa–Wrocław.
- Lotman Y.M., 2001, *Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture*, London–New York.
- Marczewska M., 2001, *Aspekty wierzeniowe w językowym obrazie drzew*, [w:] A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj (red.), *Język a Kultura*, t. 16: *Świat roślin w języku i kulturze*, Wrocław, s. 83–98.
- Tomiccy J. i R., 1975, *Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka*, Warszawa.
- Szcześniak K., 2008, *Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny*, Gdańsk.
- Wójtowicz M., 1986, *Древнерусская антропонимия XIV–XV вв. Северо-Восточная Русь*, Poznań.
- Веселовский С.Б., 1974, *Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии*. Москва.
- Толстой Н.И. (ред.), 1995, *Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах*, т. 1, Москва.
- Толстой Н.И. (ред.), 1999, *Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах*, т. 2, Москва.
- Толстой Н.И. (ред.), 2004, *Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах*, т. 3, Москва.
- Толстой Н.И. (ред.), 2009, *Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах*, т. 4, Москва.
- Топоров В.Н., 1979, *Об одном способе сохранения традиции во времени: имя собственное в мифологическом аспекте*, „Проблемы славянской этнографии”, Ленинград, с. 141–154.
- Унбегаун Б., 1989, *Русские фамилии*, Москва.

(po cytacie podano numer tomu i stronę oraz datę odnotowania nazwy osobowej; asteriskiem oznaczono formy zrekonstruowane z patronimików)

Indeks wzmiankowanych antroponimów

- Белоус:** Федор Белоус I 153, 1.08.1634; Первой Иванов сын Белоусов I 250, 13.07.1636.
- Беленица*:** Ондрей Беленицын I 252, 23.07.1636.
- Белянка*:** Степан Белянкин I 79, 13.10.1633.
- Береза:** Береза Савин I 179, 24.02.1636; Ермола Прокопьев Березин III 367, 18.02.1680; Игнатей Анисимов Березиных III 279, 17.11.1679; Илья Прокопьев Березиных III 286, 22.12.1679.

Брусенка*: Семен Брусенкин I 61, 27.03.1634.

Воронец*: Борис Воронцов III 259, 6.01.1679.

Горох*: Левка Горохов I 133, 28.12.1634; Стефан Горохов I 279, 9.01.1636; Яков Степанов Горохов III 193, 14.09.1678; Василий Иванов Горохов III 261, 2.02.1679; Лука Иванов Горохов III 327, 8.09.1679.

Грезд*: Лазарь Третьяков сын Грездов I 11, 3.09.1633; Илья Грездов I 108, 13.09.1634; Лазарь Иванов сын Грездов I 159, 4.09.1635.

Груздь*: Павел Груздев I 92, 17.01.1634; ...у Полуяна Агафонова Груздевых III 249, 6.12.1678.

Дуб*: Лука Никитин Дубов III 390, 17.03.1680.

Дуброва*: Яков Иванов сын Дубровин III 173, 8.07.1679.

Дудник*: Терентей Дудников I 132, 20.11.1634; Трофим Дудников I 137, 22.03.1635; Алексей Афонасьев Дудников I 176, 7.02.1636.

Дунай: Дунай Васильев I 174, 29.01.1636.

Ёлка*: Михайла Георгиев[а] сына Елкина Г. III 161, 20.02.1679.

Колмак*: Григорей Сидоров сын Колмаков III 148, 9.12.1678 / Григорей Сидоров Колмаковых III 282, 4.12.1679; Василий Дементьев Колмаковых III 370, 19.05.1680.

Костёр*: Василий Денисов сын Костров I 97, 20.03.1634.

Костором*: Федор Васильев Костромин III 384, 6.01.1680.

Край*: Яким Евдокимов Краев III 247, 6.12.1678 / Яким Евдокимов Краевых III 244, 6.12.1678.

Куст*: Шестак Кустов I 31, 15.01.1634; Дмитрий Яковлев сын Кустовых I 211, 11.10.1635.

Лепиха*: Богдан Лепихин I 217, 21.01.1636; Иван Лепихин III 379, 30.11.1679; Зиновей Иванов Лепихин III 216, 25.10.1678.

Липа*: Тихон Володимиров сын Липин I 262, 23.12.1635; Тихон Липин I 271, 11.06.1636; Ферапонт Яковлев Липин III 230 14.01.1679.

Лузь*: Семена Евстафьева Лузина Г. III 313, 15.08.1680.

Льяняник: Иван Осипов Льяняник I 24, 18.10.1633.

Мох*: Михайло Трофимов Мохов III 251, 6.12.1678.

Озерко*: Иван Филипов сын Озерков I 244, 6.05.1636.

Ольшук*: Семен Иванов Олшуков III 368, 16.03.1680.

Поповка*: Ивану Поповкину D. I 68, 27.09.1633.

Пустоха*: Яков Панкратьев Пустохин III 243, 6.12.1678.

Пушник*: Ивану Пушникову D. I 137, 22.03.1635.

Райда*: Аникий Михайлов сын Райдин I 95, 27.02.1634; ...на [...] Дементье Михайлове сыне Райдине I 286, 4.08.1636.

Репа*: Федор Степанов Репин I 17, 27.09.1633 ...у Ивана Никитина Репиных III 249, 6.12.1678.

Рогоза*: Михайло Рогозин III 369, 17.04.1680; Тарасий Васильев Рогозин III 240, 9.06.1679.

Ручей*: Михайло Ульянов Ручьевских III 389, 17.03.1680.

Селедник: Елфим Селедник I 251, 14.07.1636.

Сердечник*: *Василей Савин Сердешников* III 257, 30.11.1678; *Пантелей Савин Сердешников* III 260, 6.01.1679.

Синюшка*: *Михайло Яковлев Синюшкин* I 269, 2.05.1636.

Ситник: *Фрол Яковлев сын Ситник* I 221, 18.03.1636; *Ташлык Ситников* I 221, 19.03.1636.

Смольник*: *Агафон Иванов Смольников* III 217, 25.10.1678; ...у *Ивана Григорьева Смольникова* III 249, 6.12.1678.

Сосна*: *Третьяк Елизарьев сын Соснин* I 247, 10.06.1936; *Иван Яковлев сын Соснин* III 158, 9.02.1679.

Цывуля*: *Иван Цывулин* I 62, 5.09.1633; *Иван Михайлов сын Цывулин* I 213, 3.12.1635; *Федор Артемьев Цывулин* III 207, 25.10.1678.

Хохряк: *Хохряк Естеев* I 181, 11.03.1636; *Никита Хохряков* I 185, 28.03.1636.

Чага*: *Трифан Чягин* I 264, 21.02.1936; *Лазарь да Кирило Романовы дети Чагины* III 371, 29.05.1680.

Частик*: *Иван Григорьев сын Чястиков* I 261, 4.12.1635; *Роман Григорьев сын Чястиков* I 260, 25.10.1635.

Чаща*: ...у *Петра Антонова Чащиных* III 245, 6.12.1678.

Шаста*: *Артемей Жданов сын Шастин* I 98, 27.04.1634; *Ждану Шастину* D. I 135, 19.02.1635.

Щербак: *Тимофей Богданов Щербак* I 266, 7.03.1636.

Ягель*: *Филип Иванов сын Яглин* I 267, 23.03.1636.

Ячень*: *Иван Леонтьев Яченев* III 217, 25.10.1678.

Реликты славянского культурного кода в древнерусских антропонимах, мотивированных названиями растений

Резюме

Предметом анализа в настоящей статье являются отапеллятивные антропонимы, мотивированные фитонимами и смежной лексикой, засвидетельствованные в таможенных книгах северного речного пути 1633–1636 и 1678–1680 гг. Традиционные личные именованья являлись неотъемлемой частью дохристианской славянской культуры. Данная разработка имеет целью обратить внимание исследователей на возможное выполнение формами данного типа – наряду с номинативными задачами – и консервирующей функции, заключающейся в хранении и передаче ключевой для традиции информации. По всей вероятности, антропонимы, в основе которых легли названия растений с развернутой символикой и культовым использованием, могли присваиваться в целях кодификации основных цивилизационных моделей и ценностей славянского мировоззрения.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Marcin Jakubczyk

Od błędu do obłądu. Kilka uwag o konceptualizacjach błądzenia w polszczyźnie ludowej na tle języków i kultury Słowian

Przedmiotem opracowania jest problematyka błądzenia w polszczyźnie ludowej, a zatem w polskich gwarach i folklorze słownym, rozpatrywana na tle kultury duchowej i języków Słowian, w tym także na podstawie danych językowych pochodzących z prasłowiańszczyzny. Jak bowiem zauważa Jerzy Bartmiński, duchowy świat Prasłowian, rekonstruowany przez językoznawców drogą porównawczych studiów leksykalnych, dostarcza, podobnie jak słowniki etymologiczne poszczególnych języków słowiańskich (por. np. BF) i słowniki prasłowiańskie (por. SP), bogatych informacji o wspólnych wszystkim Słowianom wyobrażeniach o świecie i człowieku (zob. Etno 13). Wiele faktów z życia i kultury dawnych Słowian można zatem interpretować na podstawie słownictwa (zob. np. HPT), dlatego, wychodząc od kilku wyrazów, wraz z ich użyciami tekstualnymi, poszukuję ludowych konceptualizacji (por. np. Nieb) błądzenia, a więc tej części rzeczywistości kolektywnej (wspólnotowej), ale i podmiotowej (jednostkowej), która oparta jest na percepcji – szeroko rozumianej – błędności, zarówno w sensie fizycznym (np. zagubienie właściwej drogi), jak i psychicznym (np. złudne mniemanie, szaleństwo). Chodzi więc o wskazanie sposobu, w jaki człowiek percypuje i pojęciowo ujmuje siebie i otaczający świat (zob. EtLub 49) w kontekście różnych „odmian” błędu, a więc przede wszystkim jakich nadaje mu znaczeń i sensów. Konceptualizacja jest bowiem, jak zaznacza Vyvyan Evans, procesem tworzenia znaczeń (z udziałem języka) odbywającym się na poziomie pojęciowym (LJK 54–55).

Materiał, na którym opieram rozważania o błądzeniu w polszczyźnie ludowej obejmuje wszystkie dialekty polskie i pochodzi w głównej mierze z drukowanych źródeł leksykograficznych, folklorystycznych i paremiograficznych. Należy przy tym zaznaczyć, że przysłowia, bez względu na ich ludowe czy też literackie źródło, uznaję, w ślad za autorami *Słownika stereotypów i symboli ludowych* (por. SSiSL 11), za teksty folkloru, zwłaszcza przez wzgląd na to, że utrwalone są w tradycji ustnej. Niekiedy opieram się także na własnym materiale gwarowym zebranym w terenie. Ze względu na rozległość zagadnienia, przedstawiam tutaj jedynie kilka najważniejszych uwag, które nie stanowią zbioru ani zamkniętego, ani skończonego.

Przyjmuję tu tradycyjny podział polskiego obszaru gwarowego na pięć dialektów, a mianowicie: śląski, małopolski, mazowiecki, wielkopolski oraz kaszubski (por. SGP), mając przy tym świadomość, że ostatni z nich uzyskał status języka

regionalnego w Polsce na mocy „Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” (z 2005 r.).

W analizie materiału językowego wychodzę od dwu podstawowych dla omawianego zagadnienia leksemów polskich: *błąd* i *błądzić*, poszukując jednocześnie innych wyrazów gwarowych, często nieznanych polszczyźnie literackiej, określających ludzkie doświadczenie błędzenia¹. Warto nadmienić, iż dla omawianej leksyki charakterystyczna jest występująca w tekstach dawnej polszczyzny literackiej i sporadycznie w zapisach gwarowych alternacja samogłosek nosowych *ę* oraz *ą* (przy czym ta pierwsza głoska etymologicznie jest rdzenna; por. Boryś 31), jak na przykład w wyrazach: *błądzić/błądzić*, *błądliwy/błądliwy*, *błądny/błądny* (zob. MSZP 26; SWar 172–173). Z etymologicznego punktu widzenia wyraz *błąd*, wywodzący się z psł. **blądzę*², był na gruncie prasłowiańskim – przedstawiając rzecz skrótowo – rzeczownikiem odczasownikowym, pochodzącym od psł. wyrazu **blęsti*, **blędq* ‘być w błędzie, majaczyć’, który jest także etymonem psł. iteratywnego oraz kauzatywnego czasownika **bląditi*, będącego źródłem pol. *błądzić* (zob. Boryś 31; SP 270–272; BF 27).

Przedstawiam niżej wybrane jednostki leksykalne, które nazywają i oznaczają stan określany mianem błędzenia, i za pomocą których użytkownicy gwar określają błędzącego człowieka (w różnych aspektach). Interesują mnie ponadto teksty przyjęzykowe, a więc zapisy wierzeń i praktyk, czyli społecznie utrwalonej wiedzy o świecie (por. SSiSL 11).

Wyraz *błąd* poza znaczeniem podstawowym: ‘niezgoda z obowiązującymi regułami pisania, liczenia; odstępstwo od normy; pomyłka’ (SGP 285), ma w polskich gwarach kilka innych znaczeń, nieznanych polszczyźnie ogólnej, jak na przykład w kilku miejscowościach wschodniej Polski *błąd* oznacza ‘utrata orientacji co do miejsca’ (SGP 286). Świadczą o tym następujące zapisy gwarowe³: *błąd nas się czepił w lesie i co się odejdzie, to przychodzi się w to samo miejsce* (pow. krasnostawski; SGP jw.), *błąd się go chwycił, co ledwo na rano do chałupy przyszedł* (pow. krośnieński; SGP jw.), *raz, jak pojechałam do miasta, to się mnie błąd chwycił i nie wiedziałam czy się do chałupy jako wróć, jenom prosiła Boga, żebym przystanek znaszła* [‘znalazła’] *i żebym do autobusu wsiadła, a tyłem razy tamtędy chodziła* (pow. krośnieński; zapisy własne), *wyjechał król na polowanie i zaszedł go błąd, że nie mógł trafić do domu*⁴ (okolice Łańcuta; SGP jw.). Cytowane teksty gwarowe wskazują na fakt, iż człowiek błądzi w dobrze znanej i oswajonej przestrzeni (o czym świadczy np. niemożność

¹ Powszechne *errare humanum est...* (Seneka Starszy) funkcjonuje we współczesnej i dawnej polszczyźnie jako skrzydlate słowo: *ludzka rzecz błądzić* (np. Adalb 25).

² Wyrazy słowiańskie (oprócz polskich gwarowych) podaję w transkrypcji slawistycznej, z wyjątkiem samogłoski nosowej *ą*, którą umownie zapisuję jak polskie ortograficzne *ą*. Skróty psł. oznacza: „prasłowiański”.

³ Teksty gwarowe konsekwentnie zapisuję ortograficznie, pomijając tym samym ich – nieistotną w tym miejscu – wartość fonetyczną. Wszystkie cytaty gwarowe opatruję następującym komentarzem: najpierw podaję lokalizację geograficzną (najczęściej jest to nazwa powiatu), a następnie skróty źródła, z którego dany zapis pochodzi, bądź informację, że cytowany tekst pochodzi z zapisów sporządzonych na podstawie własnych badań terenowych. Wszystkie powiaty podaję wedle zasad obowiązujących w SGP.

⁴ W cytowanych wyżej tekstach gwarowych wyraźnie widoczne są parametry przestrzenne, wyrażone formami czasowników, np. *wyszedł*, *wyjechał* (por. Adam 18 i n.)

odnalezienia drogi do domu), a stan, w którym się on znajduje, powoduje tajemniczy *błąd*. Być może jest to nawiązanie do znanych w ludowej demonologii wierzeń w istotę wywołującą błędzenie, powodującą **zejście z (właściwej) drogi** (por. niżej) określaną jako błąd (por. też błędny ogień).

W okolicach Biłgoraja wierzono, że po polach i lasach błąkały się „zwodnice”, które wodziły ludzi po bezdrożach, toteż każdemu wybierającemu się do lasu mawiano „żeby cię błąd nie chwycił” (SGP 286). Z kolei na Śląsku *błąd* w tymże znaczeniu opisuje wyraz *nocznica* (*nocnica*), czyli, wg wierzeń, zły duch włóczący się nocą, sprowadzający ludzi na manowce: *nocznica go posmykała i dziepro rano przyszeł do chałupy* (SCiesz 194). Na Śląsku wierzono ponadto w istoty demoniczne, pokazujące się wieczorami i nocą w postaci świateł, zwodzących ludzi na błędną drogę. Były to *świetycki*, *myłki* lub *nocnice*, będące duszami dzieci zmarłych przed chrztem (Byt 70). Na bezdroża sprowadzały ludzi także *światliki* (por. Sob 181). Ich gwarowe nazwy to np. *świeczniki* (Wielkopolska; Sob 181), czy *robaczki świętojańskie* (pow. krośnieński; zapisy własne): *świeczniki go obstały, [ale] rozumu nie stracił, wiedział co to było* (Sob 182).

W kilku wyżej cytowanych tekstach gwarowych pojawiły się leśne konotacje błędzenia. Las jest przestrzenią budzącą strach, gdyż można w nim zabłądzić, zagubić się i niekoniecznie się odnaleźć, na co wskazuje zanotowany przez Bernarda Sychtę na Kaszubach cytat: *w lesie jest łatwo pobłądzić* (S 45). W Wielkopolsce wierzono, że nie można chodzić po lesie w nocy oraz po burzy, gdyż można spotkać tam wówczas ogniste kule (pow. wągrowiecki), chodzi więc prawdopodobnie o *błędne*⁵ *ogniki*. Znana jest ponadto na Pałukach (historyczna kraina Wielkopolski) legenda o mnichach, którzy zostali zabici i błędzą w lesie (zapisy własne⁶). Jak pisze Marzena Marczeńska, las jest obszarem, gdzie mogą być pochowani wszyscy ci, którzy mają szczególne powołanie do błędzenia *post mortem*, a więc zmarli w warunkach anormalnych. Poza tym las jest także miejscem pojawiania się diabła, który powoduje, że człowiek przebywający w leśnej głuszy bardzo często traci **poczucie orientacji** (Marcz 172). Te wierzenia potwierdza przysłowie: *błąka się jak błędny ogień* (NKPP 116), a zaprzecza im inne, notowane przez Samuela Adalberga: *w lesie nie ma błędu* (Adalb 687). Renata Dźwigoł, omawiając demony leśne pisze, że demon nazywany *błądem* (< *błąd*), w Małopolsce często utożsamiany był z diabłem, który pod postacią eleganckiego paniczka podróżującego powozem, proponuje chłopu podwiezienie, będące w efekcie dla tego ostatniego prawdziwą udręką (Dź 156).

⁵ Jak podaje Franciszek Sławski, wyraz *błędny* (w psł. **błḡdny*) znaczył w dawnej polszczyźnie m.in.: ‘błąkający się, ukazujący się tu i tam’ (Sław 36). Na terenie Słowiańszczyzny wyraz ten oznaczał: ‘sprowadzający na niewłaściwą drogę, wprowadzający w błąd, zwodniczy’ (SP 272–273). Znaczenia te mają oczywiste konotacje z wierzeniami ludowymi dotyczącymi *błędnych ogni*. Podobne znaczenia wykazuje zresztą wyraz *bałamucić*, mający, jak podkreśla Wiesław Boryś, genezę prasłowiańską (psł. **bałamqiti*), oznaczający m. in.: ‘wprowadzać w błąd, zwodzić’ (ESP 247). Dodać jeszcze należy, że zarówno w dawnej polszczyźnie, jak i w niektórych językach słowiańskich, *błędny* znaczył także: ‘grzeszny, rozpustny’ (MSZP 26; Re 24; SP 272–273; Sław 36).

⁶ W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować bratu Dariuszowi Tubackiemu z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Wielkopolaninowi z pochodzenia, który przekazał mi cytowane informacje o wielkopolskich wierzeniach ludowych.

Wyraz *błąd* oznacza ponadto w polskich gwarach ‘pomieszanie zmysłów, utratę panowania nad rozumem; obłąd, szaleństwo’. Wskazują na to następujące wypowiedzi: z *tego zmartwienia błąd zaczął go chwytać* (pow. dąbrowski; SGP 286) albo *czepił się go błąd* (pow. siemiatycki; K 91). Znaczenie, o którym mowa, odzwierciedla także frazeologia gwarowa, zwłaszcza somatyczna. Jak pisze bowiem Anna Tyrpa, somatyzmy z użyciem komponentu *głowa* oznaczają wpadanie w chorobę umysłową lub bycie niespełna rozumu (zob. T 156–157), np.: frazeologizmy *dostać błąd do głowy*, *mieć błąd w głowie* oznaczają ‘zachorować, chorować psychicznie’: *dostał błąd do głowy i błądzi* (pow. nowotarski; T 271), *któs jest obłądny na głowie* (Limanowski; T 157). W ostatnim przykładzie pojawia się przymiotnik *obłądny*, etymologicznie ściśle związany z wyrazami *błąd* i *błądzić* (por. Boryś 373).

W językach i dialektach zachodniosłowiańskich występują omówione wyżej znaczenia wyrazu *błąd*: ‘pomyłka’, ‘szaleństwo’, ‘istota wywołująca błądzenie’, z wyjątkiem – jak ustaliłem na podstawie analizy źródeł leksykograficznych – nietypowego na gruncie słowiańskim znaczenia odnoszącego się do ‘utraty orientacji w przestrzeni’, poza wschodnią Polską (można by jeszcze sprawdzić, czy występuje ono np. w polszczyźnie kresowej) nie notowanego w językach Słowian. Oprócz powyżej wskazanych, notuje się na terenie zachodniej Słowiańszczyzny kilka innych znaczeń słowa *błąd*. Przykładowo, w językach czeskim i słowackim (por. czes., słowac. *blud*; SP 271), pośród innych znaczeń, wyraz ten oznaczał ‘błędne mniemanie, złudność’⁸ oraz ‘herezję’ (zapewne ze wskazaniem też na człowieka błądzącego w sprawach wiary), a w słowackim dodatkowo ‘majaczenie, chorobliwe urojenie’. W dialektach obu wspomnianych języków zachodniosłowiańskich to *verbum* odsyła też do jakiejś rośliny powodującej błądzenie⁹ (SP jw.).

Interesująco przedstawiają się znaczenia wyrazów odnoszących się do problematyki błądzenia w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, w którym istniały dwie podstawy słowotwórcze: *blęd-* i *blqd-*¹⁰, będące w gruncie rzeczy derywatami od scs. *blęsti* (< psł. **blęsti*): 1. ‘majaczyć, bredzić; gadać’; 2. ‘cudzołożyć’ (ESJS 67). W przeanalizowanych przeze mnie scs. leksemach zawierających formę *blęd-*, przeważają – jak podaje wydany w Pradze *Slovník jazyka staroslověnského* – znaczenia odsyłające do gadatliwości i plotkarstwa, jak np.: *blędb* w użyciu rzeczownikowym: ‘gadula, plotkarz’, *blędbnikъ* ‘plotkarz, kłamca’ (zob. SJS 117–118). Z kolei w leksemach z formą *blqd-*, dominują – jak wynika z kontekstów biblijnych, w których zostały one użyte – znaczenia odsyłające do kategorii rozwiązłości (zwłaszcza seksualnej), odnosząc się tym samym do pojęcia grzechu w kulturze dawnych Słowian (por.

⁷ To znaczenie występuje tylko w języku górnołużyckim; z pozostałych słowiańskich notowane w języku słoweńskim.

⁸ Polski wyraz *chyba*, którego etymonem jest psł. **chyba* ‘błąd, pomyłka’ (< psł. **chybiti* m.in. ‘popęlić błąd’), w kilku innych językach słowiańskich oznacza ‘błąd, omyłkę’; por. np. czes. *chyba* (Boryś 74), słowackie *chyba* (SSP 83). To samo wyraz ten znaczył w dawnej polszczyźnie (por. MSZP 37; Boryś jw.).

⁹ Wynika to z charakterystycznych dla kultur typu magicznego wierzeń w to, że niektóre rośliny mają szczególną moc, jak dla przykładu *mandragora* może – pośród innych właściwości – powodować błądzenie, majaczenie oraz szaleństwo (por. WJ).

¹⁰ Dziękuję serdecznie recenzentowi prof. Aleksandrowi Naumowowi za zwrócenie mi na to uwagi.

np. Witw 38–39), jak przykładowo w wyrazach: *blqđz* 1. ‘lubieżność, rozwiązłość’; 2. ‘nierząd, cudzołóstwo’, *blqđbnikъ* ‘rozpustnik, cudzołożnik’, *blqđbnica* ‘prostytutka’ (zob. SJS 118–120).

Język scs. zapewne ugruntował obecność znaczeń odnoszących się do (z)blędzenia pojmowanego w kategoriach grzechu, rozwiązłości, rozpusty w językach południowo- i wschodniosłowiańskich; por. np. *blud* (< psł. **blqđz*) w językach: bułgarskim, macedońskim, słoweńskim, serbsko-chorwackim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim (SP 271) oraz np. chorwackie *bludnik* (< psł. **blqđbnikъ*) ‘rozpustnik, cudzołożnik’, *bludnica* (< psł. **blqđbnica*) ‘nierządnicą’ (Hrv 45; dwa ostatnie wyrazy mają takie znaczenie w większości języków słowiańskich).

Podstawowe znaczenia czasownika *blqđzić* w polskich gwarach to: ‘zbaczać z właściwej drogi, chodzić po omacku, błąkać się’ (SGP 287): *jak nie znasz drogi, to przez las nie chodź, bo będziesz blqđzić* (pow. rybnicki; SGP jw.), *człowiek blqđził po lesie, bo nie mógł znaleźć drogi* (pow. strzelecki; SGŚ 101), *tak go coś omamiło, że blqđził całą noc* (pow. pińczowski; SGP 287). Z podanym znaczeniem koresponduje wyraz *blqđziszczce*, który na Kaszubach oznacza ‘błądną drogę, bezdroże, manowce’: *długo ja nie mógł tej drogi znaleźć z tego blqđziszczca* (SGP 287).

Leksem *blqđzić* oznacza także, jak wskazywałyby na to tekst z Orawy, utratę orientacji w najbliższej przestrzeni: *kie z synami gwarzył, ten z tej izby wyszedł, a blqđził po sieni. Nie wiedział gdzie ma iść, do których dzwierz* (Kąś 30). Wyraz *blqđzić* znaczy ponadto ‘popęłniać błędy, mylić się’. Zaświadcza o tym np. zapis z Kociewia: *zblqđził, ale już wszystko naprawił* (SKoc 28) oraz fragment tekstu ludowej pieśni pogrzebowej (opatrzonej incipitem: *Już od was odchodzę na wieczny spoczynek*), którą zapisałem w zachodniej części Beskidu Niskiego, we wsi Lubatowa (gm. Iwonicz-Zdrój): *aby moją duszę Bóg łaskawie sądził, za me przewinienia, które-mim tu blqđził*. Metafora błędzenia dusz po śmierci, jakże ważna dla ludowej wizji umierania, uobecnia się w sposób szczególnie w dawnych pieśniach *pustych nocy* z repertuaru dziadowskiego (por. Bart) oraz w dawnych wierzeniach ludu o *błądnych światłach* na pokucie. Przykładowo, Jan Świętek pisze, że lud nadraabski wierzy w światła duchów ludzi skazanych po śmierci na pokutę. Owe światła pojawiają się na cmentarzach i bagnach, a są to np. dusze niechrzczonych dzieci, szukające chrtu po świecie (pow. myślenicki; Święt 504–505). W relacji Świętka zawarta jest ludowa konceptualizacja bagna. Stanisława Niebrzegowska zauważa, że wedle powszechnych wierzeń na bagnach pokutują dusze, najczęściej są to *błądne ogniki*, które mają ludzi usiłując wprowadzić w bagna (Nieb 297; Bag 431). Bagno jest symbolem niepewności i niestabilności. Jako miejsce, gdzie ludzie gubią drogę, błądzą i tracą życie, bagno symbolizuje **labirynt**, zgubę, śmierć (Bag 427, 432). Błądne ogniki powodują zatem, w świetle językowych danych, że człowiek mimo (ich) światła, błądzi w mroku, w przestrzeni granicznej (o granicy por. niżej).

Wyraz *błądnik* (w psł. *blqđbnikъ*; SP 272) oznaczał w dawnej polszczyźnie m.in. labirynt (MSZP 26; Re 24), co wskazywałoby na zagubienie i błędzenie człowieka, zaś w wierzeniach ludowych *błądnik*, to pokutująca dusza ludzka, ukazująca się w postaci błędnego ognika: *dusze blqđkają się po borach i łąkach, pokutują często około rzek, ukazują się w postaci ogników, błędników i świetlików* (pow. rypiński i lipnowski; SGP 288). Nie bez znaczenia jest to, że dusze jako istoty hybrydyczne błądzą w przestrzeni mającej cechy graniczności (por. PK), z dala od obszarów zamieszkałych

przez człowieka; po borach, łąkach (por. Czap) i terenach podmokłych. Granica ma tu charakter transgresywny. Dusze błakają się bowiem w obszarach, które należą do obu przyległych przestrzeni i równocześnie nie należą do żadnej z nich (por. Adam 16). Według Piotra Kowalskiego granicę można rozumieć jako miejsce najbardziej oddalone od centrum danej kultury, jako punkt, za którym zaczyna się Tamten Świat; niezrozumiały, niebezpieczny, nieuporządkowany. Jest to obszar zaświatowy, domena chaosu i śmierci (PK 149).

Wróćmy do wyrazu *błądzić*, który odnosi się też w polskich gwarach do szaleństwa i obłądu. Gwarowe znaczenia można by sformułować następująco: 1. 'przejawiać zaburzenia umysłowe; być umysłowo chorym' (w tym znaczn. wyraz nie notowany, poza polszczyzną, w innych językach słowiańskich; por. SP 270): *ona błądzi od śmierci chłopca* (pow. lubliniecki; SGP 287), *tak głupio mówi, chyba błądzi* (pow. krośnieński, SGP jw.), *ona już błądzi, bo głupoty bredzi* (pow. sztumski; SGP jw.); 2. 'majaczyć, bredzić w malignie; mówić od rzeczy' (w tym znaczn. wyraz notowany też w niektórych językach słowiańskich, np. dolnołuż. *błuźis-im*; por. SP 270): *nasza babusia błądzi, ona już długo nie pożyje* (Kociewie; SKoc 28), *błądzi w gorączce* (pow. ostrołęcki; SGP 287). Frazeologia gwarowa odnosząca się do pierwszego znaczenia obejmuje przykładowo takie jednostki: *błądzić na rozumie, błądzić w rozumie* 'być umysłowo chorym', a także, jak notował Juliusz Zborowski na Podhalu, *błąd głowy* 'obłąd, wariactwo': *chwycił go błąd głowy i obiesił się w lesie* (Zakopane; Zbor 18). W znaczeniu 'majaczyć, mówić od rzeczy' notowany jest również wyraz *błądnie*: *Janek w gorączce błądnie mówił* (pow. koniński; SGP 288), *w tej gorączce to aż błądnie patrzył* (pow. łęczyski; SGP jw.). Do kilku powyższych cytatów, odnoszących się do utraty języka (por. Jakub 19–20, 21), której doświadcza błądzący w gorączce, można by paradoksalnie „dopasować” przysłowie: *język, kiedy błądzi, prawdę mówi* (NKPP 866).

Podobne znaczenia mają wyrazy gwarowe nieznane polszczyźnie ogólnej. Gustaw Pobłocki notuje np., że forma *błąsieć*, pochodząca od wyrazu *błęsieć*¹¹ (por. alternację *ę > a*), oznacza w powiecie chełmińskim 'bredzić, majaczyć w gorączce' (Pobł 128). Na innym terenie *błęsieć* znaczy 'dostawać obłądu, wariować': *ja już myślałam, że on już błęsieje, że mu błędny rozum przychodzi* (pow. koniński; SGP 289), *chodził, chodził, zdrowy był, ale już błęsiał* (pow. rypiński i toruński; SGP jw.). To samo na Śląsku Cieszyńskim wyraża wyraz *błęść*, etymologicznie wywodzący się z psł. **błęsti*, oznaczający m. in. 'majaczyć w gorączce, bredzić' i *błęść się* 'śnić się, majaczyć się': *coś się mi błędkło we śnie* (SGP 262, Boryś 31; SP 258–259; por. też słowackie *blud*). Z kolei *błądnąć* także oznacza 'chorować psychicznie, trwać w stanie łagodnego obłądu': *błądnie mu kobieta na głowę* (Limanowski; SGP 286).

Podobnie leksem *błądzący* występuje w znaczeniu 'umysłowo chory'. Wyraz ten ma następujące zaświadczenia gwarowe: *uciekaj przed tym błądzącym, bo ci co zrobi* (pow. sztumski; SGP 286), *taki błądzący ma źle w głowie, ma zamys pamięci, głupi, wariat* (pow. garwoliński; SGP jw.).

W źródłach paremiograficznych można odnaleźć wiele przysłów z wyrazem *błądzić*. W *Przypowieściach polskich* pierwszego polskiego paremiologa, Salomona Rysińskiego, wydanych w roku 1618, znajdujemy takie eufemistyczne przysłowie: *Gdzie ogon rządzi, tam głowa błądzi* (Ryś 22). W analizowanym przez Annę

¹¹ Por. też dawny pol. i kaszub. wyraz *błesny* 'szalony, obłąkany' (por. SWar 165; SEK 120).

Bochnakową rękopisie przysłów Rysińskiego, przechowywanym w Bibliotece Narodowej w Paryżu (por. Bochnak), zanotowane jest przysłowie, które nie występuje w drukowanych wydaniach *Przypowieści* (zob. Bochnak 115–116), a mianowicie: *gdzie kiep rządzi, tam pie (pye) błądzi* (Bochnak 119). W zrozumieniu tych dawnych polskich wyrazów z pewnością na pomoc pośpieszy Samuel Bogumił Linde, za którego *Słownikiem* podstawiamy odpowiednie definicje: *gdzie «członek wstydlivy kobiecy» rządzi, tam «członek wstydlivy męski» błądzi*, jak bowiem zauważa leksykograf, *między kolany u niewiasty kiep, u mężczyzny pije* (Linde II 351, Linde IV 120). Dla równowagi należało by wszakże zaznaczyć (powołując się tym razem na przysłowie zapisane w XIX wieku przez Andrzeja Cinciałę na Śląsku Cieszyńskim), że *najśnadniej zbłądzi, gdo rychło sądzi* (Cin 25). Warto spojrzeć na cytowane przysłowia Rysińskiego w kontekście słowiańskich znaczeń wyrazów odnoszących się do błędzenia. Można bowiem przypuszczać, że czasownik *błądzić* nawiązuje tu do znaczenia ‘żyć rozpustnie, rozwiąźle’ (por. SP 270).

Przysłowie: *dzierząc się gościńca*¹², *nie zbłądzisz* (NKPP 714) daje asumpt do rozważenia jeszcze jednej sprawy wiążącej się z wyżej przedstawioną leksyką. Chodzi mianowicie o (sygnalizowany już) problem przestrzeni, w szczególności zaś drogi. Według Marii Wojtyły-Świerzowskiej,

konceptualizacja pojęcia przestrzeni w świecie Słowian opierała się na percepcji ciągłości, i to zapewne pojmowanej nie abstrakcyjnie, lecz konkretnie. To nieograniczoność, otwartość przestrzeni w trzech wymiarach (**w opozycji do ograniczoności, przeszkody i zamknięcia** – podkreśl. M.J.) leży u podstaw samej nazwy *przestrzeń* (w psł. **prostora*) [WŚ 67].

Za przyczyny (*z*)*błądzenia* można by zatem uznać (sugerując się powyższą myślą M. Wojtyły-Świerzowskiej): ograniczoność, przeszkody i zamknięcie, napotkane w przestrzeni (w drodze). Jak podają słowniki, jednym ze znaczeń wyrazu *błądzić* w dawnej polszczyźnie było ‘zejść z czegoś, odstąpić od czegoś’ (SStp 107–108; por. też: SP 270). Analizując powyższe przysłowie pod kątem wskazanego znaczenia, (*z*)*błądzić* oznaczało by tu ‘zejść z (właściwej) drogi’, a więc, jak można przypuszczać: pomylić się, popełnić błąd, zgrzeszyć, zachorować psychicznie, oszaleć...

Podsumowaniem powyższych rozważań nad wieloznaczną leksyką odnoszącą się do problematyki błędzenia, mogą stać się słowa Kazimierza Moszyńskiego. Pisał on w *Kulturze ludowej Słowian*, że

wyrazy mające za zadanie symbolizować rozmaite rodzaje niepewności i błędności, są nadzwyczajnie liczne, a każdy z nich sam w sobie, nie jest w obrębie Słowiańszczyzny jednoznaczny, ani też treść jego nie jest ostro odgraniczona od treści innych. Przeciwnie, treść ta niepostrzeżenie odchyła się to w tę, to w inną stronę, wyslizgując się spod ścisłego ujęcia i mieniać się dziesiątkami odcieni (Mo 92).

¹² Interesujące studium na temat konceptualizacji gościńca w polskiej kulturze ludowej przedstawił Jan Adamowski w książce poświęconej kategorii przestrzeni w folklorze (por. Adam). Autor pisze na podstawie przeprowadzonych analiz, że na gościńcach pojawiały się pod różnymi postaciami duchy i upiory. W tekstach wierzeniowych mogą to być przykładowo duchy w postaci światełek, widmo „czarnej niewiasty”, które błąkało podróżnych, czy też mamuny, sprowadzające ludzi z drogi (Adam 164).

Znaczenia występujących na terenie Słowiańszczyzny jednostek leksykalnych ujmują ludzkie doświadczenie błędzenia, poczynając od zwyczajnego błędu, poprzez bezdroże i rozdroże, iluzję, grzech i herezję, aż do obłądu i szaleństwa. Wskazywaną przez Moszyńskiego wielość odcieni znaczeniowych „błądzącej leksyki” w językach słowiańskich znakomicie ilustruje pewna rodzina wyrazów w języku górnołużyckim, w którym *błud* oznacza ‘błąd’, ale także ‘obłąd’, *błudat* to ‘heretyk’, *błudnica* – ‘dom wariatów’, *błudnička* – ‘błędny ogień’, *błudnik* – ‘człowiek, który błądzi, wyznaje błędną wiarę’, *błudniščo* – ‘labirynt’, *błudnić* – ‘wprowadzać w błąd’, *błudnjeć* – ‘wariować, tracić rozum’ itd. (GŁ 25).

Konceptualizacje błędzenia wyłaniające się z przedstawionych wyżej danych językowych i kulturowych wskazują w ogólniejszym sensie na zagubienie człowieka w świecie (np. utratę poczucia orientacji, zejście z [właściwej] drogi), a więc także jego symboliczne wejście w przestrzeń labiryntu.

Literatura

[W przypisach w tekście artykułu podaję najpierw skrót źródła, a później, bez znaku interpunkcyjnego, nr strony i ewentualnie nr tomu]

- Adalb – Adalberg S., 1889–1894, *Księga przysłów, przypowieści i wyrażen przysłowiowych polskich*, Warszawa.
- Adam – Adamowski J., 1999, *Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne*, Lublin.
- Bag – Niebrzegowska S., 1999, *Bagno*, [hasło w:] *Słownik stereotypów i symboli ludowych*, t. I, zeszyt 2, koncepcja całości i red. J. Bartmiński, zastępca red. S. Niebrzegowska, Lublin, s. 427–436.
- Bart – Bartmiński J., 1998, „Dusze rzewnie zapłakały”. Odmiany gatunkowe pieśni o wędrówce dusz szukających miejsca wiecznego spoczynku, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 9/10, Lublin, s. 149–168.
- BF – Bezljaj F., 1977, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, t. I, Ljubljana.
- Bochnak – Bochnakowa A., 1996, *Przypowieści polskie Salomona Rysińskiego. Wersja rękopiśmienna i XVII-wieczne wydania drukiem*, „Język Polski”, LXXVI, 2–3, s. 114–120.
- Boryś – Boryś W., 2005, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków.
- Byt – Bytnar-Suboczowa M., 1963, *Główne elementy kultury ludowej na Śląsku*, „Materiały i Prace Etnograficzne”, t. XXIII, Wrocław, s. 7–78.
- Cin – Cinciała A., 1885, *Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku, w księstwie Cieszyńskim*, Cieszyn.
- Czap – Czapiga M., 2009, „Ludowa łąka”: krajobraz symboliczny i praktyczne pożytki, [w:] Jurewicz J., Kapełus M. (red.), *Symbolika łąki i pastwiska w dawnych wierzeniach*, Warszawa.
- Dż – Dźwigoł R., 2004, *Polskie ludowe słownictwo mitologiczne*, Kraków.
- ESJS – Havlová E. (red.), 1990, *Etymologický slovník jazyka staroslověnského*, zesz. 2, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.
- ESP – Boryś W., 2007, *Przyczynki do rekonstrukcji zasięgów wyrazów prasłowiańskich*, [w:] tegoż, *Etymologie słowiańskie i polskie. Wybór studiów z okazji 45-lecia pracy naukowej*, pod red. W. Sędzika, przy współudziale Z. Babika i T. Kwoki, Warszawa, s. 246–252.
- EtLub – Bartmiński J., 2007, *Lubelska etnolingwistyka*, [w:] tegoż, *Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne*, Lublin, s. 40–50.

- Etno – Bartmiński J., 2004, *Etnolingwistyka słowiańska – próba bilansu*, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 16, Lublin, s. 9–27.
- GŁ – Zeman H., 1967, *Słownik górnołużycko-polski*, Warszawa.
- HPT – Popowska-Taborska H., 1989, *Ślady kultury dawnych Słowian utrwalone w poszczególnych wyrazach słowiańskich*, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 25, Warszawa, s. 167–174.
- Hrv – Benešić J., 1949, *Hrvatsko-poljski rječnik*, Zagreb.
- Jakub – Jakubczyk M., 2009, *Czy polskie gwary mówią o szaleństwie?*, „Literatura Ludowa”, nr 3, s. 15–22.
- K – Karłowicz J., 1900, *Słownik gwar polskich*, t. I, Kraków.
- Kąś – Kąś J., 2003, *Słownik gwary orawskiej*, Kraków.
- Linde – Linde S.B., 1855, 1858, *Słownik języka polskiego*, wyd. II, t. II, IV, Lwów.
- LJK – V. Evans, 2009, *Leksykon językoznawstwa kognitywnego*, przeł. M. Buchta, M. Cierpisz, J. Podhorodecka, A. Gicala, J. Winiarska, Kraków.
- Marcz – Marczevska M., 2002, *Drzewa w języku i w kulturze*, Kielce.
- Mo – Moszyński K., 1934, *Kultura ludowa Słowian*, część 2: *Kultura duchowa*, zeszyt 1, Kraków.
- MSZP – Wysocka F. (red.), 2003, *Mały słownik zaginionej polszczyzny*, Kraków.
- Nieb – Niebrzegowska S., 1999, „Czart złoto na bagnach suszy”. *Konceptualizacja bagna w polskiej tradycji ludowej*, [w:] *Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides*, pod red. T. Smolińskiej, Opole, s. 293–303.
- NKPP – Krzyżanowski J. (red.), 1969, *Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich*, t. I, Warszawa.
- PK – Kowalski P., 2007, *Granica*, [hasło w:] tegoż, *Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie*, Warszawa, s. 149–156.
- Pobl – Pobłocki G., 1887, *Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich*, Chełmno.
- Re – Reczek S., 1968, *Podręczny słownik dawnej polszczyzny*, Wrocław-Warszawa-Kraków.
- Ryś – *Z przypowieści polskich Salomona Rysińskiego*, 1997, wybór, wstęp i objaśnienia A. Bochnakowa, Kraków.
- S – Sychta B., 1967, *Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*, t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków.
- SCiesz – Wronicz J. (red.), 1995, *Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego*, Wisła-Ustroń.
- SEK – Boryś W., Popowska-Taborska H., 1994, *Słownik etymologiczny kaszubszczyzny*, t. I, Warszawa.
- SGP – *Słownik gwar polskich*, 1983–1986, oprac. Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, t. II, pod kier. J. Reichana, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź.
- SGŚ – Wyderka B. (red.), 2001, *Słownik gwar śląskich*, t. II, Opole.
- SJS – *Slovník jazyka staroslověnského*, 1966, t. I, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha.
- SKoc – Sychta B., 1980, *Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej*, t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
- Sław – Sławski F., 1952, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, t. I, Kraków.

- Sob – Sobierajski Z., 1985, *Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
- SP – Sławski F. (red.), 1974, *Słownik prasłowiański*, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
- SSiSL – Bartmiński J., 1996, O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych”, [w:] *Słownik stereotypów i symboli ludowych*, t. I, zeszyt 1, koncepcja całości i red. J. Bartmiński, zastępca red. S. Niebrzegowska, Lublin, s. 9–34.
- SSP – Abrahamowicz D., Jurczak-Trojan Z., Papierz M., 1994, *Mały słownik słowacko-polski*, Warszawa.
- SStp – Urbańczyk S. (red.), 1953–1955, *Słownik staropolski*, t. I, Warszawa.
- SWar – Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.), 1898, *Słownik języka polskiego*, t. I, Warszawa [tzw. słownik warszawski].
- Świąt – Świątek J., 1893, *Lud nadrański (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny*, Kraków.
- T – Tyrpa A., 2005, *Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich*, Łask.
- Witw – *Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX wieku*, 1997, oprac. i przyg. do druku J. Dziedzeliński, red. nauk. J. Rieger, Warszawa.
- WJ – Waniakowa J., 2007, *Mandragora and belladonna – the names of two magic plants*, “Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 124, s. 161–173.
- WŚ – Wojtyła-Świerżowska M., 2006, *Słownictwo czasu i przestrzeni*, „Język a Kultura”, t. 19: *Czas, język, kultura*, pod red. A. Dąbrowskiej i A. Nowakowskiej, Wrocław, s. 67–72.
- Zbor – Zborowski J., 2009, *Słownik gwary Zakopanego i okolic*, opracowany z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego PAN pod kier. J. Okoń, Zakopane–Kraków.

От ошибки до безумия. Несколько замечаний о концептуализации блуждения в польском народном языке на фоне языков и культуры славян

Резюме

В статье представлена проблематика блуждения в польском народном языке, а именно в польских народных говорах и устном фольклоре – на фоне древней славянской культуры. Избранные лексические единицы содержат значения, в которых заключается человеческий опыт блуждения, начиная от обыкновенной ошибки – заблуждения – через иллюзию и ересь к блуждению и безумию.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Ludwika Jochym-Kuszlíkowa

Neologizmy derywacyjne w powieści Tatiany Tołstoj *Kyś* i ich tłumaczenie w przekładzie Jerzego Czecha na język polski

W 2000 roku ukazała się w Rosji powieść znanej i cenionej pisarki, wnuczki Aleksego Tołstoja, Tatiany Tołstoj, autorki wielu opowiadań i nowel, publicystki. Powieść pod niezrozumiałym tytułem *Кысь* / *Kyś* była zjawiskiem bardzo wyjątkowym, chociaż dla wielu kontrowersyjnym, nie tylko pod względem treści, ale i formy. Stała się ona przedmiotem z jednej strony – zachwytu, a także – z drugiej – niezrozumienia i potępienia części czytelników (por. np. wypowiedzi w Internecie rosyjskim).

Созданный из трёх переплетённых между собой пластов (древнерусского, советского и фантастического) условный мир романа наполнен разнообразными существами, здесь обитают как реальные, так и вымышленные персонажи... (Капица, *Неомиф...*, 49).

T. Tołstoj specjalne znaczenie przypisuje detalom, dźwiękom, zapachom, barwom przedmiotów i istot żywych, które opisuje (Колядич, *Т.Н. Толстая*, 366).

Zrozumiałe jest więc, że tego typu utwór był przetłumaczony na wiele języków europejskich, w tym na język polski przez Jerzego Czecha, który to przekład w pewnym sensie zainspirował mnie do rozważań zamieszczonych w niniejszym artykule. Chodzi mianowicie o przeanalizowanie mechanizmów słowotwórczych, które pozwoliły tłumaczowi oddać neologizmy derywacyjne autorki oraz niektóre istniejące w przebogatym starszym i dzisiejszym systemie słowotwórczym języka rosyjskiego formacje, niemające bezpośredniego odbicia we współczesnym języku polskim.

Autorka wyznaje w wywiadzie dla „Nowości Moskiewskich”, że właściwie nowych wyrazów nie wymyśliła wiele, może z tuzin, większość to wyrazy zanotowane przede wszystkim przez W. Dahla (Толстая, *Мюзьики...*, 334). Autorka sięga nie tylko po materiał leksykalny rodem z twórczości ludowej, ale i po wyrazy gwarowe, przestarzałe, niekiedy nacechowane zabarwieniem emocjonalnym, gminnym lub pospolicym itp.

Moje niniejsze luźne uwagi nie dotyczą oczywiście wszystkich neologizmów właściwych, co raczej sposobów tłumaczenia wymyślonych przez autorkę nowych desygnatów i ich nazw oraz zastosowanych technik oddania tych nazw w przekładzie polskim.

Najbardziej tajemniczy jest sam tytuł książki, który jest nazwą istoty niedefiniowalnej, tajemniczej i złowrogiej, której istnienie wszyscy odczuwają, ale nie widzą jej. Tak oto pojawia się ona na stronicach powieści:

...как воет, подступает, жалуется за окном, просится в дом что-то белое, тяжёлое, холодное, незримое; и представится тебе вдруг твоя изба далёкой и малой, словно с дерева смотришь, [...] как тот, кого волокут под руки, а голова запрокинулась; и северные леса представляются, пустынные, тёмные, непроходимые, и качаются ветки северных деревьев, и качается на ветках, – верх-вниз, – незримая **кысь**: перебирает лапами, вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской голове, и плачет, голодная, и тянется, вся тянется к жилью, к тёплой крови, постукивающей в человеческой шее: кы-ысь! кы-ысь! (Толстая, *Кысь*, 58).

jak wyje, skarży się za oknem, zbliża się, prosi do domu coś białego, ciężkiego, zimnego, niewidocznego... Nagle twoja chata przedstawia się daleką i małą, jakobyś z drzewa patrzył, [...] jako pomyłony, kiedy go wloką pod ręce, z głową w tył odrzuconą, i północne lasy przedstawią się bezludne, ciemne, nieprzebyte, i kołyszą się gałęzie północnych drzew, a na gałęziach – to w górę, to w dół – kołysze się niewidzialny **kyś**. Przebiera łapami, wyciąga szyję, przyciska niewidzialne uszy do płaskiej niewidzialnej głowy i płacze głodny, i prosi się, ciągiem prosi do chaty, do ciepłej krwi stukającej w szyi człowieka: kyyyś!, kyyyś! (Tołstoj, *Kyś*, 50).

T. Tołstoj przyznaje, że jest to nazwa wymyślona przez nią samą, nawet widzi jakiś nieokreślony związek z ugrofińską „czudzią”/чудью¹, która była równie tajemnicza, co i **kyś**. Tak mówi o tym:

Есть такая легенда, что когда пришли славяне, то „**чудь** в землю закопалась” [i dalej:] И **чудь**, тихая, пугливая, совершенно непонятная, сама закопалась в землю! Со всеми своими горшками, вилами, лентами, сарафанами! [...] По-моему, она и сейчас тут, уже совсем прозрачная, её днём не видно. Но по ночам она в лесу шуршит – передвигает что-то, устраивается. Слова шепчет, и если прислушаться – они попадают в голову и там застревают. (Толстая, *Непальцы*, 328).

Wyraz **kyś/kысь** autorka znalazła też w języku komi, co – według jej własnych słów – uwiarygadnia i legitymizuje słowo w języku rosyjskim (tamże).

O tytule powieści jej tłumacz pisze, co następuje:

Sam tytułowy stwór wzięty jest oczywiście z „rysia”; Rosjanie jednak słyszą w tym słowie więcej niż my: nęci ono (na kota woła się: kis kis kis) i jednocześnie odstrasza (kysz). Taka też jest „Ruś”, następna z dźwiękowych asocjacji; warto też wiedzieć, że nasz „rys” jest po rosyjsku rodzaju żeńskiego. (Czech, *Posłowie*, 284).

Dla mnie nie jest całkowicie oczywista asocjacja z polskim „rysiem”, oprócz chyba drapieżności i dzikości tego zwierzęcia, raczej bardziej przemawia do mnie

¹ Nestor w *Powieści lat minionych* używa określenia чудь w znaczeniu plemion północnych, a w staroruskich podaniach występuje ten wyraz w uogólnionym znaczeniu krainy. Natomiast współczesnemu polskiemu czytelnikowi – jak się wydaje – narzuca się asocjacja „Kysia” z przesłowiastym „dziwem”.

tłumaczenie Tatiany Tołstoj i zbliżenie „kysia” z legendą o „чуди”. Natomiast pochwalam pozostawienie tytułu powieści w pierwotnym brzmieniu.

Fabula powieści usytuowana jest na miejscu, gdzie kiedyś była wielka Moskwa, czego można się domyślać po pozostałych nazwach ulic i przedmieść. Po przeżytych jakimś strasznym kataklizmie życie odradza się na nowo. O skutkach tego nienazwanego dokładnie kataklizmu/wybuchu (**Взрыва**) dowiadujemy się z deformacji większości organizmów żywych, ludzi, zwierząt i roślin. Ludzi, którzy przeżyli kataklizm i pozostali przy życiu, jest niewiele; taka była matka głównego bohatera Benedikta, Polina Michajłowna, ale niestety zmarła po zjedzeniu trujących światełek, o których będę mówić niżej. Obecnie „z dawnych” ludzi żyje jeszcze kilku np. Nikita Iwanycz, czy Lew Lwowicz i przechowują w pamięci cywilizację, która przepadła. Obecnie miasto zamieszkują mutanci, odznaczający się zdeformowanymi ciałami i te deformacje, narośle różnego rodzaju, zwykle są nazywane po rosyjsku „Последствия” z dużej litery, a tłumacz oddaje ten wyraz poprzez „Effekt” z podwojeniem jednej spółgłoski.

Zubożeniu materialnego życia ludzi towarzyszyubożenie ich języka, przede wszystkim jest to brak wielu znanych i popularnych zwierząt i ich nazw, jak na przykład, koń, krowa, wymię, czy tarcza/**щит** w jego wszystkich dziesięciu odcieniach znaczeniowych (Кузнецов, 151) Benedikt zna jedynie jedno jedyne znaczenie tego wyrazu: ‘tablica ogłoszeń’ (Толстая, *Кысь*, 23). Tłumacz w tym znaczeniu używa polskiego odpowiednika rosyjskiego słowa zmieniając polskiej tarczy rodzaj gramatyczny i tym samym paradygmat fleksyjny: ten **tarcz**. Niekiedy – i to jest dość częste zjawisko – budując obraz życia „po katastrofie” wyrazom „wyjętym z lamusa” oraz zwykłym i częstym w potocznym użyciu nadaje Tatiana Tołstoj nową treść semantyczną. Czasem jest zmuszona do takich wyrazów dodać opisowe objaśnienie. Por. np. летающие курицы, чёрные летающие зайцы / latające kury, czarne latające zające; котя с голым розовым хвостом, розовыми детскими пальчиками и хоботком/ kicia o gołym różowym ogonie, różowymi palcami, „jako dziecię” i trąbką.

Stąd też nowe znaczenie przybierają wyrazy: **ржавь/rdza**, **болезнь/choroba**, **санитар/санитарз** i in.

Rosyjska **ржавь** ‘ржавчина’ ma obecnie nacechowanie potoczno-gwarowe (нар.-разг.), (Кузнецов, 1122), ale w powieści jest chyba rośliną i ma uniwersalne zastosowania. Por.:

Ржавь чем хороша. Она в любое дело идёт. Её и курят, и пьют, и чернила из неё варят, и нитки красят, если кому охота полотенца вышивать. Брага из неё хороша, особенно когда мороз на дворе. Дом тоже утеплять можно: между бревен в пазы наткивать. А кто и крышу крыть **ржавью** пробовал, но – не вышло. Клубки круглые, жесткие – сваливаются. (Толстая, *Кысь*, 50).

Rdza to dobra rzecz. Bo do wszystkiego się nada. Pali się ją i pije, i atrament z niej warzy, i nitki barwi, jeśli kto ma ochotę płótno wyszywać. Piwo z niej dobre, osobliwie, kiedy mróz na dworze. Dom też ocieplać można, między bierwiona do szczelin utykać. A niektórzy i dach próbował kryć **rdzą**, ale nie dało rady. Kłębki są krągłe, sztywne, przeto zlatują. (Tołstoj, *Kyś*, 44).

Zbiera się **rdzę** na bagnach. Posłużyła też za podpałkę stosu, na którym miał spłonąć Nikita Iwanycz (*Кысь*, 318 / *Kyś*, 273).

Choroba/болезнь związana jest w jakiś sposób ze skutkami/ Effektami wybuchu i jest zjawiskiem budzącym grozę u mieszkańców, a Tołstojowski **санитар** to nie sanitariusz, ale wywołujący bardzo smutne asocjacje z ponurą przeszłością agent służb specjalnych dyktatora rozjeżdżający w czerwonych saniach, por. carskie kibitki zesłańców i stalinowskie służby NKWD („чёрный воронок”). Por.:

И в санях – **санитары**, не к ночи будь помянуты. Скачут они в Красных Санях – тьфу, тьфу, тьфу, – в красных балохонках, на месте глаз – прорези сделаны, и лиц не видать, тьфу, тьфу, тьфу. (Толстая, *Кысь*, 45/46).

A w saniach **санитарзе**, żeby tak w złą godzinę nie wymówić. Jadą czerwonymi saniami – tfu, tfu, tfu – w czerwonych opończach, zamiast oczu mają zrobione szparki i twarzy nie widać, tfu, tfu, tfu. (Tołstoj, *Kyś*, 41).

Sanie podjeżdżają do domów, których mieszkańcy zachorowali, zabierają ich i ślad po nich znika. Nic dziwnego, że tłumacz zniekształcił zwykłego sanitariusza w nowego **санитарза**.

Niekiedy deformacje ludzi, zwierząt i roślin po wybuchu są tak duże, że należałoby raczej już mówić o całkowicie nowej istocie. Interesujący jest fakt, że w tekście oryginalnym z zasady bardzo rzadko występują ludzie (**человек, люди**). Zwykłych mieszkańców osady autorka określa mianem **голубчики**, a tłumacz o nich mówi: **ludkowie**.

Takimi dziwnymi, chyba nowymi istotami, są **перерожденцы**, ich nazwa w polskim tekście bardzo zmyślnie jest oddana poprzez wyraz **wygeneraci**. Por.

...а в сани **перерожденец** запряжен, бежит, валенками топчет, сам бледный, взмыленный, язык наружу.

Ай, ну их к лешему, **перерожденцев** этих, лучше от них подальше, страшные они, и не поймёшь, то ли они люди, то ли нет: лицо в роде как у человека, туловище шерстью покрыто и на четверёнках бегают. И на каждой ноге по валенку. Они, говорят, ещё до Взрыва жили, **перерожденцы**-то. (Толстая, *Кысь*, 6).

A do sań **wygenerat** jest zaprzężony, biegnie, walenkami tupie, błądy, zmydlony, język na wierzch wywalił.

A niech diabeł porwie tych **wygeneratów**! Lepiej się od nich trzymać z daleka. Straszni są i nie wiadomo, czy to ludzie, czy nie: gęba niby ludzka, ale tułów pokryty sierścią i biegają na czworakach, a na każdej nodze mają po walenku. Powiadają, że ci **wygeneraci** żyli nawet przed Wybuchem. (Tołstoj, *Kyś*, 6).

Nic natomiast poza pogardą nie czuje [autorka] do wygeneratów. Kiedy dwaj inteligenci zaproszą zziębniętego człekozwierza do chaty, ten nie okaże najmniejszej wdzięczności, zwykły ludzki odruch potraktuje jako słabość. (Czech, *Posłowie*, 286).

Rosyjski **перерожденец** motywowany rzeczownikiem **перерождение** i czasownikiem **перерождаться** (Тихонов II, 44) jest odnotowany również we współczesnym słowniku języka rosyjskiego pod red. Kuzniecowa, wprowadzie tylko w znaczeniu nie przemienionego, nie „wyrodzonego” w sensie fizycznym, ale ideowym, politycznym lub moralnym, a także takiego, który zmienił swoje poprzednie poglądy (Кузнецов, 815). Tatiana Tołstoj nazywając stworzonego przez się człekozwierza formacją **перерожденец** przywraca jej pierwotną motywację czasownikiem,

пор.: переродиться/перерождаться: 1. стать совсем иным, измениться; преобразиться. || *в кого, во что*. Превратиться в кого-л./ во что-л. (Кузнецов, 815).

Tłumacz stanął tu przed trudnym zadaniem. Nie mógł znaleźć bezpośredniego jednowyrazowego ekwiwalentu rosyjskiej nazwy. W polskim jest wprawdzie czasownik o wspólnym z rosyjskim rdzeniu ***-rod-** i przedrostek **пре-**, ale **преродzić się** w polskim odnosi się raczej do uczuć, zjawisk, a nie do cech zewnętrznych (Szymczak). Jest w polskim **выроdek**, ale on również nie oznaczał narysowanego przez autorkę desygnatu. Trzeba było szukać dalej. Chodziło tu nie tylko o przeobrażenie jednej istoty w inną, co raczej o jej degenerację, nie tylko pod względem fizycznym, ale i umysłowym. Dlatego **degenerat**, który oznacza człowieka obdarzonego trwałymi cechami **degeneracji**, głównie w zakresie charakterologicznym, zwyrodnialca (Szymczak) również nie mógł zadowolić. Tłumacz wyszedł zwycięsko z tej próby, zastosował bowiem derywację wymienną: zamiast przedrostka łacińskiego **de-** wstawił prefiks **wy-** w znaczeniu wzmożenia intensywności tego, co oznacza wyraz podstawowy z odcieniem przesytu, znużenia itd. (Doroszewski IX, 1387). Wyrazem motywującym jest tu oczywiście **degenerat**, a także **degeneracja**².

Innym ciekawym przykładem jest zastosowanie przez autorkę czysto słowiańskich elementów, rdzenia i sufiksu, do zbudowania nazwy innego żywego organizmu, innego Effektu Wybuchu, mianowicie chodzi o nazwę **огнец**. Tłumacz również posłużył się dla nazwania tego desygnatu materiałem słowotwórczym rodzimym. Por.:

На самых старых клеях, в глуши, растут **огнецы**. Уж такое лакомство: сладкие, круглые, тягучие. Спелый **огнец** величиной с человечесий глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнём, вроде как месяц сквозь листья луч пустил, а днём их и не заметишь. Выходят в лес засветло, а как стемнеет, все берутся за руки и идут цепью, чтобы не потеряться. А ещё чтобы **огнец** не догадался, что это, дескать, люди. Отрывать их надо быстро, чтобы **огнец** не всполошился и не заголосил. Можно, конечно, и на ощупь рвать. Но не рвут. А ну как ложных наберёшь? Ложные, когда светятся, будто красный огонь сквозь себя продувают. Вот такими-то – ложными – матушка в своё время и отравилась³. А так бы жить ей да жить. (Толстая, *Кысь*, 15).

Na najstarszych kłosnach, w głuszy rosną **świetlaki**. Smakołyk nielada: słodki, krągły, ciągliwy. Dojrzałe **świetlaki** są wielkości ludzkiego oka. Nocą świecą srebrnym światłem, jakoby miesiąc puścił promień przez liście, a w dzień się ich nie zobaczy. Wyjść trzeba do lasu za widna, a jak się ściemni, jeden drugiego za ręce bierze i wszyscy idą łańcuchem, żeby się nie pogubić. A jeszcze uważają, żeby się **świetlak** nie zmiarkował, że to ludzie idą. Odrywać je trzeba szybko, bo się **świetlak** spłoszy i narobi wrzasku. Insze ostrzeże, a tamte zaraz pogasną. Pewnie, że można rwać i po omacku. Ale nikt nie rwie. A jak się zerwie fałszywy? Fałszywe jak świecą, to jakby czerwony ogień przez siebie przepuszczały. Takimi fałszywymi otruła się w swoim czasie mateczka. Gdyby nie to, jeszcze by żyła sobie a żyła. (Tołstoj, *Кысь*, 14).

² Wprawdzie w języku polskim funkcjonuje czasownik: wygenerować, ale w specjalnym użyciu terminologicznym w związku z generatywizmem.

³ W innym miejscu powieści autorka ustami Nikity Iwanowicza mówi, że matka Benedikta objadła się radioaktywnymi daktylami (Толстая, *Кысь*, 94) / (Tołstoj, *Кысь*, 81).

Organizmy te (w percepcji Benedikta) to istoty żywe, tworzące kolonie, zdolne do wydawania dźwięków ostrzegawczych i zmiany ubarwienia, świecenia. Obydwie nazwy, i rosyjska i polska, znaczą poprzez swoją strukturę derywacyjną. Obydwie zbudowano na rdzeniu o pierwotnym znaczeniu świecenia, jasności: *огн- i *świetyl- poprzez dodanie produktywnych w obydwu językach sufiksów o bardzo szerokich i mało sprecyzowanych funkcjach uprzedmiotowienia: rosyjskiego -ец i polskiego -ak. W warstwie językowej niby wszystko jasne, a właściwie desygnat tych nazw jest całkiem nowy i nieznan.

Inne przykłady zastosowania elementów derywacyjnych w opisie rzeczywistości „Kysia” to: **грибыши/grzybale, червыри/robachy, деревяница/drzewianica, истопчик/rozpalacz** itp., gdzie pojawiają się znajome rdzenie i afiksy. Pierwsza para wyrazów oznacza grzyby. Drugą parę objaśnia szczegółowo kontekst powieści, a odsyła do prawidłowego zaklasyfikowania desygnatów podstawa słowotwórcza: **черв-** (червь) oraz **roba-**. Por.:

Червыри, они слепые, глупые. Вот наловишь парочку дюжин, на палочку нанижешь, высушишь, а потом и натолчешь. До того они солёные! К мышинному супчику наипервейшая приправа. (Толстая, *Кысь*, 37).

Robachy ślepe i głupie. Nałowi się parę tuzinów. Na patyczek nasupła, ususzy, a potem utrze. A jak jeszcze solone. Najlepsza przyprawa do mysiej zupy. (Tołstoj, *Kyś*, 33).

O znaczeniu trzeciej pary z kontekstu wiemy tylko, że wije gniazda – zaś ze struktury słowotwórczej możemy się domyślać, że na drzewie/drzewach. Por.:

Это **древяница**, у ей гнездо тута. (Толстая, *Кысь*, 5).

To **drzewianica**, gniazdo tu ma. (Tołstoj, *Kyś*, 47).

Natomiast **истопчик** jest chyba neologizmem autorki (lub zaktualizowaną formacją potencjalną), gdyż współcześnie w języku rosyjskim funkcjonuje wyraz **истопник** na oznaczenie palacza, pracującego w kotłowni. Zaś występujący w powieści **истопчик** to ‘zarządzający ogniem, stróż ognia’, ktoś, kto użycza ognia do rozpalenia paleniska w domu. Dlatego w tłumaczeniu polskim pojawia się **rozpalacz** jako agens do inchoatywnego czasownika **rozpalać**.

J. Czech przetłumaczył przechwałki starego Czecheńca następująco:

Ничего, я говорю, не боялся. Ни русалок, ни **пузыря водяного**, ни **кочевряжки подкаменной**. (Толстая, *Кысь*, 11).

Niczego, powiadam się nie bałem. Ani rusałek, ani **wodnika-pęcherzka**, ani **uparciuszki nadrzecznej**. (Tołstoj, *Kyś*, 11).

Nie wiemy, co to za stwór ta jakaś **кочевряжка подкаменная/uparciuszka nadrzeczna**, której lękają się голуbчики/ludkowie, ale wyczuwamy skojarzenie z czasownikiem **кочевряжиться** ‘упрямиться, ломаться’ (Кузнецов, 464) i to skojarzenie pozwoliło tłumaczowi nazwać go **uparciuszką** z zastosowaniem deminutywnego sufiksu **-uszk(a)** od podstawy **uparciuch-** na miejscu rosyjskiego formantu **-ка** o mniej sprecyzowanej, raczej strukturalnej funkcji, dodanego do

podstawy werbalnej. Podoba mi się również tłumaczenie innej nazwy: **водяной пух** jako **wodnik-pęcherzyk**, gdyż w polskiej mitologii pogańskiej istnieje przecież **wodnik**, a nie pęcherz wodny zaś w folklorystyce rosyjskiej, ten duszek nazywa się **водяной**.

Czasami autorka rezygnuje ze znanych i produktywnych środków słowotwórczych, produktywnych afiksów, zmieniając na przykład nagłos znanych wyrazów, aby zachować jedynie asocjacje ze znanymi innymi nazwami i ich desygnatami. Taką sytuację obserwujemy w przypadku nazwy **кле́ль**, przetłumaczonej jako **kłosna**, por.:

Кле́ль – самое лучшее дерево. Стволы у неё светлые, с натеками, листья резные, узорчатые, лапчатые, дух от них здоровый, одно слово – **кле́ль**! Шишки на ней с человеческую голову, и орешки в них –объединение! Если их вымочить, конечно. А то их в рот не возьмёшь. (Толстая, *Кысь*, 14/15).

Kłosna to najlepsze drzewo. Pień ma jasny, żywiczny z naciekami, liście wystrzygane jakoby łapy, zdrowy zapach od nich idzie, jednym słowem – **kłosna**! Szyszki wielgie jako ludzka głowa, a orzeszki w nich sama słodycz! Oczywiście, jak się je wymoczy. Bo inaczej do ust ich nie brać. (Tołstoj, *Kyś*, 14).

Dodanie nagłosu **кл-** do znanej nazwy pospolitego drzewa: **ель** ‘świerk, choina’ rodzi skojarzenie z czymś powszednim, a jednocześnie sygnalizuje, że mamy do czynienia z nowym desygnatem (por. opis liści tego drzewa). Tłumacz w tej sytuacji bardzo zgrabnie poradził sobie, stosując również podobny zabieg zmiany nagłosu nazwy również pospolitego w naszym krajobrazie drzewa **sosna**, przy czym nagłos jest wymieniony, podczas gdy w oryginale nagłosowe spółgłoski zostały jedynie dodane do całego wyrazu. Figurę puszkina według wskazówek Nikity Iwanycza wykonał Benedikt natomiast z innego drewna:

Дубельт – дерево крепкое, столярное дело понимает. (Толстая, *Кысь*, 323).

Dubelt – drzewo mocne (już tam stolarskie rzemiosło znamy). (Tołstoj, *Kyś*, 278).

Nowy, identyczny nagłos w obydwu tekstach zauważamy także w przypadku pary **хлебедя/chlebioda**, nazwy rośliny spożywanej przez mieszkańców dawnej Moskwy, a teraz gródka zwanego Федор-Кузьмичск/Fiodoro-Kuźmiczów od nazwiska obecnego dyktatora.

Tłumaczenie kompozitów i nazw złożonych, a także nominów osobowych i toponimów „mówiących” również zasługuje na uwagę. J. Czech skłania się do ich dosłownego przekładu na język polski lub znalezienia mniej dosłownego ekwiwalentu rosyjskiego oryginału, ale niosącego podobny do rosyjskiego ładunek emocjonalno-stylistyczny. Przytoczę kilka przykładów:

Взять Варсонофий **Силыча**, Большого Мурзу. Он над всеми складами надзирает, [...] Ума Варсановий **Силыч** государственного, такового же и вида: тучности прямо изумительной, даже и для мурзы редкостной. Вот ежели человек шесть голубчиков вместе связать, так это и до половины Васонофий Силыча недотянет; нет, недотянет! (Толстая, *Кысь*, 61).

Weźmy Warsonofija **Siłycza**, Wielgiego Baszę. On wszystkich Składów dogląda, [...] Rozum ma Warsofonij Siłycz państwowy, takiż i wygląd: tuszę ma jako żywo zdumiewającą, rzadką nawet jak na baszę. Jeśli sześciu ludków razem zwiążesz, to dopiero połowę Warsofonija **Siłycza** miał będziesz; gdzie tam, ani połowy! (Tołstoj, *Kyś*, 52).

Wasonofij Siłycz ma bogaty dom i różnorodne zabudowania dla służby i zwierząt:

Во дворе службы разные: сараи, амбары, хлев для перерожденцев, бараки, где холопы живут. А холопов тьматьмущая: и **мышеловные** холопы, и **мукомольные**, и **квасовары**, и **грибышатники**, и **хвощевники**, и кого только нет! Есть и девки-**поломойки**, и пряжи, и ткачихи [...] (Толстая, *Кысь*, 63).

W podworcu budowie rozmaite: szopy, stodoły, chlew dla wygeneratów i baraki, gdzie raby mieszkają. A rabów zatrząsienie: są i **mąkomielcy**, i **łapimychy**, i **kwasowary**, i **grzybalnicy** i **skrzypiarze**, i kogo tam nie ma! Są też dziewczuchy: **podłogomyjki**, i prządky, i tkaczki [...] (Tołstoj, *Kyś*, 53/54).

Zasługują na uwagę wszystkie polskie złożenia, w których tłumaczone są poszczególne człony (**mąkomielcy**, **podłogomyjki**) oraz okazjonalne formacje **grzybalnicy** (od grzybale) i **skrzypiarze** (od skrzypu 'хвощ'), przy czym ciekawe są asocjacje **łapimychy** z **łapiduchami**, a **kwasowary** z **serowarami/piwowarami**.

А Иван **Говядич**, что на **Мусорном Пруд**у избушку держит [...]. У Иван **Говядича** Последствия уж очень тяжёлые. Голова, руки, плечи – это все крупное такое, ладное, могучее, в три дня, как говорится, не обгадишь, а из-под мышек – сразу ступни, а по середке вымя. Это Никита Иванович так сказал: „вымя”, а мы такого слова не знаем, да и ни к чему нам, да и в книгах такого слова нету, а по нашему это сиська. (Толстая, *Кысь*, 51/52).

A Iwan **Wołowicz**, ten, co ma chatkę nad **Zaświnionym Stawem** [...]. Efekty u Iwana **Wołowicza** są już bardzo mocne. Głowa, ręce, ramiona – wszystko to takie tęgie, zgrabne, potężne, jak to mówią: przez trzy dni nie obesrasz; a spod pach od razu stopy, a pośrodku – wymię. To Nikita Iwanycz powiedział „wymię”, bo my takiego słowa nie znamy i na nic nam ono, zresztą w książkach go nie ma, a po naszymu to cys. (Tołstoj, *Kyś*, 45).

[...] о народ **жестоковыйный** [...]. (Толстая, *Кысь*, 28).

[...] о ludzie **zakutogłowi** [...]. (Tołstoj, *Kyś*, 26).

Przymiotnik rosyjski nie poddawał się dosłownemu tłumaczeniu członów złożenia, gdzie w drugim członie pojawił się archaiczny rdzeń rzeczownika **выя** w znaczeniu 'szyja', dlatego pewnie tłumacz oddał jego treść dosyć popularnym polskim przymiotnikiem: **zakutogłowy**⁴.

Podobnie w przytoczonych niżej przezwiskach tłumacz zamienił drugi człon złożenia **-ryz** 'kuper' jego bardziej wulgarnym synonimem **-dup**, a w zoonimie

⁴ Tłumacz nie dostrzegł tu aluzji do biblijnego określenia „жестоковыйный” zwykle oddawanym w języku polskim opisowo: 'o twardym karku'.

„рыбка-вертизубка”, / „rybka wierciębka” bardziej wyobraźnym dla polskiego czytelnika jest chyba rybka kręcąca łebkiem, niż zębami.

[...] как другим-то голубчикам прозвища бывают дадены: **Гнилоед**, или **Трясогуз**, или другое какое [...] (Толстая, *Кысь*, 32)/

[...] drugim ludkom przezwiska dają: **Gniłojad** abo **Trzęsidup**, abo jakie insze, [...] (Tołstoj, *Kyś*, 29).

Tłumacz stara się usilnie, aby oddać wszystkie odcienie emocjonalno-stylistyczne oryginału rosyjskiego w polskim tekście. Por.

– Эй!

– Чего?

– А ничего! Вот чего. **Расчековался, чековалка...** Чего **расчековался**-то?..” (Толстая, *Кысь*, 29).

– Ej!

– Co?

– А nic! Co i co... **Rozcokał się, cokacz** jeden... Czegoś się tak **rozcokał**? Co?” (Tołstoj, *Kyś*, 27),

gdzie dobrze zachowane jest zabarwienie potoczne albo nawet wulgarne, por.:

Приходят тут слушать... так слушай! А не **подъелдыкивай**. (Толстая, *Кысь*, 12).

Jak przyszłście słuchać... to słuchajcie, zamiast się **wserniczać**! (Tołstoj, *Kyś*, 12).

Rosyjski czasownik **подъелдыкнуть/подъелдыкивать** w znaczeniu ‘зло посмеяться, съязвить, поддеть’ odnotowuje S.A. Kuzniecowa w swoim słowniku i obdarza go charakterystyką „*сниженно*”. Tłumacz użył w tym wypadku formacji słowotwórczej, która znaczy nie tyle odwołaniem do semantyki podstawy, co samą postacią słowotwórczą: [przedrostek **ws-** + **Өрдзең** + sufiks **-іć**].

Nie pretendowałam do dogłębnej analizy wszystkich chwytów translatorskich przy przekazywaniu rosyjskich formacji słowotwórczych i neologizmów autorskich, w których ogromną rolę odgrywała motywacja asocjacyjna. Podsumowując niniejsze luźne rozważania nad sposobami tłumaczenia niektórych rosyjskich formacji i złożzeń w tekście oryginału powieści Tatiany Tołstoj należy podkreślić bardzo dobre wyczucie niuansów językowych i emocjonalno-stylistycznych przez Jerzego Czecha, bogactwo i wielką umiejętność znajdowania polskich ekwiwalentów, także o motywacji skojarzeniowej. Celowo, aby pokazać to wielkie mistrzostwo w przekazywaniu polskiemu czytelnikowi kilkuwarstwowego pod względem stylistycznym tekstu *Kysia*, zwiększałam kontekst wprowadzanych przykładów.

Literatura

Czech, *Posłowie*, [w:] Tołstoj T., *Kyś*, przekład i posłowie Jerzy Czech, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s. 281–287.

Doroszewski – *Słownik języka polskiego*, pod red. W. Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1958–1969.

Tołstoj, *Kyś* – Tołstoj T., *Kyś*, przekład i posłowie Jerzy Czech, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

Капица, Неомиф... – Капица Ф.С., *Неомиф и его трансформация в прозе конца XX века*, [в:] *Русская проза конца XX века*, под ред. Т.М. Колядич, Академия, Москва 2005, с. 34–53.

Колядич, *Т.Н. Толстая* – Т.М. Колядич, *Т.Н. Толстая*, [в:] *Русская проза конца XX века*, под ред. Т.М. Колядич, Академия, Москва 2005

Кузнецов – *Большой толковый словарь русского языка*, под ред. С.А. Кузнецова, Норинт, Санкт-Петербург 2000.

Тихонов, I, II – А.Н. Тихонов, *Словообразовательный словарь русского языка в двух томах*, Русский язык, Москва 1985.

Толстая, *Кысь* – Толстая Т.Н., *Кысь*, Изд-во Эксмо, Москва 2004.

Толстая, *Непальцы* – Т.Н. Толстая, *Непальцы и мюзики*, Интервью журналу „Афиша”, [в:] Толстая Т.Н., *Кысь*, Изд-во Эксмо, Москва 2004, с. 326–330.

Толстая, *Мюзики...* – Т.Н. Толстая, *Мюзики и Нострадамус*, Интервью газете „Московские новости”, [в:] Толстая Т.Н., *Кысь*, Изд-во Эксмо, Москва 2004, с. 331–337.

Словообразовательные неологизмы в романе Татьяны Толстой *Кысь* и их перевод Ежи Чехом на польский язык

Резюме

Статья преследует цель показать некоторые примененные переводчиком способы передачи словообразовательных неологизмов и индивидуализмов Татьяны Толстой в романе *Кысь*. Поочередно рассматриваются некоторые нововведенные автором простые слова, напр. *Кысь*, *клесна*, *хлебеда*, *непроизводные слова*, изменившие в тексте романа семантику и эмоционально-стилистическую окраску, напр.: *ржавь*, *болезнь*, *санитар* и т.п., а также словообразовательные дериваты и их переводные польские эквиваленты. Много места занимают рассуждения на тему пар простых дериватов: *перерожденец*/*wygenerat*, *огнец*/*światłak*, *истопчик*/*gozpalacz* и т.п. и различного типа сложений: *мышеловные*/*łapimychy* *мукомольные*/*mąkomielcy* и т.п.

Чтобы более наглядно показать мастерство перевода *Кыси* в области многоярусного стиля оригинала романа, увеличиваются контексты приводимых в статье примеров.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Józefa Kobylińska

Derywacja paradygmatyczna w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka w w. XVI–XVIII (południowa Małopolska)

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego – feminativa

Mówiąc o tym typie rzeczowników, mam na myśli przede wszystkim rzeczowniki rodzaju żeńskiego derywowane od nazw męskich za pomocą formantu – końcówki fleksyjnej *-a*, czasem drogą wymiany sufiksu rodzaju męskiego na odpowiedni żeński, jak *-ik* > *-ica*, *-'ec* > *-ica*. Przywołujemy więc tzw. derywację fleksyjną, czyli paradygmatyczną, inaczej konwersję.

Tym typem derywacji zainteresowano się w językoznawstwie polskim w latach sześćdziesiątych XX w. Pierwsi pisali na ten temat Roman Laskowski i Henryk Wróbel (Laskowski, Wróbel 1964: 214–220). Przyjęli oni, za Dokulilem i Smirnickim, termin *konwersja*, choć za bardziej adekwatny uważali termin *derywacja bezsufiksalna*. Terminu *konwersja* używał również Bogusław Kreja już w latach siedemdziesiątych (Kreja 1974: 193–205). Natomiast Zofia Kurzowa, w artykule opublikowanym w tym samym roku (Kurzowa 1974: 93–103), przyjmuje, jak widać z tytułu publikacji, termin *derywacja fleksyjna lub paradygmatyczna* i tak ten proces definiuje: Jest to „proces, w którym jako wykładnik derywacji występuje tzw. *-ø* przyrostek słowotwórczy, a funkcję przejmuje sekundarnie końcówka fleksyjna” (Kurzowa 1974: 93), czyli następuje zmiana paradygmatu.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. derywacji paradygmatycznej duży artykuł poświęciła Krystyna Waszakowa (Waszakowa 1983: 5–28). W tym też okresie poruszyły ten problem: Krystyna Kleszczowa (Kleszczowa 1996: 302–354; 1998) oraz Aleksandra Cieślikowa (Cieślikowa 1991). Obydwie autorki przyjmują termin *derywacja paradygmatyczna*. Stwierdzają one również, że jedną z kategorii słowotwórczych, powstałą drogą derywacji paradygmatycznej, są nazwy żeńskie – feminativa – tworzone od nazw męskich, np. *staruch* > *starucha* itp. W tej grupie derywatów są wymieniane również nazwy pokrewieństwa, jak *wnuk* > *wnuka* i in. Natomiast Kreja (op. cit.) podkreśla, że tego typu apelatywne formacje feminatywne były częstsze w dawnej polszczyźnie, lecz z biegiem czasu wyraźnie się wycofują z użycia. Są natomiast dalej żywotne i bardzo produktywne w grupie nazw feminatywnych od imion męskich własnych, np. *Aleksander* > *Aleksandra*, *Bernard* > *Bernarda* i in. W wyniku tej derywacji powstają derywaty modyfikacyjne. K. Kleszczowa w swojej pracy dotyczącej najstarszego okresu polszczyzny mówi o 15 derywatach paradygmatycznych występujących w staropolszczyźnie (Kleszczowa 1996:

332–333). Są to m.in. *gościa* < *gość*, *junocha* < *junoch*, *gospodza* ('Matka Boska') < *gospodz*, *małżonka* < *małżonek*¹, *prawnika* < *prawnuk* i in. Autorka, podobnie jak B. Kreja, zaznacza, że w staropolszczyźnie derywacja paradygmatyczna była bardzo produktywna i zajmowała drugie miejsce po derywacji sufiksальной za pomocą sufiksu *-ka* (Kleszczowa 1998: 78).

W niniejszym artykule przedmiotem naszych dociekań będzie wyłącznie kategoria słowotwórcza *feminatywów*². Materiał badawczy wybrałam z *Ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka* (dalej KGKW). W księgach tych (XVI–XVIII w.), mających charakter historyczny, a prezentujących polszczyznę regionalną południowej Małopolski, wystąpiło kilka tego typu formacji żeńskich, utworzonych od podstaw męskich drogą derywacji paradygmatycznej, w tym za pomocą formantu – końcówki fleksyjnej *-a*. Przedstawiając te nazwy, postaram się pokazać, w których słownikach historycznych języka polskiego (i w gwarowych) zostały one odnotowane, a więc na jaki okres przypada ich żywotność, i porównam je z konkretnym materiałem językowym z określonego regionu, a więc z KGKW.

A teraz krótki opis zabytku. Księgi gromadzkie wsi Kasina Wielka (1513–1804) są niezwykle cennym zabytkiem – reprezentują polski język prawniczy tamtego okresu, a równocześnie regionalną południowomałopolską odmianę języka polskiego. Wieś Kasina Wielka leży w zachodniej części powiatu limanowskiego i należy do góralszczyzny. Następna wieś (na wschód) – Dobra to już teren lachowski. Zabytek zawiera notatki (zapisy) dotyczące różnego typu transakcji majątkowych, spadków i sprzedaży ziemi, sporów o ziemię – rodzinnych i z dworem, rozpraw sądowych związanych z różnego rodzaju przestępstwami i in. Dzięki nim uzyskujemy niemal pełny obraz wsi południowomałopolskiej tamtego okresu.

Księgi gromadzkie wsi Kasina Wielka zostały opracowane przez Bolesława Ulanowskiego, a wydane przez Stanisława Kutrzebę w *Starodawnych Prawa Polskiego Pomnikach*, t. XI, Kraków 1921, s. 275–427. Rękopis zabytku znajduje się w Bibliotece PAU-PAN w Krakowie pod sygnaturą 1553. Zabytek ten posłużył do wielu ciekawych opracowań naukowych, także autorce niniejszego artykułu. Inspiruje on i dostarcza materiał badawczy zarówno do rozpraw z zakresu prawa, jak też językoznawczych, etnograficznych i in. (Kobylińska, 2006: 125–136, tu też bogata bibliografia).

Przejdźmy jednak do tematu niniejszego artykułu i przyjrzyjmy się owym rzeczownikom rodzaju żeńskiego – *feminatywom* powstałym drogą derywacji paradygmatycznej od nazw rodzaju męskiego, a występującym w KGKW na przestrzeni XVI–XVIII w. Są to:

1. derywaty paradygmatyczne z sufiksem – końcówką *-a*: *nieboszczyka* (< *nieboszczyk*), *sąsiada* (< *sąsiad*), *stryka* (< *stryk*), lub *stryjka* (< *stryj*, *stryjek*), *wnuka* (< *wnuk*), a także *sama* (< *sam*);

2. derywaty paradygmatyczne: *cieluszka* (< *cieluszek*), *występnica* (< *występnik*), *synowica* (< *synowiec*) – z wymianą sufiksów *-ek*: *-ka*, *-ik*: *-ica*, *-ec*: *-ica*. Przez niektórych językoznawców ten typ derywacji bywa nazywany derywacją wymienną.

¹ Z punktu widzenia diachronii tu proces był odwrotny: *małżonka* > *małżonek*.

² Derywacja fleksyjna obejmuje także wiele innych kategorii i typów słowotwórczych, jak np. nazwy istot młodych z formantem – końcówką *-ę* (tu różne sądy) i in.

Część tych formacji należy do nazw pokrewieństwa (Kobylińska 2001: 124–132; 1998: 71–103; Szymczak 1966), ale nie jest on typowy dla nazw pokrewieństwa (Kleszczowa 1988: 111).

Oto owe występujące w KGKW nazwy żeńskie:

Z formantem – końcówką fleksyjną -a:

Nieboszczyka (< *nieboszczyk*) 'kobieta zmarła':

dwie dziewczę *nieboszczika* thego Nowaka woita, ktrye (!) miał z *nieboszcziką* pierwszą żoną (1593–2775)³.

Ale już w pierwszej połowie w. XVII pojawił się zapis:

którą to pierzynę dała matka *nieboszczka* terze (!) Slepkowej (1646–3340); też: *nieboszczyk* mążs iey (1646–3340).

A zatem pod koniec XVI w. odnotowano derywat paradygmatyczny – *nieboszczyka*, utworzony od nazwy męskiej *nieboszczyk* za pomocą formantu – końcówki fleksyjnej żeńskiej -a, natomiast w połowie w. XVII pojawiła się w zabytku inna formacja, również paradygmatyczna, powstała albo w wyniku kontrakcji w wewnętrznej grupie -czy(y)- > -cz-: *nieboszcz(y)ka* > *nieboszczka*, albo drogą derywacji wymiennej: *nieboszcz -yk* > *nieboszcz+ka*. I ta postać – *nieboszczka* – zwyciężyła, zachowała się do dziś, -ka jest bowiem najbardziej wyrazistym formantem feminatywnym, mającym przewagę w tworzeniu nazw żeńskich już w staropolszczyźnie, zajmującym pierwsze miejsce co do produktywności, jak podaje K. Kleszczowa (1998: 79).

Wyrazy *nieboszczyka* i *nieboszczka* w słownikach języka polskiego: Sstp: *niebożka*⁴ (< *niebożę*), *nieboszczka*; *nieboszczyka* (ż) – brak; SVXI: *nieboszczka*, *nieboszczka*, *nieboszczycza*; *nieboszczyka* – brak; Mącz: nie ma żadnej formy; Tr: *nieboszczka*; *nieboszczyka* – brak; L: *nieboszczka*, *nieboszczycza*; *nieboszczyka* – brak; Swil: *nieboszczka*, *nieboszczycza* – prowin.; *nieboszczyka* – brak; SW: *nieboszczka*, *niebożka*, *nieboszka*, *nieboszczycza*, *niebożyczka* – gwar., *nieboszczyka* – brak; SJPD: *nieboszczka* – pot., *nieboszczycza* – daw., wyraz często używany w funkcji przydawki rzeczownej; *nieboszczyka* – brak; KSGP: *nieboszczka*, *niebożka*, *nieboszka*, *niebożyczka*, *nieboszczycza*; KGG: *niebożyczka* <*niebożyczka*>.

Tak więc na przestrzeni tych kilku wieków pojawiły się następujące warianty nazwy kobiety zmarłej: *nieboszczyka*, *nieboszczka*, *nieboszczycza*, *niebożka*, *nieboszka*, *niebożyczka*.

Przegląd słowników historycznych języka polskiego oraz gwarowych pozwala stwierdzić, iż odnotowana w KGKW w ostatnim dziesięcioleciu XVI w. nazwa feminatywna *nieboszczyka*, będąca derywatem paradygmatycznym od rzeczownika rodzaju męskiego *nieboszczyk*, nie ma potwierdzeń w tych słownikach, możemy więc uznać ją za regionalizm południowomałopolski. W słownikach wystąpiły natomiast warianty tej nazwy: słowotwórcze i fonetyczne, oparte na tematach derywacyjnych: *nieboż-* lub *niebosz(cz)-*: *niebożka* (Sstp, Swil, KSGP), *niebożyczka* (SXVI, SW (gwar.), KSGP, KGG), *nieboszczka* (Sstp, SXVI, Tr, L, Swil, SW, SJPD, KSGP), *nieboszka* (SXVI, SW, SJPD (daw.), KSGP), *nieboszczycza* (Sstp, SXVI, L, Swil, SW, SJPD (daw.), KSGP),

³ Cyfra pierwsza oznacza rok, druga – numer notatki.

⁴ Nie podaję każdorazowo znaczenia, ponieważ ono się powtarza.

nieboszczyczka (SXVI). Występujące w słownikach te różne nazwy synonimiczne interesującej nas nazwy żeńskiej nazywającej kobietę zmarłą, nazwę *nieboszczyka* odnotowują jedynie pod koniec w. XVI KGKW, pozostałe to warianty słowotwórcze utworzone za pomocą formantów: *-ka* lub złożonego *-i(y)-cz-ka* oraz *-i(y)ca*. Spośród owych siedmiu wariantów sufiksalnych do dziś zachowała się jedynie nazwa *nieboszczka* (sufiks żeński *-ka*), w SJPD opatrzona kwalifikatorem *pot[oczne]*, a więc pojawiająca się współcześnie jedynie w odmianie potocznej języka. SJPD notuje też nazwę *nieboszczyca* (< *nieboż-cz-ica*), z formantem żeńskim *-i(y)ca*, ale z kwalifikatorem *daw[ne]*. W gwarach natomiast, według KSGP, występują warianty: *nieboszczka*, *nieboszka*, *niebożka*, *niebożyczka* i *nieboszczyca*. Formacje te są oparte na tematach słowotwórczych: *nieboż-* i *niebosz(cz)-*. Używana współcześnie w języku potocznym postać tej nazwy *nieboszczka* jest formacją sufiksálną feminatywną z wyrazistym formantem żeńskim *-ka*, ale i ten wariant, podobnie jak wcześniej inne, w tym wariant paradygmatyczny *nieboszczyka*, wychodzi z użycia, zastępowany przez substanstywizowany przymiotnik (dawny imiesłów zaprzeszyły) – *zmarła*.

We współczesnej polszczyźnie, raczej potocznej, wyraz *nieboszczka* jest używany w funkcji przydawki rzeczownej (w postpozycji lub prepozycji), np. *mama nieboszczka* || *nieboszczka mama*, natomiast w gwarze tego regionu, podobnie jak i w innych gwarach, funkcjonuje nazwa *niebożyczka*, <*niebożycka*>, z wyraźnym tematem derywacyjnym *nieboż(ę)* i sufiksem złożonym drugiego stopnia *-i(y)cz-ka* (> *-ycka*).

Sąsiada (< *sąsiad*) ‘kobieta mieszkająca w pobliżu kogo’.

Mazgaik oskarżony, że sie powadził z *sąsiadą* (1610–2933),

ale już pod koniec w. XVII czytamy:

skarżyły *sąsiadki* iego (1691–3452).

A zatem w KGKW w w. XVII funkcjonują dwie nazwy wariantywne: *sąsiada* – formacja paradygmatyczna z żeńskim formantem – końcówką fleksyjną *-a* i formacja sufiksálna – z wyrazistym sufiksem żeńskim *-ka* – *sąsiadka*. Są to jedyne poświadczenia w KGKW.

Słowniki historyczne języka polskiego notują: Sstp: *sąsiada* ‘kobieta mieszkająca blisko kogoś, sąsiadka’ (BZ, Rozm. i in.); *sąsiadka* – brak; Mącz: *sąsiada* i *sąsiadka* – brak; Tr: *sąsiada*, *sąsiadka*; L: *sąsiada*, *sąsiadka*; Swil: *sąsiada*, *sąsiadka* (zdr.); SW: *sąsiada* (mało używ. i gw.), *sąsiadka*; SJPD: *sąsiada* (daw.) – patrz *sąsiadka*; KSGP: *sąsiada* ‘sąsiadka’, *sąsiadka*.

Jest interesujące, iż wyraz *sąsiada* jest notowany we wszystkich słownikach z wyjątkiem Mącz, natomiast wyrazu *sąsiadka* nie odnotowano jeszcze w Sstp, nie podaje go również Mączyński. W niektórych słownikach nazwa *sąsiada* ma kwalifikatory: *dawny*, *gwarowy*, *mało używany* (SW, SJPD), a więc nazwa *sąsiada* występuje w języku polskim od staropolszczyzny niemal do czasów współczesnych (SJPD z kwalifikatorem *dawny*). Obok postaci *sąsiada* wszystkie słowniki, jak widzimy, z wyjątkiem Sstp i Mącz, odnotowały wariant słowotwórczy *sąsiadka*, utworzony za pomocą sufiksu feminatywnego *-ka*. Tak więc z wyjątkiem doby staropolskiej, mamy do czynienia z tautologiczną parą, różniącą się budową słowotwórczą: *sąsiada* – formacja paradygmatyczna – i *sąsiadka* – formacja sufiksálna. Ostatecznie w języku ogólnym zwyciężyła i funkcjonuje do dziś formacja sufiksálna, z wyrazistym

formantem żeńskim *-ka*, wypierając pierwotną formację paradygmatyczną, ewentualnie przesuwając ją do leksyki gwarowej.

Stryka (*Stryjka*?) (< *stryk* (*stryj*)) 'żona stryka, stryja, brata ojca'.

Piąta sprawa – Między Wawrzkiem y Antonim y *stryką* ich Katarzyną niegdy Krostkiem (!), a drugiego małżeństwa Trzeciacką, stanęła ta sprawa (1759–3714).

Ani w cytowanych pracach K. Kleszczowej, ani w monografii M. Szymczaka, ani w żadnym słowniku historycznym języka polskiego, czy gwarowym nie ma nazwy *stryka*. Można by więc sądzić, że wydawca, Bolesław Ulanowski, źle odczytał ten wyraz w KGKW. Sprawdziłam więc ów zapis w rękopisie zabytku w Bibliotece PAU-PAN w Krakowie (sygn. 1553) i stwierdziłam, iż ma on niewątpliwie postać *stryką*, a więc Nsg. *stryka*. Jak zatem potraktować ów wyraz, jak go interpretować? Wartykule z r. 2001 (Kobylińska 2001: 124–132) uznałam go, w takiej właśnie postaci, za żeński derywat paradygmatyczny od funkcjonującej w leksyce tego regionu niemal do czasów współczesnych nazwy rodzinnej *stryk* 'stryj, brat ojca, stary kawaler' (zob. KGG). Formacja (taka!) wpisuje się bardzo dobrze w produktywny na tym terenie w tamtym czasie typ słowotwórczy żeńskich nazw (też rodzinnych) powstałych drogą derywacji paradygmatycznej za pomocą sufiksu – końcówki fleksyjnej *-a* od nazw męskich, jak *kuma* < *kum*, *sąsiada* < *sąsiad*, *nieboszczyka* < *nieboszczyk* i in., a więc także: *stryka* < *stryk*. W gwarze gorczańskiej (zagórzańskiej) żona stryka/stryja współcześnie nosi(ła) nazwę *stryna* (< *stryjna*), *stryniczka* (< *stryno*>, < *strynicka*>).

A zatem *stryka* jest niezwykle interesującą nazwą rodzinną żeńską, utworzoną za pomocą formantu paradygmatycznego *-a*, a nie notowaną nigdzie w języku polskim.

Analizując dogłębnie tę nazwę, możemy jednak przyjąć kilka możliwych interpretacji: 1. jest to derywat paradygmatyczny utworzony od wyrazu podstawowego *stryk* za pomocą formantu – końcówki fleksyjnej *-a*; 2. *stryka* może też być nazwą *stryjka* lub jej postacią uproszczoną (zanik *-j-*: *stryka* < *stryjka*). Za takim odczytaniem tej nazwy – jako *stryjka* – przemawia fakt, iż litera *y* może mieć wartość *i/y/j*, jak w zapisie *stry* = *stryj* (1605–2893); taką wartość litery *y* potwierdza również zapis *obyścia* = *obyjścia* = *obejścia* (1756–3705). Zapis *stryka* możemy więc odczytać albo jako *stryka*, albo jako *stryjka*. Nazwę *stryjka* odnotowuje w swojej pracy M. Szymczak (1966: 183): „Z faktów odosobnionych należy wymienić zanotowaną (29 Siemionowo, pow. Gostyń) nazwę *stryjka* [...] [która] jest utworzona formantem *-ka*, będącym tutaj wykładnikiem żeńskości”. Można zatem przyjąć, że w KGKW postać *stryka* jest albo derywatem paradygmatycznym żeńskim od nazwy męskiej *stryk*, nazwy żywotnej do dziś w gwarze tego terenu, albo postacią powstałą w wyniku kontrakcji: *stryjka* > *stryka* (uproszczenie grupy śródwyrazowej *-yjk-* > *-yk-* (jak *stryjna* > *stryna*). I wreszcie zapis *stryka* może mieć wartość *stryjka*, a więc byłaby to formacja sufiksalna: *stryj* + *-ka* (jeśli przyjmujemy, że litera *-y-* = *-yj-*) z wyrazistym formantem żeńskim *-ka*. Ta interpretacja jest możliwa, gdyż w polu wyrazowym nazw rodzinnych, a także po prostu feminatywów (n. męska: n. żeńska (żona)) w tym czasie wystąpiły też pary: *wnuk*: *wnuka*, *nieboszczyk*: *nieboszczyka* i in., ale też *bratanek*: *bratanka* i in. Spośród innych języków słowiańskich nazwa *stryka* || *strika* wystąpiła jedynie w językach bułgarskim i serbskim. Natomiast w języku rosyjskim

znane jest wyrażenie: *stryka* – *bryka* ‘kobieta często się przemieszczająca, latawica’ (Dal; Obrębska 1929: 100).

W historii języka polskiego i w gwarach (na podstawie słowników) udokumentowano następujące nazwy na określenie żony *stryka/stryja*: Sstp: *stryna, stryjna*; Mącz: brak; Tr: *stryjenka*; L: *stryjna, stryjjenka*; Swil: *stryjna, stryjanka*; SW: *stryjenka/stryjanka, stryjna* (gw.), *stryna*; SJPD: *stryjna* (daw. dziś gw. patrz *stryjenka*); KSGP: *stryjenka, stryjna, stryna*. Wszystkie te nazwy były derywatami od nazwy męskiej *stryk* lub *stryj*. Obydwa wystąpiły też w analizowanym tekście:

za pozwoleniem *strika* ich Nikodema Anioła z Włostowki (1620–3010)

obok:

ma Tomaszowi, *stryiowi* swęmu, owies powrocic (1691–3452).

Tak więc nazwa żony *stryja* występowała w języku polskim w badanym okresie w postaci wariantów słowotwórczych: *stryjna, stryna* i *stryje(a)nka*, natomiast współczesny materiał gwarowy odnotowuje większą ilość wariantów, a więc: *stryjka, stryjowa, strykowa, stry(j)niczka* < *strynicka* >. Ta nazwa rodzinna została współcześnie wyparta przez wieloznaczną *ciotkę*.

Wnuka (< *wnuk*) ‘dziecko płci żeńskiej w stosunku do swoich dziadków, czasem bratanica lub siostrzenica’.

ktorego *wnukę* miał Wawrzyniec Iurczak, ale bez zadnego dziedzictwa (1755–3698)

Wyraz ten został poświadczony w KGKW tylko jeden raz i to późno, bo w roku 1755, a więc w połowie XVIII w. W KGKW nie wystąpiły warianty: *wnęka* (fonet.), ani *wnuczka, wnęczka* (słowotwórcze), wystąpiły natomiast warianty nazwy męskiej: *wnuk: wnęk*:

uczyniono [...] *wnukiem* nieboszczyka Sebastiana Fornala (1748–3674); oddalającz dzyecy y *wnęki* (1579–2753).

Wariant fonetyczny z samogłoską nosową -ę- pojawił się więc w męskiej postaci nazwy pod koniec w. XVI, a z samogłoską -u- w połowie w. XVIII. Postać żeńska, zanotowana w połowie w. XVIII zawiera samogłoskę ustną -u-. Jeśli natomiast idzie o warianty słowotwórcze, to KGKW poświadczają wyłącznie nazwę w postaci derywatu paradygmatycznego z formantem – końcówką fleksyjną -a. Brak innych wariantów, np. *wnuczka, wnęczka*.

Nazwa *wnuczki* w słownikach: Sstp: *wnuka, wnęka, wnuczka*; brak *wnęczka*; Mącz: tylko *wnuczka*; Tr: *wnęczka; wnuczka* brak – *wnuka, wnęka*; L: *wnuka, wnuczka, wnęka, wnęczka*; Swil: *wnuka, wnuczka, wnęka* (przestarz., stp.), *wnęczka* (przestarz.); SW: *wnuka* (wymarłe), *wnuczka, wnęka* (stp.) *wnęczka* (stp.); SJPD: *wnuka* (dawne, dziś książk.) (przykłady z Iwaszkiewicza i Łozińskiego, a więc stylizacja), *wnuczka*; KSGP: *wnęka, wnęczka*.

Materiał słownikowy pokazuje, iż już od staropolszczyzny jako nazwy córki syna lub córki w stosunku do dziadka i babki funkcjonowały warianty fonetyczne ze starą prasłowiańską obocznością samogłoskową -ę-/-u-: *wnęk: wnuk, wnęka: wnu-ka, wnęczka: wnuczka* oraz warianty słowotwórcze z sufiksami -a/-ka, a więc: *wnu-ka: wnuczka* i *wnęka: wnęczka*. Postaci *wnęczka* i *wnuczka*, a więc formacje sufiksalne,

mają wyrazisty formant żeński *-ka*, w staropolszczyźnie, jak wiemy, bardzo produktywny w tej formacji słowotwórczej. I właśnie *wnuczka*, formacja feminatywna o wyrazistej strukturze, z formantem *-ka*, zwyciężyła, wypierając zupełnie formację paradygmatyczną (choć odnotowuje ją jeszcze SJPD jako *dawne* i *książk*). Zniknęły również, zarówno z odmiany potocznej jak też z odmiany oficjalnej języka polskiego, formacje z rdzennym *-ę*, które zachowały się jednak w gwarze (Kobylińska 2001). Już w Swil i w SW były one określane jako przestarzałe.

Sama (< *sam*) ‘substantywowany zaimek o funkcji anaforycznej’.

naprzod on powinien wziąć plag 30, a *sama* pietnascie (1705–3525).

B. Kreja (1974: 194) podaje za Lindem zaimek *sama* (< *sam*) jako przykład derywacji paradygmatycznej. Zaimek ten w słowniku Lindego jest całkowicie zsubstantywowany i ma wartość ‘jejmość’ (r.m. ‘jegomość’). W KGKW zaimek *sama* jest użyty w funkcji anaforycznej – zamiast nazwania kobiety – *Zofia Pobiedzianka*.

W tej grupie nazw, powstałych drogą derywacji paradygmatycznej, powinna się znaleźć również *kuma*, derywat żeński od nazwy męskiej *kum*. Wyraz ten nie wystąpił jednak w KGKW. Przywołuję go jednak tutaj, ponieważ jest jednym z nielicznych przykładów feminativum, które zachowało się do dziś w języku potocznym i w gwarze. Obok jednak podstawowego znaczenia ma ono również znaczenie wtórne (derywacja semantyczna): ‘kobieta zajmująca się plotkami, gadatliwa, wścibska’ (SJPD). Obok nazwy *kuma*, występowała również nazwa *kmotra* (także derywat paradygmatyczny), a przede wszystkim *kumoszka/komoszka*, którą notują słowniki, począwszy od SXVI. I właśnie ta postać, sufiksalna z wyrazistym sufiksem żeńskim *-ka*, zwyciężyła, ale jak podaje SJPD, jest używana tylko w języku potocznym języka polskiego. Warto jeszcze wspomnieć o występującej w pracy K. Kleszczowej (1996: 332–333) nazwie *pradziadka* (< *pradziadek*) ‘matka dziadka albo babki, prababka’. Jest to więc również derywat paradygmatyczny, który także wyszedł z użycia.

Do tego typu słowotwórczego, z formantem paradygmatycznym *-a*, zalicza się również nazwy z przyrostkiem *-k-ø* (m.): *-k-a* (ż.). Najpełniej ten proces derywacyjny jest widoczny, kiedy ukażemy go w zrekonstruowanych formach prasłowiańskich: *-ǫk-ǫ > -ek-ø: -ǫk-a > -k-a*. Dziś ten typ derywacji można by też nazwać, jak to czynią niektórzy językoznawcy, derywacją wymienną. W KGKW wystąpiła tylko jedna nazwa żeńska tego typu: *cieluszka/ciełuszka* (< *cieluszek/ciełuszek*).

Cieluszka (*Ciełuszka*) (< *cieluszek, ciełuszek*) ‘młoda krowa’⁵.

ma uzyvac [...] dwie *czeluszky* y *czeluszek* latosse (1559–2726).

K. Kleszczowa w żadnej ze swoich prac nie wymienia tego wyrazu, nie ma go bowiem również w Sstp. Trzeba więc go uznać za regionalizm (Kobylińska 2008: 136–1555). Nazwa *cieluszka/ciełuszka* jest formacją żeńską od nazwy męskiej *cieluszek/ciełuszek* ‘byczek, młody wół, buhajek’, utworzoną za pomocą formantu żeńskiego *-ka*. Nazwa żeńska najprawdopodobniej miała wartość ‘młoda krówka, jałoweczka’.

Zaświadczają ten wyraz tylko niektóre słowniki: Sstp: brak; Mącz: brak; Tr: brak; L: brak; Swil: *ciełuszka* ‘cielę krowiego rodzaju’ (por. *cielica*), *provincjonalizm*; SW: *ciełuszka* (por. *cieluch* ‘wół’); SJPD: brak; KSGP: *ciełuszka* ‘cieliczka’; SGP PAN

⁵ W w. XVI nie było jeszcze litery *ł* i litera *l* mogła mieć wartość zarówno głoski [l] jak i [ɫ].

podaje tę nazwę w postaci *cieluszka* (z Łopatowszczyzny i Augustowskiego) obok *cieluszka* (z Białostockiego) (Kobylińska 2008: 146).

Na podstawie kontekstu można wnioskować, iż nazwa *cieluszka/cieluszka* zapisana w KGKW oznaczała 'młodą krówkę' (w wieku prokreacyjnym, skoro owe *cieluszki/cieluszki* mogły mieć już potomstwo – jednoroczne latatochy), co potwierdza formant złożony deminutywno-hipokorystyczny *-usz-ka*.

Autorzy cytowanych prac stwierdzają, że w kategorii słowotwórczej nazw żeńskich „zwierzęcych” zarówno paradygmatazacja jak i sufiksacja są raczej rzadkie, gdyż przeważnie mamy tu do czynienia z derywacją opartą na dwu różnych podstawach słowotwórczych, jak: *krowa: wół (byk)*, *klacz: koń*, *owca: baran*, *koza: cap* itp.

Synowica (< *synowiec*) 'córka brata w stosunku do braci ojca'.

Iozep *synowyecz* Woyczecha syoltisa Kasinsskyego y Helena *synowicza* [...] vysnaly (1554–2723).

Ten typ derywatu słowotwórczego może być uznany za paradygmataczny lub też powstały w wyniku derywacji wymiennej – sufiks: *-'ec* (*-bкѣ > *-bсѣ >): *-ica* (< *-ika): *synowi-ec: synow-ica*.

Nazwę tę podają słowniki: Sstp: *synowica* 'córka brata w stosunku do stryja' (pozn, Kościan i in.); Mącz, Tr, L, Swil i SW: *synowica* 'bratanka'; SJPD: *synowica*, *przestarz.*, dziś *bratanica*; KSGP: brak.

K. Kleszczowa wymienia nazwę *synowica* jako formację paradygmataczną (Kleszczowa 1996: 53). *Synowica* zatem była nazwą żywotną od staropolszczyzny do początku w. XX, dopiero bowiem SJPD dodaje jej kwalifikator *przestarz[ałe]* (tak samo w nazwie *synowiec*). Została ona utworzona na temacie derywacyjnym *syn-* za pomocą sufiksu złożonego *-owi-ec*. Obok tej nazwy funkcjonował wariant leksykalny *bratanka*, a następnie *bratanica*. I ta ostatnia nazwa wyparła dwie poprzednie: *synowicę* i *bratankę*. SJPD określa i *synowicę*, i *bratankę* jako nazwy przestarzałe. Współcześnie obserwujemy wymieranie wielu nazw rodzinnych. Nic więc dziwnego, że również *bratanica* należy do nazw, które wychodzą z użycia, zastępowane przez deskrypcję *córka brata* (zob. *bratanka*).

Bratanka (< *bratanek*) 'córka brata lub siostry'.

Nazwa ta również nie wystąpiła w KGKW, ale ponieważ funkcjonowała jako wariant leksykalny nazwy *synowica* w całym okresie historycznym języka polskiego, notują ją bowiem wszystkie słowniki z wyjątkiem Mączyńskiego, uważam, że trzeba jej poświęcić kilka zdań. Wyraz *bratanka* odnotowuje już Sstp, a następnie SXVI, Tr, Swil, SW i KSGP i dopiero SJPD dodaje mu kwalifikator *przestarzały*. Obok nazwy *bratanka* występowała też *bratanica* (Tr, SW, SJPD), która wyparła nazwę *bratanka*, a także nazwę *synowica*. Postać *bratanica* to wariant słowotwórczy nazwy *bratanka* (por. *synowica*: obydwie wyrazy z formantem żeńskim *-ica*: *-'ec* m.). Dwie nazwy historyczne: *synowica* i *bratanka* wyszły z użycia, wyparte przez nazwę *bratanica*, którą notują dopiero SW, SJPD i KSGP. Wydaje się, że współcześnie także nazwa *bratanica* wykazuje tendencję do zaniku, zastępowana, jak wspomniałam wyżej, przez deskrypcję *córka brata*. Szukając przyczyny, dlaczego nazwa *synowica* została wyparta przez warianty leksykalne *bratanka* (funkcjonuje jako synonim już

od staropolszczyzny, zob. Sstp), a następnie *bratanica*, musimy stwierdzić, iż bardziej przejrzyste semantycznie były derywaty oparte na temacie derywacyjnym *brat* ('córka brata')[tak też *siostrzenica* ('córka siostry')] niż derywat oparty na temacie derywacyjnym *syn*, który to wyraz nie pojawia się w definicji strukturalnej (w parafrazie) nazwy określającej córkę brata lub siostry.

Wspominając o zanikaniu tych nazw jako nazw pokrewieństwa, musimy założyć, iż dotyczy to większości starych nazw rodzinnych.

Występnica (< *występnik*) 'kobieta występna, przestępczyni'.

pięćdziesiąt plag rozgami we dwoikę dadzą mu, a *występnicy* 30 (1702–3510).

K. Kleszczowa ani w jednej, ani w drugiej pracy (Kleszczowa 1996; 1998) nie wymienia nazwy *występnica*, ani *występnik*. W obydwu pracach jest natomiast nazwa męska *występca*.

W słownikach języka polskiego przedstawia się to następująco: Sstp: *występnica* i *występnik* – brak; tylko *występca*; Mącz, Tr – brak; L: *występnica*, *występniczka*; Swil: *występnica* (*występnik*, por. *występca*), *występczyna*; SW: *występnica*, por. *występczyna* (*występnik* – mało używane, zob. *występca*); SJPD: *występnica* – brak, *występczyni* – daw; forma żeńska od *występca* (*występnik* – daw.); KSGP – brak.

Zatem nazwę *występnica* odnotowały tylko słowniki L, Swil, SW z kwalifikatorem mało używane, Swil i SW podają także wariant *występczyna*, a SJPD nazwę *występczyni*, ale z kwalifikatorem dawne. Możemy więc przyjąć, że nazwa *występnica* miała krótki żywot, pojawiła się bowiem późno, dopiero w słowniku Lindego, a współcześnie jest już historyzmem/archaizmem (nie notuje tej nazwy SJPD, a nazwę *występczyni* opatruje kwalifikatorem dawne).

Podsumowanie

Omówione nazwy żeńskie derywowane od nazw męskich tworzą pary. Są to: nazwy żon i nazwy pokrewieństwa: *stryk/stryj*: *stryka/stryjka*, *wnuk* – *wnuka*, *synowiec* – *synowica*; odpowiedniki żeńskie nazw męskich, czyli równoważne pary: nazwa męska – nazwa żeńska: *nieboszczyk* – *nieboszczyka*, *sąsiad* – *sąsiada*; *sam* – *sama*; *cieluszek* – *cieluszka*, *występnik* – *występnica* (i omówione dodatkowo: *brataneek* – *bratanka*, *bratanica*, *kum* – *kuma*). A zatem w omawianej tu grupie derywatów żeńskich, powstałych drogą derywacji paradygmatycznej przeważa zdecydowanie funkcja tworzenia odpowiedników żeńskich nazw męskich, a więc tworzenia par równoważnych: nazwa męska – nazwa żeńska.

Derywaty żeńskie powstawały drogą derywacji paradygmatycznej, bezsufiksальной: *nieboszczyka*, *sąsiada*, *wnuka*, *stryka* (?), *sama*, (też *kuma*), a także *cieluszka*, *stryjka* (?), *bratanka*, *synowica*, *występnica*. Cztery (pięć?) ostatnie można też uznać za derywaty powstałe drogą derywacji wymiennej.

Właściwie wszystkie nazwy o strukturze paradygmatycznej znikły z czynnego słownictwa polszczyzny, wyparte przez nowsze formacje, sufiksalne, przeważnie z wyrazistym formantem żeńskim *-ka*, czy *-ica*, czasem w miejsce dawnej formacji pojawiały się formacje oparte na zmienionym temacie słowotwórczym (lub oboczność leksykalna): (*nieboszczyka*:) *nieboszczka* (podaję je w nawiasie): (gwar. *niebożyczka*); (*sąsiada*:) *sąsiadka*; (*stryka/stryjka*:) *stryjenka*. Zanikły też nazwy (podaję je w nawiasie): (*wnuka*:) *wnuczka*; (*cieluszka* (gwar., reg.):), *cieliczka*; (*synowica*:

bratanka:) *bratanica* (oboczność leksykalna); (*występnica*:) *występczyni*. Omawiane wyrazy pojawiły się w KGKW przeważnie tylko jeden raz.

Na zakończenie potwierdzamy tezę K. Kleszczowej i innych językoznawców, iż derywacja paradygmatyczna w staropolszczyźnie i w wiekach średnich była procesem żywotnym, służącym łatwemu wzbogaceniu leksyki, później jednak została wyparta przez derywację sufiksalną, głównie z wyrazistym formantem żeńskim *-ka*, który już w staropolszczyźnie, jak stwierdziła autorka, był w tej grupie rzeczowników najbardziej produktywny (1. miejsce).

A zatem derywacja paradygmatyczna w ciągu wieków zamierała. Spośród grupy starych nazw żeńskich powstałych w wyniku tej derywacji zanikły prawie wszystkie. Zachowała się *kuma*, ale zmieniła zakres znaczeniowy, niekiedy bywa używana *synowica* (traktowana jako archaizm), natomiast wyszły z użycia: *nieboszczyka*, *sąsiada*, *synowica*, *stryka/stryjka*, *wnuka* i *występnica* i oczywiście *cieluszka* oraz *sama*. Obecnie derywacja paradygmatyczna jest produktywna tylko w grupie imion własnych żeńskich od męskich, jak *Aleksander* > *Aleksandra*, *Bernard* > *Bernarda* itp.

Literatura

- Cieślukowa A., 1991, *Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii*, Kraków.
- Kleszczowa K., 1996, *Derywacja paradygmatyczna*, [w:] *Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji*, red. K. Kleszczowa, Katowice, s. 302–354.
- Kleszczowa K., 1998, *Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywistyczna ewolucja. Rzeczowniki*, Katowice.
- Kobylińska J., 1998, *Nazwy rodzinne – literackie i gwarowe – w utworach Władysława Orkana*, [w:] *Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych*, red. T. Żeberek i T. Borucki, Kraków, s. 71–103.
- Kobylińska J., 2001, *Nazwy pokrewieństwa w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka (pow. limanowski) XVI–XVIII w.*, [w:] *W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei*, red. J. Maćkiewicz i E. Rogowska, Gdańsk, s. 124–132.
- Kobylińska J., 2006, *Księgi sądowe wiejskie – historia i wartość badawcza*, [w:] *Język w urzędach i w sądach*, red. M.T. Lizińska, Kraków, s. 125–136.
- Kobylińska J., 2008, *Nazwy zwierząt domowych w XVI–XVIII w. (na podstawie ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka)*, „*Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis*”, t. 62, „*Studia Linguistica*” IV, red. M. Karamańska, E. Młynarczyk, E. Stachurski, Kraków, s. 136–155.
- Kreja B., 1974, *Słowotwórcza rola fleksji we współczesnym języku polskim*, „*Studia Śląskie*”, t. XXVI, Katowice, s. 193–205.
- Kurzowa Z., 1974, *Derywacja fleksyjna czyli paradygmatyczna w języku polskim i próba objaśnienia jej genezy*, ZNUJ, „*Prace Językoznawcze*”, z. 42, Kraków, s. 93–103.
- Laskowski R., Wróbel H., 1964, *O użyciu paradygmatu w funkcji formantu słowotwórczego*, „*Język Polski*” XLIX, s. 214–220.
- Obrębska H., 1929, „*Stryj, wuj, swak*” w *dialektach języka polskiego*, Warszawa.
- Szymczak M., 1966, *Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego*, Warszawa.
- Waszakowa K., 1983, *Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim*, „*Polonica*” IX, s. 5–28.

Słowniki

KGG – Kobylińska J., *Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej)*, Kraków 2001.

KSGP – Karłowicz J., *Słownik gwar polskich*, t. I–VI, Kraków 1900–1911.

KSG PAN – *Słownik gwar polskich*, t. I, red. M. Karaś, Kraków 1977, t. II–V, red. J. Reichan, t. VI i nast. red. J. Okoniowa.

L – Linde S.B., *Słownik języka polskiego*, t. I–VI, wyd. 3. fotooffsetowe (z wyd. 2., Lwów 1854–1860), Warszawa 1951.

Mącz – *Wyrazy polskie w słowniku polsko-łacińskim Jana Mączyńskiego*, red. W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1962–1963.

SJPD – *Słownik języka polskiego*, red. W. Doroszewski, t. I–X, Warszawa 1958–1968.

Sstp – *Słownik staropolski*, red. S. Urbańczyk, t. I–XI, Kraków 1953–1995.

SXVI – *Słownik polszczyzny szesnastego wieku*, red. M.R. Mayenowa, t. I–XXII, Wrocław, 1966–1994.

SW – *Słownik języka polskiego (tzw. warszawski)*, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I–VIII (1900–1927), wyd. fotooffsetowe, Warszawa 1952.

Swil – *Słownik języka polskiego (tzw. wileński)*, red. A. Zdanowicz, J. Filipowicz, W. Tomaszewicz, t. I–II, Wilno 1861.

Tr – Trotz M.A., *Mownik polsko-niemiecko-francuski*, Lipsk 1764.

Прагматическая деривация в Громадских книгах в деревне Касина Великая в XVI и XVII в. (южная Малопольша). Имена существительные женского рода (феминатива)

Резюме

Феминативы – это имена существительные, образованные от мужских форм с помощью флетивного форманта –а или путем замены суффикса мужского рода на соответствующий ему суффикс женского рода. В статье проанализированы формы, образованные от имен мужского рода, выступающие в Громадских книгах, например: *nieboszczyka* (< *nieboszczyk*), *sąsiada* (< *sąsiad*), *stryka* (?) (< *stryk*) или *stryjka* (?) (< *stryj*), *wnuka* (*wnuk*), *sama* (< *sam*), а также *cieluszka* (< *cieluszek*), *synowica* (< *synowiec*), *bratanka* (< *bratanek*), *występnica* (< *występnik*).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Anna Kostecka-Sadowa

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – o frazeologii w języku polskich mieszkańców Mościsk na Ukrainie

Celem tego artykułu jest charakterystyka frazeologii zebranej przeze mnie na terenie Mościsk.

Ze względu na ogromną ilość materiału jaki zebrałam, omówię tu głównie jednostki frazeologiczne, które zaklasyfikowałam do grupy tematycznej „życiowe doświadczenia człowieka”. Po klasyfikacji materiału, okazało się, że w tej grupie znalazły się głównie przysłowia. Wiadomo, że przysłowia są uogólnioną pamięcią ludu, wnioskami z życiowego doświadczenia, które daje prawo formułować poglądy na etykę, historię, politykę. Stanowią taką instrukcję zasad, jakimi człowiek powinien kierować się na co dzień – one radzą, ostrzegają, chwalą lub osądzają – a dokładnie pouczają, bo za nimi stoi autorytet pokoleń.

Niezależnie od poglądów różnych językoznawców, do frazeologii zaliczyłam typowe związki frazeologiczne, porównania, przysłowia, a także frazemy (por. Chlebda 2001; Lewicki, Pajdzińska 2001). W tekście takie terminy jak frazeologizm, jednostka frazeologiczna stosuję wymiennie.

Frazeologia pogranicza wschodniego jest zagadnieniem mało zbadanym. W opublikowanych pracach dotyczących polszczyzny południowokresowej (por. I. Cechosz, K. Feleszko, Z. Kurzowa, W. Paryl, J. Rieger) zgromadzony jest spory materiał przedstawiający frazeologizmy. Jednakże nie były one specjalnie omawiane. Frazeologię bukowińską – na podstawie książki K. Feleszki *Bukowina moja miłość. Słownik*, t. 2. – omówił M. Rak (2009). Niedawno ukazał się artykuł tegoż autora dotyczący frazeologii lwowskiej – na podstawie monografii Z. Kurzowej (2010).

Na początku w wielkim skrócie przedstawiam sytuację polszczyzny Mościsk. Mościska to miasto powiatowe położone 70 km na zachód od Lwowa i 28 km na wschód od Przemyśla. Należy do obwodu lwowskiego. W mieście żyje ponad 10 tys. mieszkańców (Sahan 1994), w tym połowę stanowią Polacy [dane z kancelarii parafialnej]. Istnieją tu dwie szkoły średnie z obowiązkowym ukraińskim językiem nauczania oraz od 1991 roku jedna polska szkoła średnia. Przejawem aktywności Polaków w dążeniu do utrzymania polskiej tożsamości jest utworzenie w 1989 roku Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Do 1939 roku język polski był językiem państwowym: językiem szkoły, administracji i Kościoła. W Mościskach zawsze

był otwarty kościół rzymskokatolicki. Mieszkańcy Mościsk i okolicznych wsi na co dzień posługują się językiem polskim. Informatorzy reprezentują różne grupy wiekowe: respondenci pokolenia najstarszego (od 60 lat), którzy do dziś nie znają języka ukraińskiego lub znają go bardzo słabo; średniego (40–60 lat) oraz najmłodszego (do 30 lat).

Wszyscy mieszkańcy mają możliwość stałego kontaktu z ukraińskim językiem literackim za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, a także znają miejscową gwarę ukraińską. Większość respondentów uczyła się języka ukraińskiego i rosyjskiego jako drugiego w dzieciństwie i podczas edukacji szkolnej. Zmiana kodu na ukraiński następuje w kontaktach oficjalnych: w urzędach, miejscach pracy, szkole ukraińskiej. Częste przechodzenie z jednego języka na drugi powoduje nasilenie się interferencji. Bilingwizm mówiących przyczynia się do wprowadzania dodatkowych cech ukraińskich do ich wypowiedzi. Polszczyzna mieszkańców badanych terenów jest przesiąknięta wpływami języka ukraińskiego i rosyjskiego we wszystkich warstwach językowych.

Przyjrzyjmy się zgromadzonym jednostkom frazeologicznym. Zebrany przeze mnie materiał na terenie Mościsk jest oryginalny, nastroczał problem przy podzieleniu na grupy, gdyż granice językowe są płynne. Wiadomo, że język polski, rosyjski i ukraiński należą do dziedzictwa europejskiego, we frazeologizmach odbija się wspólna tradycja kulturowa narodów europejskich. Całą tę grupę tematyczną podzieliłam następująco:

1. Frazeologizmy gwarowe wspólne z językiem ogólnopolskim;
2. Frazeologizmy gwarowe wspólne z językiem ogólnopolskim i ukraińskim;
3. Frazeologizmy zapożyczone: a) w całości przejęte z innych języków; b) kalki; c) półkalki;
4. Frazeologizmy gwarowe występujące również w gwarach ukraińskich.

1. Frazeologizmy gwarowe wspólne z językiem ogólnopolskim. Zebrany materiał porównałam ze *Słownikiem frazeologicznym języka polskiego* S. Skorupki (dalej Skor), *Uniwersalnym słownikiem języka polskiego* pod red. S. Dubisza (dalej USJP) oraz *Nową księgą przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich* pod redakcją J. Krzyżanowskiego (dalej NKPP). Zdarza się tak, że frazeologizm jest odnotowany tylko w NKPP i ma pojedyncze zaświadczenie, np. w *Słowniku języka polskiego* pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego (SJP), *Księdze przysłów...* S. Adalberga (AD) czy w jakiejś gwarze na terenie kraju, np. szereg jednostek frazeologicznych odnotowałam w pracy J. Ondrusza pt. *Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska Cieszyńskiego*.

W tej grupie występują również warianty frazeologiczne z zakresu fonetyki, morfologii, jak i syntaktyki oraz leksyki. Przy cytowaniu frazeologizmów zaszyfrowuję jedynie te odmiany, jakie występują w porównywanych przeze mnie słownikach.

Co nagle, to po diable (Skor I 120, USJP)

Co ręce zrobią, to gęba zje (SJP V 486)

Co się odwlecze, to nie uciecze (Skor I 572, USJP)

Co się stało, to się nie odstanie (Skor I 570, USJP)

*Co za dużo, to niezdrowo*¹ (*Co zanadto, to niezdrowo* Skor II 756, USJP)

¹ Ukraińcy też cytują po polsku.

Cudza rana nie boli (NKPP III 20, SJP V 474, Skor II 10)

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal (Skor I 595, USJP)

Gdzie dwoje się bije, tam trzeci korzysta (*Gdzie dwóch się bije...* Skor I 196, USJP)

Gdzie się człowiek śpieszy, tam się diabli // ludzie cieszą (*Jak // gdy się człowiek śpieszy, tam się diabeł cieszy* NKPP III 464, USJP)

Gdzie się leje, tam się dobrze dzieje – ten frazeologizm, pomimo że nie jest notowany w słownikach sprawdzanych przez mnie, znany jest w mowie potocznej.

Jaką miarką dasz, taką otrzymasz (*Jaką miarką mierzysz...* Skor I 435, USJP)

Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała (*Żeby kózka nie skakała...* Skor I 352, USJP)

Kot się myje na gości (*Kot się myje – będą goście* Skor I 351)

Kruk krukowi oka nie wykoła (Skor I 360, USJP)

Na bezrybiu i rak ryba (Skor I 98, USJP)

Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa (Skor I 600, *Prawda jak oliwa* ...USJP)

Popadł między wrony – kracz tak jak one (*Kto wlezie, wlaź* ..NKPP III 771–2, Skor II 615, SJP VII 722)

Przyjdzie koza do woza i powie meee (*Przyszła koza do woza* Skor I 351, USJP)

Raz kozie śmierć (Skor I 351, USJP)

Tyle zysku, co w pysku (SJP V 451, Ondrusz 120)

2. Frazeologizmy gwarowe wspólne z językiem ogólnopolskim i ukraińskim. Do tej grupy należą frazeologizmy, które są również poświadczane we *Frazeologicznym słowniku języka ukraińskiego* oraz w pracy zbiorowej pt. *Ukraiński narodni pryslivja ta prykazky* pod red. M.T. Rylskiego. Dodatkowo zebrane przykłady porównałam z gwarowymi frazeologizmami ukraińskimi, występującymi na terenie zachodniego Wołynia i Polesia oraz w północnej części województwa lwowskiego (AR).

Wiadomo, że jest wiele polskich jednostek frazeologicznych wspólnych z paremiologią innych narodów, zwłaszcza słowiańskich. Ta wspólnotowość jest albo rezultatem tego, że główne wnioski, jakie płyną ze spostrzeżeń człowieka nad zjawiskami przyrody i wspólnoty, są jednakowe – i to stanowi, że opisy i sądy są podobne, albo są następstwem wzajemnej wymiany i wzajemnego wzbogacania się w wyniku wielowiekowych kulturowych kontaktów (Skrypnyk 1973: 42).

Cicha woda brzegi rwie (ukr. *Tycha voda hrebli rve*, Skor II 596, NKPP III 729, USJP)

Co z oczu, to i z myśli (ukr. *Jak z oczej, tak i z dumky*; NKPP II 709, USJP, *Co z oczu, to i z serca* Skor I 595)

Co z woza wpadło, to przepadło (ukr. *Szczo z voza vpało, te propało*; *Co z woza spadło, to przepadło* Skor II 608)

Czym chata bogata, tym rada (ukr. *Czym chata bohata, tym rada* // *Szczo chata maje, tym i pryjmaje*; Skor I 130, USJP, NKPP I 237)

Gdzie cienko, tam się jeszcze rwie (ukr. *De tonko, tam i rvetsia*; Skor I 143, USJP, NKPP III 103, SJP I 328)

Jak pościelisz, tak się wyśpisz (ukr. *Jak postelyszsia, tak i vyspyszsia*; Skor I 730, USJP)

Kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi (ukr. *Chto pizno chodyt', toj sam sobi szkodyt'*; Skor I 276, II 773, USJP, AR)

Lekko przyszło, lekko poszło (ukr. *Szczu lehko pryjde, te lehko pide*; USJP, *Co lekko przyjdzie, lekko odejdzie* Skor I 380)

Leniwy dwa razy robi, skąpy dwa razy płaci (ukr. *Lynyvyj dwiczi robyt'*; *Leniwy dwa razy robi*, Skor I 381, *Skąpy dwa razy traci* NKPP III 207)

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło (ukr. *Nemaje toho złocho, szczo by na dobre ne vyjšło*; Skor II 173, USJP, NKPP III 879–880)

Nie mów hop, póki nie przeskoczysz (ukr. *Ne hovory hop, doky ne pereskoczysz*; Skor I 281, USJP)

Oczam strasznie, a ręce zrobią (ukr. *Oczam straszno, a ruky vse зробlat'*; *Oczom strach, a ręce...AD*)

Prawda w oczy kole (ukr. *Pravda v oči kołe*; Skor I 746, USJP)

Prędzej czy później (ukr. *Rano czy pizno*; Skor I 749)

Przyjaciół poznaje się w biedzie (ukr. *Druziv piznajet'sia v bidi*; Skor I 774, *Prawdziwych ...USJP*)

Tam dobrze, gdzie nas nie ma (ukr. *Tam dobre, de nas nemaje*; AR, *Wszędzie... Skor I 176, USJP*)

Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej (ukr. *Vsiudy dobre, a vdoma najkraszcze*; AR, Skor I 176, USJP)

Z wielkiej chmury mały deszcz (ukr. *Z vetykoji chmary małyj doszcz*; *Z dużej chmury ... Skor I 169, USJP, NKPP I 424–5*)

3. Frazeologizmy zapożyczone: a) w całości przejęte z innych języków. Tu znalazły się jednostki frazeologiczne w całości cytowane w języku ukraińskim czy rosyjskim. Dzieje się to zapewne dlatego, że przetłumaczony frazeologizm nie oddaje w pełni zamierzonego sensu, który chciało się przekazać, również nie oddaje dokładnego rymu, jaki istnieje w języku obcym. Na marginesie dodam, że w zebranym materiale jest znikoma ilość frazeologizmów zapożyczonych z języka rosyjskiego.

Buduj chatę z łobody, a w czużuju ne vedy (ukr)

Chto vstav, toj misce prodav (AR, ukr)

Cyplatok osienju szcитайut (ros) – efekty są widoczne po jakimś czasie.

De ruky j ochota, tam spora // skora robota (ukr). Przysłowie to często jest tłumaczone, wtedy trzeba by było zaklasyfikować do kalki – *Gdzie ręce i ochota, tam spora robota* (*Bez ochoty niespore roboty* Skor I 546; ukr. *Bez ochoty nemaje roboty*)

Idy na hostynu i viżmy sy dytynu (ukr) – frazeologizm często jest używany, gdy goście zaproszeni przychodzą z dziećmi, które przeszkadzają starszym podczas rozmowy, jedzenia.

Jisty ne sraty, można poczekaty (AR) – z jedzeniem można zaczekać, a załatwienie potrzeby fizjologicznej odłożyć się nie da.

Choroszevo poniemnożko (ros)

Požyviom – uvidim (ros)

b) kalki frazeologiczne. W tej podgrupie jednostki frazeologiczne są przetłumaczone na język polski. Porządek zdania oraz sens zostały niezachwiane i w pełni oddają intencję, jaką rozmówca chciał przekazać.

I na naszej ulicy będzie święto (ukr)
Jak dbasz, tak i masz (ukr)
Jak nie znasz ładu, trzymaj się z zadu (ukr)
Jaka głowa, taka rozmowa (ukr. *Jaka hołowońka, taka j rozmovońka*) (*Poznać po słowie, co kto ma w głowie* NKPP III 912, SJP II 613)
Kto biedy nie widział, ten i szczęścia nie zazna (ukr)
Kto się śpieszy, ten ludzi śmieszy (ukr)
Lepiej swoje małe, niż cudze wielkie (ukr)
Rana zagoi się, a złe słowo – nigdy (ukr)
Siano nie idzie do krowy, ale krowa do siana (ukr, AR)
Świat nie bez dobrych ludzi (ukr)
W cichym błocie czorty // diabli się wodzą (diabli siedzą) (ukr. *W tychomu bołoti czorty wodiat'sia*; AR, NKPP brak)

c) półkalki. *Hostre słoweczko kołe serdeczko* (ukr) – ten frazeologizm często bywa różnie tłumaczony, np.: *Ostre słoweczko kłuje serdeczko* – pewne elementy są przetłumaczone, *serdeczko* zostało, gdyż stanowi rym dla *słoweczka*. Również wyrazy obce są zastępowane rodzimymi: ukr. *hostre* – pol. *ostre*, ukr. *kołe* – pol. *kłuje*. Zdarza się, że ta jednostka frazeologiczna jest w całości cytowana w języku ukraińskim przez niektórych polskich respondentów.

Podobnie jest z przysłowiami: *Jak się nie namuczysz, to się nie nauczysz* – zapożyczony wyraz *namuczysz* stanowi dokładny rym dla słowa *nauczysz*; *Lepsza swoja chata niż cudza pałata* (ukr) – ukr. *pałata* znaczy „pałac, pokoje królewskie”.

4. Frazeologizmy gwarowe występujące również w gwarach ukraińskich.

Tutaj zaklasyfikowałam frazeologizmy znane również w ukraińskiej gwarze na terenie zachodniego Wołynia i Polesia oraz w północnej części województwa łwowskiego, które zebrał i opisał w swojej pracy H. Arkuszyn *Skazav – jak dva zviazav* (powiedział, co wiedział) (dalej AR). Nie są one poświadczone w literackich zbiorach ukraińskich. Prawdopodobnie one funkcjonują też w innych gwarach ukraińskich, ale nie dotarłam jeszcze do wszystkich źródeł.

Aby było koryto, a świnię będą (AR)
Chcesz mieć wroga – pożycz mu pieniądze (AR)
Chcesz mieć wroga, powiedz mu prawdę (AR)
Jak nie dopatrzysz okiem, to wyjdzie bokiem (AR)
Jaskółkę zabijesz, długo nie pożyczysz (AR)
Kto nie budował, ten nie biedował (AR)
Kto się minia, ten nic nie ma (*Chto miniaje, toj nemaje*) (AR))
Na podarek trzeba żeby był oddarek (AR)
Nie bój się martwego, a bój się żywego (AR)
Nie ruszaj gówna, nie będzie śmierdziało (*niech nie śmierdzi*) (AR)
Nie staw domu w dobrym miejscu, lecz wśród dobrych sąsiadów (AR)
Nie ten ma, co kupuje, lecz ten, co szanuje (AR)
Świnia błoto zawsze znajdzie (AR)

Codzienne relacje i kontakty międzyludzkie mają wpływ na to, że słownictwo, w tym również frazeologia polszczyzny Mościsk jest rezultatem złożonych relacji i kontaktów kulturowych. W zasobie frazeologicznym polskiej gwary Mościsk jest

wiele jednostek identycznych z polszczyzną ogólną, z drugiej strony są tendencje do zapożyczania się z języka ukraińskiego oraz w mniejszym stopniu rosyjskiego. Zapożycza się całe jednostki frazeologiczne w takim samym znaczeniu, w jakim występują w językach źródłowych dla wiernego ujawnienia intencji mówiącego. Przykłady pokazują, że istnieje sporo frazeologizmów przetłumaczonych na język polski – one funkcjonują w codziennym obiegu i są uznawane za polskie lub często wspólne obu językom – za słowiańskie. Niekiedy jest to świadome przenoszenie, tłumaczenie frazeologii z języka ukraińskiego na polski, gdyż Polacy nie znają odpowiedników rodzimych – ogólnopolskich. Zastępują je wyrazami polskimi, często gwarowymi, jednocześnie też szukając odpowiedniego rymu np. *Jak nie znasz ładu, trzymaj się z zadu; Na podarek trzeba żeby był oddarek*. Ponadto istnieje szereg jednostek frazeologicznych, które należą do wspólnego dziedzictwa językowego, np. *Jak pościelisz, tak się wyśpisz; Nie mów hop, póki nie przeskoczysz* czy *Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło*. Nie można też wykluczyć, że te jednostki powstały równolegle w dwu lub więcej językach dzięki identycznym lub podobnym skojarzeniom (Pajdzińska 1985: 148).

Literatura

- Adalberg S., 1889–1894, *Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych*, Warszawa.
- Cechosz I., 2004, *Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan na Podolu*, Kraków.
- Chlebda W., 2001, *Frazematyka*, [w:] J. Bartmiński (red.), *Współczesny język polski*, Lublin, s. 334–342.
- Dubisz S., 2003, *Uniwersalny słownik języka polskiego*, t. 1–4, Warszawa.
- Feleszko K., 2003, *Bukowina moja miłość: język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku*, t. 2: *Słownik*, Warszawa.
- Hołówka T., 1986, *Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku*, Warszawa.
- Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., 1900–27, *Słownik języka polskiego*, t. 1–9, Warszawa.
- Krzyżanowski J., 1969–1978, *Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich*, t. 1–4, Warszawa.
- Kurzowa Z., 1985, *Polshczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku*, Warszawa–Kraków.
- Lewicki A.M., 1976, *Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej (teoria zwrotu frazeologicznego)*, Katowice.
- Lewicki A.M., Pajdzińska A., 2001, *Frazeologia*, [w:] J. Bartmiński (red.), *Współczesny język polski*, Lublin, s. 315–333.
- Ondrusz J., 1954, *Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska Cieszyńskiego*, Czeski Cieszyn.
- Pajdzińska A., 1985, *Nazwy narzędzi mowy w związkach frazeologicznych polskich, czeskich i słowackich*, [w:] *Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej III*, s. 147–157.
- Paryl W., 2004, *Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna*, Kraków.
- Rak M., 2009, *Frazeologia w „Słowniku” Kazimierza Feleszki*, [w:] *Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Materiały z sympozjum*, red. S. Jachimovschi, E. Wierszewska-Calistru, Suceava, s. 297–306.
- Rak M., 2010, *Zapożyczenia we frazeologii polszczyzny Lwowa na materiale „Słownika” Zofii Kurzowej*, [w:] *Dialektologiczni studii 9. Zapożyczenia ta interferencja*, Lviv, s. 105–112.

- Rieger J., Modzelewska R., 2008, *Słownictwo gwary Satanowa nad Zbruczem*, [w:] J. Rieger (red.), *Słownictwo kresowe. Studia i materiały*, Warszawa.
- Skorupka S., 1967, *Słownik frazeologiczny języka polskiego*, t. 1, 2, Warszawa.

- Аркушин Г., 2003, *Сказав – як два зв'язав*, Люблін–Луцьк.
- Саган М., 1994, *Мостищина – краєзнавчі розмаїтості*, Мостиська.
- Скрипник Л.Г., 1973, *Фразеологія української мови*, Київ.
- Фразеологічний словник української мови*, 2007, wersja elektroniczna.
- Рильський М.Т. (ред.), 1955, *Українські народні прислів'я та приказки*, Київ.

Нет худа без добра – о фразеологии народного говора польских жителей в львовской области на Украине

Резюме

Во фразеологии народного говора польских жителей в львовской области на Украине представлено национально-культурное мировидение этого народа в сфере опыта. С одной стороны эти фразеологические единицы отражают элементы материальной и духовной культуры польского народа, с другой стороны показывают общественность с украинским народом, украинскими реалиями, в которых пришлось им жить. Эта общественность является результатом сложных внечеловеческих ежедневных и культурных контактов.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Zofia Kowalik-Kaleta

Obraz społeczeństwa i kultury duchowej zawarty w nazwach własnych osób (kraje słowiańskie i pozasłowiańskie)

Badania przeprowadzone przeze mnie w dokumentach historycznych z ośmiu krajów słowiańskich pokazały, że na obszarze Europy słowiańskiej występowało zróżnicowanie typów nazwisk w zakresie najczęściej używanych. Jest ono poświadczone już w najstarszych zapisach dla poszczególnych krajów, tj. dla krajów zachodniosłowiańskich, jak Polska i Czechy, dla krajów południowo-słowiańskich, jak Chorwacja, Serbia i Bośnia, Bułgaria i Macedonia oraz wschodniosłowiańskich, jak Ruś Kijowska, a później Rosja. W Polsce i Czechach od 1. p. XIV wieku i od 2. p. XIV wieku, odpowiednio, występowały nazwiska utworzone od nazw miejscowości, zakończone sufiksami *-ski*, *-ský*, *-ow/-ew-ski*, *-ov/-ev-ský* (i innymi wariantami). W obydwóch krajach były to głównie nazwiska szlacheckie.

W krajach południowo- i wschodniosłowiańskich dominowały formy patronimiczne i awonimiczne, tj. utworzone od imienia lub przezwiska (przydomek) ojca lub dziadka, a niekiedy wcześniejszego przodka. W Chorwacji, Serbii i Bośni były one zakończone sufiksami *-ović/-ević* lub *-ić* (zapisy od 2.p.XII wieku w Chorwacji, od 1.p. XIII w. w Serbii i Bośni), w Bułgarii i Macedonii zakończone były sufiksami *-ov/-ev* lub *-in* (zapisy od 1 p. XIV wieku), na Rusi Kijowskiej sufiksami *-ič*, *-ović/-ević* (wśród bojarstwa, zapisy oryginalne od 1. p. XIII wieku) lub *-ov/-ev*, *-in* (w niższych klasach społecznych, zapisy od XV wieku), podobnie później w Rosji (Kaleta 1991).

Trzeba podkreślić, że na obydwóch tych obszarach zaznaczyła się od okresu poświadczonego dokumentami historycznymi, dominacja opisowych określeń identyfikacyjnych, odpowiednio odmiejscowych typu *Bogdan de Sandomira* 1224 Kkk 13 i *Bleh de Trebusen* 1169 CDRB I 246 w Polsce i Czechach oraz opisowych określeń filiacyjnych, patro- i awonimicznych typu *Dragoslavъ Negovanovъ synъ* 1293–1302 Mikl 62 s. 59 w krajach południowo- i wschodniosłowiańskich.

Jak widać, Europa słowiańska podzielona była na dwie strefy, jeśli idzie o dominujące typy nazwisk: na mniejszą strefę nazwisk odmiejscowych, obejmującą kraje zachodniosłowiańskie i znacznie większą strefę patronimików i awonimików, obejmującą kraje wschodnio- i południowosłowiańskie.

Nazwiska odmiejscowe były oparte na relacji człowieka do posiadanej ziemi. Nazwiska patro- i awonimiczne na relacji pokrewieństwa, albo inaczej: na relacji człowieka do człowieka (tj. syna do ojca lub/ i dziadka).

Powstaje teraz pytanie, jaka była przyczyna geograficznego zróżnicowania nazwisk wśród Słowian.

Jak wynika z badań etnografów i socjologów, istniało zróżnicowanie typów rodzin w Europie. W krajach zachodnio-słowiańskich występowała mała rodzina, złożona z rodziców i dzieci (ang. nuclear family). Z taką rodziną spotykamy się najczęściej we współczesnej Europie. W krajach południowo- i wschodnio-słowiańskich w czasach historycznych istniały duże rodziny wielopokoleniowe (ang. extended family), zwane odpowiednio *zadruga* i *vierv'*. Do takich rodzin zaliczano też klany występujące w niektórych krajach niesłowiańskich, o czym będzie mowa dalej.

W rodzinach wielopokoleniowych dorośli, ożenieni synowie i zamężne córki nie opuszczali rodziny, żeby założyć własne gospodarstwo, lecz pozostawali z rodzicami we wspólnocie majątkowej i organizacyjnej. Na obszarze południowej Słowiańszczyzny rodziny wielopokoleniowe składały się z co najmniej trzech generacji i liczyły od 50 do 150 lub więcej członków. W skład jednej dużej rodziny wchodziło 10 do 20 małych rodzin. Stanowiły one wspólnotę terytorialno-ekonomiczną, na czele której stał najstarszy członek rodziny – *starejšina*. Był on wodzem rodziny, wszyscy jej członkowie podlegali jego patriarchalnej władzy. Decydował on o przydziale obowiązków i pracy dla każdego członka rodziny. Ziemia i dochód były wspólne, własność prywatna była ograniczona do rzeczy osobistych. Podstawą takich rodzin były więzy krwi i wspólnota ekonomiczna. W krajach południowo-słowiańskich rodziny takie, czyli *zadrugi* istniały do początku XX wieku (Strohal 1909, Filipović 1954, Čubrilović 1959, Zawistowicz-Adamska 1971, Jireček 1979, Markov 1978 i inni).

W tym samym czasie podobne rodziny wielopokoleniowe o nazwie *vierv'* występowały na obszarze Rosji (Veselovskij 1947, Tolstov, Rapov 1969).

Uderza zbieżność geograficznego zasięgu dominacji patronimików i awonimików z zasięgiem występowania rodziny wielopokoleniowej na obszarze południowo- i wschodnio-słowiańskim. Innymi słowy: w patronimikach i awonimikach, a także w trzejelementowym systemie nazewniczym, dominujących na znacznym obszarze Słowiańszczyzny, odzwierciedliła się forma organizacji życia społecznego, którą była rodzina wielopokoleniowa, *zadruga* lub *vierv'*.

W krajach zachodnio-słowiańskich, gdzie nie było rodziny wielopokoleniowej lecz jedynie mała rodzina, chociaż niekiedy rozrodzona, patronimika nie stanowiły typu dominującego. Na tym obszarze przeważały wśród szlachty nazwiska odmiejscowe zakończone sufiksem *-ski*, *-ský*, które były tworzone od nazw posiadanych przez nią miejscowości, a wśród mieszczan i chłopów nazwiska utworzone od wyrazów pospolitych.

Podobnie było w odległej Anglii, gdzie dominowały nazwiska odmiejscowe równe nazwie miejscowej, typ *Rogerus Blanford* (Blanforg) 1086 Rean 14. Powstały one po zaniku przyimka *atte* (at 'w' i innych) lub jego kontaminacji z nazwą miejscowości, np. *William Attebroc* 1199 Rean 13. Nazwiska odmiejscowe kończyły się też sufiksami *-er* lub *-man*, np. *John Gorman* 1332, *John le Cumber* 1332 Rean 15.

Niewątpliwie występowanie rodziny wielopokoleniowej z jednej strony, a jej brak z drugiej, miało wpływ na dominację lub przeciwnie, słabą frekwencję patronimików lub awonimików w systemie nazewniczym danej społeczności.

Jednak przyczyn tak układających się proporcji występowania tych dwóch typów nazewniczych w Europie słowiańskiej należy szukać głębiej, to jest w systemie wartości uznawanym przez społeczności poszczególnych krajów.

Tam, gdzie ludzie żyli w rodzinach wielopokoleniowych, najwyższą wartością były związki rodzinne i przynależność do wspólnoty rodzinnej, jak również wywódkę się od wspólnego protoplasty, gdyż to dawało oparcie i bezpieczeństwo, budowało pozycję w społeczności. Tam też dominował system nazewniczy oparty na relacjach pokrewieństwa, czyli patronimika i awonimika.

Aksjologowie uwzględniają w swoich typologiach wartości takie, jak: bezpieczeństwo rodziny i opieka nad tymi, których się kocha (Rokeach 1973), wartość przynależności, wspólnoty, bliskości rodzinnej (Grzegorzczuk 1983). Dominacja systemów nazewniczych opartych na związkach pokrewieństwa odzwierciedla zatem nie tylko formę organizacji życia społecznego, jaką była rodzina wielopokoleniowa, ale także hierarchię wartości zaakceptowaną przez społeczności tych krajów, dla których wspólnota rodzinna była pierwszoplanowa. Złożyła się na to zapewne sytuacja zagrożenia zewnętrznego lub wewnętrznego społeczeństwa, którą w krajach południowo-słowiańskich stanowiła wielowiekowa niewola turecka, a w krajach wschodnio-słowiańskich wielowiekowa tyrania caratu.

Inna wartość stała się pierwszoplanowa w społecznościach krajów zachodnio-słowiańskich. Tam naczelną wartością dającą pozycję i prestiż społeczny oraz poczucie przewagi nad innymi było posiadanie ziemi, która zapewniała przynależność do szlachty i dostęp do władzy. Zatem dla tych społeczności najważniejszą wartością było posiadanie dóbr materialnych, nade wszystko ziemi. Wartość materialnego posiadania, wartość wpływu społecznego i przewagi wobec innych wymieniane są w typologii wartości Zilliga (1982) jako cel, do którego ludzie dążą (wartość absolutna). Te właśnie wartości, jako najważniejsze, znalazły odbicie w dominacji szlacheckich nazwisk tworzonych od nazw miejscowości przez tę szlachtę posiadanych w krajach zachodnio-słowiańskich. Podobnie było w Anglii.

Zbieżność dominacji patronimików i awonimików z występowaniem rodziny wielopokoleniowej spotykamy w innym, dość odległym miejscu Europy, mianowicie w Irlandii i Walii. W obydwóch tych krajach występowały w czasach historycznych tego typu rodziny, chociaż ich zasady organizacyjne były inne, niż w krajach słowiańskich. Były to wspólnoty na pograniczu rodu i klanu. Podstawą więzi nie były związki krwi i wspólnota ekonomiczna, lecz tradycje mówiące o pochodzeniu od tego samego protoplasty, poczucie solidarności z członkami rodu-klanu i współodpowiedzialność za ich czyny. Ród-klan uczestniczył w życiu publicznym kraju, co nie było cechą zadrugi czy *vierv'u*, a protoplasta był czczonym i wielbionym bohaterem. We wczesnośredniowiecznej Irlandii istniało kilka rodów-klanów, z których każdy był rządzony przez prowincjonalnego króla, a ci podlegali najwyższemu królowi (ang. high king). W skład rodów-klanów wchodził nie tylko krewni, ale także ludzie z zewnątrz adoptowani do klanu (Maine 1875, Nisbeth 1887).

W Walii dominujące formy patronimiczne tworzone przez dodanie wyrazu *ap* 'syn' przed imieniem ojca, np. *ap Jevan* (przekształcone drogą zmian fonetycznych

i morfologicznych w formy syntetyczne typu *Bevan* – Rean 45, Morg 129). W Irlandii patronimika tworzone przez dodanie wyrazu *Mac* przed imieniem ojca, awonimika przez dodanie morfemu *O* lub *Ua* przed imieniem dziadka, np. *Maccloni*, *O'Kynneddy* – Rean 48–50. Członkowie tego typu wspólnot nazywani byli głównie za pomocą awonimikum utworzonego od imienia protoplasty rodu, zwykle starszego niż dziadek. Takie awonimikum było wspólne dla wszystkich członków rodu-klanu, np. *Hui Maine* pra(pra)wnuk Maine'a – S.C. s. 169.

Organizacja życia społecznego w rodzinach wielopokoleniowych na obszarze południowo- i wschodniosłowiańskim, jak również w Walii i Irlandii, odzwierciedliła się nie tylko w dominacji patronimików i awonimików, ale także w wieloelementowych filiacyjnym systemie nazewniczym, nieznanym w krajach zachodniosłowiańskich i w Anglii.

W krajach południowo-słowiańskich, w dość wczesnym okresie ewolucji systemów nazewniczych, pojawiło się zestawienie trzelementowe, w którego skład wchodziło imię, patronimikum (nazwa utworzona od imienia lub przezwiska ojca) i awonimikum (nazwa utworzona od imienia lub przezwiska dziadka). System ten funkcjonował tak, że patronimikum zmieniało się z pokolenie na pokolenie, a awonimikum ulegało stopniowej stabilizacji i ustalało się w funkcji nazwiska.

Na obszarze południowo-słowiańskim filiacyjne zestawienie trzelementowe potwierdzone zostało najwcześniej w Chorwacji. Na tym obszarze już w XII w. zapisano nazwę zakończoną na *-ić* w l. mnogiej zapis: *Casichorum* (łaciński przypadek zależny w l. mnogiej, czytaj: *Kačići*) odnoszącym się do wielu członków rodziny, których imiona, a niekiedy i patronimika zostały wymienione w dokumencie, np. *...Borislaus, Simon et Bocdanus, Petrus Velcinnic* (czytaj: *Vučinić*)... *Velcoe* (czytaj: *Vukoje*) *de Chranca* (czytaj: *Hranka*) *et frater eius Dragan* 1190 CDRC II 226. Zapis pokazuje, że rodzina wielopokoleniowa nazywana była awonimikum *Kačići*, utworzonym zapewne od nazwy własnej najstarszego człowieka w rodzinie. Należały do niej dzieci wymienione z imion. Niekiedy przytoczone są po tych imionach patronimika, jak *Petrus Vučinić* i *Vukoje de Hranka*, czyli z rodziny Hranka. Przykłady z XV w. dokumentują istnienie trzy- lub więcej elementowego systemu nazewniczego na tym obszarze, np. *Mikula Mihalić od hiže* (z rodziny) *Petričević* 1439 HSŠur 81, *Blaž sin Petrov od plemena* (z rodziny) *Poletčić* 1450 HSŠur 105.

Trzelementowe zestawienia nazewnicze występowały także w Serbii i Bośni, poświadczenia pochodzą z 1.p.XV w. Np. do rodziny *Ostojić* należy *Vlatko Obradović* (1429 AB DCLXXXII). Z późniejszego okresu pochodzą zapisy poświadczające wielostopniowy system nazewniczy odzwierciedlający wielopokoleniową rodzinę typu zadruga, ostatnia nazwa to awonimikum w l. mnogiej. I tak, do rodziny *Stojanovići* należeli *Savkovići* (9 kuća czyli domów-linii rodzinnych), *Jevtići* (8 kuća), *Ružići* (6 kuća), *Vasiljevići* (6 kuća), *Marković* (1 kuća), *Borisavljevići* (7 kuća), *Miloradivići* (11 kuća), *Stevanovići* (3 kuća), *Radosavljević* (1 kuća), *Ristići* (6 kuća), *Dobrići* (11 kuća) SEZ 13 s. 368. Jak widać, pojedynczy członek rodziny był identyfikowany jako przynależący do mniejszej rodziny, która znajdowała się w obrębie dużej rodziny wielopokoleniowej, na czele której stał starszyna, i który dawał całej zadrudze nazwisko *Stojanovići*. Na tym obszarze każdy z elementów nazewniczych, tj. patronimikum i (post)awonimikum kończyło się sufiksem *-ić(i)* lub *-ović(i)/-ević(i)*.

Podobny system występował na obszarze Macedonii i Bułgarii. Pierwszy zapis patronimikum lub awonimikum w l. mnogiej pochodzi z 1.p. XIV w.: *od Vasilevehъ* 1343 Tet. Dalsze reprezentatywne zapisy pochodzą z XVIII w.: *Peter Nikoľov Zbirkov* XVIII w. ABE, s. 594. Dominującymi sufiksami były tam sufiksy *-ov/-ev, -in*.

Dwuelementowe zestawienie patronimiczne, które dominowało w Rusi Kijowskiej do końca XIV w., zostało zastąpione w w. XV, tj. w okresie formowania się państwa rosyjskiego, przez system trzezelementowy, w skład którego wchodziło *imię + patronimikum (otčestvo) + awonimikum (otčestvo otca)*. Drugą lub trzecią pozycję zestawienia zajmowały niekiedy określenia opisowe lub forma fleksyjna genetiwu zakończona na *-a*. Trzeci element stawał się stopniowo dziedziczny, co obrazuje poniższe zestawienie:

ojciec	Ivan	Iľbič	Surma	1422
syn	Jurъi	Ivanovič	Surm-in	1456
wnuk	Vasilej	Jurъievič	Surm-in	1473–1483
prawnuk	Ivan	Vasilъevъ syn	Jurъeva Surm-ina	1499 Čič s. 96.

Pojawienie się systemu trzy- lub czteroelementowego w krajach południowo- i wschodniosłowiańskich, ze stabilizującym się elementem ostatnim, wynikało z dążności systemu nazewniczego do stabilizacji, ze społecznej i demograficznej konieczności istnienia stałego, a więc dziedzicznego wyznacznika odróżniającego ludzi w danej społeczności.

System trzezelementowy/wieloelementowy uległ uproszczeniu na obszarze południowosłowiańskim, gdzie zanikło patronimikum. Współczesne nazwiska chorwackie i serbskie zakończone na *-ić, -ović/-ević* to, w większości, dawniejsze awonimika lub nazwy utworzone od imion lub przezwisk wcześniejszego jeszcze przodka. Trzezelementowe zestawienie omawianego typu utrzymało się natomiast do dzisiaj w Rosji. Jako przykład może posłużyć nazwisko słynnego rosyjskiego przywódcy *Mihaila Sergejeviča Gorbačova*. Współcześnie Rosjanie używają zestawień trzezelementowych głównie w obrębie Rosji. Poza jej granicami, na forum światowym, posługują się dwuelementowym zestawieniem imienia i nazwiska. Wymieniony rosyjski przywódca był na arenie międzynarodowej znany jako *Mihail Gorbačov*. Jak widać pomija się patronimikum zajmujące środkową pozycję, zaś nazwiskiem jest awonimikum.

Warto zauważyć, że zarówno na obszarze południowosłowiańskim jak i wschodniosłowiańskim utrzymała się do dziś dominacja starych nazwisk patro- i awonimicznych, a na obszarze wschodniosłowiańskim także trzezelementowy system nazewniczy.

Również w Walii i Irlandii występowanie rodziny wielopokoleniowej o cechach klanu, jako formy organizacji życia społecznego, odzwierciedliło się nie tylko w dominacji patronimików i awonimików, ale także w występowaniu wieloelementowego systemu nazewniczego składającego się z form patro- i awonimicznych. Np. w dokumentach z obszaru Walii, gdzie filiacyjny system nazewniczy był powszechny do XVI wieku, spotykamy zapisy: *Rhys ap Gruffud ap Bleddyn ap Cadwgan ab Owain ap Heilyn ap Gruffudd ap Llywarch ap Tudur ap Iestyn ap Gwrgant Morg* 123. Ostatnia sekwencja *ap+ imię* jest nazwą głowy rodu. W Irlandii występowały nazwy

kolektywne, zakończone specjalnym sufiksem *-acht*, a utworzone od imienia lokalnego króla, do którego przynależeli wszyscy członkowie rodu-klanu, np. *Eoganacht* 'ludzie Eogana' S.C. s.169.

W przeciwieństwie do krajów słowiańskich, ani w Walii ani w Irlandii nie utrzymała się dominacja starych patronimików i awonimików. W Walii w ciągu XVI wieku i później szlachta uległa anglizacji. Normy współzycia oparte na poczuciu wspólnoty rodowej (klanowej) zaczęły zanikać, a wraz z nimi rodzimy system nazewniczy oparty na więziach genealogicznych. W końcu rodzinny system nazewniczy został zakazany przez akt prawny z 1536 roku (Act of Union), a w Walii pojawiły się formy angielskiego genetiwu zakończone na *-s* utworzone od imienia ojca. Wyrażały one związki rodzinne syna z ojcem, żony z mężem lub pracownika z pracodawcą (Rean 29–32). Jak widać, spośród nazewniczych wzorów obcych przenikających z Anglii przyjęto taki, który wyrażał bliską kulturowo Walijszykom formę filiacyjną, a nie np. dominujący w Anglii wzór nazwisk odmiejscowych rzadko występujących wśród Walijszyków. System nazewniczy filiacyjny przystawał bowiem najbardziej do systemu wartości uznawanego dotąd przez ludność tego kraju. W połowie XIX wieku nastąpił zryw Walijszyków przeciwko anglizacji, który manifestował się między innymi tym, że wracali oni do rodzimych imion i nazwisk patro- i awonimicznych opartych na wzorze rodzimym (tj. z wyrazem *ap* 'syn'). W wyniku przeobrażeń wykształcił się w tym okresie nowy wzór typu *imię + imię*, po elizji wyrazu *ap*. Historia nazwisk walijskich pokazuje, jak silnie zakorzeniona była wywodząca się z czasów wczesnego średniowiecza hierarchia wartości, stawiająca na pierwszym planie związki rodzinne.

Przyjrzenie się pochodzeniu i dziejom dwóch omawianych typów nazwisk pozwala wysnuć wniosek, że bliskość geograficzna nie przesądza o identyczności dominującego typu nazwisk, czego przykładem są Anglia i Walia – kraje posiadające przez wiele stuleci dwa odmienne typy nazwisk dominujących, tj. odmiejscowe (Anglia) i patro-/awonimiczne (Walia) mimo bliskości położenia. Z kolei identyczności typów nazwisk dominujących nie może przeszkodzić znaczna odległość geograficzna, jak w wypadku Walii, Irlandii oraz odległego obszaru południowej i wschodniej Słowiańszczyzny z dominującym systemem filiacyjnym. Podobnie w Anglii i na obszarze odległych krajów zachodniosłowiańskich dominowały nazwiska odmiejscowe. Mechanizmy nazewnicze sięgają bowiem, jak wynika z przedstawionej analizy, bardzo głęboko, mianowicie w sferę społecznego funkcjonowania ludzkich wartości. Dlatego można doszukiwać się w nazwach własnych osób zarówno obrazu społeczeństwa, jak i uznawanych przez nie wartości.

Źródła i skróty

AB – *Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis. Ab anno 925 usque ad annum 1752, Zagrabiae* 1892.

ABE – *Acta Bulgariae Ecclesiastica ab. 1565 usque ad. 1799*, ed. E. Fermedžin, Zagrabiae 1887.

CDRB I – *Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae*, t. I, Praha 1907.

CDRC I–II – *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije)*, t. I, II, Zagreb 1904–1914.

Čič – Čičagov W.K., *Iz istorii russkich imen, otčestv i familij*, Moskva 1959.

- HŠŠur – *Hrvatski spomenici*, ed. Đ. Šurmin, „Monumenta Historico-iuridica Slavorum meridionalium”, v. 6, Zagreb 1898.
- Kkk – *Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Św. Wacława*, t. I, 1874.
- Morg – Morgan P., *The Rise of Welsh Hereditary Surnames*, Nomina 10, 1986, s. 121–135.
- Rean – Reaney P.H., *A Dictionary of British Surnames*, London 1958.
- S.C. – Czarnowski S., *Kult bohaterów i jego społeczne podłoże*, Warszawa 1956.
- SEZ – *Srpski etnografski zbornik*, ed. J. Cvijić, Beograd 1905 i n.
- Tet – *Popis na imotite na htetovskiot manastir od 1343 godina*, Skopje 1980.

Literatura

- Čubrilović V., 1959, *Terminologija plemenskog društva u Crnoj Gori*, Etnografski institut, knj. 9, Beograd.
- Filipović M.S., 1954, *Nesrodnička i predvojena zadruha*, Beograd.
- Grzegorzczak A., 1983, *Próba treściowego opisu świata wartości i jej estetyczne konsekwencje*, Wrocław.
- Jireček K., 1979, *Istorija Srba*, izd. II, Beograd.
- Kaleta Z., 1987, *Zarys ewolucji systemu patronimicznego w Macedonii od XII do XVIII wieku*, „Studia linguistica polono-jugoslavica”, Skopje, 129–140.
- Kaleta Z., 1987, *Średniowieczne kontakty językowe romańsko-słowiańskie w świetle nazewnictwa osobowego Dalmacji*, „Die Slawischen Sprachen”, t. II, 63–71. Salzburg.
- Kaleta Z., 1991, *Ewolucja nazwisk słowiańskich. Studium teoretyczno-porównawcze*, Kraków.
- Kaleta Z., 1995, *Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (nazwiska zachodnioeuropejskie i słowiańskie)*, „Slavia Occidentalis” 52, 27–34. Poznań.
- Kaleta Z., 1998, *Nazwisko w kulturze polskiej*, Warszawa.
- Kaleta Z., 1999, *The Development of Surnames in the Light of Social History*, Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung. Trier, 12.–17. April 1993. B. III, 238–243. Tübingen.
- Maine S., 1875, *History of Ancient Institutions*, London.
- Markov B., 1978, *Tipy makedonskih familij*, „Actes du XIIe congres international des sciences onomastiques”, 12, 84–90.
- Nisbeth H., 1887, *Land Tenure in Ireland*, Edynburg.
- Rokeach M., 1973, *The Nature of Human Values*, New York–London.
- Stamatovski T., 1990, *Makedonska onomastika*, Skopje.
- Strohal J., 1909, *Zadruha kod južnih Slovena*, „Glasnik zemskog muzeja” 21.
- Šimunović P., 1982 (1985), *Razvitak imenske formule u Hrvata*, „Onomastica Jugoslavica” IX. 1982; przedruk w: *Naša prezimena*, Zagreb 1985, 279–302.
- Tolstov S.P., Rapov J.M., 1969, *Byla li verv’ ‘Russkoj Pravdy’ patronimiej?*, „Sovetskaja Etnografija” 3, Moskva.
- Veselovskij S.B., 1947, *Feodal’noe zemlevladienie v severovostočnoj Rusi*, [w:] *Rodovoe obščestvo*, Moskva.
- Zawistowicz-Adamska K., 1971, *Systemy krewniacze na Słowiańszczyźnie w ich historyczno-społecznym uwarunkowaniu*, Wrocław.
- Zillig W., 1982, *Bewerten. Sprechakttypen der bewertenden Rede*, Tübingen.

**Картина общественной жизни и духовной культуры отраженная
в личных именах (славянские и не славянские государства)****Резюме**

В статье рассматривается, с одной стороны, вопрос преобладания фамилий образованных от названий местности в западноевропейских странах и в Англии; с другой стороны, вопрос преобладания патронимических фамилий в юго- и восточнославянских странах, а также в Уэльсе и Ирландии. Стараясь найти объяснение этих явлений, автор обращается к исследованиям этнографов и социологов. Автор проводит исследования, опираясь на первоисточники, взятые из исторических документов.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Юлия Александровна Кривошапова

Образ Китая в русском языке¹

Среди культурных стереотипов, закрепленных в русском языке в результате взаимодействия России с другими странами, особое место занимает *Китай*. Об этом свидетельствует функционирование в языке комплекса вторичных обозначений, восходящих к топониму **Китай** (диал. *китай* 'густонаселенная деревня'; жарг. *всякий китай* 'мелкая бижутерия, дребедень – как правило, низкого качества'; жарг. муз. *китай*. 'игра без оплаты' – «Отлабали китай и разбежались, чего тут ловить ещё?»), этнониму **китаец** (диал. *китаец* 'восточный ветер' – «Расшалился шолонник, китаец эдакий, с женой поссорился и ну безобразить; с востока – дак как не китаец»; жарг. *китаец* 'постельное белье, выдаваемое пассажиру поезда, уже бывшее в употреблении'; *китайчонок* бранно 'о ребенке' – «Что они опеть китайчонков-то распустили, лешие эдакие») и прилагательному **китайский**, которое имеет словообразовательно-смысловые связи как с топонимом, так и с этнонимом (диал. *китайский сахар* 'леденец'; жарг. *китайская желтуха* 'несуществующая болезнь, симуляция', литер. *китайская грамота* 'о чем-либо непонятном'; шутл. *китайский шпион* 'человек, пытающийся хитрить, но намерения которого очевидны').

Материал для данной статьи извлекался преимущественно из русских диалектных словарей, картотеки Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета, Екатеринбург), а также из словарей русского литературного языка и жаргона. Кроме того, использовались контексты, почерпнутые из Национального корпуса русского языка. Также приводятся некоторые параллели из польского языка, подтверждающие мотивационные связи, выявленные на русской почве.

Приведенная «китайская» лексика разных форм существования языка позволяет реконструировать многогранный и противоречивый образ Китая, отражая стереотипические элементы знания об этой стране. Выделим

¹ Публикация подготовлена при финансовой поддержке государственного контракта № П 736 от 12.08.2009 на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по проблеме «Время и человек в свете ономастической и ото-номастической номинации».

некоторые смысловые линии, позволяющие реконструировать языковой образ Китая.

Местонахождение – очень далеко, где-то на востоке: диал. дон. *за китайскую границу* ‘очень далеко’; жарг., шутл.-ирон. *как до Китая пешком (раком)* ‘об очень далеком расстоянии’; диал. арх. *Китай* – название отдаленной пожни; влг. *Китай* – неофициальное название отдаленной деревни; арх. *китаец* ‘восточный ветер’; арх. *китайка* ‘о труднодоступной местности’ – «Китайка – это места упираются в непроходимые болота». Ср. еще в речи петербуржцев: *КНР* ‘Купчинская Народная Республика (Купчинский Новый район)’ – «Так жители Купчино, скорее всего из-за удаленности от центра города, называют свой район» (Синдаловский 2002: 89). Очевидно, аббревиатура создана на базе контаминации с КНР – Китайская Народная Республика.

Климат – неустойчивый: рус. дальневост. *китайские морозы* ‘о времени в конце января – начале февраля, когда при большой влажности и сильном ветре несильный мороз становится невыносим. Это считается приметой наступления весны’. Е.Л. Березович, комментируя данное обозначение погоды, отмечает, что реальные климатические условия Китая (отраженные, к примеру, и в польск. *klimat chiński* [китайский климат] ‘климат с частой сменой ветра, дождливым летом и сухой зимой’) (Komenda 2003: 30) подвергаются в данном случае переосмыслению, вследствие чего идиома *китайские морозы* получает дополнительный коннотативный смысл – «ненастоящие, странные морозы» (Березович 2007¹: 423). Отметим, что климатическая характеристика Китая находится на периферии языкового портрета этой страны и номинативно закреплена только данной идиомой.

Густонаселенность: диал. арх., новг., костр. *Китай* – неофициальные названия густонаселенных деревень, ср. мотивировку названия д. *Китай* – «Что было народу в ём! Варзуга и Тетрино – два Китая, девчонок много». Деревня с большим количеством жителей Китай – деревня Новое Ракомо, называют так потому, что там живет много народу». Многочисленность китайцев провоцирует восприятие этой нации как мощной и опасной, ср. диал. влад. *Китай подымается* ‘готовится что-то недоброе, приходит несчастье (говорится при известии о каком-либо большом бедствии)’. Кроме того, язык отмечает скученный образ жизни китайцев в районах, плотно застроенных небольшими домиками-временками, ср. в речи петербуржцев *Китай-город* ‘вагоны у Варшавского вокзала, в которых в 1960–1970-е гг. жили строительные рабочие’ (Синдаловский 2002: 87)².

Замкнутость, самобытность и сложность культуры: разг. *Китай* ‘застой в политической жизни, апатия’; литер. *китайская стена* перен. ‘о полной изоляции от внешнего мира’; ср. польск. *mur chiński* разг. ‘что-то, что отделяет людей друг от друга’ – «Rozdzielają ich chińskie mury przesądów» [Разделяют их китайские стены предрассудков], ‘непреодолимое препятствие’ – «Stać jak

² Ср. с названием исторической части Москвы *Китай-город*, изначально – линии укреплений, воздвигнутой в 1534 г. для защиты окол Кремлевского торгового посада (его территория вскоре сама стала называться *Китай-городом*, а линия укреплений – *Китайской стеной*). Первоначально это был земляной вал с деревянным частоколом поверху, но уже в 1538 г. вместо деревянной была возведена каменная стена. В советское время большая ее часть была снесена. (ИМУ 2007).

mur chiński [Стоять как китайская стена] (Komenda 2003: 32); литер. *китайская грамота* 1. 'о чем-л. написанном на непонятном языке или непонятными чтецу знаками' 2. 'о незнакомом, неизученном деле' – «Я во всю жизнь мою никогда не писал рецензий, для меня это китайская грамота»; ср. польск. *chińszczyzna* разг. 'непонятный, сложный способ речи, письма' – «Komputery to dla kogo chińszczyzna» [Компьютеры для него китайская грамота] (Komenda 2003: 29); *po chińsku* разг. 'так, что никто ничего не может понять' – «Coś tu jest napisane, ale jakoś tak po chińsku» (Komenda 2003: 33); литер. *китайские церемонии*. 'излишние проявления вежливости' – «Послушай, Рая, будем говорить друг другу „ты“, – к чему нам эти китайские церемонии?», ср. польск. разг. *chińszczyzna* 'излишняя вежливость' (Komenda 2003: 29).

Некачественность китайских товаров: разг., неодобр. *китайский* 'странный, непонятный; некачественный' – «Карта какая-то китайская»; ср. польск. *chińszczyzna* разг., устар. 'отсутствие хорошего вкуса' (Komenda 2003: 29); *одеваться с китайского рынка* 'одеваться дешево, некачественно'; жарг. *китайский* 'некачественный'. Ср. также: «Да и вещь-то — мэйд ин Шанхай, я тебе настоящий штатский подарю» (Анатолий Найман. «Славный конец бесславных поколений», 1994) (НКРЯ).

Фальшивость, «ненастоящность» всего китайского: литер., шутол. *китайский шпион* 'человек, пытающийся хитрить, но намерения которого очевидны'; диал. сиб. *китайский рубль* 'условная цена товаров в Кяхте, без наложения таможенной пошлины; приблизительно относится к русскому рублю как 3 к 1'; жарг. *китайская желтуха* 'несуществующая болезнь, симуляция'; сиб. *китайский сахар* 'леденец'; ср. польск. *chińskie srebro* хим. 'металлическая смесь меди, цинка и никеля' (Komenda 2003: 32), *chińska narkoza* [китайский наркоз] воровск. жаргон 'мешок с песком, применяемый при оглушении преступника' (Komenda 2003: 30), *chińskie strepto* [китайский стрептоцид] воровск. жарг. 'повреждение своего тела инъекцией простокваши (кислого молока)' (Komenda 2003: 32). Как отмечает Е.Л. Березович, «этнонимический эпитет вносит в семантику [подобных] фразеологизмов значение нереальности, несбыточности» (Березович 2007²: 15). Так, есть, например, реальный (нормальный) наркоз, а есть «китайский», мнимый, ср. *chińska narkoza*. Эпитет *китайский* здесь усугубляет ироничность переносного значения слова *наркоз*. В некоторых случаях в подобной фразеологии просматривается культурный прецедент. Так, например, в Ленинграде в 1970-е гг. государственную страховую компанию называли *Китайский банк*, что основывалось на представлении о том, что самые ненадежные банки – китайские (Синдаловский 2002: 87–88).

Вербальный портрет Китая невозможно обозначить без учета представлений о жителях этой страны, китайцах. Язык отмечает ряд отличительных черт жителей Поднебесной. **Узкие глаза:** разг. *глаза как у китайца* 'о чьих-либо узких, щелочками глазах'; **худощавое телосложение:** жарг., шутол. *дохлый как сто китайцев* 'о худощавом и слабосильном человеке'; **работоспособность, деловая хватка:** жарг. *вкалывать как сто китайцев, деловой как сто китайцев* 'о чьей-либо чрезвычайно интенсивной работе', ср. польск. *chiński uczonek* школьн. шутол. 'очень прилежный ученик' (Komenda 2003: 31); **ум, хитрость:**

жарг., шутол. *хитрый как сто китайцев* 'об изощрённо-хитром человеке', диал., карел. *идти (ходить) китайцем* 'о расхаживающем с умным, проницательным видом человеке'; **консерватизм**: польск. *chińczyk* 'человек, придерживающийся устаревших норм поведения' – «Wielki z siebie Chińczyk» [Большой из тебя китаец] (Komenda 2003: 29); **неискренний смех**: разг., ирон. или шутол. *хихикать как китаец* 'о чем-либо тонком, сухом и неискреннем смехе'. Отметим, что использование во всех перечисленных идиомах числительного *сто* подчеркивает такую черту китайцев, как многочисленность. Кроме того, следует упомянуть о том, что в некоторых наименованиях косвенно участвует такая важная внешняя характеристика китайца, как желтоватая кожа, ср. жарг. *китайская желтуха* 'несуществующая болезнь, симуляция' (у больных гепатитом желтый цвет лица) и жарг. *китаец* 'постельное белье, выдаваемое пассажиру поезда, уже бывшее в употреблении' (можно предположить, что белье, использованное не один раз, приобрело желтоватый оттенок).

Важно подчеркнуть, что языковой портрет Китая подвержен некоторой эволюции, связанной с особенностями восприятиями русскими Поднебесной в разные исторические периоды взаимодействия России с Китаем. Так, еще в текстах Л.С. Аксельрода и А.И. Герцена появляются термины *китай* и *китаизм*, обозначающие застой в политической жизни страны и косность взглядов: «Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть, держась за полу Стюарта Миля, я твердил об английском китаизме» (А.И. Герцен) (НКРЯ). «Эти, как говорится, лыком шитые люди, чуждые философской пытливости, застывшие на "китаизме", просто уstraшили тонких, сотканых из внепространственных и вневременных элементов философов и, уstraшившись, поспешно скрылись в мире вещей из себе» (Л.С. Аксельрод) (НКРЯ).

В конце XIX – начале XX в. появляется вторичный топоним *Шанхай*, обозначающий район с плотно застроенный домиками-временками, ср. *Шанхай* 'стихийно возникшие хаотичные застройки, трущобы'; 'неблагоустроенный небольшой поселок'; 'место, застроенное домиками-временками' (Отин 2004: 387). Ср. также более поздние контексты: «И даже в глиняных мазанках на "Шанхае" — в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат, — теперь живут, ночуют чужие люди: работники пришедших учреждений, бойцы и командиры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии» (А.А. Фадеев. Молодая гвардия) (НКРЯ); «Четыре кирпичных блока, десять баракков, остальное — "шанхай"» (Г. Владимов. «Большая руда», 1961); «Как им самим, тем, что не пробовали "Приму", не жутко жить в нагромождении замков и дворцов из всех эпох и стран, из подростковых снов, диснеевских мультяшек, из сладко-вычурных фантазий, в шанхаях, бунгало, шале, палаццо и кремлей, лепящихся один к другому теснее, чем на пне опята» (А. Дмитриев. Призрак театра // «Знамя», 2003) (НКРЯ). Наконец, вторичный топоним *Шанхай* оказывается лексикализированным во фразеологизме *жить на шанхае* 'жить в трущобах, на окраине, в плохих жилищных условиях' – «Жили мы на Шанхае, на краю, нигде никого нету».

В конце 80-х – начале 90-х, когда на российский рынок хлынули китайские товары, прилагательное *китайский* сначала приобретает значение ‘дешевый’, а затем ‘поддельный’ и ‘некачественный’. Сейчас же, на фоне китайского экономического чуда, встречаются контексты типа «Настоящее китайское качество», которые начинают восприниматься в «положительном» ключе.

Говоря об интерпретации конкретных «китаизмов», следует отметить, что некоторые лексемы прозрачны с точки зрения мотивации. Например, наименования типа литер. *китайский фарфор*, диал. *китайка* ‘бумажная ткань, вывезенная из Китая’ связаны с Китаем «генетически» и образованы по метонимическому принципу. Другие обозначения имеют сложную мотивацию и требуют более объемного рассмотрения. Ср., к примеру, жарг. *китайская желтуха* ‘несуществующая болезнь, симуляция’. Перед нами пример комплексной мотивации: с одной стороны, наименование связано с желтым цветом кожи китайцев, с другой стороны, актуализируется значение ‘мнимый, фальшивый’.

Литература

Komenda B., 2003, *Holendrować z angielskim humorem. Słownik znaczeń sekundarnych nazw narodowości i krajów w języku niemieckim i polskim*, Szczecin.

Березович Е.Л., 2007¹, *Язык и традиционная культура*, Москва.

Березович Е.Л., 2007², *Слова и вещи – или слова без вещей?* [в:] *Словенска етимологија*, Београд, с. 12–25.

ИМУ, 2007, *Имена московских улиц: топонимический словарь* (электронная версия), Москва.

НКРЯ, *Национальный корпус русского языка*, <http://www.ruscorpora.ru>.

Отин Е. С., 2004, *Словарь коннотативных собственных имен*, Донецк, с. 387–388.

Синдаловский Н.А., 2002, *Словарь петербуржца*, Санкт-Петербург.

Obraz Chin w języku rosyjskim

Streszczenie

W artykule przedstawiono obraz Chin i Chińczyków, funkcjonujący na różnych poziomach języka rosyjskiego: w dialektach, żargonach, języku ogólnym. Zwrócono uwagę na zależność tła konotacyjnego od faktów społecznych i kulturowych (kontakty obu krajów). Wskazuje się ponadto na dynamikę obrazu Chin w języku XIX i XX w.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Elżbieta Książek

Интертекстуальность романа «Кысь» Т. Толстой

Проблема изучения интертекста, интертекстуальности, способов и средств их выражения становится одной из самых актуальных с современной лингвистике. Апологетом теории интертекстуальности можно считать М. Бахтина, так как именно его работа «Проблема содержания, материалы и формы в словесном художественном творчестве» вдохновила теоретика постструктурализма Ю. Кристеву на создание термина «интертекстуальность», который употреблялся как основной литературоведческий термин при анализе художественных произведений постмодернизма. По мнению Кристевой, произведение мыслится не как относительно самостоятельный феномен, отдельный текст, но как подвижный элемент в ряду или потоке других текстов, границы между которыми размыты. «Любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-либо другого текста» (Кристева 1995: 98–99).

Наиболее известным определением интертекстуальности в рамках постструктурализма является определение Р. Барта: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» (Барт 1989: 417–418). Иными словами, автору только кажется, что творит он сам, на самом деле это сама культура творит посредством него, используя как свое орудие (Курицын 2000: 62). Н.А. Фатеева употребляет термин «интертекст» для обозначения цитат или более сложных случаев межтекстовых связей. И.В. Арнольд под интертекстуальностью понимает «включение в текст целых других текстов

с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, реминисценций и аллюзий» (Арнольд 1999: 351). При этом следует учитывать, что интертекстуальные связи «никогда не бывают чисто литературными, поскольку они зависят не только от предшествующих текстов, но и от языка, понятий, политического состояния эпохи» (Бушманова 1996: 11). Таким образом, интертекстуальность при литературоведческом подходе обозначает общее свойство текстов, выражающееся в наличии между ними связей, благодаря которым тексты или их части могут разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга.

С лингвистической точки зрения интертекстуальность обозначает более широкое понятие. Е.Н. Квашнина считает, что «языковой характер интертекстуальности находит выражение не только в синтагматических, но и в парадигматических связях, а также проявляется на разных языковых уровнях – от фонетики до синтаксиса» (Квашнина 2003: 27).

Интертекстуальность является одним из фундаментальных приемов постмодернистических произведений. В энциклопедическом словаре культуры XX века В.П. Руднева читаем: «интертекст – основной вид и способ построения художественного текста в искусстве модернизма и постмодернизма, состоящий в том, что текст строится из цитат и реминисценций к другим текстам» (Руднев 2001: 100).

Можно выдвинуть предположение, что в постмодернизме интертекстуальность стала также своеобразным ответом литературы на течение гиперреализма в изобразительном искусстве, представители которого почти фотографически отражают действительный мир, стремясь к абсолютной передаче реалистичности. В текстах этого направления максимум информации, насыщение их содержательной стороны находит свое выражение, как нам кажется, именно в интертекстуальности, поскольку в произведениях изящной словесности слишком детальное описание реального или духовного мира часто воспринималось и тем более воспринимается в сегодняшнее время с его динамизмом как чрезмерная растянутость.

В числе авторов постмодернизма, в которых ярко представлены интертекстуальные элементы, можно назвать Татьяну Толстую и ее роман «Кысь». Интертекстуальность выражается в выборе жанра – антиутопии, которая отсылает нас к другим подобным произведениям, в первую очередь к роману Е. Замятина «Мы», В. Войновича «Москва 2042», В. Рыбакова «Носитель культуры», В. Маканина «Лаз», Л. Петрушевской «Новые робинзоны», Оруэлла «1984» и Р. Бредбери «457 градусов по Фаренгейту». Интертекстуальность романа «Кысь» проявляется на разных языковых уровнях, поэтому в данной статье мы попытаемся выделить различного рода интертекстемы и определить их функцию.

Итак, фонетический интертекст представлен: 1) различными ассимилятивно-диссимилятивными изменениями: *канпот* вместо *компота*, *каклета* вместо *котлеты*, *пинзин* вместо *бензин* или *канплимент* вместо *комплимент*, *могозин* вместо *магазин*, *фелософия* вместо *философия*, *ренисанс* вместо *ренессанс*, *энтелегенция* вместо *интеллигенция*, *оневерстецкое абра-*

завание вместо университетское образование, мозей вместо музей, илиминтарная мораль вместо элементарная мораль и т.д.; 2) стяжением согласных: *щас*, *тыща*. Эти авторские неологизмы, слова – обломки «старого языка» (язык образованщины) отражают процесс изменения слова и общества, который носит у Толстой негативное значение. Как нам кажется, здесь можно усматривать предостережение, тревогу за состояние современного русского языка, который может превратиться в такого же монстра без норм и правил.

Словообразовательный интертекст включает несколько групп: 1) соединение частей разных корней: *кель* (возможное соединение *клен* и *ель*), *кысь* (сложение *кот* и *рысь*), *слеповран* (соединение *слепой* и *ворон*), *баботюкалки* (соединение *баба* и *тюкать*), *грибыши* (соединение *гриб* и *ищи*), *хлебеда* (соединение *хлеб* и *еда*), *пельмеш* (соединение *пельмень* и *ешь*) и т.д. 2) усечение: *ржавь* (от *ржавый*), *напорот* (от *напоротник*), *можжевел* (от *можжевельник*), *тубарет* (от *табуретка*), *беспокой* (от *беспокойство*) и т.д. Вышеназванные типы словообразовательных интертекстов в романе направлены, казалось бы, на передачу простой, «живой» речи, обычных житейских диалогов между персонажами, но автор показывает не доступность и ясность разговорного языка, а наоборот, коверкание и пародирование речи героев, псевдонародность романа.

Отдельную группу составляют словообразовательные интертексты с суффиксами субъективной оценки, с помощью которых автор придает разговорный оттенок речи героя, или ироническую окраску, или фамильярно-непринужденный тон высказыванию, например: *оладушки горяченькие*, *серенько стало*, *Оленька*, *душенька*, *тоненько выл*, *слепеньких да хроменьких*, *глазки махонькие*, *легонько постукивать*, *подвывают тихохонько*, *матушка*, *стыдобушка*, *верхушка*, *водичка*, *здоровычко*, *жилочка*, *курочка*, *глазыньки*, *ноченька*, *рассольчик* и т.д.

Синтаксический интертекст нашел свое выражение во фразах, напоминающих лозунги советских времен: «Мыши – наша опора», «Чтоб на всю свободу, на весь мир разнеслось: слава уму-разуму человеческому, слава! Разумению, размышлению, промыслению, хитроумному расчислению – слава! Голове – слава! Да! Ура!!!», «Человек – это важно».

Самую большую группу составляет семантический интертекст, в которую входят: цитаты, аллюзии, мифологические заимствования, трансформированные и нетрансформированные фразеологические единицы. Особую роль в романе играют цитаты. В ткань романа вплетены бесчисленные нити явных и скрытых цитат из произведений знаменитых русских поэтов и прозаиков: А. Пушкина, М. Лермонтова, О. Мандельштама, А. Блока, М. Горького, Н. Островского, Л. Толстого, М. Цветаевой, В. Маяковского, Б. Пастернака, С. Есенина, И. Анненского, Б. Окуджавы и многих других. Можно сказать, что весь роман практически построен на всевозможных цитатах.

Т. Толстая часто использует цитату как точное воспроизведение какого-либо чужого фрагмента текста, но при этом полностью меняется смысл «чужого слова». В тексте романа цитаты участвуют в характеристиках образов, в описании социальных явлений, эмоциональных состояний, в оценке того или иного события. С помощью цитат автор отсылает к главным

проблемам, поднимаемым в романе. Цитирование в контексте романа создает эффект пародии, иронии, показывая непостоятельность попыток уничтожить слово, литературу и традицию. Например, *«Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви»* (А. Пушкин «Я помню чудное мгновенье ...»), *«Что ты жадно глядишь на дорогу ...»* (Н. Некрасов «Тройка»), *«Суждены вам благие порывы, но совершить ничего не дано»* (Н. Некрасов «Рыцарь на час»), *«Слышу речь не мальчика, но мужа»* (А. Пушкин «Борис Годунов»), *«Нате!»* (В. Маяковский), *«Достань чернил и плакать»* (Б. Пастернак), *«Митрофанушка, недоросль»* (Д. Фонвизин). Известная фраза из стихотворения А. Пушкина «Памятник» (*«К нему не зарастет народная тропа»*) появляется в романе в ином виде: *«Думал, не зарастет народная тропа, дак если не пропалят, так зарастет»*, фраза *«С молчаливого согласия равнодушных как раз и творится же злодейство»* отправляет нас к словам Б. Ясенского (*«Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но так с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь»*), а фрагмент *«Почитаем [...] И свеча, при которой ... полную тревог и обмана! ... Страх какой»* отсылает к «Анне Карениной» Л. Толстого (*«И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу»*).

В «Кыси» встречаются также цитаты, которые отсылают к литургии молитвы, например: *«Отныне присно и во веки веков»*, *«На веки веков, аминь»*, *«в великом знании многая печали»*, *«плодитесь и размножайтесь»*.

Большое внимание Т. Толстая уделяет аллюзии, которая несет в себе информацию о литературных, исторических и политических эпохах и персонажах. С помощью аллюзий временные и пространственные рамки романа расширяются. Много намеков в тексте романа появляется в именах героев и в нарицательных словах. Например, имя главного героя переключается с именем героя романа Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Не менее интересная аллюзия возникает в имени жены Венедикта Оленьки. Это намек на пушкинскую Ольгу в «Евгении Онегине». Особенности Ольги являются её женская природа, отсутствие интереса ко всему, в то время как Оленька – это таинственная и загадочная женщина, просто женщина-самка. Аллюзия заключена также в обозначении начальников, например, в слове «мурза». В словаре это слово обозначает «титул феодальной знати в Астраханском, Казанском и др. ханствах» (2000: 563). Это слово отсылает нас к оде Державина «Фелица», где автор мурзами называл приближённых Екатерины Второй (*«Мурзам твоим не подражая. Почасту ходишь ты пешком»*).

В тексте романа немало аллюзий, возникших в названии групп людей, населяющих бывшую Москву. Итак, в слове «голубчики» заключается намек на официальное обращение к населению СССР – товарищи. В слове «прежние» возникает аллюзия на интеллигенцию, сохранившую связь с дореволюционной культурой, которая не принимала бесчеловечности советской власти (к этому кругу принадлежала Татьяна Толстая). Богато аллюзией слово «перерожденцы» (*«а в сани перерожденец запряжен, бежит, валенками топчет, сам бледный, взмыленный, язык наружу»*), в котором возникает отсылка к роману Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (*«сани и телегу тянут не лошади, а люди»*).

Особый интерес представляет литературная аллюзия, содержащаяся в слове «дубельт»: «Бенедикт постучал валенком по бревну. Звонит, древесина хорошая, легкая. [...] Хороший матерьял.

– Дубельт? – спросил Бенедикт.

– Кто?!?!

Старик заругался [...], глазенки засверкали. Красный стал, надулся как свеклец:

– Пушкин это! Пушкин! Будущий! ...»

«Дубельт» – это фамилия цензора Пушкина (Дубельт Леонтий Васильевич). То, что статую Пушкина делают из дерева под названием «дубельт» подчеркивает связь в русской культуре творчества и запретов. Эта сцена, кроме того, представляет аллюзию на античную птицу Феникс, никогда не умирающей и возрождающейся из пламени, а также библейскую сцену о воскрешении праведников и вознесении их на небо.

Наконец следует отметить, что интертекстуальность романа «Кысь» проявляется также в употреблении различных жанров народного словесного творчества: сказок, легенд, заговоров, песен, преданий и др. Можно сказать, что роман представляет собой «энциклопедию фольклора». В нем появляются сюжеты таких сказок как: «Колобок» (*«Этот колобок и от бабушки ушел, и от бабушки ушел, и от медведя, и от волка. По лесу знай себе катался»*), «Золотое яичко» (*«Жили были дед и баба, и была у них курочка Ряба. Снесла раз курочка яичко, не простое, а золотое»*) и «Репка» (*«Читал: посадил дед репку, выросла репка большая – пребольшая. Тянет дед репку, а вытянуть не может. Позвал бабку. Тянут – потянут, вытянуть не могут. Еще других позвали. Без толку. Позвали мышку – вытянули репку»*). Толстая вводит в ткань текста народные заговоры: *«Икота, икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого»*, а также предания, заклинания: *«... в лесу есть полянка, а на полянке горюч белый камень, а под камнем тем клад зарыт. Вот в темную ночь, когда ни месяца, ни звезд не видать, на ту полянку прийти, да непременно на босу ногу [...], а придя на место, три раза вокруг себя обернуться, да три раза сморкнуться [...], да сказать: «Земля откройся, клад откройся»*.

Толстая создает особый сказочный мир. Итак, мир голубчиков населен русалками, водяными и прочей нечистью. Символ Зла – это кысь, которая живет в «страшных муромских лесах», заманивает голубчиков в самую чащобу и когтем жилку вытягивает, и становится голубчик беспамятным. Символ Добра – Княжья Птица Паулин с глазами в пол-лица и с «человечьим красным ртом», и так-то она красотой своей любит, что голову поворачивает и всю себя обцеловывает. Главный герой Бенедикт ассоциируется с героем русских народных сказок Иванушкой – дурачком, женившемся на недоступной ему красавице Оленьке, дочери грозного Кудеяра Кудеярыча, у которого «когти на ногах», что вызывает аллюзию на образы чудовищ из русских сказок.

Роман «Кысь» создан по мотивам устного народного творчества. Характерный для волшебной сказки мотив запрета и кары за его нарушение в «Кыси» выражается запретом на хранение и чтение печатных книг, которые заражены радиацией и опасны для жизни. Интертекстуальность проявляется также на структурном уровне. Фантастические начала, переп-

летенные с реальностью, напоминают «Мастера и Маргариту» М. Булгакова, где мир реальный не отделен от фантастического, они – единое целое. Кроме того, интертекстуальность, воплощается в языковой плоскости текста. Язык «голубчиков» представляет своеобразную стилизацию под народный сказ, где значительную часть занимают просторечные слова: *зыкнула, расклекотались, бабские* (беседы), *поднатужился, желвак* и др., а также повторы: *думу думает, рисунки рисует, шутки шутят, свет светится, бегом бежишь, ниже нижнего, тьма тьмушая, жить поживать* и др.

Мир сказки имеет особое значение для героев Т. Толстой как своего рода защитное средство от суровой и жестокой действительности. Н. Иванова отмечает: «Главным полем ее художественной деятельности является современное мифологизированное безрелигиозное сознание, находящее утешение в выдуманном, изобретенном, фантастическом или легендарном мире».

Таким образом, цитаты, аллюзии, фольклорные формулы, трансформации языковых единиц на разных уровнях, сам выбор жанра (антиутопия), служат средством связи романа с другими текстами, расширяют рамки произведения, а также позволяют глубже раскрыть существенные аспекты поэтики произведения. Интертекстуальность в данном случае является не самоцелью, а средством, с помощью которого Т. Толстая соединяет текст данного романа со всей суммой предшествующих знаний, образуя «энциклопедию» русской жизни.

Литература

- Арнольд И.В., 1999, *Семантика. Стилистика. Интертекстуальность*, Санкт-Петербург.
- Барт Р., 1989, *От произведения к тексту*, [в:] Барт Р., *Избранные работы: Семиотика. Поэтика*, Москва.
- Бушманова Н.И., 1996, *Проблема интертекста в литературе английского модернизма (проза Д.Х. Лоуренса и В. Вульф)*, Москва.
- Гальперин И.Р., 1981, *Текст как объект лингвистического исследования*, Москва.
- Ильин И.П., 1996, *Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм*, Москва.
- Квашнина Е.Н., 2003, *Интертекстуальность как категория лингвистическая*, [в:] Е.Н. Квашнина, *Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе*, Магнитогорск.
- Кристева Ю., 1995, *Бахтин, слово, диалог и роман*, «Вестник Московского университета», Сер. 9. Филология, с. 97–124.
- Кузнецов С.А., 2000, *Большой толковый словарь русского языка*, Санкт-Петербург.
- Курицын В., 2000, *Русский литературный постмодернизм*, Москва.
- Руднев В.П., 2001, *Энциклопедический словарь культуры XX века*, Москва.
- Фатеева Н.А., 2000, *Контрапункт и интертекстуальность, или инткертекст в мире текстов*, Москва.

Intertekstualność w powieści „Kys” T. Tołstoj

Streszczenie

Artykuł dotyczy zagadnienia intertekstualności, która stanowi łańcuch powiązań z innymi tekstami. W „Kysiu” obserwujemy m.in. odwołania do utworów: Błoka, Mandelsztama, Puszkina, Lermontowa, Gorkiego, Ostrowskiego, Majakowskiego. Intertekstualność widoczna jest na płaszczyźnie fonetycznej, słowotwórczej, syntaktycznej oraz semantycznej (cytaty, aluzje), które pełnią ważną funkcję w tworzeniu koherentnego tekstu. Intertekstualność w powieści zauważyć można także w nawiązaniach do gatunków folkloru (bajki, legendy, pieśni, podania).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Наталья Кузнецова

Слова *люди* и *народ* как неофициальные обращения (по материалам Национального корпуса русского языка, www.ruscorpora.ru)

Одним из значимых элементов речевой коммуникации являются, как известно, обращения. Способы именования собеседника (собеседников) в коллективах носителей русского языка исследовались в аспекте выбора уместного обращения к незнакомым (Формановская 1989; Гольдин 1983; Земская 2004), в аспекте культурной и социальной обусловленности (Кронгауз 1999; Ахметжанова 2003). Вместе с тем, выявление и описание типичных обращений, принятых сегодня среди носителей русского языка в неофициальной коммуникации, остается актуальной задачей. В качестве примеров исследователями обычно рассматриваются существительные, называющие одиночного адресата (*дядя, тетя, дружище, командир, женщина, мужчина, девушка* и мн. др.). Гораздо меньше внимания уделяется неофициальным обращениям к группе адресатов; например, в учебном пособии (Земская 2004) отмечены лишь обращения *девушки, молодые люди и ребята*, а также «обращения-дескрипции» типа *кому метро* (*кому метро, приготовьтесь к выходу*). Многие неофициальные обращения к группе адресатов пока не отмечены в специальной литературе. Среди них – обращения *люди* и *народ*, не упоминающиеся в работах по речевому этикету, в том числе в словаре (Балакай 2004) – тогда как, например, обращение *ребята* в этом источнике содержится (с. 401).

Между тем, по нашим наблюдениям, обращения *люди* и *народ* широко используются для привлечения внимания аудитории и эмоционального воздействия на нее в текстах, оформляющих интернет-коммуникацию. Материалы Национального корпуса русского языка (далее – Корпус) содержат соответствующие примеры, в частности (здесь и далее – орфография и пунктуация источника): *miriamessa. Люди, а сколько вообще практика длится? Я уже так много версий слышала, что запуталась до состояния неизвестно чего.* [Белое море (форум) (2007)]; *Я долгое время был консольщиком. Народ! Как по вам DOOM3?* [Компьютерные игры (форум) (2005)]. В подобных контекстах обращения *люди* и *народ* представляется возможным считать синонимичными, чему не препятствует лексическая система русского языка. В одном из значений, собирательном, слово *народ* обозначает «люди», например: *Огром-*

ная толпа народу; Мальчишки – озорной народ (СТС 2002: 386). Но являются ли эти обращения специфичными только для интернет-коммуникации или они встречаются и в других типах текстов? Какие факторы могли способствовать распространению этих обращений в виртуальном пространстве? В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к материалам Корпуса.

Для выделения фрагментов письменных текстов, в которых представлены слова *люди* и *народ* в функции обращений, в поисковом запросе было установлено ограничение: эти слова должны начинаться с прописной буквы и находиться перед запятой или восклицательным знаком. Затем из общего ряда результатов поиска вручную были выделены такие, в которых они действительно являются обращениями (а не определяемыми словами при причастном обороте, придаточном определительном и т.п.). Чтобы выявить соответствующие фрагменты устных текстов (знаки, используемые для их транскрипции, как известно, отличаются от знаков традиционной пунктуации), был задан запрос контекстов, в которых слова *люди* и *народ* находились бы на расстоянии 1–2 слов от словоформ глагольного императива. Мы предположили, что это условие поиска должно повысить вероятность обнаружения рассматриваемых слов в качестве обращений. В итоге было выделено 154 фрагмента письменных текстов (в основном художественных и публицистических) и 46 фрагментов устных (главным образом транскриптов кинофильмов), содержащих обращение *люди*, и соответственно 40 и 7 фрагментов, включающих обращение *народ*. Контексты, в которых употребляются эти обращения, оказались весьма неоднородными.

Так, выделяется четыре типа контекстов, в которых функционирует обращение *люди*. В некоторых художественных текстах, созданных в XIX веке, это слово используется для обращения хозяев к прислуге и, соответственно, имеет устаревшее сегодня значение «прислуга, работники в барском доме» (СТС 2002: 328), например: *Мать испугалась, кричала: «Люди, девка, воды, капель, за доктором, за доктором!»* [А. И. Герцен. *Кто виноват? (1841–1846)*]. Всего слово в таком употреблении встретилось в десяти текстовых фрагментах. Но в текстах, относящихся к той эпохе, слово *люди* используется и в другой функции – для обращения к человечеству с важными, с точки зрения говорящего, истинами, например: *...вот всегда такова-то правда людская на свете! – печально и горько вздыхал он. – Ты душу за них отдать готов, ты на крест, на плаху идешь, а они над тобой издеваются, они в тебя камнями и грязью швыряют... Люди, люди!.. братьями вы называетесь!.. Что ж, рвите меня по-братски! бейте меня, плюйте, терзайте!..* [В.В. Крестовский. *Панургово стадо (Ч. 3–4) (1869)*]. Такое употребление обращения *люди* можно назвать риторическим. Оно (в отличие от *люди*, обращенного к прислуге) нередко встречается и в наши дни, например: *Настала пора сказать людям правду. Люди! Такого черного хлеба, как в Москве, нет, пожалуй, нигде.* [Рустам Арифджанов. *Белое и черное (1997)* // «Столица», 1997.04.15]. Часто таким обращением сопровождается призыв к чему-либо, например: *Я всегда говорил и сейчас говорю: – Люди, никогда не падайте духом, уж так устроен наш материальный мир, что Бог не дает нам ноши более той, что мы в силах нести.* [Виктор Слипечук. *Зинзивер (2001)*]. Письменных текстовых фрагментов, в которых слово *люди*

используется для обращения к человечеству, насчитывается около половины (71 из 154). При этом, однако, в записях устной речи такие контексты единичны, вот один из немногих: *[Президент, Валентин Гафт, муж, 56, 1935] Люди! Братья и сёстры! Случилось удивительное. Несколько минут назад к нам прилетали инопланетяне! [Эльдар Рязанов и др. Небеса обетованные, к/ф (1991)]*. Вероятно, для обращения к человечеству более удобен письменный текст.

Большинство же устных фрагментов – значительную часть письменных – составляют случаи употребления обращения *люди* в контексте призыва о помощи, например: *[Гость с Юга, Семен Фарада, муж, 49, 1933] Каждый заблуждается в меру своих возможностей. Люди! Ауу! [Константин Бромберг и др. Чародеи, к/ф (1982)]*; *Мешок упал на землю. Она стала громко плакать и бегать, побежала даже к дому, хотя окна там уже не горели, и даже рванула на себя дверь, а что было делать – когда у человека горе, он кидается за помощью к другим людям. Так она и звала: – Люди, люди! Что же это такое! Люди! Господи, помогите! [Людмила Петрушевская. Город Света // «Октябрь», 2003]*. Примеры подобного употребления обращения *люди* можно найти не только в современных в текстах, но и в более ранних, в частности: *Мы погибли! Они снижаются, они засыплют все наши огороды, поля, сады! Стучите, кричите, бросайте в них камнями!.. Люди, сюда, сюда! [М. С. Шагинян. Месс-Менд, или Янки в Петрограде (1923–1924)]*. Назовем такое употребление «люди экстремальное».

Обращением *люди* адресант апеллирует к человеческим чувствам окружающих. Оно, несомненно, более универсально, чем обращения типа *господа*, являющиеся слишком официальными, или *ребята, коллеги*, задающие границы кругу предполагаемых адресатов. Но, судя по многочисленным примерам из Корпуса, эта универсальность имеет «побочный эффект»: обращение *люди* слишком эмоционально, «привязано» к экстремальным ситуациям. Правда, есть контексты, в которых обращение *люди* используется не для призыва о помощи в экстремальной ситуации, а лишь для создания (или поддержания) неофициальной тональности текста. Вероятно, условием, которое этому способствует, являются неформальные отношения коммуникантов, восприятие адресантом аудитории как «своих людей», с которыми излишни церемонии, как, например, в ситуациях, оформляемых следующими текстами: (записка) *Люди, если вы хотите поесть моего деньрожденного тортика, то надо придти (sic – Н.К.) в следующий вторник в большой перерыв куда-нибудь в районе 2-го корпуса. [Приглашение студентом группы на денрожденный тортик (2004)]*; (устная речь в ситуации застолья) *[Павел, Александр Ширвиндт, муж, 41, 1934] Нет/ ребят/ ну по одной / потому что мне-то лично на аэродром! [Миша, Георгий Бурков, муж, 42, 1933] Люди/ не волнуйтесь! Всем надо быть в форме/ всем надо Новый Год встречать! [Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Ирония судьбы, или С легким паром, к/ф (1975)]*. В приведенных контекстах слово, обычно используемое для обращения к человечеству вообще (*люди* риторическое) либо для апелляции к человеческим чувствам незнакомых людей (*люди* экстремальное), употребляется для обращения к тесной компании хорошо знакомых адресатов. Такое обращение можно обозначить как «люди неформальное».

Между «людиэкстремальным» и «люди неформальным» можно установить родство. Ведь апелляция адресанта к человеческим чувствам адресатов (незнакомых) позволяет ему не принимать во внимание их возможное статусное неравенство. Такое нивелирование статусов создает условия для использования обращения *люди* в ситуациях, предполагающих статусное равенство коммуникантов, но не являющихся экстремальными. Можно также предположить, что именно по этой причине обращение оказалось весьма популярным в текстах, оформляющих интернет-коммуникацию (17 примеров из 154). Действительно, в Интернете коммуниканты чаще всего не знакомы лично. Поэтому при необходимости в обращении *люди* на первый план выдвигается «экстремальный» аспект, как в следующем фрагменте: *Симптомов нет. Люди, отзовитесь пожалуйста! [Вопросы ветеринарному врачу (форум) (2007)]*. Однако, поскольку важнейшим свойством интернет-коммуникации является неофициальность, обращение может выступать прежде всего как «люди неформальное»: *Люди, предлагаю обсуждать матчи а не просто читать результаты! [Хоккей-1 (форум) (2005)]*. В некоторых фрагментах интернет-текстов «проглядывает» даже «люди риторическое», ср.: *Дарвинизм признают лишь те, кому лень пораскинуть своими мозгами... Люди, смотрите шире! Участь на биофаке, я слышала много более разумных теорий... [Дарвинизм: PRO и CONTRA (форум) (2007.03.04)]*. В данном случае, в отличие от двух предыдущих примеров, текст можно рассматривать не только как обращение к другим участникам форума, но и как риторический призыв к людям вообще с целью сообщения им некоей истины. Таким образом, обращение *люди* является удобным для участников интернет-коммуникации: его можно использовать в целях привлечения внимания аудитории как в призывах о помощи или в сообщении важных истин, так и в репликах, не несущих сильного эмоционального заряда. В любом случае, как представляется, в обращении сохраняется неформальный компонент, посредством которого адресант подчеркивает свое статусное равенство с адресатами.

Другим обращением, подчеркивающим статусное равенство коммуникантов, является *народ*. Оно используется в неофициальной устной коммуникации как средство поддержания неформальной тональности текста, что показывают следующие примеры: *[Дарья, жен, 19] Так/ народ/ давайте сюда садитесь. [Встреча друзей (2006)]*; *[В., жен] Народ/ дайте мне копии докладов. Я сама вам все переведу за десять долларов в час. Только копии докладов дайте. [Разговор о переводчиках// Из материалов Саратовского университета, 2000–2005]*. Обращение *народ*, используемое персонажами при общении на равных с адресатами, встречается и в художественных текстах. Четыре таких фрагмента – из произведений современной литературы, в частности: *Девочки с Крупицыными отрабатывали новые приемы. Гера что-то читал, лежа на надувном матрасе. Похоже, что все пребывали в полной готовности к боям и маршам. – Народ! – сказал я, встав посреди всего этого безобразия. – Сегодня уже ничего не будет. Приказ – всем развлекаться. [Андрей Лазарчук. Все, способные держать оружие... (1995)]*. Еще три фрагмента извлечены из более ранних текстов – из произведений М. Горького и А.Н. Толстого. Обращение

народ встретилось в описаниях сцен «из народной жизни», например ситуации, когда жители села поднимают колокол на колокольню: *Кто-то крикнул: – Народ! Делись натрое! [Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 1. (1925)]*. Этот и два других подобных примера из текстов первой половины XX века могут указывать на диалектное происхождение рассматриваемого обращения.

Слово *народ* в функции обращения может сопровождаться определением, как в следующем фрагменте транскрипта кинофильма, где содержится ироническое ситуативное обращение *ученый народ* (наряду с традиционным неформальным обращением *ребята*): [*Анискин, Михаил Жаров, муж, 74, 1900*] *Садитесь/ ребята. Слушайте/ учёный народ/ берите свои ноги в руки и скачите на вышку...* [*Михаил Жаров и др. Анискин и Фантомас, к/ф (1974)*]. Еще в трех фрагментах обращение *народ* употребляется также для создания неформальной тональности устного текста, однако в особой ситуации – массового собрания людей на площади, например: [*Буба, Борис Сичкин, муж, 44, 1922*] *Шевелись/ народ/ ай/ подтяни живот! Приказано торговать и веселиться/ то-то никому не спится.* [*Эдмонд Кеосаян, Сергей Ермолинский. Неуловимые мстители, к/ф (1966)*]. Представляется, что здесь обращение является сокращенной модификацией известного из фольклора устойчивого выражения *честной народ (народ честной)*.

Зафиксированы и иного рода письменные контексты с обращением *народ* – в составе высказываний, адресованных к населению страны, города и т.п., например: *Ганимед. Народ, ты правишь сам теперь от края к краю, Ты избран судьей для страшного суда. Тащите короля!* [*Ю. К. Олеша. Игра в плаху (1920)*]. Такое употребление слова *народ*, содержащееся почти в половине из общего числа фрагментов (в 18 из 40), близко к «*люди* риторическому», однако, в отличие от него, весьма четко очерчивает круг адресатов (представляющий собой большую группу людей, но не все человечество), поэтому не может считаться его синонимом. Адресованность группе людей роднит это торжественное обращение с «*народ* неформальным», текстовые фрагменты с которым приводились выше, однако различие в тональности текстов, как представляется, слишком велико, чтобы говорить о влиянии одного употребления на другое. Вероятно, обращение *народ*, популярное в интернет-коммуникации (15 примеров из 40 найденных письменных фрагментов), не связано с «*народ* торжественным». А вот «экстремальным», используемым для призыва о помощи, обращение *народ* являться может. Это показывает следующий фрагмент: *Вместо кровати я корчился на морозе в одном костюме, прижавшись к мохнатым от изморози армоцементным блокам ишимского берега в центре столицы, безлюдном в половине восьмого вечера. Народ, ау и на помощь!* [*Валериан Скворцов. Каникулы вне закона (2001)*]. Подобные контексты для слова *народ*, очевидно, менее характерны, чем для слова *люди*: приведенный пример является единичным в материалах Корпуса. И все же возможность использовать обращение *народ* в экстремальной ситуации по отношению к незнакомым, думается, тоже сыграла определенную роль в распространении обращения *народ* среди участников интернет-коммуникации, ср.: *НАРОД!!!! ХЕЛП!* [*Автогонки-3*

(форум) (2005)]. Правда, гораздо больше контекстов, где данное обращение представляется возможным считать прежде всего средством создания (или поддержания) неформальной тональности, например: *Народ, вы всё забыли! Ребёнок со словами «Мышка, мышка поиграй, и обратно отдай» кидает зубик в дальний угол. [Наши дети: Дошколята и младшие школьники (форум) (2005)]*. Обращения *народ* в риторическом употреблении (в отличие от обращения *люди*) во фрагментах интернет-текстов, выданных поисковой системой Корпуса, не обнаружено. Сводные данные о частотности рассматриваемых обращений представлены в таблице.

Частотность типов употреблений слов *люди* и *народ* в функции обращений (по материалам Национального корпуса русского языка, www.ruscorpora.ru)

Тип употребления	Количество контекстов	
	Общий корпус (140 млн. слов)	Устный подкорпус (7,8 млн. слов)
Обращение <i>люди</i> , всего	154	46
в том числе:		
по отношению к прислуге	10	–
риторическое	71	5
экстремальное	53	31
неформальное	20	10
Обращение <i>народ</i> , всего	40	7
в том числе:		
торжественное	18	1
экстремальное	5	–
неформальное	17	6

Подведем некоторые итоги. В качестве неформальных обращений слова *люди* и *народ* функционировали в XX веке в неофициальной устной коммуникации, что зафиксировано в художественных текстах и транскриптах кинофильмов, представленных в Национальном корпусе русского языка, а также для привлечения внимания в призывах о помощи, адресованным в основном незнакомым. Как свидетельствуют материалы Корпуса, с распространением интернет-коммуникации ее участники стали широко использовать эти обращения. Одним из основных признаков интернет-коммуникации является неофициальность, при этом адресант и адресаты обычно незнакомы лично. Сочетание этих факторов выступает предпосылкой для распространения обращений *люди* и *народ* в виртуальной среде. Популярность обращения *люди* в Интернете, вероятно, поддерживается также возможностью его риторического употребления – по отношению к людям вообще.

Очевидно, для проверки перечисленных положений необходимо провести дополнительные наблюдения над функционированием обращений *люди* и *народ* в разных типах текстов. В перспективе это дало бы возможность

построить типологию способов именования собеседников в неофициальной коммуникации, принятых сегодня среди носителей русского языка.

Литература

- Ахметжанова Р.Н., 2003, *Вербальные обращения к незнакомому адресату: Национально-культурная специфика формирования и функционирования* [в:] *Вестник СПбГУ. Сер. 2*, вып. 1 (№ 2), с. 107–111.
- Балакай А.Г., 2004, *Толковый словарь русского речевого этикета*, Москва.
- Гольдин В.Е., 1983, *Речь и этикет*, Москва.
- Земская Е.А., 2004, *Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и проблемы обучения*, Москва.
- Кронгауз М.А., 1999, *Обращения как способ моделирования коммуникативного пространства*, [в:] *Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке*, Москва, с. 124–134.
- Современный толковый словарь русского языка*, 2002, С.А. Кузнецов (ред.), Санкт-Петербург.
- Формановская Н.И., 1989, *Речевой этикет и культура общения*, Москва.

**Wyrazy *ljudi* i *narod* jako nieoficjalne formy adresatywne
(na materiale Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego,
www.ruscorpora.ru)**

Streszczenie

Wyrazy *ljudi* (~ ludzie) i *narod* (~ naród, ludzie) mogą być używane w nieoficjalnych zwrotach adresatywnych. W artykule przedstawiono typologię sytuacji, w których używa się takich wyrażań, występujących w różnego typu tekstach (od XIX–XXI w.), na podstawie Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego. Szczególny nacisk położono na użyciu powyższych zwrotów w komunikacji internetowej.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Tomasz Kwoka

Nazewnictwo i charakterystyka struktur rodowych w Czarnogórze

Czarnogóra, niewielki górzysty kraj leżący nad Morzem Adriatyckim, to południowo-słowiański symbol oporu i upor, kraj ludzi wolnych i dumnych, szczeniących się tym, iż jako jedyni na Bałkanach nie poddali się Turkom. Specyficzne ukształtowanie terenu, niedostępność i brak w dawnych czasach dobrych dróg, sprawiły iż region ten wykształcił i zachował konserwatywny typ kultury, a w jego ramach stare struktury rodowe typu patriarchalnego, obejmujące jedno- i wielopokoleniowe rodziny, ród, bractwo i plemię. Dawna Czarnogóra to znakomity przykład kontynuacji staro-słowiańskich form i nazw wspólnot opartych na więzach krwi oraz dobrowolnym zrzeszaniu się spokrewnionych lub sąsiadujących ze sobą osób.

Prezentując badania językoznawcze i etnograficzne dotyczące wspólnot czarnogórskich, posłużę się, obok słowników gwarowych, pracami XIX- i XX-wiecznych badaczy serbskich i czarnogórskich – Valtazara Bogišića, Vuka Karadžića oraz Mirka Barjaktarovicia, Radomira Rakicia, Milenka Filipovicia, a także Vasy Čubrilovicia, autora monografii poświęconej temu zagadnieniu: *Terminologija plemenskog društva u Crnoj Gori*.

Podstawowym stopniem wspólnoty rodowej, ostoją tradycji i obrońcą jednostki, który tworzyły rodziny jedno-, dwu- (tzw. *inokoština*, *inokosna* / *mala* / *slaba* / *nejaka* / *siromašna kuća*) lub wielopokoleniowe typu patriarchalnego, była rodzina, w Czarnogórze od XIX w. powszechnie określana jako *pòrodica* RMS Njegoš. Wcześniej, poświadczonym od XVI w., terminem była pożyczka romańska *fàmilija* (*vàmělja*, *vàmilija*, *vàmilja* RMS)¹. To wspólnota bliskich sobie ludzi ukształtowana w wyniku rozpadu ustroju rodowego, która początkowo przybierała formę tzw. *zadrugi*, wielkiej rodziny pod przewodnictwem ojca-patriarchy, składającej się z kilku pokoleń, rodziców i męskich potomków wraz z ich żonami i dziećmi (czasem także z osobami obcymi i sługami), a potem także rodzin jedno- i dwupokoleniowych. Starszymi terminami, związanymi z rodowo-społecznym i ekonomiczno-prawnym charakterem dawnych rodzin, ich miejscem w średniowiecznej

¹ Poświadczone w gwarach: *fàmilija*, *fàmilja* Njegoš, *famělja*, *vamělja* RZag, *fàmilīa*, *vàmilīa* UR, *famīlīja*, RVG, *familija*, *familija*, *famelja* i *vamelja* RomanJBK, *familija*, *famelja* (Erdeljanović 1981: 287) oraz *famelija*, *familija*, *vamilija*, *pamilija*, *pamilica* (Rakić 1991: 61, 72, 82).

organizacji społecznej i terytorialnej wsi czarnogórskiej, były *dôm* RMS RZag Njegoš RProš RVG (w znaczeniu 'bliska rodzina' od XV w.)² i prasłowiański nowotwór *kũća* RMS Njegoš UR³, poświadczane w dwóch głównych znaczeniach: pierwotnym, konkretnym 'dom, budynek mieszkalny' i sekundarnym, abstrakcyjnym, rodowo-społecznym 'rodzina; wszyscy, którzy wspólnie mieszkają w domostwie'. Jak pisał Čubrilović, w Czarnogórze, stare nazwy *obitelj*, *porodica* oraz *familija* i *zadruga*, były o wiele rzadziej używane niż *kuća*, zarówno w znaczeniu *inokosnej* jak i *zadružnej* rodziny (Čubrilović 1959: 14–15). Mieszanie funkcji konkretnych, topograficznych, mieszkaniowych i własnościowo-prawnych z rodowymi i społecznymi⁴ odgrywało znaczącą rolę w kształtowaniu nazewnictwa rodziny.

Głównym typem rodziny była wielopokoleniowa wspólnota rodowa typu patriarchalnego, od XIX w. nazywana *zádruga*⁵. Wcześniej, nie tylko w Czarnogórze, w tym samym znaczeniu używano wielu innych wyrazów, przede wszystkim *kuća*, *dom*, *porodica*, *zajednica* i *familija* oraz *kućevna* / *porodična zadruga*, *kućna* / *porodična* / *domaća zajednica*, *zadružna* / *velika* / *velja* / *bogata* / *neodeljena* / *golema* / *dobra* / *jaka* / *snažna* / *dugačka* / *glavarska* / *glasovita* *kuća*, *kućna družina*, *golema* / *velika famelja*, *velika* / *proširena* / *zadružna porodica*, *čeljad*, *obitelj*, *vit*, *hiža*, *društvo*, *veliko ognjište*, *skupština* (*porodična*), *množina*, *glota*, *komun*, *bratstvo*, *braća*, *braćija* (Ilijić 1999: 15–16; Čubrilović 1959: 17, Bogišić 1999: 87, Erdeljanović 1981: 191).

Zadruga była wspólnotą patriarchalną, liczącą zazwyczaj od kilku do 20–30, a nawet 50 osób, szczególnie częstą w społecznościach pasterskich (koczowniczych). Jako relikw ustroju rodowego, być może powstała w czasie wędrówek Słowian na Bałkany, a szerzyła się linearnie (kiedy tworzyło ją więcej pokoleń) lub lateralnie (tworzona przez braci, którzy wraz z swoimi rodzinami pozostawali we wspólnym domu). Składała się z dwóch lub więcej rodzin nuklearnych – nie tylko z członków rodziny, ale także z każdej osoby urodzonej we wspólnocie lub adoptowanej. Była instytucją społeczną, gospodarczą, rodową, moralną i religijną, której podstawowymi cechami była wspólnota produkcji i konsumpcji, wspólnota majątku i dziedziczenia. Była to także wspólnota etyczno-moralna, która zajmowała się wychowaniem członków rodziny, opieką nad nieletnimi, a w okresie niewoli tureckiej, kiedy nastąpił jej największy rozwój, także instytucja chroniąca rodzinę i naród, pomagająca wsi zachować jej słowiański i chrześcijański charakter.

² Wyrazem *dom* niezamężna dziewczyna, zanim wyjdzie za mąż, nazywa swoją rodzinę. Po zawarciu małżeństwa sytuacja ulega zmianie – 'ženi je *dom* muževa kuća, a *rod* očeva'.

³ Wyraz *kuća* pojawia się także w szerszym znaczeniu, jako 'bractwo, małe bractwo, ród, klan; wspólnota rodzinna, w której zamieszkują bracia i kuzyni z żonami i dziećmi', synonimicznie do: *verige*, *dom*, *dim*, *komoštre*, *ognjište*, *odžak* (Rakić 1991: 68).

⁴ Znaczenia konkretne, nieabstrakcyjne, najczęściej z zakresu budowy lub wyposażenia domu mieszały się ze znaczeniami społeczno-rodowymi także w przypadku kilku innych wyrazów: *ognjište* 'ognisko, palenisko', *odžak* i *odžak* 'komin, kominek' oraz *dim* 'dym' RMS, otrzymały wtórne znaczenia 'dom, rodzina, ród' (Rakić 1991: 62).

Pozostałe wyrazy poświadczane w znaczeniu 'rodzina': *akrēba* i *ekrēba* RMS Bjeletić 1996: 206, *glōta* i *glōt* RMS SR, *čera* RPiva, *obitelj* RMS (Rakić 1991: 71).

⁵ Jako określenie rodziny wielopokoleniowej, wyraz *zadruga* wprowadził w XIX w. i swoim *Srpskim rječnikom* rozpowszechnił Vuk Karadžić. We współczesnych gwarach poświadczane m. in.: *zádruga* RZag, *zádruga* UR.

Zadrugi, mające charakter demokratyczny, najczęściej były samowystarczalne ekonomicznie i tworzyły miniaturę autonomicznej wsi średniowiecznej, w której władzę sprawowała wspólnota, a nie jednoosobowo naczelnik. Starszeństwo *domaćina*, *kućnog starješiny* było przywilejem i obowiązkiem, zaś władzę zwierzchnią posiadała rada dorosłych mężczyzn – *kućni savjet*, tj. ciało doradcze, które wraz z domaćinem rozstrzygało kwestie sporne, decydowało w sprawie prac domowych, a przede wszystkim w kwestii dysponowania majątkiem wspólnoty.

Głowa rodziny, gospodarz domu, naczelnik zadrugi – *domaćin* RMS UR RProś i *domaćin* RZag⁶ to najstarszy i najbardziej szanowany członek rodziny, rzadko wybierany, a najczęściej prawem senioratu naturalnie tytuł i funkcja przechodziła z ojca na syna. Mógł być nim mężczyzna lub, niezmiernie rzadko, kobieta (sporydycznie w Czarnogórze i Boce Kotorskiej – *domaćinka*), a warunkiem była pełnoletność. Dbał o dyscyplinę, kierował pracami domowymi, zajmował się organizacją i podziałem prac, zaopatrzeniem domu, a w pracach polowych uczestniczył sporydycznie (w przypadku braku rąk do pracy lub pracach wymagających szybkiego ich wykonania). Nie posiadał prawa do samodzielnego dysponowania własnością zadrugi bez zgody rady – *savjetu* wszystkich jej pełnoletnich członków. Płacił podatki i daniny, oddawał w dzierżawę i sprzedawał płody rolne. Sprawował obrzędy kultowe i religijne, opiekował się nieletnimi członkami wspólnoty.

Żeńskim odpowiednikiem była *domaćica* (*zadruga*)⁷, tj. żona *domaćina*, pani domu, kobieta, która kierowała pracami „kobiecy” w domu i także sama je wykonywała – sprzątała dom, piekła chleb, przygotowywała posiłki, pracowała przy zwierzętach, przygotowywała nabiał, prała, łątała, szyła, przędła, tkala itp. (Filipović 1945: 13).

Domowników, członków rodziny, określano terminami *dòmār* i *dòmār* RMS Ilijić 1999: 16, *zadrügār* i *zâdrugār*, *zadrügāš* i *zâdrugāš*, *zâdružanin* i *zâdružanin*, *zadrüžār* i *zâdružār*, *zâjednîčār*, *küćanin*, *ikućanin* i *uküćānin* RMS, *ikućanin* UR, *uküćānin* RZag oraz *kućni član*, *zadrüžni ljudi*. Chcąc podkreślić stosunek hierarchii, czasem poddaństwa dzieci i członków wspólnoty wobec głowy domu, używano dwóch wyrazów wieloznacznych, przede wszystkim oznaczających ‘niewolników, sługi, czeladź’, a wtórnie ‘żona i dzieci, członkowie rodziny (oprócz gospodarza)’: *čëljad* i *čëljadija* RMS Njegoš RZag UR RProś oraz *rôbje*, *rôblje* Njegoš, *rôblje* UR, *rôblje* RMS SR RZag RVG RProś, u Kućów: *rôbje*, *rôblje*, *rôpčad* (Erdeljanović 1981: 201). W pracy Rakicia poświadczono formy *rob*, *robje*, *roblje*, *robi* (Rakić 1991: 75).

Na określenie szerszej rodziny, krewnych, rodu i ogólnie stosunków pokrewieństwa używano wyrazów *rodbina* i *rôdbina* RMS RProś Njegoš, *rôdbina* RZag UR⁸, *rôdbinstvo* i *rôdbinstvo* RMS, *bližika*, *bližika* i *bližika* RMS Rakić 1991: 58, *bližika*,

⁶ Pozostałe nazwy naczelnika rodziny, zadrugi to *kesebašija* (Filipović 1945: 13), *kütnjik*, *küćnik* SR, *kućánik*, *küćanik* UR, *nápřežan* i *stòpanin* (Filipović 1945: 13).

⁷ Pozostałe określenia: *stopanica* ‘kobieta naczelnik nad żeńskimi członkiniami zadrugi’ (Filipović 1945: 13), *rèduša*, *rèdara* ‘kobieta, która w domu zadrüžnym prowadzi gospodarstwo, wykonuje prace domowe według ustalonej kolejności’ RMS.

⁸ Jak pisze Bogišić, rozróżnić można dwie grupy *rodbiny*: *r. po debeloj krvi*, tj. bliższe lub dalsze pokrewieństwo w linii ojca (np. między dziećmi dwóch braci) oraz *r. s tanke strane* lub *po tankoj krvi* – pokrewieństwo w linii matki (między dziećmi dwóch siostr lub dziećmi siostry i brata) (Bogišić 1999: 376).

bližnji (Čubrilović 1959: 31), *blizika* Njegoš *bližika*, *blizica* Vasojević RZag, *svôjta*, *svôjtina*, *svôjština*, *svojtatluk*, *svôjbina*, *svôjdba*, *svojat*, *svojtstvo*, *svojtčad* RMS SR (Rakić 1991: 77) Njegoš, *svôjbina* *svôjta*, *svôjština* RZag, *svôjta* UR RProš RVG, *svojbina*, *svojdaba* (Vukmanović 1960: 240). Wyraz *kôljeno* i *koljèno* RMS, *kôljeno* UR, *koljèno* RZag RVG w Czarnogórze używany wymiennie z wyrazami *pâs*, *pojas*, *loza*, *panj* w znaczeniu 'krewni w tym samym stopniu pokrewieństwa w stosunku do wspólnego przodka' RMS SR (Čubrilović 1959: 32, Rakić 1991: 72). Członkowie rodziny, krewni to *rôđak*, *rôdstvenik*, *srôdnik*, *surođènik* RMS SR, *srôdnik* RZag Njegoš.

Kolejnym stopniem w hierarchii rodowej, strukturą pośrednią między rodziną a bractwem, wspólnotą połączonych rodzin wywodzących swoje pochodzenie od wspólnego przodka, jest prastłowiański *rôd* RMS Njegoš RZag UR RProš⁹. To jedna z podstawowych form organizacji społeczeństwa, występująca już w okresie wspólnoty pierwotnej, a w zmienionej postaci została przyjęta również w epokach późniejszych. Podstawową komórką biologiczną społeczeństwa była rodzina, a podstawową komórką społeczną – ród, składający się z większej liczby osób pochodzących od wspólnego przodka. Wyraz *rod* oznaczał domową zadrugę, bractwo lub ogólne pojęcie pokrewieństwa w linii męskiej lub żeńskiej (= *svojtta*, *bližika*), obejmował wszystkich krewnych, męskich i żeńskich, którzy pochodzili od jednego przodka w linii męskiej i nosili to samo nazwisko. Dotyczyło to pokrewieństwa do czwartego pokolenia. Pozostałe pokolenia tworzyły *bractwo* – każdy więc członek rodu był *bratstvenikiem*, ale nie każdy *bratstvenik* był członkiem rodu.

Stopień wyżej od rodu, wspólnotą obejmującą krewnych powyżej 4 pokolenia i, w przeciwieństwie do plemienia, opartą wyłącznie na więzach pokrewieństwa jest *brâstvo* i *brâstvo*, *brâstvo* i *brâstvo* RMS, *brâstvo* Njegoš, *brâstvo* RZag RProš, *brâstvo* UR. Rakić podaje formy *brastvo*, *brasto* i *bratstvo* (Rakić 1991: 59–60). Czarnogórskie bractwo, odpowiednik szkockiego klanu, jako wspólnota kilku rodzin ukształtowana w okresie upadku średniowiecznego systemu feudalnego i nawały tureckiej, w procesie odnawiania czarnogórskich i hercegowińskich plemion, jest grupą egzogamiczną, której członkowie (*brâstvenik* i *bratstvenik*, *brâstvenik*, *bratstvenjâk* RMS SR, *brastvenik* RZag Vasojević, *bratstvenik* UR oraz *jâtnik* 'członek bractwa liczącego co najmniej 50 członków' RMS SR) uważają się za krewnych pochodzących od wspólnego przodka. Członkowie powiązani są wzajemnie pod względem terytorialno-administracyjnym, ekonomicznym, prawno-karnym, własnościowym, wojskowym i religijnym. Oprócz wspólnego pochodzenia, nazwiska i historii (pamięć o bohaterskiej historii integruje i potwierdza wspólne korzenie bractwa), posiadają tego samego świętego patrona (*krsna slava*), nie zawierają między sobą małżeństw (egzogamia), wiąże ich obowiązek pomocy i obrony członków, obowiązek krwawej zemsty, mają prawo dziedziczenia po sobie. Bractwo zamieszkuje zwarte terytorium jednej lub kilku wiosek i posiada kolektywną, wspólną własność, która razem z własnością rodzinną stanowi ekonomiczną podstawę jego egzystencji.

W tym samym znaczeniu poświadczane są także pokrewne *bratija*, *bratja* i *braća* (Čubrilović 1959: 25–26), a także powstałe pod wpływem podobnej struktury rodowej w Albanii, *trbuh*, *trbüşçe*, *trbüşćić* i *trbüşćić*, *trbušak* (Rovinski 1998 II: 115, Vukosavljević 1957: 83) – kalki językowe wobec albańskiego *bark* 'brzuch'

⁹ Wyraz *rôd* to także dom rodzinny, rodzina (miejsce, skąd pochodzi) mężatki, skąd pochodzi niewiasta (panna młoda) RZag UR RProš.

i 'bractwo, ród, plemię'. Bractwo to także *jăto* 'stado ptaków' i 'bractwo liczące ponad 50 mężczyzn (strzelb)' SR Njegoš RVG. Duże, silne i wpływowe bractwa to *jăčica*, a małe i słabe – *nějačica* RMS. W plemienu Kuči poświadczono dwie formy bractwa: *čisto bratstvo* to bractwo wywodzące się od jednego przodka, z jednym nazwiskiem, mieszkające w jednej wsi i mające tego samego świętego opiekuna oraz jednego naczelnika oraz *složeno bratstvo*, którym oznaczano plemię (Erdeljanović 1981: 203, 206).

Najwyżej w hierarchii rodowej stojąca rodowo-terytorialna wspólnota bractw zamieszkujących ten sam teren, instytucja rozbudowana i posiadająca niemal państwową strukturę i organizację (własne terytorium, granice, naczelników, rozporządzenia, umowy, miejsca kultu) to plemię¹⁰. Na określenie tej wspólnoty, od XVIII w., używano wyrazu *plěme* RMS SR RZag RVG Njegoš, a także *sôj* i *sôj* RMS RVG (Rakić 1991: 78), albańskiego *fis* RMS RVG, a na południu Boki romanizmu *štirpa* RomanJBK. Plemię było jednostką rodową, społeczną, polityczną, prawną, terytorialną, ekonomiczną, wojskową i religijną, bez podziałów klasowych i władzy zwierzchniej, wspólnotą wolnych bractw (Čubrilović 1959: 34). Ta najbardziej rozbudowana instytucja czarnogórskiego społeczeństwa plemiennego, która powstała w chwili rozpadu systemu feudalnego i najazdu tureckiego jako kontaminacja katunów pasterskich i wspólnot rodowych, głównie na bazie wspólnoty terytorialnej, a rozwinęła się przede wszystkim na górskich obszarach Czarnogóry i Hercegowiny.

Przez długi czas termin *pleme* miał jedynie znaczenie rodowe, zbliżone do współczesnego bractwa, określając mniejszą lub większą wspólnotę rodzin opartą na więzach krwi, a nie administracyjno-terytorialną wspólnotę bractw. W znaczeniu podstawowym i współcześnie najpowszechniejszym, w literaturze naukowej od początku XIX w., nazywa patrylinearny system bractw, który Š. Kulišić charakteryzuje jako heterogeniczne wspólnoty krwi, które powstały w wyniku łączenia bractw różnego pochodzenia. Taką instytucję rodową w Plavie i Gusinju nazywa się *gora*, a *brdo* na terytorium Siedmiu Brd, tj. 7 wielkich plemion poza Starą Czarnogorą (Filipović 1945: 100). Jej członkowie to: *plěmenik*, *plēmēštāk* RMS SR, *plēmènik* UR, *plemenik* RZag RVG UR.

Najważniejsze cechy plemienia to: 1. członkowie posługują się tą samą nazwą plemienia, pochodzącą od imienia wspólnego przodka (np. Ožrinići, Bjelopavlići) lub toponimu (Piva, Cetinje); 2. wspólne pochodzenie członków plemienia, którego śladem jest na przykład wspólne nazwisko, wspólna mowa; 3. wspólne terytorium, ponieważ nowe dynarskie plemiona mają charakter osiadły, a nie nomadyczny; 4. wspólna władza uosabiana przez naczelników (*glavarów*), a przede wszystkim najwyższy organ władzy – zgromadzenie (*sabor*, *zbor*, *stanak*); 5. wspólna historia, najczęściej ustna, jako rezultat długiego życia we wspólnocie (mitologizowanie historii, legendy o wspólnym przodku); 6. plemię to wspólnota kultowa, religijna, tworząca swoją świętą historię lokalną, mająca jedną cerkiew, wspólnego świętego patrona i *krsną slavę* (Barjaktarović 1997: 121–122). Aby powstało plemię, konieczna była homogeniczność religijna mieszkańców lub, w przypadku wspólnot różnorodnych wyznaniowo, szacunek i brak uprzywilejowanej pozycji jednego z wyznań czy religii (Barjaktarović 1997: 138). W historii społecznej Czarnogóry XIX w. wyraz

¹⁰ Na terytorium dzisiejszej Czarnogóry znajduje bądź znajdowało się około 40 plemion.

pleme posiadał więc dwa główne znaczenia. Po pierwsze to wspólnota rodowo-terytorialna, a po drugie wspólnota terytorialno-administracyjna wolnych bractw w ramach czarnogórskiego sojuszu plemiennego (stopnia pośredniego w tworzeniu państwa), jednostka administracyjna, odpowiednik serbskiej *knežiny*, *srezu*, polskiego *powiatu*.

We wszystkich tych rodowych demokratycznych „wspólnotach równych” obowiązywały zasady władzy kolektywnej wszystkich jej członków. Na określenie wieców dzielących się kompetencjami z naczelnikami rodowymi, instytucji sprawujących władzę, decydujących w najważniejszych dla wspólnoty sprawach, używano ogólnych terminów *zbör* i *zbör* RMS Njegoš oraz *sábor* RMS, *vijéce* i *sküpština* RMS, a także regionalnych *skup*, *stanak* oraz *banka* i *bankada* w plemieniu Paštrovićów i na wybrzeżu czarnogórskim. Instytucja ta nawiązywała do tradycji słowiańskich wieców plemiennych, zgromadzeń ludowych ogółu członków wspólnoty. W wiecach zwoływanych przez radę naczelników bractwa lub plemienia w celu rozwiązania określonego problemu, udział mogli brać wszyscy mężczyźni członkowie wspólnot. Wszyscy też posiadali prawo głosu. Interes kobiet, które bez prawa głosu mogły brać udział w zgromadzeniach, reprezentowali najbliżsi krewni.

Najwyższa władza prawodawcza i sędziowska bractwa to *zbor bratstvenički*, zgromadzenie członków, zwoływane zwykle raz w roku, na którym rozwiązywano problemy bezpośrednio dotyczące bractwa, decydowano o wojnie i pokoju, polityce zewnętrznej i stosunkach z sąsiadami, o zbieraniu danin itp. Sądzone na nich członków bractwa i rozpatrywano ich skargi, łagodzone konflikty oraz krwawą zemstę. W plemieniu Kuči terminem *zbor* określano wewnętrzne zgromadzenie bractw oraz mniejsze zgromadzenia części plemienia, wiec plemienny lub wiejski, który zbierał się raz w roku. Zgromadzenie wybierało wojewodę, decydowało o zawarciu pokoju lub wojnie, o polityce wobec sąsiadów, a także wyznaczało początek letniego wypasu (Erdeljanić 1981: 215).

W Czarnogórze *zbor plemenski* to instytucja stała (o charakterze ustawodawczym i sędziowskim), najwyższa władza plemienia, będąca wyrazem bezpośredniej, demokratycznej władzy ludu. Rozwiązywała problemy wewnętrzne, łagodziła spory między wsiami lub członkami wspólnoty, wybierała członków *sądu dobrych ludzi* oraz naczelnika plemienia. Zajmowała się także kwestiami własności plemiennej, korzystaniem z wspólnych pastwisk i lasów, decydowała o granicach, budowie dróg i traktów. Reprezentowała plemię w kontaktach z władzą (Ilijić 1999: 23).

W XVII w. pojawił się *crnogorski zbor*, nadrzędna wobec plemiennych, autonomiczna i ogólnoplemienna instytucja, organ wspólny plemion i bractw czarnogórskich, reprezentujący je w kontaktach z Turkami i Wenecjanami. To najwyższy organ administracyjno-polityczny i sędziowski społeczeństwa plemiennego w Czarnogórze, który łagodził spory plemienne, potwierdzał pokój z sąsiadami itp. (Čubrilović 1959: 351).

Terminami ogólnymi, którymi określano naczelników, zwierzchników w administracji i organizacji plemiennej w Czarnogórze i Hercegowinie, a także wojskowych dowódców były *gláva*, *glävadžija*, *glävendžija*, *poglāvār*, *pòglavica* RMS Njegoš, *poglāvār* UR oraz *starjèšina* RMS Njegoš, *stàrešina* RZag (Filipović 1945: 13). Główny zaś tytuł, *glāvār* i *glävār* RMS SR, *glävār* UR RPiva, *glävār* RZag RProš RVG, to ogólne określenie przywódcy (religijnego, rodowego, społecznego i politycznego),

naczelnika plemienia, bractwa i innych wspólnot rodowych, głowy domu i rodziny (ogólnie dla tytułów: *kapetan, serdar, vojvoda, gospodar, kmet, knez, barjaktar*).

Glavar bratstva to naczelnik bractwa, najczęściej najstarszy jego członek, pochodzący z dobrego domu i cieszący się szacunkiem zarówno innych członków wspólnoty, jak i władzy centralnej. Odgrywał najważniejszą rolę w trakcie zborów wiejskich, które sam zwoływał, a dzięki swej pozycji społecznej posiadał głos decydujący w rozstrzyganiu spornych kwestii. Reprezentował bractwo i jego interesy na zewnątrz podczas sądów i większych zgromadzeń plemiennych, jako sędzia rozwiązywał spory, pobierał podatki i egzekwował kary. Jego obecność była niezbędna w przypadku procesów godzenia krwawej zemsty i zawierania umów poza własnym bractwem.

Glavar plemena to przywódca wybierany przez członków plemienia na wiecu, najczęściej spośród *jačicy*, najmocniejszego i najbardziej wpływowego bractwa. Był szanowanym, wybitnym członkiem plemienia. Pomimo swej pozycji i władzy, *glavar* nie mógł samodzielnie dysponować majątkiem wspólnoty, a także, bez zgody zgromadzenia plemiennego, podejmować samodzielnych decyzji. Był przedstawicielem plemienia, w czasie pokoju przewodniczącym zgromadzeń plemienia i stroną umów między plemionami, a w czasie wojny – dowódcą wojska plemiennego.

Śledząc historię społeczną Czarnogóry, odnaleźć można ślady dawnej, charakterystycznej dla południowych regionów Słowiańszczyzny, organizacji rodowej. W tworzeniu i rozwoju jej nazewnictwa ważną rolę, obok tradycji starosłowiańskich, odegrały czynniki gospodarcze i społeczno-polityczne okresu upadku ziem serbskich i czarnogórskich pod nawałą turecką. Wraz z tworzącym się wówczas w Czarnogórze społeczeństwem plemiennym, rozwijało się i słownictwo. Obok terminów prymarnie rodowych odziedziczonych z prasłowiańszczyzny, typu *bratstvo, rod, pleme i obitelj* (i nowych derywatów, np. *porodica, rodbina, svojta, svojbina, svojština, bližika, zadruga* lub zapożyczeń słownictwa rodowego: *familija, fis*) pojawiły się nowe wyrazy o charakterze konkretnym, topograficznym typu *dom i kuća, dim, hiža*. To istotna cecha w rozwoju semantycznym wyrazów o charakterze topograficznym, prawnym i społecznym, które posiadając znaczenia bliskie rodowemu obliczu ich starego społeczeństwa, otrzymały nowe, sekundarne sensy i znaczenia z dziedziny słownictwa wspólnot rodowych, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnych znaczeń konkretnych, materialnych, gospodarczych i geograficznych.

Literatura

- Barjaktarović M., 1997, *O novijim balkanskim plemenima*, „Novopazarski zbornik”, br. 21, Novi Pazar, s. 113–140.
- Bjeletić M., 1996, *Turcizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva*, „Južnoslovenski filolog”, LI, Beograd, s. 203–221.
- Bogišić V., 1999, *Zbornik pravnih običaja u Južnih Slovena*, Beograd–Podgorica.
- Čubrilović V., 1959, *Terminologija plemenskog društva u Crnoj Gori*, Beograd.
- Erdeljanović J., 1981, *Kući, Bratonožići, Piperi*, Beograd.
- Filipović M., 1945, *Nesrodnička i predvojena zadruga*, Beograd.
- Ilijić N., 1999, *Istorija zadruga kod Srba*, Beograd.
- Rakić R., 1991, *Terminologija srodstva u Srba*, Beograd.

Rovinski P.A., 1998, *Etnografija Crne Gore*, tom I i II, Podgorica.

Vukmanović J., 1960, *Paštrovići. Antropogeografsko-etnološka ispitivanja*, Cetinje.

Vukosavljević S.V., 1957, *Organizacija dinarskih plemena*, Beograd.

Słowniki

Njegoš – *Rečnik jezika Petra Petrovića Njegoša*, Beograd–Titograd–Cetinje 1983.

RomanJBK – Lipovac-Radulović V., *Romanizmi u Crnoj Gori. Jugoistočni dio Boke kotorske*, Novi Sad 1998.

RMS – *Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika*, t. I–VI, Novi Sad 1967–1976.

RPiva – Gagović S., *Iz leksike Pive (selo Bezuje)*, *Srpski dijalektološki zbornik*, t. LI, Beograd 2004.

RProš – Vujučić M., *Rječnik govora Prošćenja (kod Mojkovca)*, Podgorica 1995.

RVG – Boričić Tivranski V., *Rečnik vasojevićkog govora*, Beograd 2002.

RZag – Ćupić D., Ćupić Ž., *Rečnik govora Zagarača*, *Srpski dijalektološki zbornik*, t. XLIV, Beograd 1997.

SR – Karadžić V.S., *Srpski rječnik*, Beograd 1935.

UR – Stanić M., *Uskočki rečnik*, t. I i II, Beograd 1990, 1991.

Vasoj – Stijović S., *Iz leksike Vasojevića*, *Srpski dijalektološki zbornik*, t. XXXVI, Beograd 1990.

Названия и характеристика родовых структур в Черногории

Резюме

Особый рельеф местности, недоступность и недостаток хороших дорог в прежних временах было причиной того, что на территории Черногории до сих пор сохранились древнеславянские формы общин опирающиеся на узах крови и добровольном объединении родных или соседствующих с собой людей. Ещё до XIX века существовали древние родовые структуры патриархального типа, которые состояли из однопоколенных и многопоколенных семей, родов, братств и племен. В этой статье, опираясь на материалах собранных в диалектных словарях и этнографических сборниках, представлено основные названия структур родовых общностей и их членов, а также характеризуется способ организации этих общин.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Maria Malec

Tradycje wierzeniowe w słowiańskiej antroponimii

Spojrzenie na tradycyjne imiennictwo Słowian od strony religioznawczej zostało w niniejszym artykule zainspirowane książką Aleksandra Gieysztora *Mitologia Słowian* (1985). Przytoczę na wstępie pogląd jej autora na dotychczasowe wyniki badań nad religią Słowian i na perspektywy ich rozwoju.

Słowiańskie tradycje wierzeniowe były przedmiotem zainteresowania wielu znakomitych uczonych XIX i XX wieku, etnografów, archeologów i językoznawców.

Wynikiem ich dzieł i studiów, przeważnie nadal użytecznych, czasem świetnych, jest obraz mitologii słowiańskiej, który przyrównać by można do gęstej puszczy. Przeciskają się przez nią i wychodzą na światło nieliczne wielkie bóstwa [...]. Obok tych bóstw naczelnym zajmujących się światem i społeczeństwem krążą istoty, których obszarem działania są zagrody, pola, wody i lasy. Z chwilą, gdy przychodzi do zestawienia owych bogów i demonów w jakieś corpus wyobrażeń religijnych, pojawiają się trudności na pierwszy rzut oka nie do pokonania. [...] mamy przed sobą zbiór poglądów tylko fragmentarycznych, spostrzeżeń różnej wagi i słuszności, rozproszonych, nierzadko sprzecznych. Wywód etymologiczny nazwy wybranego bóstwa i stąd prowadzona interpretacja jego funkcji często pozostają odosobnione od innych zabiegów poznawczych, które należałoby przeprowadzić na tym samym materiale źródłowym (Gieysztor 1985: 7/8).

Stanisław Urbańczyk reprezentujący w swych badaniach religioznawczych tradycyjny warsztat pozytywistyczny, wyraził kiedyś pesymistyczny pogląd, że „Historia badań nad religią Słowian jest historią rozczarowań” (1968: 31). Aleksander Gieysztor widział perspektywę ich rozwoju w założeniach powstałej w drugiej połowie XX wieku nowej komparatystyki religioznawczej, której patronują znane nazwiska Georges Dumézila i Emila Benvenista, w badaniach religii ludów indoeuropejskich, oraz Mircei Eliadego, w badaniach nad ogólną historią religii. Chodziło mu o wykorzystanie nowoczesnej metody porównawczej o charakterze otwartym, przyjmującej – jak w pracach Dumézila – istnienie pewnej warstwy o wspólnej genezie indoeuropejskiej oraz składników i wariantów lokalnych uwzględniających rozwój historyczny poszczególnych ludów. Uczony nasz zwrócił ponadto uwagę na znaczenie kultury ludowej w badaniach nad historią religii. W folklorze, jego

obzędach, bajkach, przysłowiac, nazwach osobowych i miejscowych, czasem w epice ludowej ukrywaję się bowiem dawne wierzenia i archaiczne mity sięgajęce pradawnych czasów. Mogę one być źródłem dopełniającym poznanie dawnych słowiańskich wierzeń i praktyk religijnych.

Spróbujmy popatrzyć na dawne osobowe imiona słowiańskie jak na źródło zakodowanej w nich wiedzy o dawnych wierzeniach Słowian odziedziczonych z epok dawniejszych, ze wspólnego dziedzictwa indoeuropejskiego i starszych ogólnoludzkich mitów.

Imię osobowe i obrzędy związane z jego nadawaniem należą w kulturach pierwotnych do sfery symboliczno-sakralnej. Nadanie imienia istocie ludzkiej jest dopełnieniem jej stworzenia, wydobywa ją z anonimowości, wprowadza w ludzki świat, nadaje kierunek jej losowi. Przekonanie, że imię jest związane z losem człowieka wyrażają w antroponimii słowiańskiej najpełniej dawne słowiańskie imiona życzące o strukturze dwuczłonowej, jak np. pol. *Bogusław, Domamir, Racibor, Świętopętk*. Pod względem treści zawierają one jakąś dodatnią cechę, pomyślną wróżbę czy życzenie, które ma się spełnić w życiu nazwanej osoby. Nie ulega wątpliwości, że słowiańskie imiona złożone należy traktować jako składnik tradycyjnych wierzeń słowiańskich.

Złożone (dwuczłonowe) słowiańskie imiona osobowe wywodzą się z modelu złożonych imion indoeuropejskich. Dowodzą tego badania porównawcze Tadeusza Milewskiego obejmujące dziesięć systemów antroponimicznych: indyjski, awestyjski, zachodnioirański, słowiański, bałtycki, germański, celtycki, iliryski, tracki i grecki (Milewski 1969: 19–145). Osobny artykuł poświęcił ten uczony pochodzeniu słowiańskich imion złożonych, w którym wydobył ich najstarszą warstwę i pokazał drogę rozwoju. Pisał we wstępie:

System słowiańskich imion złożonych jest w części dziedzictwem analogicznego systemu praindoeuropejskiego, w części wynikiem jego przekształceń na gruncie słowiańskim, w części wreszcie rezultatem wpływów innych języków indoeuropejskich na imiennictwo słowiańskie (Milewski 1969: 198).

Te trzy warstwy słowiańskich imion złożonych omówił Milewski z punktu widzenia ich budowy morfologicznej, czym tutaj w szczegółach zajmować się nie możemy, natomiast dla naszych rozważań ważne jest stwierdzenie częściowego zachowania się w imiennictwie słowiańskim aż do czasów historycznych, indoeuropejskiego modelu imion złożonych, a także zwrócenie uwagi na silne wpływy irańskie, w wyniku długiego sąsiedztwa Słowian ze Scytami w ostatnich wiekach starej ery. Wpływom irańskim zawdzięcza antroponimia słowiańska m.in. imiona tzw. teoforyczne, odnoszące się do życia religijnego i zawierające człony *Bogo-, Bogu-, -bog*.

W semantyce i symbolice słowiańskich imion złożonych, spróbujemy odkrywać ślady indoeuropejskiego mitu o trójfunkcyjnej organizacji społeczeństwa. W ujęciu Dumézila mit jest interpretacją świata przekazującą wzory i zachowania ludzkie wypracowane w życiu społecznym. W świadectwach świadomości zbiorowej ludów mówiących językami indoeuropejskimi daje się wykryć swoisty model organizacyjny społeczeństwa wytworzony przez trzy podstawowe funkcje członków wspólnoty: 1. sprawowanie władzy zwierzchniej w kształcie prawnym i magiczno-religijnym, 2. walka zaborcza i obronna, 3. zaopatrywanie wspólnoty w żywność. Modelowi

temu odpowiadają bóstwa wyposażone w odpowiednie funkcje oraz instytucje (kapłanów, wojowników, rolników), praktyki religijne (obrzędy i rytuały), miejsca i przedmioty kultu, oraz językowe odbicie tych rzeczywistości w słownictwie pospolitym i nazwach własnych (Gieysztor 1985: 16).

Słowiańskie imiona złożone, których symbolika jest dziś trudna w szczegółach do rozszyfrowania, zawierają w swym składzie liczne leksemy, których znaczenia pozwalają przyporządkować je funkcjom tworzącym indoeuropejski trójfunkcyjny model organizacji społeczeństwa. Spróbujemy pokazać przykładowo grupy imion z odpowiednimi członami.

Z funkcją 1/ łączą się człony imion od leksemów należących do słownictwa sakralnego oraz mówiące o sprawowaniu władzy, jak np.:

– *Bogo-, Bogu-, -bog*, od psł. **bogъ* ‘deus’. (O ukształtowaniu znaczenia wyrazu *bóg* ‘deus’ pod wpływem irańskim, por. Spśl I: 296; Milewski 1969: 206). Imiona zawierające ten leksem wystąpiły w całej Słowiańszczyźnie, np. czes. *Bohobud, Bohuchwal, Modliboh*; pol. *Bogomił, Bogurad, Chwalibog*; bułg. *Bogdan, Bogomir, Bogoslav*; głuż., *Bogomil*, dłuż. *Bohuslav, Dalbog*; poł.-pom. *Bog(u)chval, Bogomil, Boguslav*; sch. *Bogolub, Bogomil, Boguživ*; rus. *Bogodanъ, Bogoljeprъ, Boguchvalъ*; słowac. *Bogdan, Bohumil, Boguslav*; słoweń. *Bogoboj, Bogodar, Bogomil* (Malec 2000b: 313–318, tu szersze omówienie).

– *Święto-*, od psł. **svętъ* ‘będący przedmiotem kultu religijnego’; ‘ten, który rozporządza dobroczynną mocą magiczną’ (SEBor 623; Benveniste 1969: 180–207), np. pol. *Świętobor, -mir, -pełk, -sław, -żyźń* f.; czes. *Svatobor, -mír* (też odpowiedniki sch., słoweń.), *-pluk* (też sch., słoweń.), rus. *Svjatopolk, -slav* (Mal:117–118, Svob: 88; Skul: 220–221).

– *Trzebie-, Trzebo-*, od **trzeba*, m.in. w znaczeniu ‘ofiara’, por. scs. *trēba* ‘ofiara’, strus. *tereba* ‘ts’, stczes. *třeba* ‘ts’ (SEVas III: 133, 96; por. też Svob: 89, Taszycki 1925: 31), np. pol. *Trzebiemir, Trzebiemysł, Trzebiesław, Trzebowit*; czes. *Třebobud, Třeběhost* (też odpowiedniki połab. słoweń.); słoweń. *Trebebor, Trebemer, Trebivit* (Mal: 119–120; Svob: 89).

Licznie są reprezentowane człony imion werbalne, od czasowników oznaczających czynności związane z panowaniem, władaniem, sądzeniem, jak np.:

– *Dzierży-, Dzirży-* od psł. **dǫžati, *dǫžq* ‘powstrzymywać siłą, posiadać, władać czymś’ (SEBor: 142), np.: pol. *Dzirżykraj* // *Dzierżykraj, -sław, -terg, -wuj*; czes. *Drž(i)-kraj, -mír* (także odpowiedniki sch., słoweń.), *-slav* (także sch.) (Mal: 85; Svob: 75).

– *Sędzi-, -sqd*, od psł. **sǫditi* ‘wyrażać zdanie, sprawować sąd’ (SEBor: 539), np. pol. *Sędzimir, -sław, -woj*; czes. *Sudomír, Sudislav* (także odpowiednik sch.), *-voj*; rus. *Sudimir, -slav* (Mal: 109; Svob: 87, Skul: 220).

– *Włodzi-, -włod*, od psł. **volsti, *voldq* ‘panować, władać’ (SEBor: 703), np. pol. *Włodzimir, -sław, *Ninowłod*; czes. *Vladimír* (też odpowiedniki bułg., sch., słoweń., ukr.), *-slav* (też bułg., sch.), rus. *Vladimir, Volodimir, -slav* (Mal:124–125; Svob: 92; Skul: 230–232).

– *Włości-* od psł. **volstъ* ‘panowanie, władza; własność, posiadłość’, **volsti, *voldq* ‘panować, władać’ (SEBor: 704), np. pol. *Włóścibor, -byt, -sława* f., *-woj, Bogowłość* f.; czes. *Vlastibor, -slav, Bohuvlast* f.; słoweń. *Vlastimir* (Mal: 125; Svob: 92).

Z funkcją 2/ – sferą walki zaborczej i obronnej powiązane są człony imion zawierające leksemy nazywające wojownika, drużynę, przymiotniki oznaczające

dzielność, człony werbalne i dewerbalne od czasowników związanych z czynnościami walki i obrony, jak np.:

– *Woj(e)-*, *-woj-*, od psł. **vojь* ‘bój; wojsko; wojownik’ (SEBor: 708), np. pol. *Wojborowic, Wojciech, -mir, -sław, Budziwoj, Sędziwoj, Włościwoj* itd.; czes. *Vojmír* (także odpowiednik sch.), *-slav* (także bułg., sch), *-těch* (także bułg.), *Bořivoj, Skorovoj, Vrativoj* itd.; rus. *Voibor, -gost, -slav, tech*, sch. *Vojdrag, -mil, -mir, -ńeg, -sil, Vojimil, -slav* (Mal: 120; Svob: 92; Skul: 230; Mar: 132).

– *-pełk, -połk*, od psł. **pъlkъ* ‘gromada ludzi’, scs. *pъlkъ* ‘gromada ludzi, tłum; lud’ (SEBor: 503); też ‘gromada ludzi zbrojnych, oddział wojska, wojsko’ pol. *Przedpełk // Przedpołk, Świętopełk // Świętopołk*; czes. *Načěpluk, Svatopluk*; rus. *Jaropolk, Svjatopolk* (Mal: 102; Svob: 82; Skul: 179, 220).

– *Dobie-*, od przym. psł. **dob’ь, dob’a, dob’e* ‘zdatny do walki, sprawny w walce zbrojnej, waleczny, dzielny’ (Spśł IV: 11), por. np. pol. *Dobiegnew, -lut, -miest, -mir, -sław*; czes. *Doběstoj, -slav*, pom. *Dobiemiar*, połab. **Doběmysl*, sch. *Doblijslav* (Mal: 79, 80; Svob: 74).

– *Borzy-*, *-bor*, od psł. **borti, bor’q* ‘walczyć’ (Spśł I: 323), np. pol. *Borzygniew, -mir, -sław, -woj, Blizbor, Czcibor, Sulibor* itd., *Zbrośław*; czes. *Bořihněv, -slav* (także odpowiedniki bułg., sch.), *-voj* (też sch.), *Zbraslav*; rus. *Borislav* (Mal: 69, 70; Svob: 71; Skul: 152).

– *Broni-*, od psł. **borniti* ‘osłaniać orężem, bronią, strzec, chronić’ Spśł I 325, np. pol. *Bronisqd, -sław*; czes. *Branislav* (też odpowiedniki bułg., sch., słoweń.), *Bran(i)-súd* (Mal: 71; Svob: 71).

– *Mści-*, *-miest*, od psł. **mъstiti* (sę) ‘mścić (się)’, **mъstь* ‘zemsta’ (SEBor: 342), np. pol. *Mścibor, -gniew, -sław, -woj, Dobiemiest*; czes. *Mstibor, -druch, -hněv, -slav* (też odpowiednik słoweń.), *-voj, Bohumest, Bolemet*; rus. *Mstislav* (Mal: 98; Svob: 81, Skul: 198).

– *Raci-*, od psł. **rátъ* ‘walka, potyczka’, scs. *ratiti* się ‘walczyć’ (SEVas II: 496; Mal: 106), np., pol. *Racibor, -mir, -sław*; czes. *Ratibor* (też odpowiednik połab.), *-mír* (też słoweń., sch.), *-slav*; rus. *Ratibor, Ratъmír* (Mal: 106; Svob: 89; Skul: 210).

– *Strzeży-*, od psł. **stergti, stergq* ‘mieć pod strażą, pod opieką, dozorować pilnować, doglądać’, scs. *strěšti, strěgq* ‘strzec, być na straży, ochraniać’ (SEBor: 583), np. pol. *Strzeżybor, -sław, -woj*; czes. *Strěžimír* (także odpowiedniki bułg. i sch.), *-slava* f., *-voj* (Mal: 116; Svob: 87).

Z funkcją 3/ obejmującą sferę wytwarzania i żywienia mają związek m.in. te słowiańskie imiona złożone, które zawierają leksemy należące do pola „życie rodzinne”. Rodzina była bowiem w dawnych kulturach miejscem, gdzie wytwarzano żywność potrzebną do wykarmienia wspólnoty. Pisałam o tym szerzej w artykule *Obraz rodziny w słowiańskich imionach złożonych* (2000a). Tu przedstawię niektóre obserwacje, ważne dla omawianego tematu. Z pojęciem rodziny łączy się wyznaczenie dla niej miejsca w przestrzeni społecznej. Rodzina zawłaszcza część przestrzeni, oswaja i udomawia. O ważności przestrzeni udomowionej i wspólnoty rodzinnej u dawnych Słowian świadczą m.in. imiona z członami *Doma-* i *Siemi-*.

Psł. **domъ* – to ‘pomieszczenie, gdzie człowiek żyje ze swoją rodziną; wszystko co jest w domu; rodzina, mienie, majątek’; także ‘strony rodzinne, kraj ojczysty’ (Spśł IV: 98); psł. **sěmьja* występuje m.in. w znaczeniach ‘rodzina, ród; czeladź, służba; własność’ (SEVas II: 609). Imiona z członem *Doma-* wystąpiły we wszystkich

językach słowiańskich: 21 męskich i 2 żeńskie. Imiona z członem *Siemi-*, *Siemo-*: 17 męskich i jedno żeńskie, w pol., czes. i słowac., sporadycznie w połab. i łuż.

Obecność u Słowian małej rodziny biologicznej oraz wielkiej rodziny potwierdzają imiona z członami od nazw pokrewieństwa. Dla małej rodziny określonej więzami krwi, są to np. członcy: *Czędo-* od psł. **čędo* 'potomek, dziecko' (Spsł II: 191), np. pol. **Czędomir* (por. n. m. *Czędomierz* NmPol II: 233); sch. *Čedomil*, *Čedomir* (Mar: 116); *-syn*, od psł. **synъ* 'męski potomek' (SEBor: 590), tylko w serb. *Balosiň* (por. *bal-* : *balować* 'pielegnować, leczyć'), *Radosiň* (Žel: 203); *Tato-*, od psł. *tata* 'ojciec', wyraz pieśzcotliwy, z języka dziecięcego (SEBor: 629), np. w pol. (z Kresów południowo-wschodnich) *Tatomir*, *-mier*, *Tatumir*, rus. i sch. *Tatomir* (Mar: 129); *Siostrze-*, od psł. **sestra* 'siostra, córka tych samych rodziców' (SEBor: 549), pol. *Siostrze-mił*, *-wit*; czes. *Sestrohor*, *Sestrymil* (Mal: 112; Svob: 97); *Brato-*, *-brat*, od psł. **bratъ*, *bratrъ* 'syn tych samych rodziców, lub jednego z nich; krewny dalszego stopnia, członek wielkiej rodziny, wspólnoty rodowej, plemiennej' (Spsł I: 361), imiona z tym członem liczne, najwięcej w sch., np. *Bratolub*, *mil*, *-ńeg*, *-rad*, *-slav*, *Dragobrat*, *Milobrat* (Mar: 114–115 i in.), niektóre z tych imion wystąpiły równolegle w kilku językach, w pol. *Bratomił*, *-mir*, *Milobrat*, *Sulibrat*, *Żelibrat* (Mal: 70).

Imiona z nazwą pokrewieństwa *dziad* zakładają związek z wnukami, więc krewniaczą co najmniej trzech pokoleń, wystąpiły w pol. *Dziadumiła* f., *Biezdziad*, *Miłodziad*, *Przedziad*, *Sulidziad*; czes. **Dědomil*, *Dědumil*, *Bezděd*, *Želiděd*; sch. *Djedomir*, *-slav*; słoweń. *Dedovit*, słowac. *Dědoslav* (Mal: 83; Svob: 74).

O związkach wielkiej rodziny rozkrzewionej obejmującej boczne linie pokrewieństwa świadczą imiona z członami od nazwy *stryj* // *stryk*, psł. **strъjъ* (bądź **stryjъ*) 'brat ojca' (SEBor: 583) i *wuj* // *-uj*, psł. **ujъ* 'brat matki' (SEBor: 716). Imiona z członami *-stryj* // *-stryk* oraz *-wuj* // *-uj* są spotykane najliczniej na gruncie polskim, 11 imion typu: *Biezstryj*, *Domastryj*, *Sulistryj*, *Małostryk* itd., nie-liczne czes.: *Bezstryj*, *Častryj*, łuż.: *Lubostryj*, *Małostryj* i pom.: *Lubostryj*, *Miłostryj*, *Sulistryj*. Podobnie imiona z członem *-wuj*, *-uj* wystąpiły najliczniej w pol., 21 imion, np. *Budziwuj*, *Gościwuj*, *Radowuj* itd. (Mal: 129, Malec 200b), zaledwie kilka w czes. *Bezuj*, *Milouj*, *Raduj* (Svob: 87, 90).

Analiza semantyki leksemów tworzących złożone imiona słowiańskie może rzucić dodatkowe światło na istnienie u Słowian sfery sakralnej połączonej z organizacją społeczeństwa w dziedzinie zarządzania, panowania i sądzenia, organizacji walki zaczepnej i obronnej oraz roli rodziny, odpowiedzialnej za wytwarzanie żywności dla wspólnoty.

Oprócz śladów kontynuacji indoeuropejskiego mitu porządkującego świat według modelu trójfunkcyjnego napotykamy u Słowian wierzenia, które musiały się rozwinąć na podłożu jakiegoś starszego substratu, mitu dualistycznego, wyjaśniającego pochodzenie świata i człowieka od dwóch sił antagonistycznych symbolizujących dobro i zło (Gieysztor 1985: 80).

Obok pozytywnej wizji organizacji ładu świata, jaki odbija się w słowiańskich osobowych imionach złożonych, obok wiary w moc sprawczą dobrego życzenia w jaką było wyposażone imię, spotykamy w antroponimii słowiańskiej ślady wierzeń w istnienie złych mocy, duchów i demonów czyhających zwłaszcza na zgubę dziecka, chodzi tu szczególnie o noworodki, ich choroby i śmiertelność. W sytuacji śmiertelności dzieci w rodzinie, prawdziwe imię podlegało tabu, zatajano je nawet

przed członkami najbliższej rodziny. W miejsce ukrytego imienia prawdziwego używano imienia zastępczego, „fałszywego”, które było jak gdyby czapką niewidką, miało zasłaniać i magicznie chronić zagrożone dziecko. Wiele świadectw tego rodzaju praktyk podaje z południowej słowiańszczyzny W. Budziszewska w artykule *Imiona ochronne Słowian* (1989) oraz N.I. Tołstoj, S.M. Tołstaja w pracy *Imja v kontiektie narodnoj kultury* (1998). Również znawca imiennictwa czeskiego Jan Svoboda (1964) zwracał uwagę na ochronną funkcję niektórych staroczeskich imion jednotematowych, uznawanych raczej powszechnie za przezwiska, jak np. imiona od nazw niektórych zwierząt, ptaków, ciał niebieskich i zjawisk przyrody, a także nazwy wskazujące na brak, ułomność fizyczną, małą wartość. Podam przykłady z najstarszej antroponimii polskiej ograniczając materiał do w. XII i XIII (według pracy W. Taszyckiego (1925)). Wśród imion motywowanych przez nazwy ze świata zwierzęcego szczególne miejsce zajmuje *Wilk*. Nazwy (imiona) pochodzące od wyrazu *wilk* tworzą gniazdo derywacyjne: *Wilk, Wilczan, Wilczey, Wilczek, Wilczęta, Wilkan, Wilkomir* (z późnej kopii), *Wilkost, Wilkosz, Wilkota*. Charakter ochronny imion od wyrazu *wilk* potwierdzają materiały etnograficzne z Serbii i Bułgarii (Budziszewska 1989: 237, 238).

Z ptakami i ich nazwami łączą się wierzenia, że dusze zmarłych odlatują w postaci ptaków i także niekiedy wracają i objawiają się jako ptaki (Svoboda 1964: 45; Moszyński 1967: 552 i n.). Wierzano też że ptaki chronią przed chorobami, stąd przypuszczenie, że imiona od nazw ptaków mogły mieć funkcję ochronną, por. staropolskie imiona: *Czapla, Czyż, Drozd, Przepiórka, S(t)roka* i in. Znana jest etnografom apotropeiczna moc roślin, drzew i krzewów, ziół i kwiatów stosowanych przeciwko demonom (Moszyński 1967: 325–331), w związku z tym mogły się pojawić nazwy roślin w funkcji imion ochronnych, por. stp. *Chebda, Cis, Dąbek, Jawor, Świdwa* ‘dereń’, *Wirzbięta, Kąkol, Śláz, Rzerzucha*. Odstraszać demony mogły też imiona od zjawisk przyrody, np. ognia i żaru, znana jest rola ognia w magii i obrzędach (Moszyński 1967: 421 i n.), por. stp. imiona: *Ożar, Pożar, Wyżga, Żarko, Żegost, Żegota, Żglesz, Żgota* (por. stp. *żec, żgę* ‘palić’). Podobną funkcję mogły pełnić imiona od nazw broni i ostrych przedmiotów, jak *Grot, Kościen* (: *kościen* ‘koniec włóczni’), *Kusza, Siekirka, Strzałek*; imiona od nazw metali, np. *Żelazo*. Także imiona od nazw abstraktów oznaczających groźne zjawiska, hałas, niedolę, np. *Chełst* (: *chełst* ‘zgiełk’), *Krzyk, Licho, Męka, Mierzwa, Skarga, Swar, Grozim* (od imiesłowu *grozim* : *grozić*), *Krzykała, Wrzeszcz, Skolim* (od imiesłowu *skolim* : *skolić* ‘ujadać’); od wyrazów oznaczających ułomność: *Głupień, Matuł, Momot, Sirota, Trup, Wałkuń*. W związku ze znanym obrzędem sprzedawania i kupowania czy fikcyjnego porzucania dzieci dla oszukania demonów, o czym pisała Budziszewska (1989: 242) i Svoboda (1964: 45), pozostają może nazwy *Wygnan, Wygon* i nieco późniejsze *Kupiony, Naleziony, Nalezionek*.

O ile wyżej przytoczone staropolskie nazwy osobowe mogą być imionami ochronnymi ale też przezwiskami, to niewątpliwie do ochronnych zaliczają się imiona z przeczeniem. Poświęciłam im przed laty osobną pracę, w której zgromadziłam ponad 200 tego rodzaju nazw osobowych (Malec 1975: 259–307). Jest wśród nich kilka zaprzeczonych imion dwuczłonowych, jak *Niemironieg*, od imienia *Mironieg*, *Niesiebor*, *Nieznamir*, są liczne imiona typu *Niemir*, *Niesiodł*, *Nierad*, które mogą pochodzić od pełnych imion dwuczłonowych jako imiona zastępcze (ochronne), *Niedoma*, *Niewsza*, zamiast *Domastaw*, *Wszebor*, są imiona od zaprzeczonych

czasowników, np. *Nieustęp*, *Niezamysł*, formy o charakterystyce imiesłowowej: *Niedan*, *Nieudał*. Imiona z przeczeniem występowały w całej Słowiańszczyźnie (por. Svob: 103; Skul: 200, 201; Mar: 146). Były też używane w antroponimii indoirañskiej, greckiej, germańskiej i celtyckiej (Milewski 1969: 117–118.)

Powyższy szkic zagadnienia wskazuje na przypuszczalne korzyści, jakie może przynieść włączenie słowiańskiej antroponimii w obszar badawczy religioznawstwa i mitologii słowiańskiej.

Literatura

- Benveniste É., 1969, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, t. 1–2, Paris.
- Budziszewska W., 1989, *Imiona ochrone Słowian Bałkańskich*, „Onomastica”, t. XXXIV, s. 237–244.
- Dumézil G., 1977, *Les Dieux souverains des Indo-Européens*, Paris.
- Eliade M., 1966, *Traktat o historii religii*, Warszawa [z wyd. francuskiego 1964].
- Gieysztor A., 1985, *Mitologia Słowian*, Warszawa, wyd. 2.
- Łowmiański H., 1970, *Rodzina, wielka rodzina, ród u Słowian*, [w:] G. Labuda, Z. Stieber (red.), *Słownik starożytności słowiańskich*, t. IV/2, s. 516–522.
- Mal – Malec M., *Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych*, Wrocław 1971.
- Malec M., 1975, *Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez*, „Polonica”, t. I, s. 259–307.
- Malec M., 1993, *Dobór znaczeniowy członów imiennych w słowiańskich imionach złożonych*, [w:] W. Wenzel (red.) *Namenkundliche Informationen*, Beiheft 17, *Anthroponymica Slavica*, Leipzig, s. 30–36.
- Malec M., 2000a, *Obraz rodziny w słowiańskich imionach złożonych*, [w:] S. Warchoł (red), *Słowiańskie composita antroponimiczne*, „Rozprawy Slawistyczne” UMCS 16, s. 181–188.
- Malec M., 2000b, *Odbicie wierzeń naszych przodków w imionach słowiańskich (imiona złożone z członami Bogo-, Bogu-, -bog)*, [w:] M. Czachorowska, Ł. Szewczyk (red.), *Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze*, Bydgoszcz, s. 313–322.
- Malec M., 1999, *Najdawniejsze polskie imiona apotropeiczne*, „Acta onomastica” XL, s. 124–130.
- Mar – Maretić T., *O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba*, „Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti”, t. LXXXI, Zagreb, 1886, s. 81–146.
- Milewski T., 1969, *Indoeuropejskie imiona osobowe*, Wrocław.
- Moszyński K., 1967, *Kultura ludowa Słowian*, t. II, cz. 1, wyd. 2, Warszawa.
- NmPol – Rymut K. (red.), *Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany*, t. II, Kraków 1997.
- SEVas – Vasmer M., *Russisches etimologisches Wörterbuch I–III*, Heidelberg 1950–1958.
- Skul – Skulina T., *Staroruskie imiennictwo osobowe II*, Wrocław 1974.
- Spśl – *Słownik prasłowiański*, opr. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, F. Sławski (red), t. I–, Wrocław 1974 i n.
- Svob – Svoboda J., *Staročeská osobní jména a naše příjmení*, Praha 1964.
- Szyjewski A., 2003, *Religia Słowian*, Kraków.
- Taszycki W., 1925, *Najdawniejsze polskie imiona osobowe*, Kraków.

- [Tołstoj N.I.], Tołstaja S.M., 1998, *Imja v kontieksie narodnoj kultury*, [w:] *Problemy slowjanskogo jazykoznanija, Tri dokłada k XII Meždunarodnomu sjezdu Sławistow*, Moskwa, s. 88–125.
- Urbańczyk S., 1968, *O rekonstrukcję religii pogańskich Słowian*, [w:] A. Oborny i in. (red.), *Religia pogańskich Słowian*, Kielce, s. 29–46.
- Żel – Żeleznik I.M., 1963, *Typy serbochorwats'kich antroponimicznych kompozytiw XII–XV st.*, „Sławistyczny zbirnyk”, s. 198–213.

Skróty

bułg. – bułgarski
 czes. – czeski
 dłuż. – dolnołużycki
 f. – femininum
 głuż. – górnołużycki
 pol. – polski
 połab. – połabski
 poł.-pom. – połabsko-pomorski
 rus. – ruski, staroruski
 sch. – serbsko-chorwacki
 scs. – staro-cerkiewno-słowiański
 serb. – serbski
 słowac. – słowacki
 słoweń. – słoweński
 stp. – staropolski
 strus. – staroruski

Древние поверья в славянской антропонимии

Резюме

В статье рассматривается причастность славянских имён к древним поверьям славян и мифам человечества. Большое значение имеют здесь достижения новой религиоведческой компаративистики, касающейся индоевропейского наследия, в истолковании французской школы Жоржа Дюмезиля и Эмиля Бенвениста с её трёх-функциональной моделью организации общества. Эта модель отражена в семантике славянских двусловных имён, происходящих из индоевропейского наследия и имеющих положительную, пожелательную и предсказывающую символику, напр. Богуслав, Домажир, Ратибор, Святополк. Эхом более архаичных поверий некоего праиндоевропейского субстрата является сохранившаяся в славянском фольклоре вера в духов и демонов. Одни из них благоприятствуют человеку, другие же настроены к нему враждебно и даже ожидают гибели ребёнка. В ситуации, представляющей угрозу, напр., при высокой смертности детей в семье, родители укрывали настоящее имя ребёнка и обращались к нему защитным или охранным именем. В статье представлены различные виды оберегающих древних славянских имён.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Barbara Oczkova

Tradycje łacińskie i cerkiewne w historii chorwackiego języka literackiego

Dychotomiczny podział na *Slavia Romana*, względnie *Latina*¹ i *Slavia Orthodoxa* występujący w obrębie Słowiańszczyzny odzwierciedla przynależność krajów słowiańskich do dwóch różnych sfer wpływów, których głównym wyróżnikiem była religia, jako ówczesny, hierarchicznie nadrzędny czynnik kulturowo-cywilizacyjny. Konkretnie sprowadzał się on do roli jaką pełniły na tych terenach Kościoły – katolicki i prawosławny. Na płaszczyźnie języka skutkowało to wprowadzeniem „swoich” języków w funkcji liturgicznej, literackiej i urzędowej do piśmiennictwa słowiańskiego, czyli łaciny na terenie *Slavii Romana* i staro-cerkiewno-słowiańskiego na terenie *Slavii Orthodoxa*.

Oba te języki odegrały dużą rolę w procesach standaryzacyjnych języków słowiańskich, także w historii języka chorwackiego.

Wyraźna granica pomiędzy tymi dwiema sferami przebiega przez Słowiańszczyznę północną, w której języki zachodniosłowiańskie orbitują w sferze wpływów kultury łacińskiej, zaś wschodniosłowiańskie w kręgu cerkiewnym.

Na obszarze Słowiańszczyzny południowej granica wpływów kulturowych nie pokrywa się z podziałem ze względu na kryterium językowe, według którego wydziela się tu grupę wschodnio-południowosłowiańską (bułg. i mac.) i zachodnio-południowosłowiańską (serbski, bośniacki, czarnogórski, chorwacki, słoweński). Tak więc Bułgaria, Macedonia, Serbia i Czarnogóra należą do *Slavii Orthodoxa*, natomiast dalszą jednoznaczną klasyfikację komplikuje sytuacja Bośni, gdzie obok katolicyzmu i prawosławia funkcjonował oficjalnie także kościół bogomilski², a ponadto

¹ W terminie *Slavia Latina* za charakterystyczny wyróżnik tego kręgu kulturowego uznaje się język łaciński, zaś w terminie *Slavia Romana* czynnikiem nadrzędnym jest rola Rzymu. Ten drugi termin utrwalił się w nauce w latach 80. XX w. dzięki pracom R. Picchio. Zob. np. R. Picchio, *Guidelines for a Comparative Study of the Language Question among the Slavs*, [w:] *Aspects of the Slavic Language Question*. I, red. R. Picchio, H. Goldblatt, New Haven 1984; idem, *Open Questions in the Study of the "Orthodox Slavic" and "Roman Slavic" Variants of Slavic Culture*, [w:] *Contributi Italiani al XII Congresso Internazionale degli Slavisti*, Napoli 1998.

² Przeciw któremu oba Kościoły: katolicki i prawosławny zgodnie zorganizowały wyprawę krzyżową w 1203 roku.

od XV wieku rozwija się tu islam. Do *Slavii Romana* należą Słowenia i Chorwacja, z kolejnym zastrzeżeniem co do Chorwacji, która jako jedyny kraj w świecie słowiańskim przynależy także do *Slavii Orthodoxa*. Ta przynależność urzeczywistnia się w *głagolityzmie* – bezprecedensowym zjawisku kulturowym w Słowiańszczyźnie. Głagolityzm chorwacki nie ograniczał się jedynie, jakby to sugerowała sama nazwa, do używania alfabetu głagolickiego. Zjawisko to będące kultywowaniem tradycji cyrylo-metodiańskich współtworzyły liturgia w języku słowiańskim, czyli w staro-cerkiewno-słowiańskim redakcji chorwackiej wraz z pismem głagolickim. Od wschodnich braci ze *Slavii Orthodoxa* odróżnia natomiast Chorwację rzymską, a nie prawosławny obrządek liturgii z równoczesną administracyjną podległością Rzymowi. Tym samym Chorwacja stworzyła odrębny i swoisty zespół kulturowy na zachodnich peryferiach Słowiańszczyzny południowej.

Losy obrządku w języku słowiańskim w Chorwacji były niezwykle burzliwe. Funkcjonował on na obrzeżach powszechnej tu liturgii łacińskiej, terytorialnie ograniczony do północno-zachodnich terenów Chorwacji (Istria, Przemyślenie Chorwackie, Wyspy Kvarnerskie: Krk, Cres, Rab a także wyspy Pašman i Brač) i od pierwszego synodu splickiego w 925 roku, poprzez kolejne (927, 1060, 1185) zwalczany był przez Kościół katolicki jako obrządek i doktryna heretycka z barbarzyńskim językiem i barbarzyńskim „gockim” pismem. W walce łacinników z głagolaszami – duchownymi obrządku słowiańskiego – Rzym ogłosił Metodę heretykiem i wprowadził kolejne ograniczenia wobec liturgii (np. zakaz udzielania duchownym niższych, a następnie i wyższych święceń). Zmianę stanowiska przyniósł dopiero IV Sobór Laterański (1215), w wyniku którego przyznano prawo do nie-łacińskiej liturgii diecezji w Senju (1248) i benedyktynom z Krku (1258). Obrządek w języku słowiańskim, który zresztą przetrwał na tych terenach do czasów współczesnych był wraz z głagolicą, według trafnej oceny Joanny Rapackiej „fenomenem upartego trwania przy piśmie o zasięgu już tylko lokalnym i fenomenem upartej obrony liturgii słowiańskiej w obrębie Kościoła katolickiego”³.

Nie dosyć, że Chorwacja zachowała pierwszy alfabet słowiański, to zasięg jego funkcjonowania znacznie się poszerzył, ponieważ głagolica stała się tu pismem dwóch różnych języków – wspomnianej już liturgicznej cerkiewszczyzny redakcji chorwackiej i języka narodowego starochorwackiego, opartego wówczas na dialekcie čakawskim. W swej pierwotnej funkcji jako alfabet ksiąg cerkiewnych przetrwała do XX wieku, kiedy to praktycznie wyszła z użycia z chwilą wydania przez Josefa Vajsa w 1927 roku mszału w transkrypcji łacińskiej. W historii jej funkcjonowania w tym kręgu kulturowym warto zwrócić uwagę na ciekawy moment, który można interpretować jako splecenie się obu tradycji – słowiańskiej i łacińskiej. Mianowicie, prześladowana przez łacinników głagolica w wyniku „pobożnego oszustwa” popełnionego przez chorwackich głagolaszy w XIII wieku zostaje ogłoszona pismem św. Hieronima, który odtąd jako jej „ojciec” występuje w katolickiej ikonografii z księgą głagolicką. Fakt ten zdjął z niej odium pisma heretyckiego.

Z kolei głagolica swą drugą świecką funkcję obejmuje od początków piśmiennictwa narodowego czyli od XIII wieku, odnotowując ogromną liczbę zabytków (literatura prawna – statuty, urbarze – religijna, beletrystyka) aż do wieku XVII, z tym

³ J. Rapacka, *Głagolityzm*, [w:] eadem, *Leksykon tradycji chorwackich*, Warszawa 1997, s. 58.

że od XV wieku, wraz upowszechnieniem się i rozwojem konkurencyjnej łacinki⁴ jej znaczenie stopniowo maleje, aby po XVII stuleciu zawęzić się do aktów lokalnej administracji. Głagolica na terenie Chorwacji przeżyła też ewolucję graficzną – z klasycznej okrągłej na kancistą. Z pismem tym wiążą się także początki drukarstwa⁵.

Chorwacka głagolica jako alfabet świecki, narodowy jest obecnie martwa od prawie 400 lat. Pomimo to, ze względu na fakt, że była ona używana wyłącznie w Chorwacji i z uwagi na jej historyczną rolę w kulturze tego kraju, pełni ona funkcję pisma symbolicznego, stając się równocześnie znakiem narodowej tożsamości, synonimem chorwackości. Leszek Moszyński⁶ wśród jej symbolicznych funkcji wymienia następujące znaczenia: symbol narodowej suwerenności, symbol wierności papieżowi, symbol narodowej kultury chorwackiej, symbol szczególnej łaski Zbawiciela, znak prekursorstwa wobec renesansu i zmian wprowadzonych przez Sobór Watykański II.

W Chorwacji w ostatnich latach pojawił się ruch na rzecz ożywienia tradycji alfabetu głagolickiego nazywany *neogłagolizmem*, którego głównym celem jest ponowne wprowadzenie pisma do życia społecznego, chociażby tylko w formie jego pasywnej znajomości, która umożliwi Chorwatom odczytywanie śladów swojej kulturalnej przeszłości.

Jednakże największą rolę w historii języka chorwackiego odegrał sam język cerkiewny. Podobnie jak w innych językach należących do *Slavii Orthodoxa*, także w Chorwacji wykształciła się redakcja, chociaż charakter jej udziału w historii języka znacznie odbiega od statusu i losów cerkiewszczyzny „prawosławnej”.

Specyfika piśmiennictwa chorwackiego w okresie średniowiecza sprowadza się do zjawiska tzw. *trójjęzyczności*, co oznacza fakt występowania tu trzech genetycznie różnych języków literackich: łacińskiego, cerkiewnego i narodowej czakawszczyzny.

Dopiero od XIII wieku redakcja chorwacka ogranicza się do funkcji języka liturgicznego, wcześniej, w wieku XII-tym powstawały w niej także utwory świeckie, np. słynna *Bašćanska ploča*. Tę funkcję przejmuje tu wykształcony w XV wieku język mieszany tzw. chorwacko-cerkiewnosłowiański język głagolickiego piśmiennictwa nieliturgicznego, w którym znaczną przewagę nad cerkiewszczyzną uzyskują elementy dialektów rodzimych – czakawskiego, kajkawskiego i sztokawskiego. Twórcami owego języka byli chorwaccy głagolasze, którzy świadomie wprowadzali cechy języka mówionego, chcąc w ten sposób przybliżyć język cerkiewny i ułatwić jego zrozumienie szerszemu kręgowi odbiorców. Powstanie tego amalgamatu, którego jednak nie można nazwać redakcją, było także możliwe ze względu na specyficzny status języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i jego marginalną pozycję jako języka liturgicznego, w przeciwieństwie do roli, jaką pełnił on u Słowian prawosławnych, u których silne unarodowienie redakcji dokonuje się dopiero w XVIII wieku (Rosja). Język ten, jako pierwszy, miał szansę stać się ogólnochorwackim językiem literackim już w połowie XV wieku. Przyczyną niepowodzenia tego modelu

⁴ Pierwszy zabytek starochorwacki pisany łacinką to *Red i zakon sestara dominikanki u Zadru* z 1345 r.

⁵ Pierwsza drukowana książka chorwacka to *Misal po zakonu Rimskoga dvora* z 1483 r.

⁶ L. Moszyński, *Glagolica, najstarsze pismo słowiańskie, jako symbol*, [w:] *Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie*, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 231–241.

kodyfikacji była ekspansja łacinki, która zajęła tereny należące właśnie do tego pisanego głągolicą języka mieszanego. Wyparcie głągolicy uniemożliwiło tym samym upowszechnienie się języka, w którym tradycja cerkiewna łączyła się z tradycją piśmiennictwa rodzimego. W rezultacie cerkiewnosłowiański – jako składnik języka mieszanego – przestał pełnić funkcję literacką w połowie XVI wieku. Od tego czasu rola cerkiewszczyzny w Chorwacji ograniczyła się jedynie do funkcji liturgicznej. Otworzyło to także drogę dialektom ludowym. Cerkiewszczyzna nie była więc tu, w przeciwieństwie do języków z terenu *Slavii Orthodoxa*, hamulcem rozwoju narodowych standardów literackich.

Tradycję cerkiewną kultywowali i szerzyli w Chorwacji głągolasze, łączący w sobie pierwiastek słowiański i łaciński. Ich oscylacja pomiędzy Zachodem a Wschodem polegała na przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego i otwartości na kulturę zachodnią, choć z drugiej strony wierność słowiańskości, którą uosabiała liturgia i pismo, nakazywała im sprzeciwiać się przyjęciu łaciny jako języka liturgii.

W XVI wieku elementy cerkiewne pojawiły się również w kolejnym języku mieszanym, którym był język piśmiennictwa istryjskich protestantów. Pragnęli oni stworzyć jeden wspólny już ogólno-południowosłowiański język dla różnojęzycznych mieszkańców Bałkanów w celu propagowania reformatorskiej idei protestantyzmu. Język ten łączył w sobie czakawszczyznę, kajkawszczyznę i sztokawszczyznę, a także cerkiewizmy, szczególnie wtedy gdy księgi protestanckie drukowano cyrylicą, chociaż używano też głągolicy i łacinki. Nie bez znaczenia był fakt, że nową ideologię w Istrii podjęli przede wszystkim dawni głągolasze, którzy po dokonanej konwersji weszli tym samym w kolejny krąg *Slavii Reformata*. Język „protestancki” stanowił jedynie krótki epizod w historii języka chorwackiego, wywołał jednakże reakcję Kościoła.

Tradycja słowiańskiego pisma i języka współistniała obok tradycji łacińskiej. Funkcjonowanie łaciny i cerkiewnego różniło się zarówno pozycją jaką zajmowały one na językowej mapie Chorwacji, jak i rolą, którą odegrały w historii języka chorwackiego, a szczególnie w procesie jego standaryzacji.

W porównaniu z innymi językami słowiańskimi na wyjątkowy status łaciny w Chorwacji złożyło się kilka faktów. Przede wszystkim jej długa obecność na tym terenie, bogactwo literackich poświadczeń i pełnione przez nią funkcje. Jako pierwszą z nich niewątpliwie należy wymienić funkcję liturgiczną realizowaną na dużym obszarze ziem chorwackich. Na znacznie mniejszym terenie łacina liturgiczna znalazła się, jak już powiedziano, w konflikcie z cerkiewnosłowiańskim liturgicznym językiem obrządku słowiańskiego. Ich wielowiekowa koegzystencja była ewenementem kulturowo-społecznym w świecie słowiańskim.

W drugiej – literackiej funkcji – łacina pojawia się już w IX wieku jako pierwszy język piśmienniczy na tym terenie, będąc językiem wykształconych elit duchownych. Zawdzięczamy jej zapisy najstarszych dokumentów chorwackich, a występujące w nich niekiedy wyrazy i toponimy słowiańskie, poświadczają równocześnie najstarsze chorwackie zjawiska językowe – sprzed epoki piśmienniczej. Odwołajmy się tu do słów Joanny Rapackiej: „Bogactwo i różnorodność chorwackiego piśmiennictwa łacińskiego od średniowiecza do XVIII w. są ogromne. Składa się na nie piśmiennictwo religijne, filozoficzne, historiograficzne, naukowe i – a może nawet przede wszystkim – literatura piękna, która od humanizmu do XVIII-wiecznego klasycyzmu

stworzyła imponujący, zarówno ilościowo, jak jakościowo, dorobek w zakresie wszystkich gatunków poetyckich: od poematu epickiego do elegii i epigramatu⁷. Za sprawą chorwackiej literatury łacińskiej jej autorzy pretendować mogli do grona twórców kultury europejskiej. Wymieńmy tu tylko poetę Ianusa Pannoniusa-Česmičkiego (XV w.) czy dubrowczanina Rajmunda Kunicia – tłumacza *Iliady* z jęz. greckiego (XVIII w.). Dalmacja i Dubrownik były obszarem, który zarówno ze względu na pierwotny językowy substrat romański, jak i śródziemnomorskie wpływy kulturowe szczególnie kultywował tradycje romańskie.

Poza literaturą, łacina pełniła ważną funkcję państwową jako chorwacki język urzędowy. Rolę tę pełniła najdłużej w Europie, bo aż do 23 października 1847 roku, kiedy to ustąpiła miejsca językowi chorwackiemu. Było to rezultatem uwarunkowań historyczno-politycznych, które zmuszały Chorwatów – pozbawionych suwerenności już od 1102 roku – raczej do trwania przy martwej łacinie niż przyjęcia za język „dyplomatyczny” języków obcych – niemieckiego lub węgierskiego. Tę paradoksalną sytuację skomentował chorwacki polityk i historyk Ivan Kukuljević-Sakcinski w swoim wystąpieniu na Saborze w 1843 roku: „Martwy język rzymski, a żywe węgierski, niemiecki i włoski to nasi kuratorzy. Żywe nam zagrażają, a martwy nas trzyma za gardło”. Jednakże Chorwaci już wcześniej, bo w latach 1832–1836, na Saborze w Preszburgu (dziś. Bratysława) oficjalnie deklarowali, że łacina nie jest dla nich językiem martwym, ponieważ to w niej zostały spisane chorwackie prawa i przywileje, tzw. *nasze prawa* lub *stare prawa*. Język łaciński towarzyszył bowiem narodowi i państwu od początków jego istnienia, a łacińskie dokumenty świadczyły o jego historycznej ciągłości. Był więc on strażnikiem chorwackości i gwarantem integralności państwa zagrożonego germanizacją i madziaryzacją.

Joanna Rapacka wskazuje na jeszcze jedną funkcję łaciny, jako „ponadregionalnego języka Chorwatów, kodu językowego i kulturalnego, w którego wspólnocie odnajdowały swą tożsamość rozczłonkowane ziemie chorwackie”⁸.

Wszystkie te fakty sprawiały, że łacina w Chorwacji miała szczególną pozycję i cieszyła się dużym prestiżem. Była też powszechnie znana wśród szlachty chorwackiej, co wynikało z faktu, że aż do połowy XIX wieku roku była językiem szkolnictwa – w gimnazjach, w funkcji języka wykładowego, używano jej do 1850 roku, zaś w innych instytucjach oświatowych do 1868 roku. Dla porównania język chorwacki jako przedmiot nauczania został wprowadzony do szkół dopiero w 1861 r. Łacina była też w Chorwacji od zawsze językiem nauki.

Język łaciński zmonopolizował w Chorwacji duży obszar życia społecznego. Sprzyjał temu jego charakter jako języka uniwersalnego, neutralnego, nienarodowego czyli „niczyjego”⁹, stąd też był on lepszą alternatywą niż niemiecki lub węgierski, szczególnie w okresie realizacji kolejnych etapów standaryzacji chorwackiego języka narodowego (akceptacji i implementacji). W historii tego zjawiska także łacina odegrała swoją rolę. Bałkany były traktowane przez Rzym i jego instytucję, kongregację *De propaganda fide* jako teren misyjny, który kierował misjonarzy do walki kolejno z bośniackim bogomilizmem, islamem i protestantyzmem. Działalność

⁷ J. Rapacka, *Łacina* [w:] eadem, *Leksykon...*, s. 110.

⁸ Ibidem.

⁹ Tego terminu używa A. Peti-Stantić, *Jezik naš i/ili njihov. Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa*, Zagreb 2008, s. 131–142.

ta postawiła Kościół przed problemem wyboru języka jako skutecznego środka komunikacji na terenie zróżnicowanej językowo trójdialektycznej Chorwacji. Warunki *lingua communis* jako języka „najlepszego, najpowszechniejszego i najbardziej zrozumiałego” idealnie spełniała sztokawszczyzna, której piękność jezuita Jakov Mikalja przyrównywał do piękności dialektu tokańskiego i rzymskiego. Historia języka chorwackiego zawdzięcza mu jeden z pierwszych i najcenniejszych słowników (chorwacko-włosko-łaciński, 1649–1651). Z kolei pierwszą gramatykę, przeznaczoną dla misjonarzy, napisał, także jezuita, Bartol Kašić w 1604 roku¹⁰. Gramatycy i słownikarze chorwaccy nie posiadając rodzimych wzorców odwoływali się do znanych im gramatyk łacińskich, które stały się dla nich punktem odniesienia. Często wpływało to na formę dzieł, ponieważ opisując system swojego języka odwzorowywali go na obcym systemie języka łacińskiego, zaś informacje o różnicach, czyli oryginalne cechy rodzimego systemu przekazywali w formie pouczeń i wyjątków, bądź je pomijali. Język łaciński długo pełnił również rolę metajęzyka w pracach gramatycznych i leksykograficznych, kontynuując tym samym tradycję, z której przecież dzieła te wyrosły.

W kontekście problematyki standaryzacyjnej warto przywołać Anitę Peti-Stantić¹¹, która przypomina traktat Dantego *De vulgari eloquentia* (O języku narodowym) z 1304–1306 roku i prekursorską rolę, którą odegrał w torowaniu językom narodowym drogi do pełnienia funkcji języka literackiego. Autorka podkreśla, że tym samym znacząco wpłynął on na kształt przyszłych procesów standaryzacyjnych we wszystkich językach należących do kręgu *Slavia Romana*.

W XIX wieku chorwacki bp Josip Juraj Strossmayer, twórca idei jugosłowiańskiej, która postulowała narodową, kulturową i językową jedność narodów południowosłowiańskich, w tym także obu Kościołów, wyznaczył szczególną funkcję chorwackiemu głągolityzmowi, który miał się stać ekumenicznym pomostem między Wschodem i Zachodem. Strossmayer nie zdołał jednak, poza chwilowym ożywieniem, w pełni rewitalizować ani obrządku w języku słowiańskim, ani głągolicy, jednakże w wyniku również i jego starań w 1880 roku Cyryl i Metody zostali uznani świętymi Kościoła rzymskokatolickiego. Także dzięki niemu zruszczona w 1631 roku redakcja chorwacka została oczyszczona z rusycyzmów w 1893 roku.

Kultura głągoliczna w XIX wieku była postrzegana jako kultura rodzima i własna w przeciwieństwie do łacińskiej uważanej za obcą¹².

Te dwa przeciwstawne poglądy dowodzą, że zarówno słowiańskość, jak i łacińskość nierozzerwalnie wpisały się w kanon tradycji chorwackiej i stały się oryginalnym wyznacznikiem tożsamości narodowej, nieobecnym w kulturze innych narodów słowiańskich.

¹⁰ Szczegółowo zagadnienia te omawiam w książce *Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej*, Kraków, 2006.

¹¹ A. Peti-Stantić, op. cit. s. 109–113.

¹² J. Rapacka, op. cit., s. 112.

Literatura

- Oczkova B., 2006, *Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej*, Kraków.
- Peti-Stantić A., 2008, *Jezik naš i/ili njihov. Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa*, Zagreb.
- Rapacka J., 1997, *Leksykon tradycji chorwackich*, Warszawa.

Латинские и церковнославянские традиции в истории хорватского литературного языка

Резюме

Дихотомическое деление на *Slavia Romana* и *Slavia Orthodoxa*, выступающее в славянском мире, отражает принадлежность славянских стран к двум разным сферам культурных влияний, критерием разграничения которых была религия. В языковой плоскости реализовалось это в использовании „своих” языков в функции богослужебной, литературной и канцелярской в письменности отдельных славянских народов.

Статья посвящена рассмотрению ситуации в Хорватии, которая – единственная из всех славянских стран – принадлежит равным образом и к *Slavia Romana*, и к *Slavia Orthodoxa*. Вторую из обозначенных принадлежностей воплощает *glagoljaštvo* – явление, базирующееся на культивировании кирилло-мефодиевских традиций (богослужение на славянском языке, церковнославянский язык, глаголица). В свою очередь латинские традиции поддерживаются здесь исключительным статусом латыни – ее длительным присутствием на хорватских землях, богатством литературных свидетельств, а также важностью исполняемых функций (в качестве официального языка до 1847 года).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Olga Pańkowa, Eugeniusz Pańkow

Perspektywa polskości i kresowości w powieści

Z. Żakiewicza *Wilcze łąki*

Saga wileńska Zbigniewa Żakiewicza uplastycznia literackie upamiętnienie Litwy, Mickiewiczowskiej ziemi, nasuwając skojarzenia z „tryptykiem litewskim” Józefa Weyssenhoffa. Ożywiony „kraj lat dziecińczych” staje się „kątem ziemi osobliwym, gdzie przez powietrze i przez serce wiało szczęście” (Kiezuń 2004: 51). W powieści *Wilcze łąki* (1982) Żakiewicz wyznaje, że powraca duchem do krainy nad Wilią, z nostalgią wspomina Wileńszczyznę. „I nie wiem co było pierwsze: tęsknota za utraconą ziemią, tak niepodobną do żadnych znanych mi krain, czy też pragnienie zatrzymania czasu i powrotu do mitycznych początków?” (Żakiewicz 1992: 318). W powieści *Wilcze łąki* pisarz tworzy nacechowany mitycznie obraz „utraconego świata”, który funkcjonuje na zasadzie przypowieści. Pod duchowym patronatem Mickiewicza Żakiewicz otacza obrazki z dzieciństwa aurą malowniczości, kreśląc wizerunek własnej przestrzeni polskości kresowej, odmiennej od konkretnej przestrzeni geograficzno-historycznej, postrzeganej przez pryzmat wzajemnie wzbogacających się perspektyw dziecka i dorosłego. Czas człowieka jest zatrzymany i ocalony w uestetyzowanych figurach literackich (dom, matka, dziecięce fantazje, lęki, skojarzenia).

Zbigniew Żakiewicz bezpośrednio nie ukazuje się czytelnikowi. Pisarz sięga do samej tkanki dzieciństwa, odtwarza sposoby dziecięcej percepcji z jej niezracjonalizowanym, magiotwórczym, dociekliwym podejściem. Kraina dzieciństwa, wywieziona na poły z wyobraźni, jest ukazywana z perspektywy siedmioletniego dziecka, dziecka-narratora zapewniającego autentyczne, pełne poznanie urody świata. I to właśnie dziecko potrafi wydobyć z codzienności poetyckość i baśniowość. Dziecku się na to pozwala, i nikt go o nie nie posądzi „czy sen to wszystko, czy prawda” (Żakiewicz 1992: 99); kształtuje się współistnienie świata onirycznego, imaginacyjnego i rzeczywistości, prozy życia. Potwierdza się prawda przeżyć dziecięcych, ważność kategorii „inności”, spontanicznych emocji i autentycznych doznań zmysłowych.

Ryś Wołczacki jest zauroczony początkiem siebie, swego istnienia, jest obdarzony zdolnością do autorefleksji. Skłonność do fantazjowania i upiększania rzeczywistości krzyżuje się z procesem konstituowania osoby, dążeniem do określenia własnej tożsamości. Mistyczna „duchowość” dziecka przemawia za końcem

dzieciństwa, każe mu być odmieniecem w otaczającym świecie. „A ja jestem mały-dorosły, bo dorosłem do wieku rzeczy. Ale małym pozostanę na zawsze. Małym, bo jakże inaczej może być? Przecież nie spuchnie mi głowa, włosy nie osiwieją, na twarz nie wysypie się twarda szczecina. I brzuch mi nie spotężnieje, jak ojcu... A jeśli to się stanie, wówczas ja nie będę sobą, tylko kimś takim, jak mój ojciec i jego kolega [...] Chyba że urosnę, ale wtedy umrę ja w sobie, bo wszystko we mnie umrze. I będę nosił w sobie umarłego siebie. I będę o takim umarłym wspominał, udając, że on żyje we mnie. Ale ja będę umarły...” (Żakiewicz 1992: 42)

Problemowa i artystyczna perspektywa mitu powrotu do dzieciństwa zdominowała literacką wyobraźnię Żakiewicza. Powieść *Wilcze łąki* jest napisana stylem skojarzeniowo-fantastycznym, wyobraźnia narratora balansuje na granicy realności i baśni, ludowych wyobrażeń, snu. Prawdziwym obrazem świata są – rzecz dziwna – wrażenia zapachowe, dźwięki, ulotne znaki odbierane przez wszystkie zmysły. Dzieło Żakiewicza jest dwupłaszczyznowe, ujawnia, że poza światem rzeczywistości realnej jest świat rzeczywistości idealnej, zmetaforyzowanej. Świat ludzki i zwierzęco-roślinny stapiają się w jeden wspólny byt. *Wilcze łąki* stanowią przestrzeń postrzeganą przez sensualistę, bystrego obserwatora, plastyka: „Lipy kwitną drobnutko i miodnie, pszczoły buczą jak zepsute organy [...], z trawy kadzi aromatem przegrzanego kminku, gorzkawego mleczu i słodkawych bylin” (Żakiewicz 1992: 8), „oczy jak len kwitnący” (Żakiewicz 1992: 13), „czuje zapach gnijących liści, świeży trop kotki i wiewiórczy odor” (Żakiewicz 1992: 23), „Czerwonym i rudym płomieniem wybuchały klony, brzozy płonęły jak wielki słońceznik, przy ziemi szły rude trawy i wrzosa” (Żakiewicz 1992: 100), „piwonie kwitną, krakowianki łebkami kiwają, srebrzysta mięta i ruta świeżością oddycha” (Żakiewicz 1992: 65), „dygotanie”, „tykanie”, „rypanie” (Żakiewicz 1992: 16). Przyroda zyskuje dodatkowo cechy ludzkie, staje się emblematem miejsca utraconego i odzyskiwanego.

„Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągniętych” (Mickiewicz 1984: 6)

„Upsychiczniony” pejzaż litewski stanowi u Mickiewicza odrębność historyczno-kulturową oraz nastrojowo-emocyjną. Żakiewicz kontynuuje tę tradycję, aktualizuje i uwypukla sposób pisania z pamięci, która chłonie i pielęgnuje barwy, zapachy, dźwięki, kształty. Nawiązując do *Pana Tadeusza* Żakiewicz sugeruje, że krajobraz jest składnikiem świadomości zbiorowej, rekwizytem kulturalnie złożonej całości. Krajobraz przybiera postać partnera bohatera-narratora, ewokuje atmosferę zaufania do świata, wyciszenia grozę istnienia, kształtuje subtelną impresję liryczną. Mickiewiczowski „uroczysty obrzęd grzybobrań” (Mickiewicz 1984: 79) w powieści *Wilcze łąki* przekształca się w paradę wojska, niesie w sobie zarówno element zabawy dziecięcej, jak i rekwizyty kulturowej polskości, przeszłości narodowej (strzępki piosenek patriotycznych, „szabla oficerska i rogata czapka” (Żakiewicz 1992: 60), postaci Piłsudskiego, Napoleona, Płatonowa, Józefa Zienkowicza).

Rysio Wołczacki przekłada Mickiewicza na język własnej wyobraźni. W pierwszym szeregu ustawia rydze („Niewysocy są, krępi, krzepcy na podziw i zdrowi”

(Żakiewicz 1992: 86)). Rydz w świadomości dziecka został skojarzony z postacią marszałka Śmigłego-Rydza.

„Marszałek Śmigły-Rydz,
Nasz drogi, dzielny wódz”...

„Dlaczego rydz jest śmigły? Śmigło śmiga i rydz staje się marszałkiem. Idzie przez las ogromny pomarańczowy rydz, wszyscy stają na baczność, nawet bure wilki, bo rydz jest marszałkiem” (Żakiewicz 1992: 27). Wspomniana przygoda językowa zapowiada zwrot Żakiewicza do martyrologiczno-romantycznego wzorca wojownika, sugeruje perspektywę kolejnych wypróbowań i spustoszeń moralnych. Manewry Rysia dzięki swemu baśniowemu wartościowaniu łagodzą dramatyzm ziemi, która jest na wskroś przeszyta strzałami i kulami dawnych wojen, jest przepełniona krwią przodków. *Wilcze łąki* tworzą mitologię kresów wschodnich, przybliżają polsko-litewsko-białoruskie pogranicze, pobudzają do refleksji nad legendarną przeszłością Litwy. Żakiewicz usiłuje uchwycić odrębność kultury miejscowej, kultury o szczególnym typie wielości. Pisarz krzyżuje różne zjawiska o charakterze kulturalnym, obyczajowym i językowym. Bytowanie dialogowe odtwarza barwną, wielotonową rzeczywistość Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Obserwując świat, postrzegając go wyostrozonymi zmysłami, Wołczacki poszerza swój horyzont poznawczy, silnie wyeksponowany egzystencjalnym momentem samoświadomości. „Jest tak, jakbym przed lustrem stał, w sobie był skryty, przez siebie odczuwany i przez tego drugiego siebie w lustrze oglądany. A gdy jeszcze lustro do tego lustra się przystawi, wówczas otwierają się stopnie lustrzane w głąb wiodące. Stopień po stopniu – a w każdym ja jestem wtopiony jak mucha w żelatynie” (Żakiewicz 1992:41). Motyw lustra akcentuje cechującą osobę dziecka dwoistość, ujawnia jego predyspozycje psychiczne. Poza tym Żakiewicz dokonuje nawarstwienia luster, transformując je w swoisty labirynt. Bohater-narrator przechodzi przez zwierciadło i obserwuje zakątki własnej duszy. Podobno Alicji (bohaterka książki Lewisa Carrola *O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra*) poddaje się on magnetycznemu oddziaływaniu snów i marzeń, wykracza poza granice świata logicznie uzasadnionego, widzianego, akceptowanego przez dorosłych. Rysio Wołczacki, chłopiec „pełen lęków, trwogi i przerażenia” (Żakiewicz 1992: 90) czuje w sobie ogromną moc i siłę kreacyjną. Wśród pytań, które go nurtują, a na które on nie umie odpowiedzieć, jest także pytanie: „czy czasami sam dla siebie świata nie wymyślam i otworzywszy oczy nie stwarzam go...” (Żakiewicz 1992: 90). Rysio usiłuje uniezależnić się od dorosłych, dokonując autorefleksji, on jednocześnie bada świat, usiłuje usystematyzować zjawiska trudne do zdefiniowania. W stosunkach międzyludzkich bohater ciągle wyczuwa jakąś dysharmonię: brak miłości między rodzicami, wzajemne relacje między szlachtą a chłopami, między Polakami, Białorusinami, Żydami a Tatarami, bogiem tutejszym a nietutejszym. Doświadczenia koegzystencji obok siebie różnych narodowościowo-językowych i historyczno-kulturowych modeli przestrzeni stanowią dla dojrzewającego chłopca źródło niepowtarzalnych przeżyć. Rozbrzmiewający na różne głosy świat dzieciństwa jest ukazany z perspektywy polskości i kresowości zarazem. Kresy wschodnie przedstawione są jako konglomerat etniczny, religijny i kulturowy.

Rysio Wołczacki chłonie wrażenia płynące z otaczającego świata i nie odróżnia baśni od rzeczywistości. Wśród dziadów, czartów, diabłów, jak również aniołów, przeżywając „baje i bajki” Mańki, bohater powieści *Wilcze łąki* staje się pierokid-niem-wilkołakiem. Wołk-Wołczacki skupia w sobie cechy charakterystyczne dla pogranicza etnicznego, prezentuje się poprzez swoją odmienność i swoistość. Jego wilk czasem przemienia się w węża symbolizującego życie i wieczny porządek odrodzenia, cykliczność wydarzeń życiowych. Tak wilk, jak i wąż stanowią centrum zabiegów mitotwórczych Żakiewicza, są to postacie kluczowe dla zrozumienia postawy ideowej i światopoglądu artystycznego autora. To symbole świata „tutejszych”, zachowujące ścisły związek z mitologią litewską. W utworze wyczuwa się tonacja *Sonaty węzowej* Mikolajusa Čiurlionisa, wpisanej w przestrzeń mitów starożytnej Litwy. W „tutejszości” „wzmacniało się przeświadczenie o dziedzictwie kulturowym i historycznym byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz poczucie wspólnoty losów historycznych” (Bujnicki 2007: 6).

Zanurzony „w światło suońca, słońca, sołnyszka” (Żakiewicz 1992: 60) Wołk-Wołczacki mentalnościowo ewoluuje w stronę „tutejszości” jako kultury o szczególnym typie wielości. „Polacy – Białorusini, Białorusini – Polacy – płacze mi się w głowie. – Jestem Polakiem, ale nie takim, jak Kałapierdon i ci spod Warszawy” (Żakiewicz 1992: 65). „Polak mały” jest zauroczony mową Krzywonosy, Mańki, Bazyluka. Są oni są bliscy jego sercu, które zawsze będzie wracało tam, gdzie ujrzał świat. Babuleńka-dziewczyna słowami A. Mickiewicza powie Rysiowi: „Tutejszy ty i jak zdrowie my dla ciebie. Kiedy nas stracisz, dyk za nami zatęsknisz” (Żakiewicz 1992: 98). Z doświadczenia sytuacji pogranicza wyrasta religijność chłopca – swoisty duchowy uniwersalizm oparty o wielowiekowe tradycje: „– Łaba diena. I modli się, ni to po tutejszemu, ni to po litewsku: – Otcze nasz, czto jeśi na niebiesi... – Tewe musu kurs esi danguja... Sweika Maria małonies piłnoji...” (Żakiewicz 1992: 99).

Powieść Zbigniewa Żakiewicza *Wilcze łąki* jest napisana przede wszystkim „dla «ziemlaków» – dawnych i dzisiejszych mieszkańców historycznego już Wielkiego Księstwa Litewskiego” (Żakiewicz 1992: 319), ma przekazać efekty wielojęzyczności, odmienności kulturowe i obyczajowe kraju, o którym Mickiewicz napisał: „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie [...]” (Mickiewicz 1984: 6).

Literatura

- Bujnicki T., 2007, *Miasto w tyglu kultur*, [w:] T. Bujnicki, K. Zajas (red.), *Wilno literackie na styku kultur*, Kraków, s. 5–10.
- Kiezuń A., 2004, *Mickiewiczowskie inspiracje w powieściach Józefa Weyssenhoffa*, [w:] *Śladami tradycji*, Białystok, s. 109–121.
- Mickiewicz A., 1984, *Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie*, Warszawa.
- Żakiewicz Z., 1992, *Wilcze łąki*, [w:] Z. Żakiewicz, *Saga wileńska*, Gdańsk.

Польский и пограничный характер романа З. Жакевича *Волчы луга*

Резюме

В статье раскрывается этнопсихологическая неповторимость и культурная множественность „пограничья”, „тутэйшасці”. Внимание авторов концентрируется на взаимодействии культурных, языковых дискурсов, а также на эстетическом изображении судьбы героя-рассказчика в пространственной форме романа З. Жакевича *Волчы луга*.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Ксения Викторовна Пьянкова

Символика и обрядовые функции неполноценной пищи в русской культурно-языковой традиции (на славянском фоне)*

В народной культуре пищевой код является одним из самых символически нагруженных предметных кодов. Различные виды пищи, ее свойства, действия по ее приготовлению получают семиотические функции не только в семейных, но также в календарных аграрных и скотоводческих обрядах. Если представить те виды, на которые традиционно делится пища, то, например, помимо кислой, соленой – сладкой, постной – скоромной, можно выделить и вкусную – невкусную пищу, а все предметы внешнего мира разделить на съедобные и несъедобные (ср. название одной из детских игр *съедобное – несъедобное*). Очевидно, что знаковым статусом должны наделяться не только «нормальные» блюда и продукты (хлеб, соль, пиво, каша и т.п.), но и пища, которая по своим вкусовым свойствам не соответствует кулинарным нормам (тем более, что, как известно, негативное предстает в языке и культуре ярче и разнообразнее, чем позитивное).

Какие блюда можно считать неполноценными? Во-первых, те, что обладают низкими вкусовыми качествами по сравнению с другими блюдами, т. е. постные, пресные, жидкие, ср. рус. литер. *балáнда* 'жидкая похлебка из плохих продуктов', рус. арх. *рататá* 'пустой суп' – «Ратата в войну: картошка, травка, а мяса нет» (КСГРС), рус. волог. *другодáн* 'пиво небольшой крепости, второго сорта' (СРГК 2: 5). Во-вторых, это блюда, которые изготовлены с нарушением технологии приготовления – сырые, недоваренные, подгоревшие блюда, пересоленная или слишком острая пища (рус. волог. *будетéня* 'о плохо приготовленной пище' – «Наварено, что будетеня, худой суп» (СРГК 1: 145), рус. новг., ленингр. *недосóль* 'о чем-н. недостаточно соленом' (СРГК 3: 405), мурман. *жгучий* 'вызывающий чувство жжения, горьковатый (о вине)' (СРГК 2: 43). Наконец, в некоторых игровых обрядовых ситуациях вместо

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке госконтракта 14.740.11.0229 на проведение НИР в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" (тема «Современная русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении»).

пищи подаются совершенно несъедобные вещи, например, лед, зола, навоз. Во всех перечисленных примерах на оценку пищи как некачественной, неполноценной указывают иронический контекст обряда, наличие семантического противопоставления качественного и некачественного блюда, а также рефлексия участников обряда.

Материалом для исследования послужила в первую очередь русская культурно-языковая традиция, менее регулярно привлекались украинские, белорусские, а также западнославянские данные. Анализируя акциональный код культуры и функционирующие в рамках обряда вербальные единицы, проследим, какие именно функции и в каких ситуациях приписываются неполноценной пище¹.

Выпроваживание, «разгон». В русской традиции был широко распространен обычай подавать в конце трапезы разгонное блюдо, которое намекало гостям, что обед завершается (см.: Пьянкова 2008; Морозов 2008). С этой целью хозяева иногда выносили именно неполноценную пищу: булочки без начинки (рус. волог. *розгоня* (Макашина 1999: 3)), пирог без начинки (рус. яросл. *погоняло* (ЯОС 8: 19)), ржаные пресные лепешки (рус. волог., сев.-двин. *выгонцы* (СРНГ 5: 268)), сырого гуся (рус. волог.: Лаврентьева 1990), краюшку сухого хлеба (рус. среднеурал.: ЭИС 2: 98), плохое пиво (рус. яросл.). Разгонная символика этих блюд обусловлена именно некачественностью, которая противопоставляла их полноценной пище, подаваемой в ходе трапезы (здесь уместно вспомнить ту «функцию», в которой в современной культуре используются тухлые яйца и помидоры).

Демонстрация социального неприятия, отказ. Если неполноценное блюдо выносилось не в конце трапезы, а в ее начале или в разгаре обеда, это могло интерпретироваться как неприятие и осуждение гостя. В Заонежье на Масленицу теща могла выразить неудовольствие зятем, приготовив для него вместо блинов или сладких вареных пирогов в масле постные ржаные блины (Лаврентьева 1990б: 47). И сейчас скудное угощение или тонко нарезанный хлеб могут быть восприняты гостем как знак недовольства со стороны хозяина: угощение желанного гостя должно быть обильным. У русских крестьян угощение жирным блюдом, обильно политым маслом, считалось проявлением любви и уважения – согласно каргопольскому анекдоту, теща, угощая зятя блинами, ставила сковородку так, чтобы масло стекало к любимому зятю (БДКА, д. Заляжье).

Семиотически «выпроваживанию» близка ситуация отказа. Одним из ярких примеров народной формы отказа является отказ при сватовстве. Если родители невесты не давали согласие на брак, то, во-первых, не принимали

¹ Довольно большую и самостоятельную тему представляет собой изучение наименований неполноценной пищи, их мотивационных связей и культурных коннотаций. Здесь могут быть рассмотрены семантико-мотивационные связи лексем, обозначающих постные, жидкие супы, жидкие, некачественные напитки, номинации острой, горькой, пересоленной пищи. Ср. семантические модели «бедность, голод» → «жидкий, постный суп» (рус. костром. *нужда́* 'кушанье из картофеля с луком, сваренных в соленой воде' (СРНГ 21: 312)), «жидкая, плохо приготовленная похлебка» → «жидкая грязь» (рус. волог. *бурдома́га* 'плохо приготовленная похлебка', 'мутная грязная вода, болотная жижа' (КСГРС), польск. диал. *bruja* 'густой суп или жидкая пища, которая должна быть густой', 'жидкая грязь' (Вақ: 99)) и т. д.

пищу, которую сваты принесли с собой, и не выставляли свое угощения, а вторых, могли «попотчевать» гостей чем-л. не очень вкусным и небогатым. Кашубы неудачливым сватам давали ржаную кашу без молока (кашуб. *čarnėe krěpě* (Sychta II: 247)); поляки, белорусы и русские – черную похлебку (это могла быть кровавая похлебка или щи без жира и сметаны), ср. польск. *szara polewka* (*szary barszcz*), *czernina* (Kolberg 28: 131), рус. диал. *налить черных щей* ‘отказать при сватовстве’, белор. *даць чорнай поліўкі* (Березович 2007: 354; см. там же и о других «пищевых» формах отказа при сватовстве). На Русском Севере сватам в случае отказа выливалась в сапоги опара или гуща, т. е. выносился «полуфабрикат» вместо готового хлеба или пива, которыми угощали в случае принятия предложения.

Средство ритуального осмеяния, осуждения. Если угощение полноценной пищей считалось знаком уважения, почета, то неполноценная использовалась как средство ритуального осмеяния. Например, особое «блюдо» готовилось гостям, не пришедшим вовремя. В Пермском крае их заставляли хлебать *мешанину* или пить *крошки* – смесь из хрена, горчицы, перца и «всякой ерунды» или замоченные в водке крошки хлеба со свадебного стола: «На другой день опоздавшим пить подают – крошки крошат, чуть ли не плюнут, сопли насморкают. Дают им мешанку, пряники, малину в кружку, пиво, брагу, велют выпить до дна, чтобы зла не оставлять, это штрафная» (Карагайская сторона: 213).

На свадьбе кулинарный код использовался для подшучивания над невестой и ее трудовыми навыками: в Прикамье специально пересаливали пищу, утверждая, что невеста не умеет готовить: «Жених приехал, сам пересолил всё и сказал: “Ничё не умеет молодая делать. И мать не умеет делать, и она сама. Давайте воды”. Попробовал питьё, опять: “И даже вода-то у них соленая”»; «На свадьбу шафер привёз соль и всё пересолил, а всё равно всё съели, выхлебали» (В каждой деревне... 2007: 143). В Пермской области, когда молодые на Масленной неделе носили на угор печенье или пряники, «увидевшие их, кричали: “Ой, смотрите – молодушка вшивые пряники принесла, вшивые пряники принесла”. Невеста же должна была угощать ими гостей» (Усольские древности).

В ситуации осуждения – осмеяния пища выступает как эвфемистическая замена вербального кода. Через пищевой код оформляется сообщение о честности – нечестности невесты. При этом используются пищевые знаки, аналогичные тем, что употребляются при выпроваживании гостей или сватов. Подается невкусная, негодная к употреблению пища: родителям нечестной невесты или самой невесте дают кашу, посыпанную мякиной; выносят пирог с лучиной, тараканом (Лаврентьева 1990: 45–46); жених подносит теще воду вместо водки (Свадебные обряды в Ольгопольском уезде 1896: 519, 521), брагу или вино низкого качества (см. рус. диал. *ивáшка* – «Что касается до отца и матери провинившейся дочери, то подносят им не вино, а бражку, да и ту ивашку, при том в продырявленном снизу стакане» (СРНГ 12: 57)), сухой пирог (рус. арх. «Свёкру больше пекли пирог. И он с этим пирогом ходит, засушит его и на стол молодиче кинет <если нечестная>» (ЭК ТЭ)). В Архангельской области, если свекор был недоволен невестой, ставил ей отруби, смешанные

с сурепкой² (ЭК ТЭ); на Украине нечестную невесту угощали луковицей (Магрицька 2003); в Болгарии – холодной, соленой ракией с горьким перцем (СД 4: 63).

Употребление пересоленной или слишком острой пищи, будучи сопряженным с определенными физическими страданиями, может символически интерпретироваться как знак искупления вины, присоединения к страданиям другого. Так, в родильном обряде коннотациями мук и страданий нагружается пересоленная или слишком острая пища. На обеде в честь рождения ребенка отцу преподносят смесь соли, хрена и перца с вином и брагой или просто сильно пересоленную кашу (рус. *крестильная каша (сбитень)* (Даль 2: 192), рус. нижегор., пенз. *пересол* (СРНГ 26: 225)), которую он должен съесть в знак присоединения к страданиям роженицы. Угощая кашей с солью, повивальная бабка приговаривала: «Солоно и горько рожать» (Даль IV: 268). Функции пересоленной, слишком острой и горькой пищи находят параллель в языковой семантике лексем с первичным значением 'соленый', 'острый', 'горький'. Слова этой тематической группы обладают коннотациями «тяжелый, трудный, неприятный», ср. рус. литер. *солоно прийти* 'о выпавших на долю кого-л. тяжелых жизненных обстоятельствах, неприятностях, обидах и т. п.' (МАС 4: 192), рус. карел. *поглотать горького* 'испытать нужду, несчастье' (СРГК 4: 605); *Надоел ты мне как горькая редька* (Даль I: 383).

Неполноценная пища является символически нагруженной в ритуалах гаданий, элементы которых сохраняются и в современной практике. В Усольском районе Пермского края первое посещение молодоженами родителей невесты называлось *ходить на пельмени*. Теща угощала зятя пельменями, а один из них наполняла картофелем, чесноком или тестом: если попался горький пельмень (с чесноком), это предвещало несчастье, если с тестом – богатство (Усольские древности: 111). Символика горького пельменя напрямую продолжает языковую семантику *горького* «тяжелый, доставляющий горе, несчастья». У русских до сих пор популярен обычай лепить *счастливого пельменя* – в последний изготовленный пельмень закладывают какую-либо необычную начинку: перец, сало, монетку или даже пуговицу: считается, что человек, которому этот пельмень попадется, будет счастлив. В данном случае мотив несъедобности возникает как народное переосмысление мотива наделения счастливым предметом³ (монета → что-л. несъедобное) и при этом становится ведущим в современной народной культуре.

Характерными для наименований неполноценной пищи являются эротические коннотации. Через ненормативную лексику может описываться жидкий, постный суп и его приготовление, ср. севернорус. *матюк* 'жидкий суп' (КСГРС), польск. диал. *pitolić* 'coire', 'плохо готовить', *pituch* 'жидкое блюдо из картофеля' (Karłowicz 4: 113), рус. диал. *щи, хоть муде полощи* (Тенишев 2006/2/1: 146). Появление жидкого супа к обеду воспринимается как своего рода подмена: вместо сытных, наваристых щей человек получает «куиш», ср. *Ритатуй, ритатуй, посередке х...!* (КСГРС).

² Полевое растение семейства крестоцветных.

³ См. Морозов 2008: 21–21 о мотиве найденного в ритуальном блюде «счастливого» предмета, который интерпретируется как мотив «доли» («судьбы»).

В свадебном обряде неполноценная пища также приобретала эротическую символику. В Пермском крае на свадьбу готовили *смешные пироги* – пироги с малосъедобной начинкой – целой морковью, яйцом, картофелинами (а иногда и лоскутом от шубы). Пищевой «намеком» вполне однозначно прочитывалась гостями: «После свадьбы-то всё хорошие пироги пекли, а тут тётка пришла и навставляла во пироги всякую ерунду, чтобы они смешные были, то морковь вставит, то яйцо воткнёт, пирог-то сам с ладонь, она их разломит, они с мясом, туда вставит всё, защипнёт. Ты пирог берёшь, начинаешь есть, а он разламывается» (Усольские древности: 106). В д. Ст. Пашня на свадьбу «...для шутки пирог делали, внутрь запекали морковку и две картошины. Его принесут, невеста корочку снимет, а там морковка. Вот смеху-то. Морковку заставляли еще съесть. В пирог запекали шубный лоскут, две картошки, морковки. Заставляют жениха разрезать корку, снимать, глядеть, что там есть. По корочке, по краешку все должны взять, съесть» (Карагайская сторона: 214).

В славянских свадебных обрядах некачественность с ритуальными целями могла приписываться хорошей пище. Для «подслащения» горьких блюд, т. е. заставляя молодых целоваться, русские кричат «Горько!», поляки, когда подается свекольный борщ или капустняк, – «Gorzki barszcz, gorzki!» или «Gorzka kapusta!» (Dworakowski 1935: 80), кашубы – *goŕkå kava* <горький кофе>. В Пермской области гости кричат молодоженам: «Ой, вино, вино, вино, не прокисло ли оно?»; «Пиво нецежено»; «Ой, хлам попал, пиво нецежёное, цедите пиво» (ЭССТ: 111); «Тараканы нападали (в вино)» (Юрлинский край: 71). На Русском Севере молодым говорили, что «каша бессолая» и они, целуясь, *солили кашу* (КСГРС): «Невеста все стоит и кланяется, принесут кашу и говорят ей: «Соли»; добиваются, чтоб поцеловала» (СРНГ 39: 265).

Кроме перечисленных символических функций неполноценной пищи, по языковым, фольклорным и обрядовым данным прослеживается мотив подмены съедобного несъедобным. Так, на Русском Севере среди святочных развлечений распространена забава продавать соль по избам (вместо соли ряженные носили лед) (ДКСБ: 190), угощать девушек сахаром – вместо него также приносили лед или замерзший лошадиный навоз (Там же), торговать мукой или рыбой, рассыпая снег и разбрасывая мусор по комнате («Наберет в мешок снегу и придет на вечерку “мукой торговать”, среди комнаты высыплет мешков пять снегу и уйдет, а вслед за этой толпой прибежит другая “с рыбой”, т. е. со всякой дрянью в мешках и, подобно первой, оставит ее на полу» (Зобнин 1894)), мешать сметану, разбрызгивая сажу с водой (волог. «Сметаншики придут, замазаны сажей...»; «Сметану мешают да сажей брызгают, что не отмыть. Сметаншики» (ЭК ТЭ)).

В этих забавах зачастую буквально расшифровывается внутренняя форма языковой метафоры или эвфемизма. Например, устойчивой семантико-мотивационной моделью является метафорический перенос 'кормить чем-л.', 'печь что-л.' → 'бить, ударять', ср. рус. калуж. *пирог* 'удар, тумак' (СРНГ 27: 41), вят. *блинками кормить* 'награждать пинками' (СРНГ 3: 25), арх. *алабыш* 'блин', 'удар, оплеуха' (СРНГ 1: 229); *Š* готовить что-л. из несъедобных или не существующих компонентов *Š* → 'обманывать *Š*', ср. *варить кашу на*

мазуриках 'обманывать, обсчитывать' (НОС 1: 108). Среди русских святочных развлечений была распространена забава *печь блины* (Морозов, Слепцова: 521) или *шаньги*: переодевшиеся парни пугали девушек и били пойманных деревянной лопатой – «В избу вваливалась ватага ряженных во главе со "стариком", в руках которого была обмороженная деревянная лопата. После обычных приветствий старик спрашивал у старухи: "А не пора ли *шаньги печь*?" – "Пора, батюшко, пора!" После этих слов несколько человек из ватаги бросалось к визжащим и разбегающимся девушкам, подводили их по очереди к старухе со стороны спины и заставляли положить руки ей на плечи, после чего старуха наклонялась, и девушка, поддерживаемая кудесами, оказывалась лежащей у нее на спине. Старик махал лопатой, крича: "У-у-у! Вот сейчас *шаньгу спечём!*" <...> Попугав девушку, поддавал ей лопатой – "если нелюба, то сильно: таку *шаньгу съест*, что еле с бабки слезет". Так продолжалось, "пока всех девок не *перепекут*". В некоторых деревнях так наказывали девушек, опоздавших на беседу» (Там же: 605–606).

Мотив пищевого обмана – подмены встречается и в русских сказках (например, «Шиш и трактирщица»), повествующих о том, как солдат (Шиш) подменяет в печи жареного петуха (гуся) лаптем. Заметим, что и в фольклорных текстах, и в языке «пищевые» свойства чаще всего приписываются именно лаптю, видимо, как «самому несъедобному» из бытовых вещей. Помимо упомянутой сказки можно вспомнить ряд поговорок, утверждающих съедобность лаптя (*В меду да в масле лапоть съешь; В сахаре отопок сваришь, и то сладко* (Даль 2: 625); *С медом съешь и осметок* ('изношенный лапоть') (Калачев 2\2: 196) и до сих пор бытующие в русском языке наименования выпечки (ср. рус. разг. *тульские лапти* 'небольшие пирожки из незатейливого теста с любой начинкой', *лапти с черносливом* 'жареные кусочки теста из вареной картошки, масла и муки с черносливом внутри', *лапти* большие плоские жареные пироги'). В Костромской губернии зять на свадьбу подавал новой теще лапти или сапоги со словами: «Вот тебе, теща, лапти, пеки про зятя лепешки да мажь масленее» (Тенишев 2004/1: 61), т. е. как бы обменивал лапти на будущие пироги.

Помимо лаптя другим псевдосъедобным компонентом блюда может быть топор или гвозди, ср. *варить топор* 'о полном отсутствии съестного' – «Ничиво нету – ну и вари топор» (БТДК: 67), *жареные гвозди* 'об отсутствии съестного' – «Ждут дети жаринава. А я гаварю: "На третья жарины гвозди"» (БТДК: 105), *жарить топор с долотом* 'о невозможности приготовить какую-то особую пищу' (БТДК: 151), *колун варить* 'варить пустой суп' – «Рыбака душа не морит: рыбы нет – колун варит» (НОС 2: 93). Этот же сюжет ложится в основу русской сказки о солдате, варившем кашу из топора.

Пищевые «аномалии» оказываются для традиционной культуры не менее значимыми, чем пищевые нормы. Очевидно, что ряд перечисленных видов неполноценной пищи и их функций достаточно неоднороден. Хотя мы старались рассматривать только те ситуации, для которых решающим мотивом появления того или иного знака явилась именно некачественность и несъедобность, многие функции неполноценной пищи предопределены ее специфическими свойствами: может так или иначе оцениваться жидкая

консистенция, непитательность, острота или нестандартность состава (например, функции пересоленной пищи во многом предопределяются собственно символикой соли).

Обращение к диалектным языковым данным и традиционным культурным практикам показывает, что символическую нагрузку такая пища получает, прежде всего, в семейной обрядности. Большую часть ситуаций, где проявляются символические функции неполноценной пищи, характеризует общий иронический контекст, а также семиотическая противопоставленность полноценной – неполноценной пищи: каравай хлеба выносят при встрече – сухую корку при проводах; богато угощают сватов при согласии – постную кашу выносят при отказе; если невеста нечестная – жених подносит теще не водку, а воду и т.п.

Неполноценная пища фигурирует в нескольких культурно-языковых сюжетах. Во-первых, ей угощают провинившихся с целью осмеяния, осуждения, а также преподносят с целью выпроваживания, демонстрации социального неприятия. Во-вторых, пересоленная или слишком острая пища употребляется как знак присоединения к телесным и духовным страданиям. В-третьих, неполноценность может ритуально приписываться пище как шутливый намек или эвфемизм, побуждающий к действию (часто эротического характера). Наконец, в игровых ситуациях, в фольклорных текстах встречается мотив подмены пищи не-пищей – предметом или действием (ср. накормить блинами – ударить).

Семиотически важной неполноценная пища становится в ситуациях особого рода – коммуникативно неприятных, неудобных с этической точки зрения. В них она выступает как своего рода эвфемизм – замена вербального знака, который не может быть произнесен, поскольку нарушает заповеди народной этики (ср. выпроваживание гостей, осмеяние опоздавших).

Бібліяграфія

- Бак Р., 1960, *Słownictwo gwar okolic Kramska na tle kultury ludowej*, Wrocław.
- Dworakowski S., 1935, *Zwyczaje rodzinne w powiecie wysoko-mazowieckim*, Warszawa.
- Karłowicz J., 1900–1911, *Słownik gwar polskich*, t. I–VI, Kraków.
- Kolberg O., 1961–2001, *Dzieła wszystkie*, t. I–LXXV, Wrocław–Poznań.
- Sychta B., 1967–1976, *Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*, t. 1–7, Wrocław.
- БДКА – Каргопольский архив этнолингвистической экспедиции РГГУ (лаборатория фольклора РГГУ, Москва).
- Березович Е.Л., 2007, *Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования*, Москва.
- БТДК – Большой толковый словарь донского казачества, 2003, Москва.
- В каждой деревне... – Подюков И.А., Поздеева С.М., Хоробрых С.В., Черных А.В., 2007 (рукопись), *В каждой деревне что-то да разное. Из кунгурской семейной традиции (двадцатый век)*, Пермь.
- Даль В.И., 1955, *Толковый словарь живого великорусского языка*, 4 т., Москва.

- ДКСБ – Морозов И.А., Слепцова И.С., Островский Е.Б. и др., 1997, *Духовная культура Северного Белозерья: Этнодиал. словарь*, Москва.
- Зобнин Ф., 1894, *Из года в год (описание круговорота крестьянской жизни в с. Усть-Ницинском Тюменского округа)*, «Живая старина», вып. 1, с. 37–64.
- Калачев 2/2 – *Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачевым*, 1854, кн. 2 (половина 2), Москва.
- Карагайская сторона – Подюков И.А. (сост.), 2002 (рукопись), *Карагайская сторона*, Пермь.
- КСГРС – *Картотека Словаря говоров Русского Севера* (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).
- Лаврентьева Л.С., 1990, *Хлеб в русском свадебном обряде*, [в:] *Этнокультурные традиции русского сельского населения XIX – начала XX в.*, вып. 2, Москва, с. 5–66.
- Магрицька І., 2003, *Словник весільної лексики українських східнословобжанських говірок (Луганська область)*, Луганськ.
- Макашина Т.С., 1999, *Застолья в вологодском свадебном обряде*, «Живая старина», № 3, с. 2–4.
- МАС – *Словарь русского языка*, 1981–1984, 4 т., Москва.
- Морозов И.А., Слепцова И. С., 2004, *Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.)*, Москва.
- Морозов И. А., 2008, *Обычаи, верования, магия, связанные с началом и завершением трапезы*, [в:] *Традиционное русское застолье: сборник статей*, Москва, с. 16–35.
- НОС – *Новгородский областной словарь*, 1992–1995, вып. 1–12, Новгород.
- Пьянкова К.В., 2008, *О каше-разгонихе и киселе-выгонщике*, «Живая старина», № 2, с. 23–25.
- Свадебные обряды в Ольгопольском уезде Подольской губернии*, 1896, «Живая старина», вып. 3–4.
- СД – *Славянские древности. Этнолингв. словарь*, т. 1–, М., 1995–.
- СРГК – *Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей*, вып. 1–6, Санкт-Петербург, 1994–2005.
- СРНГ – *Словарь русских народных говоров*, вып. 1–, М.; Л., 1965–.
- Тенишев 2004/1 – *Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы Этнографического Бюро князя В. Н. Тенишева. Т. 1. Костромская и Тверская губернии*, Санкт-Петербург.
- Тенишев 2006/2/1 – *Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы Этнографического Бюро князя В. Н. Тенишева. Т. 2. Ярославская губерния, часть 1. Пошехонский уезд*, Санкт-Петербург.
- Усольские древности – Подюков И.А., Белавин А.М., Крыласова Н.Б., Хоробрых С.В., Антипов Д.А., 2004 (рукопись), *Усольские древности. Сборник трудов и материалов по традиционной культуре русских Усольского района конца XIX–XX вв.*, Усолье, Соликамск, Березники.
- ЭИС – Востриков О.В., 2000, *Традиционная культура Урала. Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской области*, вып. I–IV, Екатеринбург.
- ЭК ТЭ – *Картотека фольклорных и этнографических материалов Топонимической экспедиции Уральского гос. университета* (кафедра русского языка и общего языкознания, Екатеринбург).

ЭССТ – Подюков И.А., Хоробрых С.В., Антипов Д.А., 2004, *Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья*, Усолье, Соликамск, Березники, Пермь.

Юрлинский край – Бахматов А.А., Подюков И.А., Хоробрых С.В., Черных А.В., 2003, *Юрлинский край. Традиционная культура русских Юрлинского района в XIX–XX в. Материалы и исследования*, Пермь.

ЯОС – *Ярославский областной словарь*, 1981–1991, вып. 1–10, Ярославль.

Symbolika i obrzędowe funkcje niepełnowartościowego pokarmu w rosyjskiej tradycji kulturowo-językowej (na tle słowiańskim)

Streszczenie

Pokarm, który nie odpowiada standardom smakowym i nie nadaje się do przyrządzania potraw, ma symboliczny status w słowiańskiej kulturze ludowej. W przypadkach odrzucenia, kpiny, osądzenia, podanie go służy jako eufemizm zastępujący słowo (np. gospodarze mogą podać ciasto bez nadzienia lub suchą skórę chleba). Liche jedzenie i jego nazwy mogą mieć erotyczne konotacje, a konsumpcja zaś tego rodzaju jedzenia w powiązaniu z pewnymi fizycznymi cierpieniami może być symbolicznie interpretowana jako znak zadośćuczynienia za winy lub współczucia z czyimś cierpieniem. Są ślady rytualnego przypisania niejadalności potrawom (przy uroczystościach weselnych) i podstawiania niedobrego jedzenia w miejsce dobrego (w baśniach, obrzędowych zabawach).

Anna Piechnik-Dębiec

Gwarowe ekspresywizmy dotyczące osób dorosłych a określenia dzieci. Wstęp do językowego obrazu dziecka

Celem tego artykułu jest sformułowanie wstępnych wniosków, wynikających z porównania ekspresywnego słownictwa określającego osoby dorosłe z nazwaniami dzieci. Do analizy wykorzystana zostanie leksyka zgromadzona przez autorkę w południowej Małopolsce.

Ekspresywizmy osobowe są tu rozumiane jako nacechowane emocjonalnie i/lub wartościująco określenia człowieka. Do tej klasy mogą należeć zarówno nazwy apelatywne, jak i antroponimiczne (przezviska). Materiał językowy stanowiący bazę dla niniejszego opracowania obejmuje 800 rzeczownikowych apelatywnych ekspresywizmów określających osoby dorosłe zebranych na terenie gminy Zakliczyn nad Dunajcem oraz niemal 400 rzeczownikowych apelatywnych ekspresywizmów dziecięcych odnotowanych na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego¹ a także 500 przezvisk osób dorosłych i 93 przezviska dziecięce zebrane na wskazanym terenie. Określenia antroponimiczne potraktowane tu jednak zostaną jako materiał uzupełniający, gdyż głównym przedmiotem zainteresowań będzie słownictwo pospolite.

Ekspresywna apelatywna leksyka określająca dziecko w gwarach nie stanowiła dotąd przedmiotu szerszego, gruntownego zainteresowania językoznawców², toteż interesujące wydaje się wskazanie, na ile słownictwo to jest podobne do wartościujących określeń dorosłej osoby, a na ile się od nich różni.

Problemów nastarcza już samo zdefiniowanie, kim jest dziecko. Czy należy za nie uznać osobę przed 18 rokiem życia? Cezura jest umowna. Zgromadzone dotąd wypowiedzi mieszkańców wsi każą za nie uważać osobę uczącą się, przy czym uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej stanowi okres pośredni między dziecięctwem a dorosłością.

¹ Gmina Zakliczyn nad Dunajcem znajduje się w większości w jego obrębie. Ekspresywizmy dotyczące osób dorosłych zanalizowano w książce pt. *Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej...* (Piechnik 2009). Słownictwo gromadzone było w drodze swobodnych rozmów z przedstawicielami średniego i najstarszego pokolenia oraz uczestniczenia w sytuacjach komunikacyjnych w charakterze świadka. Wykorzystywano też kwestionariusz. Nie ograniczono się do słownictwa dyferencyjnego, typowego dla gwary badanych okolic, ale – dla uzyskania możliwie pełnego obrazu opisywanej leksyki – wzięto pod uwagę także określenia ogólnogwarowe i wspólne z polszczyzną ogólną.

² Wśród istniejących opracowań warto wymienić artykuły: M. Szymczaka (1970) oraz K. Wojtczuk (1996) oraz opracowanie A. Czesaka (2004).

Identyfikacja

Osoby dorosłe identyfikowane są przez pryzmat ich roli w rodzinie (panna–kawaler, żona–mąż, matka–ojciec, rzadziej: syn–córka) i w społeczeństwie (z uwzględnieniem pochodzenia, stosunku do ludzi oraz przymiotów cenionych w kontaktach interpersonalnych) (por. Piechnik 2009). Dziecko traktowane jest przez wiejską społeczność jako jednostka mniej istotna od osoby dorosłej z uwagi na swą niesamodzielność. Wskazują na to także antroponimiczne przezwiska dzieci używane przez starszych mieszkańców wsi. Brakuje wśród nich określeń indywidualizujących, odnoszących się do niepowtarzalnych cech desygnatów. Charakter czy wygląd dziecka zazwyczaj nie znajdują się w centrum zainteresowania społeczności wiejskiej nadającej przezwisko. Istnieją co prawda w odniesieniu do dzieci określenia nadawane przez rodziców lub dziadków, zazwyczaj będące spieszzeniami, jednak posiadają one wąski zakres występowania.

Brak jednostkowości w postrzeganiu dzieci przez wiejską społeczność uwiadacznia się w stosowaniu określeń grupowych, używanych na oznaczenie wszystkich dzieci danej rodziny. Najczęściej są to określenia odnazwiskowe, stosowane dla nazwania liczego rodzeństwa, np. *Martycynta* ('liczne potomstwo Martyków'), *Novacynta* ('liczne potomstwo Nowaków'), *Nynzynta* ('liczne potomstwo Nędzów') itd. Sufiks *-ęta*, typowy dla nazw młodych zwierząt (pisklęta, szczenięta), stosowany jest na badanym obszarze powszechnie dla podkreślenia mnogości potomstwa danej rodziny.

Istnieje także pewien specyficzny typ dziecięcych przezwisk zbiorowych stosowanych dla nazwania rodzeństwa. Używa się w tym celu liczby mnogiej imienia pierwszego dziecka bądź liczby mnogiej imienia tego dziecka, którego pierwszy członek oficjalnego nazwania jest najbardziej charakterystyczny, nietypowy na badanym terenie. Nazwy takie obejmują czasem, poza rodzeństwem, także kuzynostwo, młodych ludzi mieszkających w sąsiedztwie lub często przebywających ze sobą (widywanych razem), np. *Natale* ('Natalia i jej koleżanki' [Olszowa]), *Dańylki* (liczne potomstwo (chłopcy i dziewczynki) rodziców, których pierwsze dziecko ma na imię Daniel [Olszowa]). Inne spośród przezwisk rodzeństw nawiązują do obfitości w świecie roślin, np. *Stokrotki* ('przezwisko liczego rodzeństwa osiagającego niski wzrost'), *Kuopry* (*buo našāuo še iy iak kuopru*). Przewiska dzieci używane przez osoby starsze są, jak wynika z przytoczonych wyżej przykładów, pozbawione indywidualizmu, kolektywne. Wśród nazw apelatywnych także spotykamy określenia kolektywne, np. *drobnića* 'małe dzieci'.

Apelatywne określenia dzieci bardzo szczegółowo wskazują ich przynależność, podkreślając tym samym, że pełnią one rolę jednostek „...<drugorzędnych> w społeczności wiejskiej, tzn. podporządkowanych osobom dorosłym” (Kaś 1994: 120). Przynależność dziecka do danej rodziny jest podstawowym elementem jego identyfikacji. Odnośnie do miejsca w rodzinie, nazwy odnotowują:

- zamożność rodziny, z której dziecko pochodzi – z bogatego domu, np.: *baŭorek*, *kmiećej*, z ubogiego: *bidota*, *żât*;
- czy jest owocem związku małżeńskiego czy nieformalnego. Brak określeń osób urodzonych w związkach małżeńskich, zaś z nazw nieślubnych dzieci pojawiają

się np. *beŋkãrt*, *bũnk* (por. *bũncyca* ‘(na badanym terenie) panna z nieślubnym dzieckiem’³), *naĩdux*, *vyskuocek*⁴;

- którym dzieckiem z kolei jest, np. *bĩerut* – ‘siódmy syn’; *vyskrobek* ‘ostatnie dziecko rodziców’⁵.

Informacje przekazywane przez powyższe apelatywy wskazują na cechy podmiotów innych niż określone nimi dziecko (np. rodziców i ich stan majątkowy, sposób prowadzenia się matki). Wskazują na rolę dziecka jako córki/syna. Tu mieszczą się także określenia dzieci przymilnych (np. *perouẽcka*, *pšylypek*) oraz nieposłusznych rodzicom (np. *ĩeusuxlyvĩec*, *zakuošĩũũek*, *strupek*, *vymũĩžũũek* i najbardziej obraźliwe spośród zgromadzonych określeń młodych ludzi – *bãra*, oznaczające naburmuszoną i nieposłuszną dziewczynę⁶).

Wygląd

Spośród ekspresywnych określeń osób dorosłych odnotowanych w okolicach Zakliczyna nad Dunajcem najwięcej nazwań odnosi się do sfery wyglądu (por. Piechnik 2009). W odniesieniu do określeń dzieci można zaobserwować podobną prawidłowość⁷. Podobieństwo dotyczy także sposobu wartościowania uwidocznionego w słownictwie nacechowanym. Jest to z reguły wartościowanie *in minus*, z zaznaczeniem elementów odbiegających od normy. Przeciętność, jako stan uznawany za wzorcowy, nie jest utrwalana w ekspresywizmach. Pośród zgromadzonych dotąd rzeczownikowych nazw wartościujących określających wygląd dziecka najczęściej dotyczy tuszy. Dziecko z nadwagą określane jest przede wszystkim mianami motywowanymi nazwami:

- produktów żywnościowych bądź potraw, np. *balerũn*, *bufũn* (‘rodzaj dużej, pękatej białej fasoli’), *kluxa*, *pulpet*, *pũncek* (z rozszerzeniem: *pũnceg v mašle*);
- przedmiotów o okrągłym kształcie, np. *baruũka*, *baruũcka*, *becuũcka*, *kula*, *kulecka*;
- zwierząt tuczonych na mięso, np. *tucĩnik*, *vĩepsuš*.

³ J. Kobylińska w artykule pt. *Źeĩskie nazwy pejoratywne w gwarze gorczaĩskiej* (2003) odnotowuje nazwę *bũncula* ‘nieślubne dziecko – dziewczynka’.

⁴ Mieczysław Szymczak w artykule *Polskie gwarowe nazwy panny mającej nieślubne dziecko wymienia przeskoczkę i przeskocznę* (1968). Stanisław Kania odnotowuje określenia *przeskoczkã*, *przechodkã* jako XVII-wieczne określenia kobiety lekkich obyczajów (1976: 54).

⁵ M. Szymczak w artykule *Nazwy najmłodszeo dziecka w języku polskim* wskazuje określenie *wyskrobek* (/wyškrabek/ wyškrobek) jako najczęstsze nazwanie opisywanego desygnatu (Szymczak 1970: 325).

⁶ Źródłem motywacji tej nazwy jest prawdopodobnie czasownik *bãrã še* ‘chmurzy się, zanosi się na deszcz’ odnotowany przez W. Kosiĩskiego w *Słowniku okolicy Czchowa* (zatem na terenie Pogórza Ciężkowicko-Roźnowskiego), a współcześnie nieodnotowany (Kosiĩski 1914: 31).

⁷ Inne spostrzeżenia odnotowuje J. Kaš, opisując osobowe słownictwo wartościujące na Orawie. „[w opisie człowieka dorosłego] pomijane sã – jak pisze – [...] cechy wynikające z kalectwa, upośledzenia fizycznego i umysłowego, nietypowego wzrostu itp. Jedynie w stosunku do osób młodych [...] można sobie pozwolić na złośliwe uwagi odnošnie do wzrostu, tuszy itp.” (Kaš 1994: 120).

Mizerny wygląd nazywają miana: *mizyrotka*, *scurek*, *scypavica*, *ladaco*. Część z nich przywołuje niewielkie zwierzęta hodowlane, głównie drób np. *kurcũntkuo*, *lylypućik* bądź drobne części ciała, np. *piũreckuo*, *skšyduũkuo*. Niektóre spośród synonimów niewielkiej tuszy wskazują też na wysoki wzrost nazywanych, np. *bžoza*, *tycka*, *lylyia*, *glyzda*. Z kolei dziecko zbyt niskie na swój wiek (i bardzo szczupłe) to: *vypiyrdek*, *gũvĩnykuo*⁸.

Zgodnie z wiejskim kanonem urody, starsi mieszkańcy wsi uznają znaczną tuszę za bardziej pożądaną niż nadmierną chudość, którą kojarzą z niedożywieniem, biedą bądź chorobą (por. Piechnik 2009b). Dorosłe osoby określane są mianami: *šmĩyrtka*, *kuostuxa*, *suxuotĩnik*, *suxuotĩnica*, zaś dzieci – określeniami wspólnymi z nazwaniami dorosłych: *zamuožaũek*, *zdexlũk*.

Uwagę przykuwa także dziecięca twarz, a szczególnie oczy. Pozytywne wartościowanie niosą ekspresywizmy: *šlypula* (funkcjonujące też jako określenie dorosłej kobiety), *šlypiatka*, *tũrka* (*tũrka gũdaĩo na Źevuske, co mĩ uocka nĩbĩeskĩe, vyražne ĵak tũrki* [*tũrka* 'owoc tarniny']), dziecko z wytrzeszczonymi oczami nazywają określenia: *vyčyscek*, *vyčyscũek*⁹, zezowatych – wyrazy: *zyzũk*, *zyzula*. Pojawiają się też (częściej niż w wypadku dorosłych) określenia dzieci mających odstające uszy (np. *kuapćũk*, *kuapśũk*, *zaiũnc*) i krzywy nos (np. *kuoćuba*, *uosiũka* – od nazwy długiego kija zakończonego hakiem, służącego np. do przybliżania/uginania gałęzi). Różnicę ilościową między ekspresywizmami dotyczącymi wyglądu dziecka i osoby dorosłej można dostrzec także w określeniach urody. Są to przede wszystkim nazwania dziewczynek, często przywołujące kwiat jako podstawę motywacji, por. *kfiũtuš*, *kfiũtecek*, *kfiũtusek*, *rũzycka*, *stokrotecka*¹⁰.

Wiele ekspresywnych określeń dzieci dotyczy ich zasobu energii życiowej. Nazwy te nawiązują do nadmiernej ruchliwości (np. *zuũka* ('żyłka'), *vžecũno*, *puopadyiũk*, *špindrũk*, *vĩerćipĩynta*, *vĩerćidupa*) lub zbytnej ospałości (np. *flygma*, *pšylezũek*, *pypy*), przy czym o wiele bardziej negatywne wartościowanie dotyczy tej drugiej cechy, którą, poza rzeczownikowymi ekspresywizmami nazywa szereg określeń przymiotnikowych¹¹:

Ĵag Źeckuo takĩe nĩruxave, puovuolne, to se gũdũ, ze pšylezũek. Nacy se, ze ĵes takĩe pšylyngĩynte. Ĵagby guo kto pšylezũu takĩ nĩgimaĩny (Bujne, gm. Gródek n/D).

Zachowanie

Charakter dziecka znajduje odzwierciedlenie w nazwach ekspresywnych o wiele rzadziej niż wygląd. O cechach wewnętrznych informuje przede wszystkim zachowanie. Z uwagi na fakt, że dziecięce postawy społeczne dopiero się krystalizują,

⁸ Nazwy tego typu wskazują na lekceważący stosunek do nazywanych przez nawiązanie do czynności fizjologicznych lub wytworów tych czynności, podobnie jak np. ekspresywizmy: *sraĩda*, *gũvno*, *zasrũek*. Nazwy czynności fizjologicznych stanowią także motywację ekspresywizmów podkreślających młody wiek, niesamodzielność i niedojrzałość jednostek, np. *uoi-sypympek*, *zasrũek*, *šusumaĩtek*.

⁹ Por. Kowalska 1993.

¹⁰ O wieloaspektowym porównaniu kobiety i kwiatu pisała A. Krawczyk-Tyrpa (2000).

¹¹ Wśród określeń osób dorosłych odpowiednikiem tej grupy nazw są nazwania osób dotyczące sposobu wykonywania pracy: powolnego lub zbyt szybkiego, chaotycznego (por. Piechnik 2009: 125–128).

wiejska wspólnota językowo-kulturowa szczególnie wnikliwie przygląda się postępowaniu dorastających osób i przez pejoratywnie nacechowane, karcące nazwy niewskazanych zachowań pokazuje pożądany kanon. Jak zauważa J. Kąś, „...przy ocenianiu dzieci uwidacznia się silny nacisk społeczny na przygotowanie dziecka do życia we wspólnocie wiejskiej; nie na kształtowanie indywidualnych predyspozycji, umiejętności, a właśnie życia w społeczności wiejskiej. Piętnowany jest zatem egoizm, kłótniowość, zadrzeczność itp.” (Kąś 2002: 103–105).

Do cech istotnych ze względów społecznych zaliczamy także umiejętność skutecznego i właściwego porozumiewania się z otoczeniem. Mówienie to jedna z cech najczęściej opisywanych w apelatywnych, ale i antroponimicznych ekspresywizmach. Z uwagi na ramy objętościowe tekstu nie sposób przyjrzeć się wszystkim cnotom społecznym wskazywanym *a rebour* w słownictwie wartościującym nazywającym dzieci. Motywacją nadania nazwy osobom dorosłym bywa: częstość wypowiedzania słów (aspekt ilościowy), głośność, wyrażność, poprawność mówienia, prawdziwość i wartość wypowiedzi, stosowanie bądź unikanie gwary a także używanie charakterystycznych zwrotów i powiedzeń oraz przeklinanie (Piechnik 2009a). Sfera ta wydaje się mocno ograniczona w określeniach dzieci. Pojawiają się, co prawda, np. nazwania dzieci mówiących dużo (np. *gaduuu*, *papluu*, *papla*), głośno (np. *rozdartek*, *łapa*, *paia*), zadających wiele pytań (*pytác* i częściej stosowany przymiotnik określający dziecko ciekawe świata: *pytaïne*). Indywidualne cechy mowy, jak wynika z materiału dotąd zgromadzonego, zazwyczaj nie stanowią motywacji nazwy ekspresywnej dotyczącej dziecka (poza określeniami dzieci jękających się, np. *ĩũkãc*, *ĩũkãu*, *zãcĩnãc*). Kształtujący się język ma charakter przejściowy. Sporadycznie odzwierciedla się w przezwiskach (np. *Mumuoxuor*, *Kaloĩyfel*). Antroponimy takie są jednak stosunkowo nietrwałe. Wśród zebranych na badanym terenie kilkuset przezwisk osób dorosłych nie znalazło się żadne, którego rodowód sięgałby okresu nauki języka przez przezywanego. To pozwala wysnuć wniosek, że indywidualne cechy języka (powiedzenia, przejęzyczenia) stanowią motywację nadania nazwy dopiero wtedy, kiedy jego postać jest już ukształtowana.

Podsumowanie

Jak zaznaczono w części wprowadzającej, artykuł ten miał zaprezentować wstępne wnioski płynące z porównania ekspresywizmów określających dziecko i osobę dorosłą. Mogą je zweryfikować późniejsze analizy, ponieważ ekspresywizmy dziecięce na badanym terenie są nadal gromadzone, a dotąd zebrano ich dwukrotnie mniej niż określeń dorosłych. Ekspresywizmy dziecięce wydają się interesującym i obiecującym materiałem leksykalnym, wartym bardziej szczegółowej analizy. W powyższym artykule zasygnalizowano jedynie niektóre aspekty zagadnienia.

Obie grupy ekspresywizmów przekazują przede wszystkim wartościowanie negatywne, przy czym w ekspresywizmach dziecięcych pojawia się więcej określeń wartościujących pozytywnie cechy wyglądu. Nazwania dzieci wyjątkowo często mają postać zdrobnień. Duża część nazw ekspresywnych określających dzieci jest stosowana również dla scharakteryzowania osób dorosłych, co wskazuje, iż niektóre właściwości są pożądane lub – częściej – niepożądane u ludzi niezależnie od wieku. Wartościujące nazwania dzieci osadzają je przede wszystkim w rodzinie, wskazując na ich stosunek do rodziców i rodzeństwa. Nie sytuują dziecka względem

innych członków wspólnoty wiejskiej (w wypadku ekspresywizmów stosowanych do opisanego kobiet i mężczyzn aspekt społeczny jest wyraźnie zaznaczony z podkreśleniem podziału na *swoich* i *obcych*).

Literatura

- Bielińska-Gardziel I., 2006, *Dziecko*, [w:] *Język, wartości, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych*, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 187–194.
- Czesak A., 2004, *Ekspresywizmy osobowe w gwarach Małopolski Górzystej (od Żywiecczyny po Pieniny) na tle kultury ludowej* [praca doktorska obroniona na Wydziale Polonistyki UJ], <http://thesis.research.uj.edu.pl/dokt/plik.php?plik=e7e120620948103f2207078e1322bbe2>.
- Kania S., 1976, „Kobieta lekkich obyczajów” w języku polskim, „Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze”, nr II, s. 53–64.
- Kąs J., 1994, *Kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim (na materiale gwar orawskich)*, [w:] *Język a Kultura*, pod red. J. Anusiewicza i K. Handke, t. 9: *Płeć w języku i kulturze*, Wrocław 1994, s. 119–130.
- Kąs J., 2002, *Wizerunek mężczyzny i kobiety w tradycyjnej społeczności wiejskiej (na materiale gwar orawskich)*, [w:] *Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu*, pod red. M. Skarżyńskiego i M. Szpiczakowskiej, Kraków, s. 101–109.
- Kosiński W., 1914, *Słownik okolicy Czerwowa*, Kraków.
- Kobylińska J., 2003, *Żeńskie nazwy pejoratywne w gwarze gorczańskiej*, [w:] *Słowa jak mosty nad wiekami*, pod red. U. Sokólskiej, P. Wróblewskiego, Białystok, s. 215–225.
- Kowalska A., 1993, *Z badań nad mazowiecką leksyką ekspresywną (nazwy ‘człowieka z wytrzeszczonymi oczami’)*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 17–18, s. 129–133.
- Krawczyk-Tyrpa A., 2000, *Kobieta i kwiat*, [w:] *Język a Kultura*, t. 16: *Świat roślin w języku i kulturze*, pod red. A. Dąbrowskiej i I. Kamińskiej-Szmaj, Wrocław, s. 9–16.
- Piechnik A., 2009, *Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)*, Kraków.
- Piechnik A., 2009a, *Ciało i duch ludzki w języku i kulturze wsi* [w druku w tomie pokonferencyjnym sympozjum *Ciało i duch w języku i kulturze* organizowanym w dniach 23–24 marca 2009 przez UMCS w Lublinie].
- Piechnik A., 2010, *Gwarowe ekspresywizmy osobowe określające człowieka mówiącego*, [w:] R. Przybylska, J. Kąs, K. Sikora (red.), *Symbolae Grammaticae in honorem Bogusłai Dunaj*, Kraków.
- Szymczak M., 1968, *Polskie gwarowe nazwy panny mającej nieślubne dziecko*, [w:] *Symbolae philologicae in honorem Witoldi Taszycki*, Prace Komisji Językoznawstwa PAN 17, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 366–372.
- Szymczak M., 1970, *Nazwy najmłodszego dziecka w języku polskim*, „Prace Filologiczne” XX, s. 325–329.
- Wojtczuk K., 1996, *Wariantywne nazwy dziecka o ekspresji pozytywnej i/lub negatywnej w języku familijnym siedlczan*, „Prace Filologiczne” XLI, s. 111–124.

Диалектные экспрессивизмы касающиеся взрослых и определения детей. Введение в языковую картину детей

Резюме

Статья содержит короткое сравнение апеллятивных экспрессивных названий касающихся взрослых и детей. Анализу подвергается диалектная лексика Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego (южная Малопольша, район расположен на юг от Тарнова и Нового Сонча). Предварительное сопоставление указывает, что часть лексики отмеченной эмоциональностью, независимо от возраста, является общей для всех носителей данной приметы. Некоторые аспекты описываемые в экспрессивизмах, касающиеся взрослых, не соответствуют лексике определяющей детей (напр. общественный и сексуальный аспекты), а часть семантических полей, которые возможно выделить в определениях детей, не выступает в лексике описывающей взрослых (напр. повиновение родителям, вежливость).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Barbara Popiołek

Język czarnogórski – nowy język czy wariant języka serbskiego

Przedmiotem rozważań w tym artykule jest język czarnogórski, uważany dziś za odrębny język słowiański, blisko spokrewniony z językiem serbskim, chorwackim i bośniackim. Wszystkie wymienione języki należą do grupy zachodniej języków południowosłowiańskich, a pokrewieństwo ich wynika z faktu, że są one oparte na dialekcie shtokawskim oraz przez długi okres rozwijały się jako warianty lub subwarianty w obrębie języka określanego jako język serbsko-chorwacki (też chorwacko-serbski). Ponieważ stosunkowo niedawno czarnogórski uzyskał status języka urzędowego, można uznać, że jest najmłodszym językiem słowiańskim. Parlament Czarnogóry ogłosił oficjalnie 19 października 2007 roku język czarnogórski językiem urzędowym. Pomimo że w świetle prawa jest to odrębny język słowiański, równoprawny i niezależny względem innych języków należących do tej rodziny, to jednak jego status wciąż pozostaje w sferze dyskusji. Dla wielu stał się samodzielnym językiem standardowym, jednak niektórzy kwestionują istnienie języka czarnogórskiego, uznając go za skodyfikowaną odmianę literackiego języka serbskiego.

Jeszcze do niedawna zadawano sobie pytanie dotyczące przede wszystkim samego istnienia języka czarnogórskiego. Polemiki i dyskusje dotyczące obecności nowego języka narodowego toczyły się od samego początku rozpadu serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w 1991 roku i wiązały się ściśle z kontrowersyjnym zagadnieniem istnienia dwóch odrębnych języków – serbskiego i chorwackiego. Przy okazji sporów wokół tych języków wyniknęły kwestie dotyczące sytuacji językowej w innych nowych państwach postjugosłowiańskich – w Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. We wszystkich byłych jugosłowiańskich republikach, gdzie używano wcześniej języka serbsko-chorwackiego, zaczęto nadawać własną etniczną nazwę byłym wariantom tego języka. Bośnia uporała się wcześniej z problemem dotyczącym nazwy języka. Dzięki porozumieniu pokojowemu z Dayton (USA), kończącemu wojnę domową w 1995 roku, zyskała prawo do nazywania swojego języka bośniackim (*bošnjački jezik*). Natomiast w Czarnogórze, która do czerwca 2006 roku pozostawała w federacji z Serbią, oficjalnym językiem urzędowym tej republiki w tym okresie był język serbski. Obydwie konstytucje – konstytucja Republiki Jugosławii oraz konstytucja Republiki Czarnogóry z 1992 roku zawierały zapis, iż

w Czarnogórze językiem urzędowym jest język serbski w wymowie ijekawskiej¹. Wywoływało to zrozumiały sprzeciw Czarnogórców, którzy coraz usilniej domagali się uznania własnego języka.

Pomimo oficjalnego ogłoszenia języka czarnogórskiego językiem urzędowym we współczesnym językoznawstwie slawistycznym, szczególnie wśród lingwistów serbskich i czarnogórskich, nie ma zgodności, czy język czarnogórski jest odrębnym językiem, czy może wariantem języka serbskiego.

Podstawowy problem, który należy rozstrzygnąć, to kwestia, czy mamy obecnie do czynienia z zupełnie nowym językiem słowiańskim, czy może z językiem, który kontynuuje dawny wariant języka serbskiego. Czy język nazywany czarnogórskim jest rzeczywiście „nowym” językiem i czy Czarnogórcy mają prawo uważać go za swój i nazywać takim właśnie mianem? Czy różni się on na tyle od języka serbskiego, za którego skodyfikowaną odmianę jest uważany, by uznać jego zupełną odrębność? Czy wystarczy wprowadzić do istniejącego standardu jedynie niewielkie innowacje, typowe dla gwar czarnogórskich, by móc uznać, że język ten jest różny od serbskiego? Ciągłe dyskusyjne pozostaje zagadnienie normy i nazwy języka czarnogórskiego.

Należy również wspomnieć o konkurencyjnej próbie wprowadzenia jako języka standardowego innego dialektu – starszotokawskiego dialektu zetskiego (*zetsko-južnosandžački dijalekat*), który jest używany na stosunkowo rozległym południowym i wschodnim obszarze Czarnogóry, a w przeszłości pełnił funkcję języka literackiego. Teren Czarnogóry zróżnicowany jest dialektalnie – zachodnią i północną część Czarnogóry zajmuje nowoszotkawski dialekt wschodnio-hercegowiński (*istočno-hercegovački dijalekat*), a na przeważającym południowym i wschodnim obszarze Czarnogóry oraz w południowej części Serbii (Sandżak) w użyciu jest wspomniany wcześniej starszotokawski dialekt zetski.

Każdy naród ma niezbywalne prawo do własnego języka, w którym wyraża się jego suwerenność. Także Czarnogórcom nie można odmówić prawa do języka potwierdzającego narodową tożsamość i będącego wyznacznikiem odrębności kulturowej oraz narodowej. Jednak sytuacja językowa w Czarnogórze jest bardziej skomplikowana. Społeczeństwo jest podzielone, mieszkańcami są nie tylko Czarnogórcy, ale również stosunkowo duża grupa Serbów stanowi społeczność tego kraju. Pojawiają się także wątpliwości co do odrębności etnicznej samych Czarnogórców, nie wszyscy bowiem zgadzają się z tym, że są oni odrębnym narodem. Powszechnie uważa się, że Czarnogórcy stanowią część narodu serbskiego, z którymi łączyły ich już związki plemienne, a później w X wieku weszli w obręb państwa serbskiego i uznali zwierzchnictwo serbskie. Związki z państwem serbskim oraz jego bezpośrednie wpływy na państwo czarnogórskie doprowadziły do identyfikacji tych sąsiadujących narodów. Czarnogóra po I wojnie światowej, czyli od 1918 roku, znalazła się wraz z Serbią we wspólnym państwie, którym było zjednoczone Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców², a od 1929 roku Królestwo Jugosławii, zaś po

¹ Ustav Savezne Republike Jugoslavije, 1992, art. 15: „U Saveznoj Republici Jugoslavije u službenoj je upotrebi srpski jezik ekavskog i ijekavskog izgovora...”; Ustav Republike Crne Gore, art. 9: „U Crnoj Gori u službenoj upotrebi je srpski jezik ijekavskog izgovora”.

² Zjednoczenie Czarnogóry z Serbią *de facto* nastąpiło rok wcześniej i było następstwem decyzji ówczesnego a zarazem ostatniego władcy Czarnogóry – króla Nikoli I Petrovicia Nje-

II wojnie światowej Czarnogóra stała się częścią Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (do 1991 roku), w latach 1992–2006 pozostawała w federacji z Serbią – do 2003 roku w tzw. Nowej Jugosławii, później to państwo zmieniło nazwę na Serbia i Czarnogóra. Czarnogórcy zostali oficjalnie uznani za naród dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej pewną namiastką ich etnicznej odrębności było przyznanie Czarnogórze statusu republiki w obrębie federacji jugosłowiańskiej.

Należy zauważyć również, że Czarnogórcy zamieszkujący głównie teren Czarnogóry i przyległej Serbii są jednym z najmniej licznych narodów słowiańskich. Zgodnie z oficjalnymi danymi statystycznymi z 2003 roku (spis powszechny) niewielką terytorialnie Czarnogórę zamieszkuje niewiele ponad 620 tys. mieszkańców, z czego Czarnogórcy stanowią 267.669 (ponad 43%), Serbowie 198.414 (około 32%), a pozostali mieszkańcy to głównie Bośniacy, Albańczycy i Chorwaci. Warto podkreślić, że jedynie 22% spośród etnicznych Czarnogórców zadeklarowało czarnogórski jako swój język ojczysty. Wynika z tego, że większość osób narodowości czarnogórskiej uważa za rodzimy język serbski. Dla części z nich nie jest ważne, jak się nazywa język, którym mówią. Dlatego też ilość osób posługujących się językiem czarnogórskim jako ojczystym jest trudna do precyzyjnego ustalenia.

Język czarnogórski używany obecnie jako język standardowy został oparty na ijekawskim nowosztokawskim dialekcie wschodnio-hercegowińskim (*istočnohercegovački dijalekt*), zajmującym zachodnią i północno-zachodnią część Czarnogóry. Dialekt ten stał się podstawą literackiego języka serbskiego propagowanego przez Vuka Karadžicia, którego reforma została wprowadzona na terenach Czarnogóry w szkolnictwie i administracji w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Od tego czasu język ten oficjalnie określano terminem *srpski jezik*, jednak w nieoficjalnym użytku nazywano go także *crnogorski jezik* oraz *naški*, co oznaczało „nasz”, ojczysty, w odróżnieniu od serbskiego (Spagińska-Pruszek 1997: 61). Wspomniana już wcześniej sytuacja wspólnoty państwowej sprzyjała koncepcji wspólnego języka serbsko-chorwackiego dla ludności posługującej się dialektem sztokawskim. Gramatyki i zasady pisowni wydawane w Serbii regulowały na przestrzeni wielu lat również zasady języka czarnogórskiego, który urzędowo określany był jako serbski. Miały miejsce również próby celowego rugowania cech charakterystycznych dla języka czarnogórskiego i narzucania wymowy ekawskiej (serbskiej), szczególnie w okresie międzywojennym. Podobna tendencja do stopniowego wprowadzania ekawicy pojawiła się również w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Obecny język urzędowy kontynuuje niegdysiejszą tzw. odmianę czarnogórską języka serbsko-chorwackiego (*crnogorski standardnojezički izraz*) (Spagińska-Pruszek 1997: 59), która charakteryzuje się przede wszystkim odmienną od języka serbskiego wymową ijekawską.

Po rozpadzie w 1991 roku Jugosławii pojawiły się w Czarnogórze tendencje separatystyczne, przede wszystkim w sferze językowej. Polemiki i dyskusje wokół języka standardowego toczyły się już od połowy lat 90., czyli od momentu, kiedy

goša, który dobrowolnie przystąpił do wspólnego państwa. Ten fakt potwierdziła *Krfska deklaracija* (tzw. deklaracja korfuńska) z 20 lipca 1917 roku. 26 listopada 1918 roku uchwałą *Podgoričkiej skupštiny* zostaje oficjalnie ogłoszone zjednoczenie Czarnogóry z Serbią w ramach nowo utworzonego państwa SHS (Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców). Stało się to wbrew woli dużej części społeczeństwa czarnogórskiego.

pojawił się zwolennicy idei niepodległości Czarnogóry. Pomimo że już wcześniej wielu czarnogórskich naukowców i literatów podkreślało odrębność kulturowo-polityczną oraz literacko-językową Czarnogóry od Serbii, to w latach 90. procesy te bardziej się zintensyfikowały. Status języka czarnogórskiego stał się od tego momentu tematem dyskusji również w polskojęzycznych publikacjach (Spagińska-Pruszek 1997, Koncewicz-Dziduch 1999).

Serbscy lingwiści nie uznawali dążności Czarnogórców do własnego języka, uważając, że niezależnie od nowej sytuacji politycznej, w której się znaleźli, nadal posługują się oni językiem serbskim. *Odbor za standarizaciju srpskog jezika* – instytucja zajmująca się normalizacją i propagowaniem języka serbskiego, posunęła się nawet do stanowczego stwierdzenia, że pretensje Czarnogórców do własnego języka są żądaniami, które poniżają naród czarnogórski. Jako rozwiązanie kompromisowe pojawiła się w tym czasie propozycja, aby nazwę *srpski jezik* zastąpić nowotworem językowym *srpskocrnogorski* (*srpsko-crngorski*) lub *crnogorskosrpski* (*crnogorsko-srpski*) jezik. Spotkało się to z aprobatą części społeczeństwa czarnogórskiego, a nawet przedstawicieli oficjalnej władzy, jednak zmiana taka nie zadowalała zwolenników odrębnego języka.

Jedną z organizacji kulturalnych w Czarnogórze, która prowadziła walkę o uznanie języka czarnogórskiego oraz prawo do nazywania go jego własną nazwą, był Czarnogórski Pen Club. Przewodniczący tej instytucji, nieżyjący już Vojislav Nikčević (1935–2007), był gorącym zwolennikiem uznania odrębności językowej i kulturalno-literackiej Czarnogóry. Nikčević, profesor literatury czarnogórskiej na Uniwersytecie w Nikšiću prowadził szeroką działalność popularyzatorską na rzecz uznania praw języka czarnogórskiego. Jest on autorem wielu prac, które w zupełnie nowym świetle przedstawiają historię i rozwój języka czarnogórskiego. Już pod koniec lat 60. XX wieku zwracał uwagę na fakt, że Czarnogórcy posiadają własny język, który ma odrębną genezę, własne bogate piśmiennictwo oraz wybitne dzieła literackie (Nikčević 1968–1969). Istnienie języka czarnogórskiego, jak twierdził, jest ściśle związane z istnieniem narodu czarnogórskiego. W 1993 roku ukazała się monografia historyczna rozwoju języka czarnogórskiego jego autorstwa zatytułowana *Crnogorski jezik* (Nikčević 1993). Ta obszerna dwutomowa praca prezentuje periodyzację dziejów języka czarnogórskiego. Autor uwzględnił w swoich rozważaniach czynniki historyczne i kulturalne oraz dokonania literackie, aby pokazać niezaprzeczalne prawo narodu czarnogórskiego do odrębności narodowej i językowej. Propozycję normy dla współczesnego języka czarnogórskiego Nikčević zawarł w pracy *Piši kao što zboriš* (Nikčević 1993). Kolejną bardzo ważną publikacją jest wydany w 1997 roku *Pravopis crnogorskog jezika*, ustalający zasady poprawnego używania języka czarnogórskiego (Nikčević 1997). Praca ta zwraca uwagę na szereg jego cech charakterystycznych w zakresie fonetyki i fonologii (m.in. obecność fonemów *ś, ź*, wymowy ijękawskiej), morfologii oraz składni, niespotykanych w innych językach opartych na systemie sztokawskim³. Autor zaproponował też nowy alfabet cyryliccki. Kodyfikację języka literackiego Nikčević oparł na trzech głównych zasadach, pochodzących jeszcze z okresu przedvukowskiego i świadczą-

³ Cechy języka czarnogórskiego zgodne z koncepcją Nikčevicia wyczerpująco przedstawia w swoim artykule E. Koncewicz-Dziduch (1999: 270–271).

cych o autonomii języka czarnogórskiego⁴. Propozycja kodyfikacji zaprezentowana w obydwu pracach pokazuje szereg wyrazów typowych dla współczesnej, literackiej formy tego języka, tzw. czarnogóryzmów, wywodzących się ze starszostokawskiego dialektu zetskiego. Autor, opracowując współczesny standard, oparł się na normie języka najwybitniejszych klasyków literatury czarnogórskiej z drugiej połowy XIX i początków XX wieku (Petara I Njegoša i Petara II Petrovicia Njegoša oraz Stefana Mitrova Ljubišy i Marka Miljanova-Popovicia), czyli na języku piśmiennictwa sprzed kodyfikacji języka przez Vuka Karadžicia. Zdaniem Nikčevicia ta odrębna norma i kodyfikacja standardowego języka czarnogórskiego jest jedynym ratunkiem przed asymilacją z dążącym do hegemonii językiem serbskim.

Proponowana koncepcja standaryzacyjna ma na celu sprawić, że język czarnogórski stanie się odrębnym od języka serbskiego językiem literackim o charakterze narodowym i przestanie być wciąż postrzegany jako jego wariant. Na kształtowanie się i upowszechnianie normy języka czarnogórskiego ma wpływać gramatyka i zasady pisowni opracowane przez Nikčevicia oraz przygotowywany słownik.

Poglądy Nikčevicia nie spotkały się z akceptacją środowiska językoznawczego. Zarzucano mu zbytnią archaizację języka, głównie warstwy składniowej i morfologicznej, oraz wprowadzanie do języka literackiego słownictwa dialektalnego. Uważano, że argumenty Nikčevicia są nienaukowe i łatwo je podważyć.

Strona serbska, jak już zostało wcześniej wspomniane, nie uznawała nigdy dążności i pretensji Czarnogórców do własnego języka i takie stanowisko do dziś zajmuje większość społeczeństwa serbskiego. Oczywiście nie wszyscy serbscy językoznawcy sprzeciwiają się uznaniu języka czarnogórskiego⁵. Nie zmienia to jednak faktu, że większość Serbów nie uważa czarnogórskiego za odrębny język, lecz za odmianę języka serbskiego. Różnice w stosunku do wariantu serbskiego (niegdyś belgradzkiego) języka serbsko-chorwackiego są nieznaczne, dlatego obecny czarnogórski język standardowy można uważać za wariant języka serbskiego. Zgodnie z opinią większości Serbów Czarnogórcy używają języka serbskiego, któremu jedynie zmienili nazwę na czarnogórski. Sąd ten wynika z przekonania, że dialekt sztokawski jest wyłącznie dialektem języka serbskiego. Niewątpliwie język czarnogórski jest bardzo bliski językowi serbskiemu nie tylko ze względu na podobieństwa (wspólne cechy) systemowe i wspólną kodyfikację, ale także z uwagi na związki kulturowe i wyznaniowe (prawosławie) Czarnogóry i Serbii oraz długi okres wspólnej państwowości i wspólnego rozwoju odrębnych dzisiaj języków.

Pomimo prób wprowadzania jako języka standardowego języka czarnogórskiego opartego na dialekcie obejmującym przeważającą część Czarnogóry (*zetsko-južnosandžački dijalekat*), trudno przewidzieć, czy ta koncepcja zwycięży. Bez wątpienia jednak ma grono zwolenników. Najlepszym tego dowodem jest decyzja Ministerstwa Oświaty Czarnogóry w sprawie wprowadzenia do szkół zasad

⁴ Pisz tak, jak mówisz, a czytaj, mów, jak jest napisane (*Piši kao što zboriš, a čitaj (zbori) kako je napisano*); Przestrzegaj użytkowej czarnogórskiej normy „ogólnej poprawności” (*Drži se upotrebne norme crnogorske „općene pravilnosti*); Obce wyrazy pisz jak swoje (*Tuđe piši kao svoje*), cyt. za: E. Konciewicz-Dziduch 1999, s. 270.

⁵ Możliwość uznania praw językowych Czarnogórców dopuszczali w latach 90. serbscy językoznawcy, jak Ranko Bugarski czy Svenka Savić.

pisowni uwzględniających cechy typowe dla dialektu zetskiego⁶. Z pewnością nie można odmówić Czarnogórcom prawa do własnego języka oraz do nazywania go własną nazwą, jednak budzi wątpliwości i zastrzeżenia fakt przesadnej archaizacji, mającej dowieść większych różnic niż naprawdę istnieją między bliskimi sobie przecież językami. Bezspornie propozycja Nikčevića przyciągnęła uwagę językoznawców do zagadnienia statusu języka czarnogórskiego, jednak jego projekt nie jest raczej najlepszym rozwiązaniem. Powinien zwyciężyć uzus i język na nim oparty.

Odnosząc się do pytania postawionego w tytule tego artykułu, można stwierdzić, że mamy obecnie już do czynienia z językiem czarnogórskim. Oczywiście język ten jest blisko spokrewniony z językiem serbskim, w ogromnym zakresie cechy systemowe tych języków są wspólne, ale o powstaniu języka czarnogórskiego zdecydowały przede wszystkim względy polityczne. Jest rzeczą oczywistą, że o powstaniu języka decydują nie tylko względy językowe, ale również uwarunkowania pozajęzykowe.

W przypadku każdego „nowego” języka pojawia się w dyskusjach ton polemiczny i emocjonalny. Zapewne kwestia języka czarnogórskiego, która wciąż budzi kontrowersje, pozostanie jeszcze długo przedmiotem dyskusji.

Literatura

- Glušica R., 2009, *Jezičke prilike u Crnoj Gori*, [w:] L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić (red.), *Jezični varijeteti i nacionalni identiteti*, Zagreb, s. 137–146.
- Koncewicz-Dziduch E., 1999, *Sytuacja językowa w Czarnogórze*, [w:] J. Kornhauser (red.), *Przemiany w świadomości i kulturze duchowej byłej Jugosławii po 1991 roku*, Kraków.
- Mønnesland S., 2009, *Sociolingvistička situacija u Crnoj Gori*, [w:] L. Badurina, I. Pranjković, Silić J. (red.), *Jezični varijeteti i nacionalni identiteti*, Zagreb, s. 125–135.
- Nikčević V., 1968–1969, *Narodni jezik u crnogorskoj književnosti prednjegoševskog doba*, „Jezik”, br. 1, Zagreb, s. 19–22.
- Nikčević V., 1993, *Crnogorski jezik: geneza, tipologija, razvoj, strukturne osobine, funkcija*, Cetinje.
- Nikčević V., 1993, *Piši kao što zboriš*, Podgorica.
- Nikčević V., 1997, *Pravopis crnogorskog jezika*, Cetinje.
- Nikčević V., 2001, *Gramatika crnogorskog jezika*, Podgorica.
- Nikčević V., 2009, *Crnogorski interdijalektalni/naddijalektalni (koine) standardni jezik*, [w:] L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić (red.), *Jezični varijeteti i nacionalni identiteti*, Zagreb, s. 147–167.
- Spagińska-Pruszek A., 1997, *Sytuacja językowa w byłej Jugosławii*, Gdańsk.

⁶ M. Perović, Lj. Vasiljeva, J. Silić, *Pravopis crnogorskog jezika s pravopisnim rječnikom*, 2009; do alfabetu dodano dwa nowe grafemy š i ž. Autorzy nowych zasad pisowni zostali powołani również do opracowania nowej gramatyki i słownika języka czarnogórskiego.

Черногорский язык – новый язык или вариант сербского языка

Резюме

В статье затронута проблема черногорского языка в новой политической и общественной ситуации. Черногорский язык считают сегодня отдельным славянским языком, однако его существование дальше остаётся спорным вопросом. Для многих он стал самостоятельным стандартным языком (этот факт подтверждает конституция Республики Черногория от 19 октября 2007 года). Однако некоторые оспаривают существование черногорского языка, признавая его кодифицированной разновидностью сербского литературного языка. Прения вокруг стандартного языка, его названия и норм, продолжаются от 90-тых годов XX века, а от момента провозглашения независимости Черногории в 2006 году, языковая политика стала ключевой проблемой. Важной проблемой является также конкуренционная попытка введения как стандартного языка диалекта, употребляемого на относительно большой территории Черногории, который в прошлом исполнял функцию литературного языка.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Agnieszka Pukowska

Słownictwo prawne XV-wiecznej Księgi Kormczej z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przewinienia i kary

Rękopis cerkiewnosłowiańskiej Księgi Kormczej, z której zaczerpnięty został materiał badawczy do poniższych rozważań, znajduje się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej [BJ] pod sygnaturą Przyb. 71/1952. Rosyjscy badacze: Aleksander Rogow (Porow 1969: 158) i Jarosław Szczapow (Щапов 1976: 36), którzy mieli okazję zapoznać się z zabytkiem datują go na drugą połowę XV wieku. Księga pochodzi prawdopodobnie z ziemi kijowskiej (analiza językowa, głównie leksykalna, ma na celu m. in. potwierdzenie tego faktu) i nie została dotąd zbadana od strony językowej.

Księga Kormcza jest zbiorem przepisów prawa kościelnego i świeckiego. Nazwa jej stanowi słowiański odpowiednik greckiego słowa *nomokanon* (νόμοι – prawo państwowe, κάνονες – prawo kościelne). Pierwszy nomokanon (zatytułowany: Συναγωγή) został zestawiony około r. 550 przez Jana Scholastyka z Antiochii. Zawierał on przepisy bizantyjskiego prawa kościelnego do soboru w Chalcedonie (451 r.) oraz odpowiednie przepisy prawa państwowego. Kodeks ten był następnie uzupełniany kolejnymi przepisami, przeredagowywany i opatrywany komentarzami.

Na Rusi Księga Kormcza oficjalnie pojawiła się w 1262 roku. Na prośbę metropolity Cyryla II sprowadzono ją z Serbii, gdzie istniał już słowiański przekład nomokanonu dokonany na początku XIII w. przez arcybiskupa Kościoła serbskiego św. Sawę. Kormcza ze zbiorów BJ jest przykładem nietypowej redakcji opartej na serbskiej kormczy św. Sawy, tyle, że z oryginalnie przeorganizowanym materiałem kanonicznym i kilkoma staroruskimi dodatkami i dokumentami (Stradomski 2007: 207). Szczególnie interesujące z uwagi na użyte słownictwo prawne okazały się: przywilej króla Kazimierza Jagiellończyka z 1457 roku wydany w Wilnie oraz niewielki zbiór przepisów prawa – głównie karnego – Kazimierza Jagiellończyka z 1468 roku – umieszczone w rękopisie. W literaturze przedmiotu ten ostatni zbiór zwany jest z reguły *Sudiebnikiem Kazimierza*, chociaż w tekście jedynym określeniem charakteru tego dokumentu jest wyraz *list*. Sudiebnik znany jest z trzech zachowanych odpisów, które weszły w skład rękopisów wschodniosłowiańskich. Wszystkie znane kopie są bliskie sobie pod względem chronologicznym i powstały niewiele później aniżeli dokument oryginalny. Nie ma między nimi zasadniczych różnic tekstowych

(Старостина 1976: 96). Ten niewielki, ale przecież ważny zabytek nie doczekał się jeszcze naukowego wydania. Badania nad nim prowadzili głównie historycy i historycy prawa. Obszerną bibliografię i stan badań na temat *Sudiebnika Kazimierza* przedstawia w swoich pracach I.P. Starostina. Przytacza ona różne opinie badaczy, którzy starali się określić charakter tego zabytku i rolę, jaką odegrał on w historii prawa litewskiego. Niektórzy uznawali go za statut białoruski, inni za próbę rejestracji litewskich obyczajów; uważano, że był pierwszą próbą kodyfikacji prawa w całym Księstwie Litewskim i ogólnonarodowym kodeksem, lub przeciwnie, że był to dokument obowiązujący jedynie na terenach Litwy właściwej (Старостина 1976: 94–97). Według I.P. Starostiny ostatnia opinia wydaje się w literaturze tematu najlepiej argumentowana m.in. w przytaczanych przez nią pracach M.K. Ljubawskiego (1893), F.I. Leontowicza (1910), I.I. Lappo (1938) (Старостина 1976: 97).

Przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 1457 r. i jego *Sudiebnik* z 1468 r. wchodzi w skład Księgi Kormczej jako karty dodane. Ich język – bliski dawnemu językowi białoruskiemu, różni się znacznie od języka pozostałej, zasadniczej części Kormczy, która napisana została językiem cerkiewnośłowiańskim redakcji ruskiej. Dokumenty te są ściśle związane z historią i kulturą Wielkiego Księstwa Litewskiego [WXL]. Odzwierciedlają pierwsze próby kodyfikowania prawa, kontynuowane następnie na skalę ogólnopaństwową.

Nierozstrzygniętą przez badaczy pozostaje kwestia nazwy dla języka kancelarii wielkoksiążęcej, języka Statutów litewskich i Metryki litewskiej oraz zagadnienie, czy był to jedynie język kancelaryjny, czy posługiwano się nim również w życiu społecznym WXL, czyli przede wszystkim na posiedzeniach Rady Panów, Sejmów czy podczas rozpraw sądowych. W niniejszej pracy używać będziemy, za S. Lazutką, terminu dawny język białoruski. Użytkownicy tego języka określali go zazwyczaj mianem „ruski”, rzadziej „litewski”; późniejsi badacze dodawali „staroruski”, ale jest to określenie nieściśle, gdyż taką samą nazwę odnosi się do języka Państwa Moskiewskiego, a następnie Carstwa Rosyjskiego XV–XVII wieku. Ten ostatni język miał niewiele wspólnego z językiem kancelarii książęcej WXL. Nie chodzi też język „litewski” czy „ukraiński”, gdyż piśmiennictwo w tym ostatnim zaczynało się wówczas dopiero kształtować (Lazutka 1997: 29).

Dawny język białoruski zachowywał tradycję pisowni cerkiewnośłowiańskiej. Podłoże dialektalne dlań stanowiły gwary białoruskie: za czasów Kazimierza Jagiellończyka gwary okolic Nowogródka i Grodna, za czasów Aleksandra język ten nabierał cech północnych okolic Wilna, a następnie cech gwar położonych dalej na północny-wschód – ziemi połockiej i witebskiej (Lizisowa 2000: 38). M.T. Lizisowa określa etniczny charakter tego języka jako mieszany, ponieważ kształtował się on pod wpływem różnych języków w związku z długimi i bliskimi kontaktami ludności wielu grup etnicznych.

Poniżej rozpatrzymy leksykę dotyczącą prawa własności, które było jedną z najważniejszych kwestii epoki feudalnej. Zatem głównym przewinieniem była kradzież, a kary za jej dokonanie – różnorodne: od kar pieniężnych po karę śmierci przez powieszenie. W *Sudiebniku* Kazimierza zasadniczym *novum* jest ograniczenie odpowiedzialności grupowej i indywidualizacja kary. Ponadto uregulowana została kwestia zwrotu skradzionej rzeczy, jeśli ta została odzyskana: skradziona rzecz zostaje oddana do dworu, jeśli złodziej może zapłacić poszkodowanemu jej

równowartość; skradziona rzecz zostaje zwrócona poszkodowanemu w przypadku braku środków na zapłacenie rekompensaty przez złodzieja. O indywidualnej odpowiedzialności za przestępstwo mówi również przywilej z 1457 r.: winnym jest ten, który dokonał przestępstwa, nie zaś ktoś inny, chyba że także brałby udział w przestępstwie.

Przepisy prawne zamieszczone w przywileju Kazimierza Jagiellończyka i jego Sudiebniku posiadają formę okresów warunkowych: „jeżeli..., to...”, w których po wyszczególnieniu przewinienia wymieniana jest ustalona przez prawodawcę za ten czyn sankcja. Formuła taka była zgodna z wymogami i tradycjami najstarszych kodeksów ruskich (Lenkiewicz 1986: 43).

Nazwami ogólnymi dla określenia przestępstwa są w omawianych tekstach wyrazy: *krivda*, *prostupok*:

„ѡѡн//ж/ бы право ѡ пана которомѣ/ж/ то/т/ по/д/данѣ которын кривдѣ
вчиннѣ/л/”

„ѡѡн/ж/ бы бы/ст/ причастни/к/ тоѣ простѣпкы”, „имаю/т/ быти казнены ... по/д/
лѣгѣ и/х/ великости простѣпокѣ”.

Wyraz *vina* (obok: *obida*, *lixoje dělo*) – powszechnie używany jako ogólne określenie przestępstwa w zabytkach staroruskich – w badanym materiale występuje jedynie w znaczeniu ‘opłata, grzywna za dane przewinienie’.

Ogólnym określeniem przestępcy są w badanym materiale wyrazy *vinovatec* – polskie *winowajca*, nomen agentis od czasownika *winować kogo* – ‘obwiniać kogo’, dawniej *winowaciec* – ‘ten kto przekracza prawo świeckie lub nie stosuje się do nakazów i zakazów religijnych’ [Sstp, t. 10: 233], jak również *vinovatj* także w krótkiej formie – *vinovatъ*.

Na określenie czynności związanej z zawłaszczeniem czyjegoś mienia używa się w badanym tekście jedynie czasownika *krasti* (również w aspekcie dokonanym z przedrostkiem u-, w- oraz jako iterativum: *kradywati*). Jest to wyraz ogólnosłowiański, który, jako czasownik przechodni, we wszystkich językach słowiańskich posiada znaczenie ‘kraść, zabierać coś komuś po kryjomu’. Przypuszczenie, że jest to jego znaczenie wtórne potwierdza fakt, że czasownik zwrotny **krasti sę* jest czasownikiem ruchu i oznacza ‘iść, poruszać się po cichu, aby pozostać niezauważonym’ (ESSJ, t. 12: 103, **krasti/sę/*).

Określenia *tatъba* i *złodějъstvo*, stosowane w badanym zabytku wymiennie, odnoszą się do przestępstwa polegającego na przejęciu cudzej własności bez użycia przemocy:

„ино за первѣю є/го/ та/т/вѣ виною казнити”,
„а ѡколица боудѣ/т/ на не/го/ перво/го/ злѡдѣства не вѣ..тн”

W zabytkach staroruskich w tym znaczeniu najczęściej używany był wyraz *tatъba* (Lenkiewicz 1986: 56), a wyraz *tatъ* był ogólnie przyjętym określeniem złodzieja, które od XVII w. zaczęto stopniowo zastępować wyrazem *vor*. Composita *złodějъ* i *złodějъstvo* zarejestrowane zostały już w najstarszych zabytkach kanonu języka starosłowiańskiego. *Złodějъ* oznacza człowieka, który czyni zło, przestępcę

(SJS, t. I: 686); *złodějstvo* natomiast 'nikczemność, obrzydliwość, przestępstwo-' (SJS, t. I: 686) podobnie jak *złodějanie* 'czynienie zła, nikczemność, przestępstwo, zbrodnia' (SJS, t. I: 687). Wyrazy te ze swoimi pierwotnymi znaczeniami zachowały się do dziś, w większym lub mniejszym zakresie, w językach wschodniosłowiańskich. W języku polskim dokonała się w tym zakresie zmiana znaczenia. Jak pisze Linde: „polski wyraz złodziej pokazuje, jak u przodków naszych, zamknięcia mało używających, największym występkiem była kradzież” [Linde 1860, t. IV: 1080, ZŁODZIEJ]. Słownik języka staroukraińskiego rejestruje wszystkie cztery omawiane wyrazy, z tym że wyraz *złodějstvo* w znaczeniu 'kradzież' i *złodějъ* w znaczeniu 'złodziej' występują tu dużo częściej niż wyrazy *tatьba* i *tatь*.

Kara za kradzież była bardzo surowa, gdyż w ówczesnym pojęciu było to bardzo ciężkie przewinienie. Złodziej, którego złapano z dowodem winy był skazywany na śmierć przez powieszenie. Istniały pewne okoliczności łagodzące karę, na przykład fakt, że dany człowiek ukradł po raz pierwszy, lub że wartość ukradzionej rzeczy była niewielka. W tekście, w odniesieniu do powyższej kary, używany jest czasownik *wieszać* – ogólnosłowiański wyraz pochodzący od psł. **věšjati* 'wieszać, zawieszać, czas. wielokrotny od psł. *věsiti* 'zawiesić powiesić' [SEJP Boryś 2005: 696]. Zastanawia jednak fakt, że praktycznie w każdym kolejnym użyciu czasownik ten ma nieco inną postać: *uzvesiti/ uzvēsiti, vzvesiti/ vōzvēsiti, ovēsiti, vēšati*, przy czym *vzvesiti* i *ovēsiti* nie zostały odnotowane w żadnym z wymienionych słowników: Sstp, SRJ XI–XVII, SSM XIV–XV. Ten rodzaj kary w Sudiebniku określa się również wyrażeniami przyimkowymi: *na šiběnicu, na oběšenije*:

„ино женою а дѣтми заплатити а само/го/ на шибѣницѣ”,
 „а злодѣ на обѣшеніе”

Szubienica jest wyrazem używanym od XV w. (stp. XV–XVI też *szybienica*) posiadającym podobne brzmienie we wszystkich językach zachodniosłowiańskich, w ukraińskim, w białoruskim [SEJP Boryś, 2005: 608] oraz w południowych i zachodnich gwarach pskowskich [Dahl 1908, t. IV: 1431]. W staroruskim i rosyjskim odpowiadają mu leksemy *visielnica* i *visielica*. *Szubienica* pochodzi zapewne od psł. czasownika **šibiti* (imiesłów: *šibenъ*) – 'smagać czymś elastycznym, chłostać, bić'. Pierwotnie mogło to być miejsce wymierzania chłosty, kar cielesnych, do których zaliczono również wieszanie przestępcy. Z czasem ukształtowało się nowe znaczenie: 'urządzenie do wymierzania kary śmierci'. Zamiana *szy->szu-* w języku polskim jest niejasna [dalej: SEJP Boryś 2005: 608]. Wyrazu *oběšenije* nie rejestruje żaden ze słowników: Sstp, SRJ XI–XVII, SSM XIV–XV.

Powieszenie było równoznaczne z użytym w tekście wyrażeniem *kazniti smert-noju ranoju*. Lżejszą karą było poświadczone w tekście: *kazniti probiti* (w innym odpisie zabytku: *probiti i kazniti* – Daniłowicz 1826: 12):

„а паробка казнити пробити. а боуде/т/ ли часто красти послѣ того ... паро/б/ка обѣсити”.

W tym przypadku nie chodzi na pewno o wymierzenie kary śmierci, ale o zastosowanie kary chłosty.

Wyraz *kaznʹ* był używany w języku staroruskim jako synonim wyrazu *nakazanie* i był ogólną nazwą dla pojęcia kary:

„всмотревъ того какою казнѣю казнити”

Karę śmierci oznaczał on jedynie w połączeniu z przydawką *smiertnaja* (Lenkiewicz Z., 1986: 75). W dawnym języku białoruskim *kaznʹ* oznaczała także więzienie, ciemnicę (ESSJ, t. 9: 172) i w takim znaczeniu została użyta w badanym zabytku jeden raz:

„вса/д/ти єго в казнѣ и держати”.

Oprócz kar polegających na odosobnieniu przestępcy oraz kar cielesnych istniały też kary materialne. W okresie staropolskim *wina* było podstawowym określeniem kary pieniężnej i opłaty sądowej za przewinienie. Później określenie *wina* zastąpione zostało terminem *grzywna*. (Zajda 1990: 165). W tekście Sudiebnika i Przywileju Kazimierza zaświadczone zostały następujące określenia kar pieniężnych: *vina*, *tatʹba*, *istinna*:

„за первѣю є/го/ та/т/бѣ виною казнити”,

„а боудѣ/т/ перво оукра/д/ ... ино ємѹ платити истѣцѣ татѣбѣ и винѣ”,

„боудѣ/т/ ли ємѣ чи/м/ заплатити ино заплатити истиннѣ”.

Oprócz wymienionych form rekompensaty złodziej mógł zapłacić *domovymi rečmi* inaczej: *domowymi statky*, czyli tym, co wchodziło w skład inwentarza. W ramach zadośćuczynienia poszkodowany mógł otrzymać żonę złodzieja wraz z dziećmi (jeśli wiedzieli oni o przestępstwie), a te mogły się następnie wykupić z niewoli lub zostać wykupione przez swojego pana.

Analizowany materiał pokazuje, że słownictwo prawne związane z kradzieżą i karą za to przestępstwo, miało charakter ogólnosłowiański, ale w niektórych przypadkach typu: *šiběnica*, *złodějstvo*, *złoděj*, *vina* (w znaczeniu kara pieniężna) ulegało ono wpływom zachodniosłowiańskim. W zabytku użyto też kilku wyrazów, których nie odnotowują słowniki języka staropolskiego, staroruskiego i staroukraińskiego, jak chociażby: *oběšenije*, *vzvesiti*, *ověsiti*.

Literatura

- Bardach J., 1970, *Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w.*, Warszawa.
- Bednarczuk L., 1999, *Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego*, Kraków.
- Daniłowicz I.N., 1826, *Statut Kazimierza Jagiellończyka*, Wilno.
- Lazutka S., 1997, *Język Statutów litewskich i Metryki litewskiej*, „Lithuania”, nr 1/2 (22/23), s. 27–33.
- Lenkiewicz Z., 1986, *Słownictwo prawno-administracyjne w rosyjskich zabytkach piśmiennictwa kancelaryjnego XVI-XVII w.*, „Monografie Slawistyczne” 51, PAN.
- Lizisowa M.T., 2000, *Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawno-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku*, Kraków.

- Lizisowa M.T., 1988, *Charakter regionalizmów w polskim języku kancelaryjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i XVII w.*, [w:] *Studia polsko-litewsko-białoruskie*, Warszawa.
- Smułkowa E., 1988, *O polsko-białoruskich związkach językowych w aspekcie czasowym i terytorialnym*, [w:] *Studia polsko-litewsko-białoruskie*, Warszawa.
- Stradomski J., 2007, *Pierwiastek południowosłowiański w XV-wiecznych zabytkach prawnych Cerkwi prawosławnej w zbiorach rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej*, [w:] *The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition*, Białystok, s. 197–210.
- Szczepanowska I., 2004, *Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego*, cz. I: *Pojęcia prawne*, Białystok.
- Zajda A., 1990, *Staropolska terminologia prawnicza (do 1500)*, Kraków.
- Рогов А.И., 1969, *Кириллические рукописи в книгохранилищах Польши*, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIV, Warszaw–Poznań, s. 153–167.
- Старостина И.П., 1976, *О месте Судебника Казимира 1468 г. в праве Великого княжества Литовского*, [в:] *Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.*, Москва, s. 94–113.
- Старостина И.П., 1979, *Некоторые особенности развития права восточнославянских земель в Великом княжестве Литовском*, [в:] *Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVII вв.*, Москва, s. 118–134.
- Щапов Я.Н., 1976, *Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв.*, Москва.

Słowniki

- SEJP Boryś – Boryś W., 2005, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków.
- Brückner – Brückner A., 1996, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, wyd. VII, Warszawa.
- SJS – *Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae Palaeoslovenicae*, 1966–1997, t. I–IV, Praha.
- Linde – *Słownik języka polskiego*, 1854–1860, t. I–VI, przez M. Samuela Bogumiła Linde, Lwów.
- Dorosz. – *Słownik języka polskiego*, 1958–1968, t. I–X, redaktor naczelny W. Doroszewski, Warszawa.
- Sstp – *Słownik staropolski*, 1953–1995, t. I–XI, Wrocław–Kraków–Warszawa.
- Wielki słownik rosyjsko-polski*, 2004, t. I–II, A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Wiedza Powszechna, Warszawa.
- Большой толковый словарь русского языка*, ред. С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург 2006.
- Prieobr. – Преображенский А.Г., 1959, *Этимологический словарь русского языка*, t. 1–2, Москва.
- SRJ XI–XVII – *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, выпуск I–XXIII, под ред. Г.А. Богатовой, Москва 1975–.
- SSM XIV–XV – *Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.*, t. 1–2, Київ 1977–1978.
- Словник української мови*, t. 1–11, Київ 1970–1980.
- Dahl – *Толковый словарь живого великорусского языка*, В. Даль, т. I–IV, С. Петербург–Москва 1904–1908.
- ESSJ – *Этимологический словарь славянских языков*, под редакцией О.Н. Трубачева, выпуск 1–(35)–, Москва 1974–.

Юридическая лексика в Кормчей книге XV века с территории Великого литовского княжества. Преступления и наказания

Резюме

В настоящей статье проводится анализ юридической лексики, относящейся к праву собственности, избранной из двух документов: привилегии Казимира Ягеллончика от 1457 года и его Судебника от 1468 г. Эти два документа, написаны на старобелорусском языке и добавлены, вместе с другими древнерусскими текстами, к Кормчей книге XV века. Рукопись этой книги находится в Ягеллонской библиотеке. Это нетипичный пример церковнославянской кормчей, основанной на сербском изводе, но со своеобразно реорганизованной канонической частью.

Анализируемый материал сопоставляется с материалом древнерусского, древнеукраинского и древнепольского словарей, а также с древнерусской и древнепольской юридической лексикой, разработанной поочерёдно: З. Ленкевичем и А. Зайдой, в выше указанных монографиях.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Beata Raszevska-Żurek

Jak wieszamy psy na ... psie – obraz psa w językach zachodniosłowiańskich i ich dialektach

Pies, *Canis familiaris*, *Canis lupus familiaris*, towarzyszy człowiekowi, według najnowszych badań, od około 25 000 lat. Historia wspólnego życia rozpoczęła się prawdopodobnie na terenie wschodniej Azji, ale do najstarszych terenów poświadczających związek człowieka i psa należą też obszary europejskie, gdzie znaleziono kopalne szczątki psów (Lasota-Moskalewska 2005: 201).

Pies, jako ważny dla człowieka element rzeczywistości, został trwale odzwierciedlony w języku. Jednak należy pamiętać, że „językowo-kulturowy model świata jest interpretacją, a nie odbiciem rzeczywistości” (Bartmiński 1998: 65). Zatem stereotyp psa uwzględnia jedynie te fragmenty związanej z nim rzeczywistości, które w danym społeczeństwie łączą się ze zbiorowym doświadczeniem i z powszechnie przyjętym systemem wartości. Stereotyp psa w języku polskim jest dychotomiczny i niespójny, a nawet wewnętrznie sprzeczny. Składa się z dwóch przeciwnych biegunów – jednego – nacechowanego pozytywnie i drugiego – nacechowanego negatywnie, niekiedy skrajnie. K. Mosiołek mówi nawet o dwóch stereotypach psa, u podstaw których leżą idee o „gorszości” psa wobec człowieka oraz o jego „bylejałości”, z których rozwijają się stereotypy (1992: 301–302). Wydaje się zresztą, że takie ambiwalentne przedstawienie w stereotypie jest charakterystyczne dla wielu zwierząt, np. dotyczy też kota czy żaby (por. Anusiewicz 1995: 122, Dąbrowska 2000: 199). Pozytywne nacechowanie obrazu psa łączy się z przypisywaną mu powszechnie cechą bezwzględnej wierności i posłuszeństwa człowiekowi, a wyraża się np. w porównaniu *wierny jak pies*, we frazeologizmie *chodzić za kimś jak pies*, czy w powiedzeniu *Byś swemu psu i nogę uciął, przecie on za tobą pójdzie* (FSkor, także L). Znajduje ono odzwierciedlenie także w czeskim *chodit za někým jak pes i věrný jak pes* (Sčfai), oraz słowackim *verný ako pes* (SSJ).

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest przeciwny biegun – negatywny obraz psa, a ściślej, takie jego elementy, które odnoszą się do skrajnie negatywnie ocenianych postaw. Celem jest porównanie funkcjonowania obrazu psa w językach zachodniosłowiańskich. Baczniejsze zwrócenie uwagi na negatywną część stereotypu psa pozwoli pokazać, które z ludzkich cech i zachowań znalazły w nim swoje odzwierciedlenie i czy były one wspólne dla języków zachodniosłowiańskich. Zgromadzony materiał pozwala także na diachroniczne, przynajmniej po

części, spojrzenie na stereotyp. Postaram się ustalić, jak długa jest historia niektórych elementów negatywnego stereotypu psa w językach zachodniosłowiańskich i jakim zmianom uległy. Materiał pochodzi ze słowników literackich języków zachodniosłowiańskich, współczesnych i historycznych, a także ze słowników dialektalnych, gdyż leksyka dialektalna jest ważnym zwierciadłem stereotypów.

Negatywny stereotyp psa odwołuje się do cech ludzkich powszechnie potępianych, uznawanych za niegodne lub społecznie szkodliwe. Pierwszą z nich jest fałsz, skłonność do kłamstwa i nieszczerości przypisywana psu niejako na przekór pozytywnej stronie tego stereotypu. Najwyraźniej uwidacznia się ta cecha w polskim frazeologizmie *łże jak pies*. W polszczyźnie ma on długą tradycję – funkcjonował już w XV wieku – wg Słownika staropolskiego: *łgać, łygać, kłamać jako pies* 'kłamać, mówić nieprawdę': ... *lygalbych jako pyes* contra *suam serenitatem*... 1431 (Sstp); *Clamacze, chłopy, jako psy!* (Sstp), *Tho, czoszm mowyl, lgalem iako pyes*... (Sstp). Liczba poświadczeń i pochodzenie z różnych źródeł świadczą o tym, że w XV w. fraza *łgać jak pies* była dość powszechnie używana. XVI w. przynosi dalsze potwierdzenia: *A odwoływając [pomówienie] ma mówić: iż com mówił/ łgałem iako pies* (SXVI). Podobnie kontekst z Reja, z którego wynika przypisanie psu cechy fałszywości, nieszczerości: *Nieprzyaciółom nie wierz/ nigdy psu á swini* (SXVI). W wiekach późniejszych nadal rzekoma kłamliwość psa jest językowo poświadczona, zarówno bezpośrednio, jak i przez zestawienie psa z oszczercą: *On jak pies kłamał* (L); *pies szczeka, oszczerca kłamie* (L). Zaświadczenia współczesne, pokazują żywotność frazy *łżeć (zełżeć) jak pies* 'bezwstydnie, bezczelnie kłamać': ...*musi odwołać mówiąc „zełgałem jak pies”* (SJPDor). Za potwierdzenie powszechności łączenia kłamstwa z psim stereotypem może służyć przytoczona przez Karłowicza (SGPKarł) fraza *łże kiej pies*, obecna w gwarach z wielu regionów Polski.

Do kłamstwa, oszczerstwa, złośliwych i nieszczerzych pomówień odnosi się też powiedzenie: *Psi głos nie idzie do niebios* ze słownika Lindego i później Doroszewskiego. Powiedzenie to znane jest też w gwarach na Pomorzu i w okolicach Łęczycy, np.: *Pse guosy ńe jidom pod ńeb'osy* (Dom-Sz, SP-Ram).

W podobnej formie występuje także w czeskim: *Psj hlas do neba negde* i *Pán bůh psjho hlasu neslyšj* (Jungč). Do psiej „nieszczerości” nawiązuje pośrednio porównanie „*Gak by pes štekl*” (Jungč) w odniesieniu do niesłusznego łajania, ganienia kogoś oraz określenie *dwau dworů pes* (Jungč), dosłownie – *pies z dwóch podwórek (domów)*, oznaczające lizusa, pochlebcę, więc i tutaj wpisany jest element kłamstwa.

Niezbyt wiele jest potwierdzeń wiązania psa z fałszem w języku słowackim. W XVIII-wiecznym zapisie pojawia się, użyty w funkcji wyzwiska, *pies* nikczemny i oszczerczy, czyli mówiący nieprawdę przeciw komuś: *ty [...] nanichodni klewétarsky pse* 1764 (HSJ). Kojarzenie psa z nieszczerością potwierdza znany też w czeskim słowacki frazeologizm dialektalny: to je *ze dvuh dvorou pes* (SSN, Gem-O) używany w odniesieniu do człowieka fałszywego, nieszczerego lub niegodnego zaufania w różnych regionach Słowacji. W dialekcie z regionu Gemer pojawia się dosłowny odpowiednik znanego w polskim i czeskim powiedzenia – *Pší hlaz do neba néde* (Gem-O).

Przypisywanie psu cechy nieszczerości, kłamliwości, fałszu łączy się ze stereotypem tego zwierzęcia we wszystkich trzech językach. W polszczyźnie takie stereotypowe ujęcie psa funkcjonuje od XV wieku do dziś. Nieco późniejsze są poświadczenia takich cech psa w czeskim i słowackim, ale i tu mają dość długą historię.

Kolejną cechą, jaką obarcza psa stereotyp, jest bezwstydnosć i niemoralność. Łączy się to z eufemistycznym określaniem sfery erotycznego tabu w ogóle, a szczególnie z problemem naruszenia zasad moralności. Pies pojawia się we wszystkich trzech językach w eufemistycznych wyrażeniach związanych z cudzołóstwem i nierządem. Warto pamiętać, że cudzołóstwo jest w tradycji chrześcijańskiej uważane za ciężkie przewinienie i zawsze łączyło się z jak najsilniejszym potępieniem. Zatem ciężar gatunkowy zawartej w stereotypie psa niemoralności jest poważny. Podobnie piętnowany jest brak wstydu, brak skromności, co widać w XV-wiecznej obeldze: *O, [...] nyesromyeslyvy psyel*. W polskim języku literackim już w XVI w. do psa przyrównywano niespełniającą wymogów skromności żonę: *Nywestydliwa żoná psu rowna yest* (SXVI). W języku ludowym nierząd i rozpustę określa się wyrażeniem „*psy paść*” notowanym w dialektach kaszubskich, pomorskich i z Krajny, gdzie „*on z nią psa pasał, ona z nim psa pasła*” znaczy ‘uprawiali nierząd, cudzołóstwo’, ‘łajdaczyli się’ (PW-L, SP-Ram, Kraj-B), cytuje je także Karłowicz w znaczeniu ‘prowadzić życie rozpustne, rozwiążle; utrzymywać stosunek z obcą kobietą, mając własną żonę’ z Podhala i z lubelskiego. Z zarzutem niemoralności łączą się również określenia kobiet: *psiocha* dla kobiety latającej za mężczyznami z kieleckiego i łódzkiego (Kieł-D), kaszubska *psiczka*, czyli ‘kobieta lekkich obyczajów’ (Kasz-S), a także obecna w języku ogólnopolskim obelga *psica* (SJPDor). Z Lindego pochodzi cytat: *A co zdradliwa psico, i mnieś oszukała*, który także zapewne odnosi się do niemoralnych zachowań kobiety. Samo erotyczne pragnienie, jak najmocniej negatywnie ocenione, wyraża się we frazie *psia żądza serce mu nicuje* (L). Konotacyjny związek *psa* z nierządem widoczny jest także w nacechowanych ekspresywnie derywatach. Na Warmii *psianoga* (War-St) oznacza hultaja, łobuza i bezecnika, natomiast w rejonie Kociewia dziecko urodzone poza małżeństwem nazywane bywa *psēnoga*, a mężczyzna-rozpustnik zwany jest *psarzem*: *Ten psarz lata za babami, jak pies za sukami* (Koc-S). Kontekst ten przynosi wyjaśnienie stereotypowego skojarzenia, które wynika z obserwacji psich zachowań godowych. Stąd też kaszubski wulgarny czasownik, odnoszący się także do ludzi – *pieskować* ‘objawiać chęć zaspokojenia popędu płciowego’ (Kasz-S). Słowo *psina* ma też wg Małego słownika zaginionej polszczyzny znaczenie ‘bezcelność, bezwstyd’, co znajduje potwierdzenie u Lindego: *Psiną oczy zakrywszy, płodziłeś niewstydy*.

W czeskim stereotypowe skojarzenie psa z niemoralnością także jest dość mocno potwierdzone i dość dawne w języku. U Jungmanna znajdujemy zapis *Mát’ s njm psj hody*, bez objaśnienia, określenie to nie pojawia się w innych czeskich słownikach. Wydaje się jednak, że oznacza to samo, co polskie gwarowe, poświadczone jednorazowo *psie wesele* ‘stosunek płciowy’, znane w miejskim slangu warszawskim w XIX w.: *Mogą sobie poleżyć dobrą godzinę; do psiego wesela jeszcze czas* (WarXIX)¹.

¹ SJPDor notuje *psie wesele* – żart. ‘parzenie się, ciekawie psów’ – jednak odnosi się ono do godowych zachowań psów, Doroszewski nie wspomina o odniesieniu tego określenia do ludzi. Przytacza też przysłowie – *Obejdzie się psie wesele bez marcepanów*. Podaje je też Mosiołek-Kłosińska (1995: 23 i 31) z objaśnieniem ‘nędzna impreza może odbyć się bez dobrych i drogich rzeczy’. Autorka uważa, że obecny tutaj odcień lekceważenia oparty jest na obserwacji nędznych, złych warunków życia psa. Warto dodać, że Doroszewski podaje też inną wersję tego samego przysłowia – *Obejdzie się cygańskie wesele bez marcepanów* (pod hasłem *wesele*), co potwierdza jego pogardliwy wydźwięk, ale tu już w oparciu o jeden ze stereotypów narodowych.

Jungmann podaje także nazwę *psice* wskazującą na kobietę niemoralną: *Se wšemi psice obcowala*. We współczesnym czeskim funkcjonuje eufemizm *se psy si tyka*, a w kontekście pojawia się także obraźliwa nazwa kobiety, która „zadaje się” ze wszystkimi: *I kto se jí všima, takové běhny, která se psy si tyka* (Přirč). Czeski dysponuje też rzeczownikiem abstrakcyjnym *pestvo* ‘niemoralność, nierząd, zuchwałość’, notowanym w tym znaczeniu już w 1449 roku: „*illecebre pestvo*” (Sstč) i używanym do dzisiaj jako ‘niemoralność, łajdactwo’, czyli zasadniczo bez zmiany, np.: *Čím větším město, tím větším pestvo* (Přirč). Ludowe użycie tego wyrazu potwierdza słownik gwar wschodniomorawskiej z Karlovic, gdzie *pestvo* znaczy ‘skłonność do rozpusty’ (Karl-S), a w gwarach laskich – ‘nikczemność, podłość’ (Laš-S).

W słowackim *pestvo* – ‘nikczemność, niemoralność’ znane jest od XVII wieku, np.: „*Ondreg Flak, dewer swetkow, žeby s touže Annou Obertnik pestvo anebo zli skutok pachal*” 1677 (HSJ). Wydaje się, że w słowaczystnie jest to zapożyczenie z czeskiego, współcześnie nie używane już w języku literackim. W dialektach potwierdzona jest forma *pestvo*, ale o znacznie złagodzonej znaczeniu ‘figlarność; figle, żarty, psoty’ (SSN). Do człowieka współżyjącego z cudzą żoną adresowane było w XVII wieku słowo *pies* jako obelga: „*czo z mogu zenu lihass, kurwiss, a wsseckj zle wecj s nu pachass, pse ssantawj* 1622 (HSJ). Podobną funkcję pełniła nazwa *psica* już w XVI wieku – była wyzwiskiem dla niemoralnej żony: *Jan Sysel lal Dorothie, rzka: nesslachetna psczo, ssaliss a klamass mne*” 1549 (HSJ).

W języku górnołużyckim istnieje rzeczownik abstrakcyjny o nieco szerszym znaczeniu – *psowstwo* ‘nikczemność, niegodziwość, podłość, łajdactwo’ (Trof., Zeman). Wydaje się, że i tu, przy innych negatywnych cechach, wpisany może być element „łajdactwa się”, choć znaczenie to nie jest tak wyraziste, jak w innych językach zachodniosłowiańskich.

Powiązanie stereotypu psa z niemoralnością, bezwstydem i nierządem w językach zachodniosłowiańskich było bardzo silne w ubiegłych wiekach. Poświadczenia są stare, sięgają nawet XV wieku w języku polskim. Współcześnie ten „niemoralny” aspekt stereotypu psa jest używany rzadziej, zapewne z powodu pewnego rozluźnienia zasad moralnych z jednej strony, a upowszechnienia się o wiele „mocniejszych” wulgarnych określeń – z drugiej. Jednak ten stereotypowy, niejako tradycyjny związek daje się wciąż zauważyć, np. w polskim obelżywym nazywaniu kobiety *suką*².

Kolejną negatywną cechą przypisywaną psu w stereotypie jest całkowity brak wartości. W języku polskim widać to już w zwrocie z XVI wieku: *mieć kogo za psa* ‘nie szanować kogoś, gardzić kimś’: *Y kmiećie/ y insze nieślacheckiego stanu ludzi/ pospolicie ślachtetá ma zá psy* (SXVI). W polszczyźnie to, co *za psa stoi*, jest nic nie warte, np.: *Łazarz ubogi za psa u bogacza stoi* (L). Podobnie jest w dialektach, choć tutaj znaczenie jest rozszerzone, Karłowicz pisze: „Wszystko u ludu, mówiąc o czymś złem lub nieprzyjemnem jest ‘kiej pies’: zły, chudy, twardy itd. *kiej pies*;

² Dla uzyskania jak najpełniejszego, szeroko rozumianego językowego obrazu psa konieczne jest uwzględnienie powiązanych z nim semantycznie rzeczowników, jak *suka*, *kundel*, czy *szczeniak*, przymiotników *psi* i *pieski*, a także czasowników, jak *zepsieć* (*zejść na psy*), *skundleć*. Z racji bardzo bogatego i od dawna poświadczanego, przynajmniej w języku polskim, materiału, wymaga to odrębnego opracowania, gdyż zdecydowanie przekracza ramy jednego artykułu.

szczeka (dużo gada), pije, łże *kiej pies*, wreszcie *zimno, głodno, gorąco, ciemno, deszcz pada kiej pies*, a nawet boli *kiej pies*" (SGPKarł).

W czeskim to samo znaczenie pojawia się u Jungmanna: *za psa stati*, czyli za nic. Podobnie jak w polszczyźnie, to, co nie przedstawia żadnej wartości, jest marne, nędzne, określa się jako *pod psa* albo *na psu*: *Všechny noviny jsou u nás pod psa, Mám se pod psa* (Přirč).

Fraza *bit' pod psa* (SSN) w znaczeniu 'bardzo źle, do niczego' znana jest także w słowackich dialektach. Ta sama formuła pojawia się w górnołużyckim: *za psa dobre* 'nic nie warte' (Jakgł, Zeman, Kral). W dolnołużyckim słowniku występuje zapis *to jo za psa* w znaczeniu 'daremnie, bezskutecznie, na próżno', inaczej na nic. Zatem znaczenia te są do siebie zbliżone, wyrażają brak wartości.

Odzwierciedlone w stereotypie uznanie psa za coś marnego i bez wartości najlepiej i najwcześniej potwierdzone jest w polszczyźnie, ale widać ślady podobnego wartościowania również w czeskim i słowackim, a także w językach łużyckich.

Nagromadzone wokół psa negatywne emocje i przypisywane mu niepożądane cechy powodują, że sam wyraz *pies*, obdarzony silnym ładunkiem ekspresywnym, łatwo staje się wyzwiskiem, obelgą. Polska tradycja jest stara i bogata, wspomniałam już wyżej o wyzwisku *nyesromyeslyvy psy*! z XV wieku. W staropolszczyźnie funkcjonowały także określenia *psy dawać*, *psać lub psiać* 'obelżywie nazywać psem' odnoszące się do czynności wyzywania: *Czsom vczinil Barthlomeyowi, tho za gego poczanthkem, kedi mi psi dawał, psal i thopora na myø dobył* 1428 (Sstp). XVI wiek przynosi wyzwisko *psubrat* skierowane do niegodziwca: *A tuś mi, psubracie, licha strawo* (SXVI). Obelga ta, potwierdzona w słowniku Lindego, funkcjonuje także we współczesnej polszczyźnie: *Okradł mnie, psubrat, do ostatniego grosza* (SJPSz). *Pies* w funkcji obraźliwego wyzwiska znany jest dialektem polskim ze wszystkich regionów, np. *Podły psie, zakamieniały psie!*, *Psie judasie!*, *Ty zapowietrzony, wściekły psie!*, *Cekaj psie ultaju!*. Zarówno gwary, jak i język literacki obfitują w stworzone na bazie psa przekleństwa, np. dialektalne *psia krew*, *psia dusza*, *psia wiara*, *psie ścierwo*, *psia jucha*, *psia mać*, *psia kość* (SGPKarł, War-St, Dom-Sz)³.

Czeski i słowacki również bogate są w repertuar związanych z *psem* wyzwisk, obelg i przekleństw. Obelgi takie spotykamy w staroczeskim już w XV wieku: *vyjebený pse!*, *...když ti psi kacieři slúžie v okolnh farách* 1495 (Sstč). Występują także w gwarach, np. *psí plemeno* jako ciężka obelga: *Pust' me ženo, nebudu tě říkat, psí plemeno!* (DSCh-H), czy *...ten náš kl'uk to je pes!* (Fren-H). W słowackim najstarsze poświadczenia pochodzą z XVII wieku: *Prebygem te, y toho psa popovskyeho...* 1657, *Ti pse, ti pesky narod...* 1682, *Ty pes tyranski!* XVIII w. (HSJ). Wyzwisk takich używa także lud słowacki, np. *Ťi pez edon hnusní!* (Gem-O).

Szczegółne wydaje się zastosowanie *psa* jako wyzwiska w trzech językach dla tureckich i tatarskich najeźdźców. Tu wyraziście widać wysoce negatywne nacechowanie, łączące się z nienawiścią do wroga, podsycaną jeszcze pogardą dla jego pogańskiego charakteru. W polskim od XVI wieku wyzwisko używane było

³ J. Kobylińska w opracowaniu języka W. Orkana podaje przykłady wyrażen obraźliwych i przekleństw, których składnikiem jest *pies*, np. *pies podły*, *pies głupi*, *pies nieokrzesany*, *pies oblażył*, *psia krew*, *psia mać*. Bogactwo takich wyzwisk i przekleństw u tego pisarza, pochodzące z gwary gorczańskiej, świadczy, zdaniem autorki, o popularności psa w funkcji ekspresywnej negatywnej w życiu codziennym wsi regionu gorczańskiego (1997: 107–114). Wydaje się, że popularność ta rozciąga się także na inne regiony, na język ludowy w ogóle.

przez poetów, np. J. Kochanowskiego: *Córy szlacheckie (żał sye mocny Boże) Psóm Bisurmánskím brzydkié ścielą łoże* (SXVI), czy W. Potockiego: *Ty psie pogański!* (L). Odpowiednikiem tych obelg jest czeskie: *Ty pse pohanský!* (Jungč). W słowackim powstał specjalny ekspresywny derywat od *psa*, na oznaczenie pogan – Turków i Tatarów – *psohlavec*: *...že psohlavcom slovo božj kazal XVIII* (HSJ), *Kryl sa pred krvavými psohlavcami, ako Tatárov tu menovali* (SSJ).

Negatywny językowy obraz psa jest silnie ugruntowany w językach zachodniosłowiańskich – polskim, czeskim i słowackim, poświadczony jest także, choć nieporównywalnie słabiej, w językach łużyckich⁴. Wykazuje on wiele cech wspólnych. Jego przejawy, zwłaszcza odniesienie do psa ludzkich negatywnych cech, takich jak skłonność do bezwstydu, nierządu i kłamstwa, występowały już w początkach rozwoju tych języków – w czeskim i polskim w XV wieku, nieco później w słowackim. Zachowały się też do dzisiaj, choć z pewnymi zmianami – nadal używa się stereotypu psa w kontekście kłamstwa, natomiast społeczno-obyczajowa ewolucja spowodowała, że rzadziej korzysta się z tych elementów, które odnosiły się do cudzołóstwa. Poszczególne wyrażenia, w skład których wchodził *pies*, wychodzą dziś lub wyszły już z użycia (np. polskie *psy dawać*, czy *psubrat*), jednak negatywne, stereotypowe konotacje, związane z psem, wydają się żywe i aktualne. Świadczy o tym użycie wyrazu *pies* w nowych, ale nadal nacechowanych negatywnie znaczeniach w slangu młodzieżowym, zbliżonym do języka subkultur – *pies* 1. ‘obraźliwie o policji’, 2. ‘osoba przez nas nie lubiana’ (Mssimp).

W obrazie psa uwidacznia się antropocentryczny charakter stereotypu zwierzęcego – postrzeganie psa w kategoriach zwierzęcia żyjącego blisko przy człowieku. Z tego charakteru właśnie wynika pogardliwy, negatywny stosunek do zwierząt jako istot gorszych od człowieka. Jednak obraz psa wydaje się, na tle innych stereotypów zwierzęcych, skrajnie negatywny, porównywalny chyba tylko ze świnią. Utrwalony kulturowo i językowo stereotyp psa zawiera elementy rzeczywistości postrzeganej i wartościowanej według ludzkich kryteriów. Część z nich ma pewną podstawę w rzeczywistym zachowaniu psów, jak np. ich zwyczaje godowe, znajdujące odzwierciedlenie w negatywnej ocenie przypisującej psu bezwstyd i brak moralności, czyli naruszenie ludzkich norm zachowań. Trudno natomiast znaleźć w powszechnej obserwacji podstawę do oskarżania psa o fałsz i zakłamanie, cechy przecież właściwe tylko ludziom. Podobieństwo psiego obrazu w omawianych językach łatwo tłumaczy się zbliżonym zbiorowym doświadczeniem sąsiedzkich społeczeństw, a także podobnym systemem wartości, związanym z przynależnością do zachodniego kręgu kultury chrześcijańskiej, w której powszechnie znany jest negatywny biblijny wizerunek psa⁵. Zważywszy na bardzo dawne udomowienie psa, obejmujące

⁴ Dla języka połabskiego znalazłam tylko poświadczenie połączenia psa z negatywnym epitetem: *gchôrsteiwa piäs* z objaśnieniem ‘nędzny, szubrawy pies’ (Oldrp), które wydaje się odnosić do cech psychicznych. Mogłoby ono wskazywać na istnienie negatywnego stereotypu psa w połabskim, ale użycie *xorstajvë pas* w znaczeniu ‘parszywy pies’, gdzie może chodzić o znaczenie dosłowne ‘mający parchy’, czyli mający objawy choroby skórnej, skłania do ostrożności w uznaniu tego określenia za przejaw stereotypu.

⁵ Pies występuje w Biblii wielokrotnie, od Księgi Wyjścia po Apokalipsę. W Starym Testamencie wizerunek psa jest negatywny, pies przedstawiony jest jako zwierzę nieczyste, odrażające swoim zachowaniem (między innymi tym, że żywi się odpadami), czasem niebezpieczne. W Księdze Przysłów (26, 11) pies posłużył do zobrazowania ludzkiej głupoty – „Jak

obszar całego świata, a także negatywny stosunek do psa w odległych dość kulturach, jak np. w arabskiej, jasne jest, że negatywny stereotyp psa ma zasięg znacznie szerszy niż zachodniosłowiański, czy ogólnosłowiański. A. Nowakowska pisze, że porównania, w których występują zwierzęta rodzime, mogą mieć charakter internacjonalizmów, gdyż z obserwacji natury przez różne społeczeństwa wynikają podobne rezultaty (2003: 100). Ale nie bez znaczenia są też wzajemne wpływy językowe – podobieństwa określeń i znaczeń zapewne w pewnym stopniu wynikają z zapożyczeń. Jednak zapożyczenie określeń stereotypowych, niezależnie od kierunku, wydaje się możliwe tylko wówczas, gdy element zapożyczony wpisuje się łatwo w uznany przez społeczność system wartości i pasuje do ukształtowanych w danej kulturze wyobrażeń rzeczywistości.

Literatura

- Anusiewicz J., 1995, *Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki*, Wrocław.
- Atlas zwierząt biblijnych. Miejsce w Biblii i symbolika*, 2007, B. Szczepanowicz, A. Mrozek, Kraków.
- Bartmiński J., 1998, *Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki*, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), *Język a Kultura*, t. 12, s. 61–83.
- Dąbrowska A., 2000, *Tę zabę trzeba zjeść. Językowo-kulturowy obraz żaby w polszczyźnie*, [w:] J. Anusiewicz, A. Dąbrowska, *Język a Kultura*, t. 13, s. 182–203.
- Kobieltus S., 2002, *Bestiariusz chrześcijański*, Warszawa.
- Kobylińska J., 1997, *Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy*, Kraków.
- Lasota-Moskalewska A., 2005, *Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości*, Warszawa.
- Mały słownik zaginionej polszczyzny*, 2003, F. Wysocka (red.), E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szlachowska-Winiarzowa, F. Wysocka (oprac.), Kraków.
- Mosiółek K., 1992, *Stereotypy psa zawarte w języku polskim*, „Poradnik Językowy”, z. IV, s. 301–304.

pies, który wraca do wymiotów swoich, tak głupi, który powtarza głupstwa swoje”. Psami nazwano przywódców zaniedbujących swój naród, jednocześnie nadając im cechę żarłoczności i nienasyconości (Iz 56, 10.11). Walka Dawida z Goliatem pokazuje, że nazwanie kogoś psem jest w Biblii traktowane jak obelga: „Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem” (I Sm 17, 43), a przepowiednia, iż kogoś będą żarły psy, pełni funkcję klątwy w Pierwszej Księdze Królewskiej (I Krl 14, 11; 16, 4; 21, 23, 24). Nowy Testament mówi, że nie należy dawać psom tego, co święte (Mt 7, 6), psami nazywa Paweł judaizujących chrześcijan, z zaleceniem, by się ich strzec, a Apokalipsa wymienia psy obok czarowników, bezwstydných, mężobójców, bałwochwalców i kłamców. Sporadycznie w Biblii pies pojawia się w pozytywnym (a i to niezbyt jednoznacznie) świetle – jako towarzyszy podróży w Księdze Tobiasza (*Atlas zwierząt biblijnych*, 2007: 36–37, za autorami tej pozycji przytaczam wszystkie powyższe cytaty biblijne). W czasach późniejszych chrześcijaństwo łagodzi, a nawet niekiedy odwraca negatywny obraz psa, np. założony w XIII w. przez św. Dominika Zakon kaznodziejski, dominikanie, zwani byli Domini Canes – Psy Pańskie, gdyż strzegli prawdziwej wiary, zatem w znaczeniu pozytywnym (Kobieltus 2002: 259, tam też więcej o zróżnicowanym postrzeganiu psa w starożytności i wiekach średnich). Wydaje się, że znacznie przeważający, mocno zaakcentowany i utrwalony w kulturze chrześcijańskiej negatywny aspekt biblijnego wizerunku psa miał najsilniejszy wpływ na obraz tego zwierzęcia przyjęty potocznie przez społeczności kręgu kultury chrześcijańskiej i znajdujący poświadczenie w ich językach. Nieliczne pozytywne przedstawienia psa zawarte w Biblii nie zdołały go złagodzić.

- Mosiółek-Kłosińska K., 1995, *Motywacja związków frazeologicznych zawierających wyrazy pies i kot*, Etnolingwistyka 7, s. 21–31.
- Nowakowska A., 2003, *Człowiek jak zwierzę. Sfrazeologizowane porównania doczasownikowe na podstawie Słownika frazeologicznego języka polskiego*, [w:] A. Dąbrowska (red.), *Język a Kultura*, t. 15, s. 97–102.
- Peisert M., 2003, *Sus domesticus – zwierzę, którego nazwy używać nie wypada*, [w:] A. Dąbrowska (red.), *Język a Kultura*, t. 15, s. 149–155.

Skróty źródeł

- Dom-Sz – Szymczak M., 1962, 1967, *Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim*, t. I–II, Wrocław–Warszawa–Kraków.
- DSCh-H – Hruška J.F., 1907, *Dialektický slovník chodský*, Praga.
- Fren-H – Horečka F., 1941, *Nářečí na Frenštátsku*, Frenštát.
- FSkor – Skorupka S., 1993, *Słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa, wyd. 7.
- Gem-O – Orlovský J., 1982, *Gemerský nářečový slovník*, Rimavska Sobota.
- HSJ – Matján M., Blanár V., Kotulič I., Peciar Š. (red.), 1991–2008, *Historický slovník slovenského jazyka*, Bratislava.
- Jakgł. – Jakubaš F., 1954, *Hornjoserbsko-němski słownik*, Budyšin/Bautzen.
- Jungč – Jungmann J., 1834–1839, *Slovník česko-německý*, t. I–V, Praha.
- Karl-S – Svěrák F., 1957, *Karlovičské nářečí*, Praha.
- Kasz-S – Sychta B., 1967–1976, *Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*, t. I–VII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
- Kieł-D – Dejna K., 1974–1985, *Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego*, t. I–IV, Łódź.
- Koc-S – Sychta B., 1980–1985, *Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej*, t. I–III, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
- Kraj-B – Brzeziński W., 1982–1992, *Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Żłotowskiem*, t. I–III, Wrocław–Warszawa–Kraków.
- Kral – Kral J., 1986, *Serbsko-němsky slovník hornjołužiskeje serbskeje řeče*, Bauzen.
- L – Linde S.B., 1854–60, *Słownik języka polskiego*, t. I–VI, Lwów.
- Laš-S – Sochová Z., 2001, *Lašská slovní zásoba*, Praha.
- Mssimp – *Miejski słownik slangu i mowy potocznej*, <http://www.miejski.pl/def-7009>.
- Oldrp – Olesch R., 1984, *Thesaurus Linguae Dravaenopolabicae*, Köln, Wien.
- PW-L – Lorentz F., 1958–1975, *Pomoranisches Wörterbuch*, t. I–IV, Berlin.
- Přirč – *Příruční slovník jazyka českého*, 1935–1957, t. I–VIII, Praha.
- SXVI – Mayenowa M.R. (red.), 1966–2004, *Słownik polszczyzny XVI wieku*, t. I–XXXII, Wrocław.
- Sčfai – Čermák F., Hronek J., Machač J. (red.), 1983, *Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání*, Praha.
- SGPKarł – Karłowicz J., 1900–1911, *Słownik gwar polskich*, t. I–VI, Kraków.
- SJPDor – Doroszewski W. (red.), 1958–1967, *Słownik języka polskiego*, t. I–XI, Warszawa.
- SJPSz – Szymczak M. (red.), 1978–1981, *Słownik języka polskiego*, t. I–III, Warszawa.
- SP-Ram – Ramułt S., 1993, *Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego*, cz. II, Kraków.

- SSJ – Peciar Š. (red.), 1959–1965, *Slovník slovenského jazyka*, t. I–V, Bratislava.
- SSN – Ripka I., 1994–2006, *Slovník slovenských nářečí*, t. I–II, Bratislava.
- Sstč – *Staročeski Slovník*, 1985, J. Petr (red.), z. 15, Praha.
- Sstp – Urbańczyk S. (red.), 1953–2002, *Słownik staropolski*, t. I–XI, Wrocław.
- Trof. – Trofimowicz K.K., 1974, *Hornjo-serbsko-ruski słownik*, Budyšin.
- WarXIX – Wiczorkiewicz B., 1966, *Słownik gwary warszawskiej XIX wieku*, Warszawa.
- War-St – Steffen W., 1984, *Słownik warmiński*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
- Zeman – Zeman H., 1967, *Słownik górnoślązko-polski*, Warszawa.

Как вешаем собак на ... собаку – образ собаки в западнославянских языках и их диалектах

Резюме

Основной целью статьи является исследование признаков функционирования негативного образа собаки в западнославянском языковом и диалектном пространствах. Основа пейоративного стереотипа свои корни находит в таком изображении собаки, с которым повсеместно ассоциируются лишь порицательные черты, в том числе, склонность ко лжи, к аморальному поведению, напр. поль. *psu paść* [буквально: *пасти собак*] (PW-L, SP-Ram, SGPKarł), чешск. *se psy si tyka* (Přirč). Такие ассоциации присутствуют в польском, чешском и словацком языках, хотя и с различной степенью распространения. Исследуемые стереотипные образы собаки, нераздельно связанные с нравственной системой общества, своё отражение находят в языковом материале западных славян уже в средневековое время, а некоторая часть этих изображений сохранилась в языках по сей день.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Katarzyna Smyk

Każda droga dobra, co do ludzi prowadzi.

O przenośnych sensach drogi w polskich przysłowiach

Nowa droga życia, droga usłana różami, śmiertelną drogą jeżdżą do nieba – przysłowia wprost odnoszą do metaforycznych sensów drogi, która staje się figurą życia. Tym różnią się od współczesnych definicji słownikowych. Wyraz *droga*¹ ma bowiem w polszczyźnie wiele znaczeń, w tym w polszczyźnie ogólnej i gwarach – trzynaście odnoszących się do realnych przedmiotów i zjawisk: ‘pas ziemi łączący dwa punkty w terenie, służący komunikacji’, ‘szlak komunikacyjny’, ‘odległość, która dzieli kogoś od celu’, ‘podróż, wędrówka’ (Zgółkowa 1996: 290; Okoniowa 2003: 311); ‘grobla’, ‘ścieżka do pędzenia bydła’, ‘Mleczna Droga’, ‘główny nurt rzeki’, ‘skaza na tkaninie’, ‘przedziałek we włosach’, ‘kanał w piecu garncarskim’ (Okoniowa 2003: 308–311); znaczenie związane z fizyką ‘długość toru przebytego przez jakiś punkt’ oraz z socjolektem przestępców ‘kradzież w środkach komunikacji publicznej’ (Zgółkowa 1996: 293). Leksykografowie odnotowują jedno znaczenie przenośne: ‘sposób zachowania, postępowania, działania’ (Zgółkowa 1996: 292; Okoniowa 2003: 311). Na pewno zatem droga – z antropologicznego punktu widzenia – jest jednym z zasadniczych elementów doświadczanej przestrzeni, ale – do czego przekonują przysłowia – pozostaje jednym ze sposobów mówienia o doświadczaniu życia.

W celu wyeksplikowania przenośnych znaczeń *drogi* przeanalizowano reprezentatywny i jednolity materiał ponad 420 przysłów i wyrażeń przysłowiowych związanych z leksem *droga*, zamieszczonych w *Nowej księdze przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich* pod redakcją J. Krzyżanowskiego (t. 1–4, Warszawa 1969–1978). W analizie tych prototypowych złożonych klisz (Piermiakow 1972: 35) wykorzystano metodologię kognitywną, zakładającą podmiotowe podejście do języka i kultury. Uwzględniono perspektywę poznawczą użytkowników języka i kultury, a dokładniej – perspektywę myślenia potocznego (Kwaśnica 1991: 33). Przysłowia są bowiem uważane wręcz za wykładniki „zdrowego rozsądku” (Hołówka 1986: 125)

¹ Leksem *droga* pojawił się w polszczyźnie prawdopodobnie w XIV wieku (Bańkowski 2000: 299). Pierwotnie znaczył ‘ryse’ i ‘bruzdę’ (Brückner 1993: 97). Zdaniem etymologów pochodzi on od starsłowiańskiego słowa **dorga*, które można wiązać z **derti* (starsłowiańskie, obecnie dziś w *drzeć*) i które określało miejsce puste, wąskie, długie, służące do przejścia lub przejazdu a będące skutkiem „darcia” roślinności (Bańkowski 2000: 299).

i utrwalają cechy istotne dla społeczności językowej. Dla użytkowników polszczyzny są to: antropocentryzm, wartościowanie, perspektywa katolicka, przekonanie o zdeterminowaniu ludzkiego życia, pragmatyzm i realizm myślenia oraz racjonalność potoczna (Lewicki, Pajdzińska 1993: 321–325). Z tego powodu prezentowana analiza ma szanse rozwinąć wiedzę na temat socjokulturowo uwarunkowanej epistemologii potocznej, próbującej rekonstruować sposób, w jaki nosiciele polszczyzny i kultury polskiej doznają świata. Odbywa się to poprzez rekonstrukcję zestawu kategorii językowo-kulturowych, za pomocą których użytkownicy przysłów i frazeologizmów opisują – czyli osławiają – życie i świat. Dlatego za cel artykułu przyjęto ustalenie, jak są uszczegółowione w przysłowiaach przenośne sensy drogi, na jakie kategorie w strukturze semantycznej pojęcia ludzkiego życia zwracają uwagę oraz co mówią o potocznej waloryzacji świata.

Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe są tekstami wieloznacznymi i poddającymi się wieloaspektowej interpretacji (Piermiakow 1972: 35–48). Wynikiem analizy – na poziomie formalnym, treściowym i funkcjonalnym, w perspektywie komunikacyjnej – przysłów z leksemem *droga* jest lista ponad 100 ogólniejszych sensów związanych z różnymi aspektami ludzkiego życia. Można je pogrupować w następujące kategorie:

1. Droga jako metafora przebiegu i cech ludzkiego życia;
2. Droga w metaforach wyboru: wolność czy determinacja;
3. Droga jako metafora sposobu postępowania człowieka;
4. Zasady, którymi ludzie kierują się w życiu;
5. Droga w metaforach charakteru człowieka;
6. Człowiek w społeczeństwie: razem czy osobno;
7. Człowiek w kontakcie z człowiekiem;
8. Człowiek w kontakcie z sacrum.

Wskazane zakresy treści są bogato wypełnione szczegółowymi sensami, które układają się na niższych poziomach w pogłębioną strukturę, co pokażę na wybranym przykładzie².

Człowiek w kontakcie z człowiekiem

1. Przysłowia z leksemem *droga* pokazują najpierw, że w naszym systemie wartości wysoko lokowany jest kontakt człowieka z człowiekiem: *Każda droga dobra, co do ludzi prowadzi droga*²⁰.³ Jednakże, kontakt z człowiekiem wymaga czasu, dlatego gdy nasze sprawy stają się pierwszoplanowe, wówczas ludzie przestają być dla nas istotni, co dokumentuje przysłowie: *Komu pilno w drogę, nie pyta, aż się towarzysz trafi droga*²³.

Przysłowia utrwalają kilka **typów kontaktów międzyludzkich** i ich waloryzację:

² Dalsza część artykułu powstała w wyniku analizy 92 przysłów i wyrażeń przysłowiowych z leksemem *droga*.

³ W związku z tym, że wszystkie cytowane przysłowia pochodzą z jednego źródła, każde opatrzone skrótem wskazującym miejsce jego publikacji w tomach *Nowej księgi przysłów...* (Krzyżanowski 1969–1978).

a) pomoc, wzajemność i wdzięczność:

- ludzie pomagają sobie nawzajem, gdy są o to poproszeni: *Każda droga leży na końcu języka* język41a;
- niekiedy chcą być proszeni i wtedy przeszkodą w kontaktach jest duma: *Taka tobie droga do mnie, jak mnie do ciebie* droga42; *Jedna droga z Krakowa do Warszawy, która z Warszawy do Krakowa* droga42a;
- niekiedy też odmawiają pomocy: *Dać komu krzyżyk na drogę* krzyż2. Ten frazeologizm odwołuje się do zwyczaju kładzenia znaku krzyża na podróżnika przez osobę żegnającą, jednakże uległ także odsemantyzowaniu i obrósł znaczeniami sugerującymi – na zasadzie ironii – również odcięcie się i dystansowanie, w tym – odmówienie pomocy⁴;
- woła, by inni nic od nich nie chcieli, a oni pozostali samowystarczalni, gdyż otrzymane wsparcie zobowiązuje potem do wzajemności: *Bodaj się nasi krewni dobrze mieli, a my do nich drogi nie wiedzieli mieć*1; *Bodaj się nasi krewni dobrze mieli, żeby do nas drogi nie wiedzieli mieć*1;
- ludzie są niewdzięczni: *Nie było trzeba psu drogi pokazywać* pies157. Niemal we wszystkich kulturach nazwanie kogoś psem jest poniżającą obelgą, gdyż pies – symbol o wielu ambiwalentnych sensach – oznacza też podłość (Oesterreicher-Mollwo 1992: 122);

b) nieprzychyłość:

- czasami człowiekowi chce przeszkodzić i przeszkadza w osiągnięciu celu: *Stawać komuś na drodze* droga46b; *Nie leż babie w drodze, kiedy placki piecze, bo cię albo pokąsa, albo też się wściecze* baba116;
- ludzie mogą zaszkodzić w realizacji planów, dlatego lepiej nie mówić o nich nikomu: *Drogi nie oznajmuj, rady nieznacznie używaj, tajemnice pisane a pieniądze mądrze chowaj, chceszli bezpieczeni być* droga15; *Gdzie jedziesz i po co, w drodze nie mów nikomu, jeśli chcesz wrócić do domu jechać*5. Zauważamy tu nakaz milczenia w celu zabezpieczenia sobie bezpieczeństwa w drodze. Przypomina to semantykę milczenia obrzędowego, które jest warunkiem szczęśliwego powrotu z zaświatów, co utrwalają takie werbalne i niewerbalne teksty kultury tradycyjnej, jak wyprawa w noc świętojańską po kwiat paproci, wyprawa po wodę w Wigilię czy Wielkanoc, grzybobranie, zbieranie ziół czy inne praktyki medycyny ludowej, sytuacje wróżenia itp. (m.in. Kowalski 2007: 71);
- zdarza się, że ludzie źle życzą bliźniemu, w czym widać wiarę w magiczną moc słowa (Engelking 2000): *Masz krzyż na drogę, złam rękę i nogę* krzyż2c; *Bodaj że mu droga zarosła* droga7c; *Bodajeś na równej drodze kark skrecił kark*1. W tej grupie mieści się też przysłowie *Idź do licha na suche lasy, na gęste bory, na rozstajne drogi diabeł*80e, czyli w przestrzeń nieludzką, demoniczną, groźną, gdzie rządzą siły diabelskie (Kowalski 2000: 493). Zaś w przysłowiu *Bodaj ci każdą drogę wilki zastępowały* wilk4 odnajdujemy wierzenie w wilka jako zwierzę diabelskie (Oesterreicher-Mollwo 1992: 176–177). Zaprezentowany materiał daje się zinterpretować przeciwnie: jako dobre życzenie, gdy przywołamy znane kulturze tradycyjnej

⁴ Por. związek frazeologiczny *położyć, postawić krzyżyk na kimś, na czymś* o znaczeniu „zrezygnować z kogoś, z czegoś, uznać coś za stracone, nie warte zachodu” (Bąba, Liberek 2001: 325), gdzie również widzimy negatywne znaczenie przypisywane gestowi kładzenia na kimś krzyżyka.

- zjawisko rzekomych złych życzeń, które mają przynieść odwrotny skutek: los po takich słowach ma zapewnić szczęście i odwrócić wszelkiego pecha;
- człowiek wykorzystuje człowieka, nie zważając, że robi mu krzywdę, co dokumentują przysłowia o kradzieżach: *Zawszy prześpieczen ubogi, Nikt mu nie zasiądzie drogi* ubogi41a; *Najprędzej stanie u celu ubogi, bo mu rabuś nie zastąpi drogi* ubogi4a;
 - niektórzy mają na innych zły wpływ i zachęcają ich do nieprawości: *Sprowadzić z prostej drogi* droga38; *A nie zwódź z drogi nikogo* droga38a; *Abyś z gościńca ubitego zwieść się nie dawał* droga38a, gdzie prosta, główna droga jest waloryzowana dodatnio;

c) ludzie wywyższają się nad innych: *Na bok wszyscy, bo jedzie jedyn!* droga31h. Przysłowie zaś *Głupiemu trzeba z drogi ustąpić* głupi140a mówi ironicznie o tym, który nie chce ustępować, co presuponuje, że ten drugi uważa się za mądrego, czyli lepszego;

- kto zadziera nosa, ten jest źle oceniany, jak pokazują leksemy *plewa* oraz *gówno* w przysłowiaach: *Na bok, śmieci, bo plewa leci* droga31k; *Na bok, żaby, gównie jedzie* droga31l.

Podsumowując tę część analizy, można powiedzieć, że zrekonstruowany obraz nie przedstawia się zbyt optymistycznie. Więcej tu ostrożności względem bliźniego i niechęci do ludzi niż szczerego kontaktu i rzeczywistego otwarcia dla więzi.

2. Szerzej notowaną w przysłowiaach formą relacji międzyludzkich jest **otwarty konflikt**. Można zaobserwować kilka jego faz i strategii zażegnania:

a) intencjonalne otwarte wchodzenie w konflikt: *W drogę nie wchodzi nikomu, lecz nie każdemu schodź z drogi* droga46c; *Zaszedł mu drogę* droga46a; *Wchodzić komuś w drogę* droga46; *Włazi w drogę* droga46a;

- niektórzy opierają kontakty z ludźmi na pozornej (np. indyk nie bodzie) demonstracji siły i groźbie, o czym świadczą metafory wojny (*wrogi, nieprzyjaciel*) i agresji fizycznej (*pobodzie*, wjechanie między nogi) w przysłowiaach: *Na bok wrogi! Nie przechodźcie nam drogi* droga31e; *Co na drodze, to nieprzyjaciel* droga3; *Hej, z drogi narodzie, bo cię jendor pobodzie* droga31b; *Na bok z drogi, bo wjadym miyndzy nogi!* droga31i;
- są tacy, którzy z każdym się pokłócą, każdego zaczepią: *Stara panna i z kamieniami na drodze się wadzi* panna76; *On ani psu na drodze nie da spokoju* pies198;
- są tacy, którzy spory czynią głównym zajęciem w życiu: *Dwie najkrótsze drogi przyjsia do ostatniego ubóstwa: prawo częste i budowania ubóstwo*2;
- ci, którzy trzymają ze sobą, są sobie równi i nie kłócą się: *Kruk krukowi oka nie wykole, wilk wilkowi drogi nie zajdzie* kruk8d. W tym przysłowiu kruka i wilka łączy to, że w wielu kulturach są zwierzętami nieczystymi, złymi omenami, przy czym kruk zapowiada chorobę, wojnę i śmierć, zaś wilk pozostaje zwierzęciem diabelskim i nieczystym (Oesterreicher-Mollwo 1992: 74–75; 176–177);

b) strategie zażegnania konfliktu:

- rozwiązaniem sporu jest rozkaz zakładający wyłącznie bezwarunkowe zaspokojeniu żądań jednej strony: *Z drogi, śledzie, bo kielbasa jedzie* droga31g; *Z drogi śledzie, bo szczupak jedzie* droga31g; *Na bok, bo jedzie prawok* droga31h ‘grzyb prawdziwek’; *Na bok śledzie, bo rybak jedzie* droga31g;

- przysłowia uczą, że dobrą strategią jest unikanie sporów: *Woli nie wchodzić w drogę* droga46a; *Nikomui w drogę nie włązi* droga46a;
- uczą, by nie wszczynać ich: *Nie napastuj psa na drodze, to cię nie użre* pies188; *Nie zaczepiaj psa na drodze* pies188;
- unikać kogoś, z kim kontakt zagraża konfliktem: *Kto ma nóż umyty, temu trzeba z drogi ustąpić nóż*10; *Zejść komui z drogi* droga52;
- w sytuacji sporu, jako najlepszą strategię rozpoznano ustępowanie, które jest kwalifikowane jako cecha człowieka mądrego: *Głupiemu trzeba z drogi ustąpić głupi*140a; *Dobry człowiek i psu wyjdzie z drogi* pies7b;
- ironiczne traktowanie tych, którym się ustępuje (nazywani *grochowiną, plewą, indorem, gównem*), obrazuje triumf mądrzejszego-ustępującego: *Na bok, szumowina, bo idzie grochowina* droga31d; *Hej, z drogi narodzie, bo cię jendor pobodzie* droga31b; *Na bok, śmieci, bo plewa leci* droga31k; *Na bok, żaby, gówno jedzie* droga31l;

c) niekiedy, choć rzadko, dochodzi do porozumienia: *Aha! tędy droga* droga44a i *Tędy droga do lasu* droga44 w sensie 'o to chodzi';

d) przysłowia notują też irytację w sytuacji braku wpływu na drugiego człowieka: *Idź do czarta, droga ci nie zawarta* czart13. Ta klątwa, u której podłoża leży wiara w magiczną moc słowa (Engelking 2000), pokazuje, że ci, którzy nie dają się przekonać do naszych racji, mogą liczyć jedynie na sekowanie i skonfliktowanie z nami.

3. W relacji z drugim człowiekiem zaznacza się tendencja do **oceniania jego postawy**:

a) ocena pozytywna, którą widać w jednym tylko przysłowiu: *Mądry, kto nim noc zapadnie, z krzywej drogi na prostą przypadnie* mądry71;

b) ocena negatywna, notowana szerzej:

- wyrażona wprost przez leksemy *zły, krzywy, nie-prawy*: *Jest na złej drodze* droga47; *Wejść na złą drogę* droga47; *Szli krzywymi drogami* droga26a; *Zszedł z prawej drogi* droga38b;
- ocena systemu wartości lub sposobu postępowania (stopień religijności, wysługiwanie się innymi, pijaństwo, oszustwo, złodziejstwo, skąpstwo, lenistwo): *Kto nie myśli o Bodze, jest na straconej drodze* Bóg310; *Zła to droga przez cudze podwórze do własnej stodoły* droga53; *Byłby już dawno w niebie, ale – pragnąc srodze – żadnej nie mija karczmy na zbawienia drodze* karczma12; *Kłamca a złodziej jedną drogą chodzą* złodziej48d (dwaj bracia); *Złodziej a dziewczka* [' prostytutka'] *to jedną drogą chodzą* złodziej52; *Skąpy a chciwy jedną drogą idzie* skąpy15; *Próżnowanie do piekła drogę prostą ściele* próżnowanie6g;
- szydzenie z negatywnie ocenianych: *Czyś waćpan czasami dendery nie uszczknąłś po drodze* blekot, co oznacza 'oszalał'; *Chlubny, że wszystko umie i przenika, A sam na prostej drodze się potyka* droga18a;

c) ocena staje się podstawą do decyzji o postawie względem drugiego człowieka, zwłaszcza o unikaniu kontaktu (*mijaj, nie pytaj, nie jedź z tym a tym*): *Mijaj w drodze z wizytą murowany komin komin*6; *Ślepego o drogę, głupiego o radę nie pytaj* ślepy16; *Nie jedź w drogę z Żydem nieznanym, rozpustną kobietą, pijakiem i włóczęgą, bo pożałujesz* Żyd114;

d) wzajemne napominanie się poświadcza, że czujemy prawo do wskazywania błędów innych: *Nie tędy droga* droga44b; *Nie tędy droga do Pana Boga* droga44b; *Nie umiesz wyjść prostą drogą* droga26b; *Nie bądźże jako pień przy drodze nikomu niepożyteczny* stać65a;

e) uchylenie się od oceny postawy bliźniego i akceptacja ludzkiej wolności: *Każdemu droga wolna* droga48a 'każdy może postępować jak chce'; *Wolna przed się droga* droga48a.

4. Przysłowia wskazują kategorię postaci, z którymi **warto utrzymywać kontakt**. Wśród nich zauważymy postaci ze świata boskiego i ludzkiego:

a) warto mieć dobre relacje z Bogiem: *Bez Boga niemiła droga* Bóg10; *Zacznij z Bogiem, bo bez Boga niepewna każda droga* Bóg10; *Bez Boga ciężka droga* Bóg10;

b) lżej w życiu z kimś ukochanym u boku: *Przy swej niebodze dobrze i w drodze nieboga*4;

c) wartością jest człowiek kontaktowy: *Rozmowa gdy jest ucieszna, droga przy niej śpieszna* rozmowa3; *Rozmowa gdy wesoła, droga przy niej bardzo śpieszna* rozmowa3a; *Rozmowa skraca drogę* rozmowa3b; *Towarzysz w drodze mowny stoi za wózek smarowny towarzysze*6;

d) istnieje kategoria postaci, które wspierają nas (*Słać komu drogę do czego* droga13) i są pośrednikami w kontakcie z „kimś ważnym”, do kogo warto „szukać dojścia”:

- święci: *Taka droga do Pana Boga, jak do wszystkich świętych* Bóg471; *Najpewniejsza droga, jak to mówią Polacy, przez świętych do Boga* święty22c;
- sprzymierzeńcy (sługi): *Przez świętych do Boga, a przez sług do pana droga każdemu, jak mówią, usłana* święty22b.

5. Z kim unikać kontaktów:

- unikać złych ludzi: *Lepiej psa na drodze napaść niż złego człowieka* człowiek127;
- unikać ludzi o złej reputacji: *Nie jedź w drogę z Żydem nieznajomym, rozpustną kobietą, pijakiem i włóczęgą, bo pożalujesz Żyd*114; *Wóz nierządny, woźnica opity, jazda z wieczora radzi przyczynią drogi wóz*28; *Pijanym trzeba z drogi ustąpić* pijak34c.

Wnioski

W zebranych przysłowiaach uwidaczniają się kategorie językowo-kulturowe, charakterystyczne dla struktury kognitywnej pojęcia drogi. Stają się one podstawą metaforyzacji i służą do opisu życia. Można te kategorie ująć w tabelę, uwzględniającą waloryzację dobry : zły, którą ujawniły przysłowia i która jest zasadnicza dla potocznego obrazu świata.

kategorie		waloryzacja		
		pozytywna	negatywna	neutralna
cel drogi		człowiek; niebo; Pan Bóg; wszyscy święci	przestrzeń nieludzka (demo- niczna); czart; lichy; piekło; krewny	miasto, np. Warszawa, Kraków
typy dróg		gościniec	rozstaje; droga przez cudze podwórze	
cechy drogi	kształt	prosta	krzywa	
	nawierzchnia	równa; ubita		
	długość	krótka	długa	
	kierunek	zgodny z celem (tędy droga); w tę i z powrotem	błędny (nie tędy droga)	
	stopień trudności	wyściełana	ciężka; niemiła	
	stopień otwarcia	otwarta	zarosła; zamknięta	
czas drogi	długość czasu	szybka	długa	
	pora drogi	dzień	wieczór i noc	
obiekty na drodze	rośliny		gęstwa roślinna (zarasta drogę); grochovina; dendera; prawdziwek; pień	
	zwierzęta		pies; wilk; żaby; indyk; śledzie; szczupak	
	przedmioty		śmieci; plewa; gówny; kamień; kiełbasa; nóż	
	budynki		karczma; bogaty dom	
postaci spotykane w drodze	ludzie na drodze	ubogi; mądry; dobry człowiek	złodziej; kłamca; prostytutka; szumowina; człowiek z nożem skąpy; chciwy; leniwy; głupi; naiwny; wróg; nieprzyjaciół; duża grupa; stara panna; rybak; ślepy	
	postaci ze świata sacrum	Bóg; święci		
towarzysze drogi		Bóg; ukochana	nieznajomy; Żyd; prostytutka; pijak; wólcęga; pijany woźnica	

działanie na / w drodze	sposób prze- mieszczania się		lot	jazda; cho- dzenie
	w interakcji	błogosławieństwo na drogę; ścielenie komuś drogi czymś; pokazywanie drogi py- tającemu; ustępowanie z drogi; niewchodzenie w drogę; szukanie sprzymierzeńców	przeszkadzanie komuś w dro- dze (stawanie, zastępowanie drogi, wchodzenie w drogę); bodzenie; zderzenie; kłótnia; niepokojenie, napastowanie, zaczepianie kogoś; schodzenie z drogi wszystkim bez wyjątku	
	wyбір drogi	szukanie / znalezienie najlepszej drogi; mijanie potencjalnych zagrożeń	niemijanie ewidentnych zagrożeń	
	stopień pewności co do wyboru drogi	droga pewna	droga niepewna	
	czynności w drodze	rozmowa	zbieranie roślin	
zdarzenia na / w drodze		spotkanie człowieka, który jest pomocny.	wypadek (skręcenie karku, zła- manie ręki i nogi); potknięcie się; kradzież; zwiedzenie z drogi; pogryzienie przez psa	
słowa w drodze		pytanie o drogę; mil- czenie na temat swoich planów	złorzeczenie i przeklinanie; domaganie się wolnej drogi	
transformacje drogi		skracanie drogi	wydłużanie drogi	

Odtwarzając ujętych w kategorię zjawisk i doświadczeń, wydobywając właściwości uwypuklone, pomniejszone lub ukryte (Lakoff, Johnson 1988: 190), zyskujemy wgląd w aktywny proces poznawczy (Kalisz 1994: 70), jaki był przez pokolenia i jest współcześnie udziałem nosicieli polszczyzny i kultury polskiej. Proces poznawania i kategoryzowania doświadczeń życia człowieka, ujętych w przysłowia z leksemem *droga*, podkreśla, że według Polaków kontakt z drugim człowiekiem jest trudny, obciążony brakiem zaufania i wysokim prawdopodobieństwem urazu. Kojarzy się z ciągłym negocjowaniem stanowisk i z konfliktem. Nieustannie poddajemy ocenie i jesteśmy jej poddawani, gdyż to ma pomagać umiejętnie dobierać znajomych. Odwołujemy się do najwyższej instancji – Boga, który nie zawodzi. Tak człowiek spełnia swoją nadrzędną potrzebę: sprawia, by przejście przez życie stawało się lżejsze.

Literatura

- Bańkowski A., 2000, *Etymologiczny słownik języka polskiego*, t. I, Warszawa.
- Bąba S., Liberek J., 2001, *Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny*, Warszawa.
- Brückner A., 1993, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Warszawa.
- Engelking A., 2000, *Kłótwa. Rzecz o ludowej magii słowa*, Wrocław.
- Hołówka T., 1986, *Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku*, przedmową opatrzył M. Czerwiński, Warszawa.
- Kalisz R., 1994, *Teoretyczne podstawy językoznawstwa kognitywnego*, [w:] H. Kardela (red.), *Podstawy gramatyki kognitywnej*, Warszawa, s. 65–76.
- Kowalski P., 2007, *Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie*, Warszawa.
- Krzyżanowski J. (red.), 1969–1978, *Nowa księga przysłów i wyrażen przysłowiowych polskich*, t. 1–4, Warszawa.
- Kwaśnica R., 1991, *Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości*, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), *Język a Kultura*, t. 1: *Podstawowe pojęcia i problemy*, Wrocław, s. 31–60.
- Lakoff G., Johnson M., 1988, *Metafory w naszym życiu*, tłum. T. Krzeszowski, Warszawa.
- Lewicki A.M., Pajdzińska A., 1993, *Frazeologia*, [w:] J. Bartmiński (red.), *Współczesny język polski*, Wrocław, s. 307–326.
- Oesterreicher-Mollwo M. (red.), 1992, *Leksykon symboli*, przełożył J. Prokopiuk, Warszawa.
- Okoniowa J. (red.), 2003, *Słownik gwar polskich*, t. VI, z. 3 (18), Kraków.
- Piermiakow G.L., 1972, *Przysłowia i zwroty przysłowiowe*, „Literatura Ludowa”, nr 1, s. 35–48.
- Zgółkowa H. (red.), 1996, *Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny*, t. 9, Poznań.

Каждая дорога хороша, которая к людям ведет. О переносных смыслах дороги в польских пословицах

Резюме

Пословицы с лексемой *дорога* составляют метафорический смысл дороги, которая становится фигурой жизни. Результатом исследований свыше 400 пословиц является список больше 100 обобщенных смыслов связанных с разными проявлениями человеческого бытия. Они укладываются в следующие категории: дорога как метафора протекания и черт человеческой жизни; дорога в метафорах выбора; дорога как метафора способа поведения человека; принципы, которыми сопровождаются люди в жизни; дорога в метафорах характера человека; человек в обществе; человек в столкновении с сакрум и человек в столкновении с другим человеком. Автор сосредоточилась на последней, реконструируя когнитивную структуру воображения о дороге, образ межчеловеческих отношений, как и антропоцентрическую, обиходную валоризацию мира и человеческого опыта.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Stanisław Stachowski

Warstwy etymologiczne turcyzmów w języku polskim

Źródłem turcyzmów polskich są dwa języki z grupy tureckiej. Pierwszym jest język osmańsko-turecki, język Imperium Osmańskiego (1299–1922), którego kontynuacją jest współczesny język Republiki Tureckiej; drugim językiem jest język tatarski, przede wszystkim jego wariant krymski czyli język Chanatu krymsko-tatarskiego. Język osm.-tur. należy do grupy oguzyjskiej języków tureckich, podczas gdy tatarski i krymsko-tatarski – do grupy języków kipczackich tejże rodziny. Bezpośrednim źródłem naszych zapożyczeń w jednym i drugim wypadku był przede wszystkim język żywy mówiony, a nie literacki, zapisywany pismem arabskim, mało znanym wśród autorów polskich, którzy przytaczają w swoich dziełach wyrazy tureckie i tatarskie, by mogli bezpośrednio korzystać ze źródeł pisanych pismem arabskim. Na charakter potoczny naszych turcyzmów wskazuje także ich postać fonetyczna, nieraz znacznie odbiegająca od pisanej literackiej.

Słownictwo języków tureckich, podobnie zresztą jak i słownictwo języków innych grup językowych, składa się z dwóch podstawowych warstw: rodzimej i obcej. W wypadku naszych języków warstwę obcą stanowią zapożyczenia arabskie i perskie, w dalszej kolejności będą zapożyczenia mongolskie, greckie, włoskie, francuskie, hiszpańskie, angielskie, rumuńskie, węgierskie i słowiańskie. Oczywiście zapożyczenia tureckie w języku polskim nie reprezentują wszystkich tych warstw, ale znaczną ich większość.

Poniżej postaram się przedstawić wszystkie warstwy etymologiczne, jakie są poświadczone w naszych zapożyczeniach. Podaję tylko – zapożyczenie, datę najstarszego poświadczenia w naszym języku oraz znaczenie. Nie podaję dalszej etymologii pożyczki, ponieważ powiększyłoby to znacznie tekst, a etymologia częściowo już jest w moim *Glosariuszu turecko-polskim*. Przydatną, przynajmniej do opublikowania przygotowywanego przeze mnie *Słownika etymologicznego polskich turcyzmów*, może być literatura podstawowa zapożyczeń obcojęzycznych w języku tureckim, którą zamieszczam na końcu artykułu.

- 1) Warstwa rodzima turecka: *ada* (1789) 'wyspa'; *aga* 1. 'różne stopnie „starszego” w życiu publicznym, szczególnie w administracji i wojsku (1496–1501)'; 2. 'tytuł grzecznościowy, stawiany po imieniu (1500–47)'; *agirlık* (1678) 'dary

ofiarowane narzeczonej przez narzeczonego, zgodnie ze zwyczajem, przed ślubem'; *angyt* (1874) 'pásowa kaczka stepowa'; *baczmagi*, pl. (ok. 1580) 'rodzaj obuwia: buty, trzewiki'; **bałuk* 'ryba' w wyrażeniach: *na bałuku* (1588), *na bałuczku* (1566), *na bałyku* (-1629), *na bałuk* (1699), *bałukiem* (1732) '(poruszać się) na czworakach, raczkami'; *bałyk* (1683) 'solona grzbietowa część dużych ryb'; *bastrama* (1633) 'mięso baranie suszone na słońcu' (zob. *pasturma*); *biczak* (1650) 'gatunek nożów'; *borsuk* (1610–12 (?), 1621) 'jaźwiec'; *boza* (1633) 'napój z jęczmienia i prosa'; *bozduchan* (1496–1501), *buzdygan* (1611) 'broń obuchowa, rodzaj maczugi o kulistej głowicy; później oznaka dostojęstwa w dawnym wojsku polskim'; *cizmy* (1567), *czyzmy* (1568), *ciżmy*, pl. (ok. 1619–21) 'płytkie obuwanie z miękkiej skóry o płaskiej podeszwie, bez obcasów'; *cybuch* (1695) 'drewniana lub metalowa rurka, służąca do ciągnięcia dymu z fajki'; *czybuk* (ok. 1760) 'rodzaj kary'; *czaprah* (1515), *czaprag* (1536), *czaprak* (1612) 'długie ozdobne przykrycie konia; nakrycie na konia pod siodło'; *czelebi* (1568), *celebiej* (1557) 'tytuł honorowy człowieka wykształconego lub będącego na stanowisku'; *czymbor* (1583) 'kajdany, więzy'; *darach* (1874) 'drewniana łyżka'; *dołoma* (1573) 'kaftan noszony na inne okrycia, kurta'; *duak* (ok. 1760) 'kitajka, którą jest okryta panna młoda'; *dzigra* (1874) 'pełzająca, koląca liana'; *dziudzi* (1678) 'karzeł'; *ekmiek* (1615) 'chleb'; *gajda*, pl. *gajdy* (1528) 'ludowy instrument muzyczny dęty; dudy'; *gielin* (1874) 'panna na wydaniu'; *hanym* (1874) 'pani domu, ślubna żona'; *jalmurka* (1443), *jelmunka* (1458), *jalmunka* (1546), *jamułka* (1586), *jamołka* (1592), *jarmułka* (1696) 'rodzaj nakrycia na głowę'; *jamurlach* (1643) 'burka, opończa, nieprzemakalny płaszcz od deszczu'; *giermalek* (1588) 'żołnierskiego kroju szata'; *jałmonka* (1546), *jarmotka* (1582), *jamułka* (1627) '[prawdopodobnie] jakaś część zbroi'; *janczyk* (1649) 'przykrycie na konia'; *jatagan* (1850) 'tur. szabla krótka, nieco skrzywiona'; *jugurta* (1597) 'kwaśne mleko' = *jogurt* (1947); *juk*, pl. *juki* 1. 'sakwa skórzana do przewożenia towarów na grzbietach zwierząt; bela' (1547); 2. 'w Turcji osm. jednostka obrachunkowa' (1633); *kiecza* (1621), *kieca* (1670) 'płaszcz sukienny na zbroję; czapka janczarska; koc, gunia'; *kieraja* (1698), *kireja* (1737) 'szeroki, luźny płaszcz najczęściej podbity futrem; szuba, burka, opończa'; 1. *konak* (1636), *kunak* (1640) 'postój, miejsce wypoczynku lub noclegu po dziennej podróży'; 2. *konak* (1679), *kunak* (1732) 'odcinek podróży od jednego do drugiego postoju lub noclegu'; 3. *konak* (1874) 'urząd, stacja, rezydencja władz państwowych'; *korbach* (1575–95), *karbach* (1695) 'bicz z krótkim trzonkiem i długim rzemieniem'; *kule* (ok. 1760) 'obrzezany niewolnik'; *ogier* (1694), *ogr* (1800–01) 'nietrzebiony koń, przen. wulg. *ogier* (1698) 'kochanek'; *opojncza* (1496), *opończa* (ok. 1500), *oponcza* (1528), *opońca* (1558), *opujcza* (1558) 'wierzchnie okrycie chroniące przed zimnem i deszczem; obszerny płaszcz bez rękawów; peleryna'; *otak* (1496–1501) 'obszerny namiot wielkiego dygnitarza tureckiego'; *oturak* (1678), *otrak* (1678) 1. 'żołnierz, który pobiera żołd i otrzymuje wszystkie przywileje żołnierskie i nie potrzebuje iść na wojnę [= weteran]'; 2. 'odpoczynek; miejsce odpoczynku'; *pasturma* (1874) 'wędlina z mięsa wielbłądziego' (zob. *bastrama*); *samson* (1633) 'pies brytan'; *sawłuk* (1674), *szawłuk* (1615), *szawłok* (1776) 'naczynie skórzane na płyny, które można związać; napój w takim naczyniu'; *taśma* (1531) 'rodzaj wstęgi, pasa wytkanego z tkaniny lub skóry, o różnorodnym zastosowaniu'; *tebienki* (1569), *ciebenki* (1420–24), *tebinki* (1617), *tabinki* = *tybinki* (1779) 'małe skórzane płyty, wieszane około kulbaki po obu bokach konia,

aby pot koński nie brudził odzieży'; *ułak* (1641) 'kurier konny; koń pocztowy'; *zyle* (-1823), *zele* (1834) 'insrument janczarski złożony z dzwonek i blaszek, umocowanych na długim drągu'.

2) Warstwa arabsko-turecka: *adet* (1874) 'obyczaj, zwyczaj'; *Alkoran* 1. 'Święta Księga praw i przepisów religijnych wyznawców islamu (1496–1501)'; 2. *przen.* 'religia muzułmańska (1568)'; *amanat* (1618) 'depozyt'; *bakalie*, pl. (ok. 1760) 'suszone owoce południowe (figi, daktyle, migdały, rodzyunki)'; *barat* (1679), *berat* (1874) 'przywilej sułtański'; *bulbul* (1899) 'słownik syryjski'; *dawuł* (1874) 'turecki bęben'; *działał* (1633) 'kat'; *dżamija* (1709/1744) 'świątynia muzułmańska'; 1. *emir* (1582–84) 'w Turcji osmańskiej tytuł różnego stopnia urzędników w administracji i w wojsku'; 2. *emir* (1630) 'mandat cesarski; rozporządzenie, rozkaz, uniwersał'; *fe-twa* (1633) 'orzeczenie w sprawach religijno-prawnych, wydawane przez muftiego (szejchulislama); klątwa, ekskomunika'; *giaur* (1615), starsze *kaur* = *gaur* (1496–1501), *gawr* (1557) 'innowierca'; *haba* (1633) '1. tkanina z grubej wełny; 2. płaszcz z tego sukna'; *hałwa* (ok. 1760) 'rodzaj słodkiego ciasta w postaci tłustej włóknistej masy'; *haracz* (1633), starsze *aracz* (1609) 'podatek ściągany z niemuzułmańskiej ludności imperium osmańskiego'; *harem* (ok. 1760) obok *karem* (1732) 1. 'część domu muzułmańskiego zamieszkałego przez kobiety'; 2. 'żony, nałożnice bogatego muzułmanina'; *hikajet* (1789) 'powieść, opowieść'; *ihram* (1883) 'rodzaj stroju pielgrzymiego w kształcie worka'; *imaret* (1883) 'kuchnia dla ubogich'; *imbryk* (1585) 'naczynie z pokrywką i dzióbkiem do zaparzania herbaty, do zagotowania wody itp.'; *kadej* (1540), *kady* (1582–84) 'sędzia muzułmański, który wymierzał sprawiedliwość na podstawie prawa kanonicznego (szariatu) lub miejscowego prawa zwyczajowego i ustawodawczych aktów sułtana'; *kurban* (1678), starsze *chorban* (1615) 'ofiara'; *machrana* (1616), *machrama* (1646) 'rodzaj materii tureckiej, używanej do wyrobu chustek; chustka'; *makata* (ok. 1760), *makat* (1776) 'wzorzysta tkanina jedwabna, przetykana złotem i srebrem do zawieszania na ścianach lub nakrywania mebli; obicie, kobierzec'; *meczet* (1630), starsze *mieszczyd* (1541), *meczyt* (1615), *mieczyt* (1617) 'świątynia muzułmańska z wieżą i półksiężcem na szczycie'; *mu-kor* (1560–70), *mukier* (1582–84), *mukar* (1812) 'przewodnik (poganiacz) mułów, sługa; wynajemca zwierząt wierzchowych'; *nazyr* (ok. 1760) 'wielkorządca, komendant miasta'; *oka* (1679) 'miara ciężarów i płynów'; *sadaka* (1646) 'jałmużna, łaska'; *sagan* (1524) 'duże naczynie kuchenne do gotowania; kocioł'; *szarap* (1732) 'wino'; *szerbet* (1615) 'napój z miodu'; *tandur* (1874) 'rodzaj ogrzewania w biednych domach tureckich'; *terdziman* (1643), *tersiman* (1640), *terdżyman* (1679) 'tłumacz'; *turbe* (1678) 'kaplica, gdzie ciało spoczywa; grób, mogiła'; *ulafa* (1597), starsze *ułapa* (1568), *ułachwa* (1582–84) 'żołd dniowy rycerstwa; pensja pieniężna'; *wak-yf* (1678), *wakew* (1678) 'pobożna fundacja; (w ogóle) fundacja; darowizna, legat z testamentu na taką fundację'; *wezyr* (1601) 'minister; tytuł zasłużonych paszów'; *wilajet* (1874) 'w Turcji osmańskiej prowincja zarządzana przez paszę z tytułem wali'; *zahara* (1693) 'żywność, prowiant'; *zarf* (ok. 1760) 'czarka'; *zekiat* (1678), *zekiał* (1678), *zekiał* (1812) 'jałmużna'.

3) Warstwa persko-turecka: *abdes* (1646), *abdest* (1678) 'obmycie rytualne przed modlitwą u muzułmanów'; *alemdar* (1678) 'chorąży (w armii tureckiej)'; *ambar* (1646) 'spichlerz'; *bakszysz* (1732), *bakczysz* (1874) 'podarunek, prezent; datek, kuban, napiwek'; *bazar* 1. 'plac, na którym sprzedawano jeńców' (1575);

2. 'targ, rynek' (1582); 3. 'targowisko obozowe, miejsce, gdzie sprzedawano głównie żywność dla wojska' (1620); *begir* (1874) 'koń wierzchowy'; *bułat* 1. 'miecz periski zakrzywiony, szabla turecka z szeroką głownią, zrobiona z wysokogatunkowej stali'; 2. 'wysokogatunkowa stal' (1621); *ciakał* (1633), *czekał* (1787) 'szakal'; *cimszyr* (1698) 'bukszpan'; *ciorba* (1633), *szorba* (1615), *czorba* (1732) 'zupa, polewka z mięsem baranin; strawa cesarska dla janczarów'; *czarszy* (1789) 'handlowa dzielnica miasta'; *daraj* (1858) 'rodzaj tkaniny'; *derbent* (1633), *derwend* (1874) 'baszta, strażnica przy wąwozach i przesmykach górskich; ciasna droga; posterunek żandarmerii tureckiej (w górach)'; *diba* (-1823) 'złotogłów turecki o barwnej osnowie i wątku ze złotych nici'; *duszman* (1630) 'nieprzyjaciel, wróg, przeciwnik'; *ferman* (1678), *firman* (1838) 'w Turcji osm. rozkaz (pisemny lub ustny) padyszacha lub wielkiego wezyra'; *girydan* (1709/1744), *girydon* (1709/1744) 'okrągły stół na jednej nodze'; *horosan* (1765) 'rodzaj dywanu lub kobierca'; *hoszaf* (1615) 'rodzaj napoju z owoców, kompot'; *kiesa* 1. 'w Turcji osm. jednostka obrachunkowa równa 500 kuruszom (= piastrom' (1679); 2. 'woreczek do przechowywania pieniędzy lub kosztowności; trzos, sakiewka' (1839); 3. *przen.* 'dochody z majątku, fortuna, pieniądze' (1844); *kilim* (1627), *kilon* (1635), *kilom* (1640), *kilin* (1642), *kylim* (1706) 'kobierzec, barwny wzorzysty dywan; rodzaj przykrycia'; *meterys* (1678), *meterysz* (1678) 'okop, szaniec'; *nadziak* (1680) 'dawna broń; czekan z młotem zakończonym z jednej strony ostrym, nieco pochyłym grotem; siekiera, obuch'; **namas* (w oryg. *hamas*) (1646), *namaz* (ok. 1760) 'modlitwa; sposób modlenia się; nabożeństwo'; *padyszach* (1496–1501), *padysza* (1732) 'sultan, cesarz turecki'; *papucie*, pl. (1611), *papuć*, sg. (1633), *papcie* (1700) 'lekkie domowe pantofle lub trzewiki z barwnej skóry'; *pekmez* = *pechmez* (1615) 'syrop owocowy'; *rahwan* (1874) 'koń biegnący inochodem'; *safian* (1539), *szafijon* (1706), *safijan* (1858), *szafian* (1858) 'wyprawiona barwnikami roślinnymi cienka, miękka skóra kozła lub barania'; *tafta* (1393), *tawta* (1476) 1. 'tkanina jedwabna o delikatnym połysku'; 2. *tawta* (1616–20 (?), *tafta* (1621) 'szata, suknia z tej materii'; 3. *tafta* (1583), *tawta* (1636) 'szarfa z tej tkaniny do podtrzymywania; opaska'; 4. *tafta* (1732) 'chorągiew'; *talizman* (1633) 'niższy duchowny muzułmański'; *usta* (1883) 'przełożony (-ona), służebny (-bna) przy dworze dygnitarza tureckiego'; *zarkuła* (1557) 'wysokie nakrycie głowy noszone przede wszystkim przez janczarów, derwiszy, a nawet marynarzy; może też jakaś ozdoba noszona na czapce'; *zekir* 1. 'pierścień, sygnet' (1633); 2. 'pierścień na cięciwie, służący do silniejszego naciągania łuku'.

4) Warstwa mongolsko-tatarska lub -turecka: *asawoła* (1634), *asawuła* (1654), *assawoła* (1633), *assawuł* (1732) 1. 'dowódca oddziału konnicy w dawnym wojsku kozackim; zastępca atamana kozowego u Kozaków'; *assawuła* (1690–95) 'strażnik polowy, dozorca w dobrach prywatnych na Ukrainie'; *bałta* (1625–39) 'rodzaj dawnej broni; siekiera na obuch osadzona' (< mong. < ptur.); *dzida* (1621), *dżyda* (1673) 'rodzaj lekkiej włóczni; kopia, lanca, pika, spisa, rohatyna'; *elczy* (1678) 'poseł, rezydent, agent' (< mong. < sttur.); *jasak* (1789) 'zakaz'; *karauł* (1689) 'strażnik, wartownik; straż'; *kończuga* (1621), *kańczug* (1637), *kańczuk* (1674), *kanczug* (1691–95), *kanczuk* (1700) 'bicz z plecionego rzemienia osadzony na krótkim kijku; uderzenie tym biczem'; *karauł* (1689) 'warta, straż rosyjska'; *sajdag* (1517), *sajdak* (1533), *sej dak* (1564), *sahajdak* (1568) 'pokrowiec skórzany na łuk i strzały; kołczan'; *włus* (1615), *ułas* (1666), *ułus* (1861) 'jednostka organizacyjna plemion koczowniczych

mongolskich i tatarskich; (fig.) państwo tatarskie; stała osada tatarska'; *zebe* (1678) 'zbroja'.

5) Warstwa grecko-turecka: **afendi* w *emirafendy* (1646) 'komendator'; *effendy* (1678), *efendi* (1679) 'w Turcji i na Krymie tytuł duchownych (także chrześcijańskich) tudzież osób wykształconych – w przeciwieństwie do sfer wojskowych'; **ałaj* 'pułk' w *ałajbegler* (1678) 'pułkownicy'; *Anadołu* (1787), *Anadoł* w złożeniu *Anadoł kazaskier* (ok. 1760) 'sędzia wojskowy dla Anatolii', *Natolia* (1787) 'Anatolia, czyli Azja Mniejsza'; *Arnauta* (~1823), *Arnaut* (w *Arnaut-kiei* [1883] 'osada Albańczyków'), *Arnawud* (1983) 'Albańczyk'; *aspra* (1496–1501) 'srebrna moneta turecka'; *bre bre!* (1650) 'ej że! ej że!' (zawołanie w pieśniach); *dimi* (1680), *dyma* (1706) 'tkanina lniana, bawełniana lub konopna'; *Engürü* (1874) 'Angora = Ankara'; *eskar* (1534) 'lek' (prawdopodobnie rdza używana jako składnik do wyrobu plastrów i maści na rany) < 'rdza'; *kilar* (1678) 'apteka', obok *kiler* w złożeniu *kiler kiatybe* (1678) 'zarządzający apteką'; **kilise* 'kościół' w złożeniu *kilise-dżami* (1883) 'kościół-meczet'; *limen* (1615), *liman* (1789) 'wylewy morskie oraz jeziora powstałe w ich wyniku, które oddzieliły się od morza wałami naniesionego piasku'; *perema* (1633) 'ciężka dwuwiosłowa łódź, prom'; *podruna* (1675) 'piwnica podziemna, loch w ziemi do przechowywania żywności', też nazwa ulicy w Konstantynopolu *Petromo* (1646); *Rumi*, pl. (1633) 'narody zamieszkujące dawną europejską część Turcji', stąd termin geograficzny *Rumelia* (1678) 'europejska część Turcji' (< *Rum* + *el* 'kraj').

6) Warstwa włosko (~ wenecko)-turecka: *a la franga* (1874) 'po europejsku, na sposób europejski'; *berganta* (1496–1501) 'rodzaj łodzi wojennej'; **bombara* 'wielka armata' w derywacie *bombaradzi* (1787) 'ludwisarz'; **bosztardziej*, pl. *bosztardziejowie* (1634) 'marynarz służący na średnio wielkiej galerze wojennej; strażnik portu i przystani nad morzem Marmara i Złotym Rogiem'; *fortuna* (1582–84) 'burza morska, szturm, niepogoda'; *galacza* (1496–1501) 'rodzaj łodzi wojennej'; *karamuzan* (1582–84), *karamuz* (1615), *kieremsał* (1633), *karamuzał* (1646) 'turecki okręt handlowy z podwyższoną częścią tylną'; *lokanda* (1874) 'restauracja'; *mandra* (1874) 'ogrodzona płotem zagroda dla zwierząt pod gołym niebem, zasłonięta górą od północy'; *pampur* (1874) 'parostatek'; **patula*, pl. *patule* (1787) 'ront, warta nocna'; *saltamberg* (1787) 'galera wojenna'; *warda!* (1874) 'baczność! uwaga!' (okrzyk tragarzy i poganiaczy koni).

7) Warstwa:

a) węgiersko-turecka: **hajdut*, pl. *hajdutowie* (1678) 'hajducy'; *pałanka* (1630), *palanka* (1650) 1. 'umocnienie z wału ziemnego i palisady; miejsce, siedziba otoczona takim wałem i palisadą'; 2. *palanka* (1650) 'grób, trumna'; 3. *pałanka* (1856) 'drewniane domostwo, zagroda'; *wajda* (1620) 'naczelnik, zarządca, dowódca';

b) warstwa turecko-węgierska: *dolman* (1515), *dołman* (1845) 1. 'kaftan noszony na inne okrycie pochodzący z narodowego ubioru węgierskiego; (od czasów Stefana Batorego) kurta bez rękawów lub z krótkimi rękawkami, wdziwana na pancerz'.

8) Warstwa turecko-rumuńska: *achtnamele*, pl. (1676) 'umowa, zobowiązanie pisemne'; *jałagasy* (1666) 'zwierzchnik Tatarów w Alba Iulii (Cetatea Albă) w Siedmiogrodzie'; może też (z powodu -i- w sylabie -li-) *filiżanka*; *kofter* (1440), *koftyr* (1444), *kaftyr* (1450), *kowtyr* (1450), *kowter* (1466) 'kosztowna jedwabna

tkanina z Bliskiego Wschodu, może zbliżona do kamchy; takiej 200 sztuk corocznie dawać musiał Jagielle wojewoda wołoski’.

9) Warstwa pld.-słowiańsko-turecka: *czeta* (ok. 1760) ‘podjazd’; *wojennik* = *wojnik* (1496–1501) ‘żołnierz chrześcijańskiego pochodzenia w dawnej armii tureckiej pełniący służbę pomocniczą’; **wojniklar* (1615: *womichlar*) ‘służba masztalerska w dawnej armii tureckiej’.

10) Warstwa kipczacka (krymsko-tatarska, tatarska, czagatajska), do języka polskiego słownictwo tej warstwy dostawało się często przez pośrednictwo wsch.-słowiańskie: *arkan* 1. ‘długi sznur z pętlą na końcu do chwytania na odległość zwierząt, szczególnie koni nieujędzonych z tabunu; (*przen. też*) więzy’ (1670); 2. ‘rodzaj tańca’ (1863); *ataman* (1663), *wataman* (1638), *hotoman* (1644–47), *hataman* (1660/81) ‘przywódca wojskowy u Kozaków’; *ataman* (1690–95) ‘żołnierz kozacki, Kozak’; *wataman* (1435) ‘niższy urzędnik w majątku ziemskim’; *baskak* (1582) ‘tatarski namiestnik na ziemiach ruskich, który miał za zadanie zbierać daninę i przestrzegać wykonywania rozporządzeń władców tatarsko-mongolskich’; *bech-tyr* (1568) ‘rodzaj pancerza z płytek i plecionki kolczej; (*też przen.*) pancerz’; *ciura* (1615) ‘pachołek obozowy; człowiek czeladny’; *czekman* (–1828), *czechman* (1899) ‘kontusz tatarski używany niegdyś w Polsce’; *domra* (1572) ‘rodzaj instrumentu muzycznego’; *jarczak* (1539) ‘siodło drewniane; łęk, kulbaka’; *kindżał* (1832), starsze *ginżał* (1478), *gindżał* (1582–84), *kinżał* (–1823) ‘wschodni długi nóż obosieczny, rodzaj sztyletu’; *komysz* (1645), *komycz* (1840) ‘gęstwina, zarośle, krzaki zwłaszcza na miejscach podmokłych; sitowie’; *mursa* (1500–47), *morsa* (1500–47), *murza* (1644), *mirza* (1781) ‘tytuł synów bejów, t. j. szlachty tatarskiej, pełniących często funkcję dowódców wojsk tatarskich’; *rostruchan* (1475), starsze *hostruchan* (1393), *dostuchan* (1395), *rostuchan* (1420), **rostrurhan* (1436) ‘wielki ozdobny kielich do wina i miodu’; *tabun* (1630) ‘stado dzikich koni na stepie, duże stado koni’; *taraban* (1696) ‘bęben podłużny o membranach napinanych za pomocą sznurów, używany w dawnym wojsku’; *temblak* (1620), *temblach* (1620) ‘pas z chwastem u rękojeści szabli, na którym można zawiesić szablę, miecz’; *temlak* (1834), *temblak* (1878) ‘opaska z płótna, bandaża obejmująca szyję i chorą rękę, która na tej opasce spoczywa’; *ułan* 1. ‘książę tatarski; jeździec tatarski’ (1500–47); 2. ‘jeździec, kawalerzysta w wojsku polskim’ (1834); *uszak*, częściej w pl. *uszaki* (1777–79) ‘czopy u drzwi, którymi w biegunach chodzą; futryna u drzwi lub okien; uchwyt, hak, zawiasa’; *wojłok* (1562), *wojdlók* (1567/68), *wojłak* (1621) ‘podkład pod siodło, potnik; koc, derka z grubego sukna; gruba odzież’.

11) Wyrazy niejasne etymologicznie: *czahar* (–1828) ‘las drzew rozmaitego gatunku; drzewo karłowate’ i *czahary*, pl. (1841–43) ‘miejsce nierówne, niskie, zarosłe dzikimi krzakami’; *czylik* (1496–1501) ‘młody janczar, który po przebyciu okresu przygotowawczego odbywał trzechletnią próbę przy linii’; *dziamaluk* (1633) ‘rodzaj wielkiego działa ustawionego przed pałacem sułtańskim’; *mulowkadis* (1787), *kadys mulow* (1787) ‘jeden z trzech rodzajów jurysdykcji, magistratur’; *pakmelek* (1678) ‘trzewiczne, pieniądze na trzewiki [jest to nazwa formy obdarowania przez sułtana jego przyszłej żony]’; *rażlimurza* (1615) ‘jakaś forma tytułu u Tatarów nogajskich przysługująca książętom’; *rehab* (1883) ‘potrawa z owczego mięsa z pieprzem i korzeniami przysmażona’; *ruinandzi* (1787) ‘przełożony izby zarządzającej skarbem cesarskim’; *salandżiler*, pl. (1646) ‘strukczaszy’. – Dla trzech następnych

wyrazów nie można nawet ustalić znaczenia: *nitiański pasza* (1643), *prostardziejowie*, pl. (1634), *selihor ułu* (ok. 1760).

12) Dublety etymologiczne. – Przez termin „dublet etymologiczny” rozumiem wyraz, który posiada w naszym języku co najmniej dwie różne postacie, chociaż pochodzi z tego samego wyrazu obcego, ale do nas przyszedł różnymi drogami. Por. np.:

A) szereg: *tłumacz* – *tersiman* ‘tłumacz’ – *dragoman* ‘tłumacz przy poselstwach i konsulatach wschodnich’. – Wszystkie te trzy wyrazy pochodzą z jednego źródła, jakim jest ar. *tarğumān*, pl. *tarāğima*, *tarāğīm* ‘tłumacz’, które z kolei samo jest pożyczką z asyr. *targumānu* ‘tłumacz (ustny)’, ale przyszedł do języka polskiego trzema różnymi drogami:

a-1) ar. klas. *tarğumān* > ptur. **tylmač* (w formie kalki złożonej z **tyl* ‘język’ [= asyr. *tarğu* ‘język’] + sufiks *-mač* [= asyr. *-mān*]) > psł. **tślmačb* > pol. *tłumacz*;

a-2) ar. klas. *tarğumān* > osm.-tur. *tercūman* (XV w.: *trğmān*; TaS V 3792), *terciman* > pol. *tersiman* (1640), *terdziman* (1643), *terdżyman* (1679) ‘tłumacz’; *terdżyman pasza* (1678), *terdżyman paszy* (1679) ‘główny tłumacz’;

a-3) ar. klas. *tarğumān* > wł. *dragomanno* (XIV w.: DEI II 1390), *turcimanno* (XIV w.), *torcimanno* (XV w.: DEI V 3932–33) > pol. *dragaman* (1640: MiasDL 56), *dragoman* (1/XIX w.: SD), *drogman*, też gatunek drozda: *drogoman* ‘tardus interpres’ (1861: SWil. I 255).

B) szereg: *kady* – *alkad* ‘sędzia (w ogólnym znaczeniu)’. – Źródłem tego dubletu etymologicznego jest ar. *al-qāḏī* ‘sędzia’, które przyszło do naszego języka dwoma drogami:

a-1) ar. klas. *al-qāḏī* > osm.-tur. *kadi*, *kazi* (z odrzuceniem rodzajnika *al-*, którego nie znają języki tureckie) > pol. *kadej* (1540), *kadus* (1564), *kady* (1582–84) ‘sędzia (turecki)’ oraz *kadyleskier* (1540), *kazyłaskier* (1633) ‘turecki sędzia wojskowy’ (< *k.* + *leskier* ‘wojsko’).

a-2) ar. klas. *al-qāḏī* > ar.-and. *al-qāḏī* > hiszp. *alkaldi* (1035), *alkalde* (1047), *alcaldi* (1063), *alcalde* (1069) ‘juez [= sędzia]’ (LHP 26) > pol. *alkad* (1844) ‘starszy urzędnik gminy wykonujący obowiązki sędziego’ (SD) z zachowaniem rodzajnika arabskiego.

C) szereg: **kubbe* ‘kopuła’ – *alkowa* ‘mały pokoik (często bez okna), rodzaj niszy’. – Źródłem tego szeregu etymologicznego jest ar. *al-qubba* ‘kopuła; budowla kopulasta; grobowiec’, które przyszło do języka polskiego trzema drogami:

a-1) ar. klas. *al-qubbah* > osm.-tur. *kubbe* (1533) ‘tempio [= świątynia]’ (Arg. 224) (z odrzuceniem rodzajnika *al*) > pol. **kubbe* w złożeniu: *kubbe-wezyr* (1679), *kube-wezyr* (1709/1744) = *wezyr kopuły* (1883) ‘wezyr powołany na członka Rady państwa’ < osm.-tur. *kubbe-vezir*, pl. *kubbe-vezirleri* ‘tytuł siedmiu pierwszych dygnitarzy, którzy razem z wielkim wezyrem siedzą pod kopułą w sali Rady państwa’.

a-2) ar. klas. *al-qubbah* > ar.-and. *al-qubba* > hiszp. *alcoba* (ok. 1280) > fr. *alcôve* (1648: DauzDÉ 23) > pol. *alkowa* (1775–1806).

a-3) bezpośrednio z hiszp. *alcoba* pochodzi pol. *alkoba* (1854).

D) szereg: *ferezyja* ‘męskie okrycie wierzchnie’ – *feredza* ‘rodzaj płaszcza noszone na ulicy przez dostojne muzułmanki’. – Źródłem tego szeregu etymologicznego jest śrgr. *φορεσία* ‘ubranie, ubiór, odzież, strój’, derywat od *φορέω* m. in. ‘nosić ubranie, ozdoba, broń’, forma iteratywno-intensywna od *φέρω* ‘nosić’. Zapożyczenie przyszło do nas dwoma różnymi drogami:

a-1) śrgr. *φορεσία* > ngr. *φορεσιά* > osm.-tur. **ferezi*, *feraze* (1587–88) ‘Mentel’ (Lub. 42) > pol. *fierazyja* (1601), *ferezja* (1610), *ferezyja* (1622) ‘męskie okrycie wierzchnie z szerokimi, dekoracyjnymi rękawami, stojącym niskim kołnierzem...’ (TurSU 54). Tur. formę z -z- poświadczają pożyczki w języku rosyjskim: *θerezъ* (1583–84: Srez. III 1354), *φερесе* (1618–19) ‘férezъ’ (SDRDż. 7b: 43), *ferezi* *ěždovyje* (1637: Srez. I 27 s. v. *armjačnyj*), też gwar. zob. słownik Dalja.

a-2) śrgr. *φορεσία* > ar. **faraǧī* (por. ar. *faraǧīyye* ‘szata powiewna’; Dozy DNV 327) > pers. *farǧī* ‘rodzaj ubioru’ (Stg. 916), *faraǧī* ‘szata biała rozcięta z przodu, bez pasa, noszona zazwyczaj przez derwiszów’ (J-A 548) > osm.-tur. *ferace* (1587–88), *ferici* (1603), *ferese* (1677), *ferāce*, *ferrāce*, vulg. *ferese* ‘vestis exterior cum largis & patulis manicis; ferezyá bez kołnierzá, delyiá długa’ (Men. 3480) > pol. *feredza* (ok. 1760: PilPA 183).

Skróty

- Arg. – Adamović M., 2001, *Das Türkische des 16. Jahrhunderts. Nach den Aufzeichnungen des Florentiners Filippo Argenti (1533)*, Göttingen.
- DauzDE – Dauzat A., 1938, *Dictionnaire étymologique de la langue française*, 11e édition, Paris.
- DEI – Battisti C., Alessio G., 1968, *Dizionario etimologico italiano*, I–V, Firenze.
- Dozy DNV – Dozy R.P.A., 1845, *Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes*, Amsterdam.
- J-A – Junker H., Alavi B., 1968, *Persisch-deutsches Wörterbuch*, 2. Aufl., Leipzig.
- LHP – Lapesa R., García C., 2003, *Léxico hispánico primitivo (siglos VIII–XII)*, Madrid.
- MiasDL – Przyboś A. (oprac.), 1985, *Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r. (s. 45–78: Dziennik legacji do Turek ...)*, Warszawa–Kraków.
- Men. – à Mesnien Meninski F., 1680, *Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae–Arabicae–Persicae*, Viennae Austriae.
- PilPA – z Rusieckich-Pilsztynowa R.S., 1957, *Proceder podróży i życia mego awantur*, Kraków.
- SD – Doroszewski W. (red.), 1958–1969, *Słownik języka polskiego*, I–XI, Warszawa.
- SDRDż. – Łarin B.A., 1959, *Russko-anglijskij slovarʹ-dnevnik Ričarda Džemsa (1618–1619 gg.)*, Leningrad.
- Srez. – Sreznevskij I.I., 1893–1912, *Materiały dla słowarja drevne-russkago jazyka po piśmennym pamjatnikam*, I–III, Sanktpeterburg.
- Stg. – Steingass F., 1996, *A Comprehensive Persian-English Dictionary*, New Delhi.
- SWil. – Orgelbrand M. (wyd.), 1861, *Słownik języka polskiego*, I–II, Wilno.
- TaS – T.D.K., 1963–1972, *Tarama Sözlüğü* (= Słownik z dokumentacją historyczną), I–VI, Ankara.
- TurSU – Turnau I., 1999, *Słownik ubiorów*, Warszawa.

Literatura

- Barbera D.G., 1940-XVIII, *Elementi italo-siculo-veneziano-genovesi nei linguaggi arabo e turco con una prefazione storico-filologica*, Beyrouth (Liban).
- Bonelli L., 1894, *Elementi italiani nel turco ed elementi turchi nell'italiano*, „L'Oriente”, t. I, s. 178–196.
- Eren H., 1999, *Türk dilinin etimolojik sözlüğü* (= *Słownik etymologiczny języka tureckiego*), Ankara.
- Kahane H. & R. – Tietze A., 1958, *The Lingua Franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin*, Urbana.
- Kakuk S., 1973, *Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des XVI^e et XVII^e siècles. Les éléments osmanlis de la langue hongroise* (= *Bibliotheca Orientalis Hungarica*, t. XIX), Budapest.
- Lokotsch K., 1927, *Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs*, Heidelberg.
- Meyer G., 1893, *Türkische Studien. I. Die griechischen und romanischen Bestandtheile im Wortschatz des Osmanisch-Türkischen*, „Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften”, t. 128, 1, s. 1–93.
- Miklosich F., 1889, *Die slavischen, magyarischen und rumunischen Elemente im türkischen Sprachschätze*, „Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften”, t. 118, 5, s. 1–26.
- Muchliński A., 1858, *Źródłosłownik wyrazów które przeszły, wprost czy pośrednio, do naszej mowy z języków wschodnich, tudzież mających zobopólną analogię co do brzmienia lub znaczenia, z dołączeniem zbioru wyrazów, przeniesionych z polski do języka tureckiego*, Petersburg.
- Özön M.N., 1962, *Türkçe-yabancı kelimeler sözlüğü* (= *Słownik wyrazów obcych w języku tureckim*), İstanbul.
- Räsänen M., 1969–1971, *Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türkssprachen*, t. I–II, Helsinki.
- Schönig C., 2000, *Mongolische Lehnwörter im Westghusischen* (= *Turcologica*, t. 47), Wiesbaden.
- Stachowski S., 1971, *Beiträge zur Geschichte der griechischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen*, „Folia Orientalia”, t. XIII, s. 267–298.
- Stachowski S., 1979, *Slawische Wörter in der türkischen Sprache des 17. Jahrhunderts*, „Studia Slavica Hungarica”, t. XXV, s. 363–370.
- Stachowski S., 1975–1986, *Studien über die arabischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen*, t. I–IV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
- Stachowski S., 1998, *Osmanlı Türkçesinde yeni farsça alıntılar sözlüğü – Wörterbuch der neu-persischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen*, İstanbul.
- Stachowski S., 2005, *Glosariusz turecko-polski*, Kraków.
- Symeonidis Ch., 1976, *Der Vokalismus der griechischen Lehnwörter im Türkischen*, Thessaloniki.
- Škaljić A., 1966, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Sarajevo.
- Tagliavini C., 1940-XVIII, *Osservazioni sugli elementi italiani in turco*, „Annali N. S.”, t. I (= *Scritti in onore di Luigi Bonelli*), Roma, s. 191–204.
- Tietze A., 1955, *Griechische Lehnwörter im anatolischen Türkisch*, „Oriens”, t. VIII, s. 204–257.

Tietze A., 1957, *Slavische Lehnwörter in der türkischen Volkssprache*, „Oriens”, t. X, s. 1–47.

Tietze A., 1958, *Direkte arabische Entlehnungen im anatolischen Türkisch*, [w:] Jean Deny Armağan (= *Dar Jean Deny’emu*), Ankara, s. 255–333.

Tietze A., 1962, *Einige weitere griechische Lehnwörter im anatolisch Türkischen*, [w:] Németh armağan (= *Dar Gy. Némethowi*), Ankara, s. 373–388.

Turek W.P., 2001, *Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie*, Kraków.

Zajączkowski A., 1949, *Związki językowe połowiecko-słowiańskie*, Wrocław.

Zajączkowski A., 1953, *Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego*, Wrocław.

Этимологические пласты тюркизов в польском языке

Резюме

Лексические заимствования тюркского происхождения составляют значительную часть польской исторической лексики. Польские тюркизмы в большей своей части происходят из османско-турецкого языка, а в меньшей степени – из крымскотатарского и некоторых других языков кыпчакской группы. Тюркизмы встречаются в польском языке уже с конца XIV в., но самый больший их приток выступает в XVI–XVII вв. Этимологический состав тюркской лексики охватывает слова родного тюркского происхождения и заимствованную лексику. Такую же картину представляют польские тюркизмы, среди которых можно выделить следующие этимологические пласты тюркской лексики: 1) родной османско-турецкий, 2) арабско-турецкий, 3) персидско-турецкий, 4) монгольско-татарский или -турецкий, 5) греческо-турецкий, 6) итальянско-турецкий, 7) а) венгерско-турецкий, б) турецко-венгерский, 8) румынско-турецкий, 9) южно-славянско-турецкий, 10) кыпчакский, 11) неясные слова, 12) этимологические дублеты.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Krystyna Szczesniak

Zwierzęta w wybranych *zamowach* białoruskich i rosyjskich

W wielokrotnie już przeglądanych zbiorach *zamów*¹ obok różnorodnych desygnatów tam używanych w trakcie odmawiania tekstu rytualnego występują zwierzęta. Wcześniej, badając w tychże tekstach sprawę obecności roślin, stwierdziłam, że występują one tam jako coś, o czym się wspomina w tekście, coś, czego się używa przy wygłaszaniu tekstu oraz jednocześnie w obu rolach. Zebrane zbiory *zamów* (aczkolwiek nie wykorzystuję w tym artykule wszystkich, jakie posiadam) wykazały ponadto, że zwierzęta występują tam jeszcze w innej roli: podmiotu, czyli to w ich intencji wypowiedziane są słowa *modlitewki*. Temu ostatniemu aspektowi chcę poświęcić uwagę w niniejszym artykule. Spróbuję odpowiedzieć tu na pytania: jakie zwierzęta są podmiotem *zamów*, kiedy i z jakiego powodu takie *słowa magiczne* w ich intencji się wypowiada?

Do badań wykorzystałam kilka zbiorów, z których korzystałam wcześniej oraz dwa zbiory, jakie się ukazały niedawno na półkach księgarskich Białorusi (są one na końcu wyliczanych źródeł). Są to teksty²: Н. Владимірова, *107 рецентаў*

¹ Świadomie używam terminu *zamowa*, a nie *zamówienie*, gdyż uważam, iż ten drugi leksem (pierwotnie rzeczywiście odbierany w języku polskim jako synonim pierwszego) dziś zmienił nieco swe znaczenie, na plan pierwszy wysuwając 'poprzedzać zakup czegoś pisemnie lub ustnie, dokładnie określając jego parametry'.

² W nawiasie podaję skrót, pod jakim będą występować w niniejszym referacie przykłady z owych prac. Najłatwiej było znaleźć interesujące mnie desygnaty w pracy *Народная медыцына. Рытуальна – магичная практыка*, укладанне, прадмова і паказальнікі Т.В. Валодзінай, Мінск 2007, gdzie na stronach: 760–761 podano ze wskazaniem stron miejsca, na których występują wspomniane zwierzęta. Pozostało jednakże sprawdzić, czy wszystkie interesujące mnie wypadki zostały ujęte we wspomnianym wykazie, jako że w wykazie roślin są pewne luki. Zabrakło tam między innymi kilku roślin. Nie wyodrębniono też gwarowych nazw oddzielnie, zapisując wskazanie tylko przy nazwie literackiej. Mam tu pełną świadomość tego, że dwa zbiory należą do stricte naukowych (Z; Val), a pozostałe zawierają teksty wydawane współcześnie dla potrzeb korzystających, czyli dla właściwych użytkowników owej magii słowa. Interesujące będzie tu dodatkowo porównanie, na ile dawne teksty odzwierciedlają wagę danego zwierzęcia w życiu człowieka, a jak do tego podchodzą nowsze teksty, czasem powołujące się na starą tradycję, czasem się do niej odnoszące poprzez formy językowe.

и заговоров народной медицины, Москва 2005 (skrót **Vla**); *Заговоры и обереги в народной лечебной практике*, автор-составитель Н.А. Фомина, Минск 2004 (skrót **Fomina**); *Замовы, уклад., сістэм тэкстаў, уступ. арт. і камент.* Г. Барташэвіч, Мінск 2000 (skrót **Z**); *Лечение словом. Молитвы и заговоры*, Минск 2004 (skrót **LS**); *Молитвенный народный лечебник*, Минск 2000 (skrót **MNL**); *Практика лечения заговорами*, Минск 2004 (skrót **PLZ**); *Практика лечения молитвами и заговорами*, Минск 2003 (skrót **PL**); Н.И. Степанова, *Гадания сибирской целительницы*, Москва 2006 (skrót **Ste**); Н.И. Степанова, *800 новых заговоров сибирской целительницы*, Москва 2005 (skrót **St**); *Народная медицина. Ритуальна – магичная практыка, укладанне, прадмова і паказальнікі* Т.В. Валодзінай, Мінск 2007 (skrót **Val**); М. Гагарина, *Заговоры цыганской целительницы. Чтобы людьми управлять и все, что хочешь, получать*, Москва 2006 (skrót: **G**).

W kilku zbiorach spośród wyżej wymienionych (są to: Vla, Val, PLZ, PL) nie znalazłam żadnej *zamowy* poświęconej zwierzęciu. Jedno z wykorzystanych źródeł (Ste) zaleca przed rozpoczęciem tychże praktyk wobec ludzi „wprawianie się w *zamowach* na zwierzętach”. Lekcja pierwsza *gadania* to „*первые опыты в учении на животных*”. Owe *лекcje lekarowania* polecają na początku zdobycie informacji, gdzie w okolicy znajduje się chory pies lub bydło domowe. Należy dowiedzieć się o jego imię (jeśli takowe nosi) i kolor umaszczenia. Następnie zaleca się podejście do domu, gdzie takie zwierzę choruje i przeczytanie *zamowy* odpowiedniej dla sytuacji, choroby i zwierzęcia. Dopiero poduczysz się na zwierzętach można, zdaniem autorki owego opracowania, przystąpić do leczenia ludzi. Wspomniane źródło podaje kilka takich dolegliwości zwierzęcych, na których początkujący znachor ma się uczyć. Są to: *чума рогатого скота* (s. 96); *заговор от чумы, от лошадиного кашля* (s. 97); *от парши у лошади* (s. 98); *наговор на лошадей, чтобы у них не было ни болей, ни хворей* (s. 98). Potem następują odpowiednie *zamowy* na krowy (*потеря жвачки*, s. 99; *тяжелые роды у коров*, s. 99), a na końcu świnię (*потеря аппетита*, s. 99; *наговор от червей*, s. 99; *чтоб свинья много ела; чтоб новорожденные поросята не подыхали; от порчи скота*, s. 100). Obok *zamów* tak zwanej *białej magii*, dotyczących leczenia zwierząt, autorka książki (której podtytuł brzmi: „ja wam pomogę...”) w dalszej kolejności podaje sposoby nakładania *porczy* na zwierzęta, dość pokrętnie tłumacząc, dlaczego to czyni: „*Но вы должны знать, как напускают на скот болезни и порчи. [...] Для чего этому учишь, скажете вы? Для того, чтобы знать все. Иначе и другое не будет у вас получаться. В учении все взаимосвязано. Врача учат и резать и зашивать*”³. To prawda, że przyszłego lekarza uczą i *krojenja* i *zaszywania* – ale przecież istota sprawy tkwi w tym, że on *kroi* po to, by leczyć, a nie po to, by świadomie szkodzić.

W dalszej części wspomnianej wyżej książki (s. 101–103) autorka podaje każdorazowo sposób na *zadanie* i sposoby *zdejcia porczy* na bydło domowe. Wspomniany zbiór jest jedynym, do którego dotarłam, a w którym podawane są sposoby *zadawania złego*. W dodatku *zamawianie* zwierząt domowych (po uprzednim wywiadzie terenowym) ma być w zamiarach teź autorki wprawką do podobnych zabiegów wobec ludzi. Ważny podkreślenia jest też fakt, iż na pierwszym miejscu jest tu koń, potem bydło domowe, a na końcu świnię, zaś *zadawanie porczy* jest związane tylko z bydlętem domowym (szczególnie chodzi tu o krowy i pozbawianie ich, w wyniku

³ Н.И. Степанова, *Гадания сибирской целительницы*, Москва 2006, s. 100–101.

zamowy, mleka)⁴. Autorka wskazuje też sposoby zadawania, a także ich poszukiwania – zwraca uwagę na to, iż zadanie może nastąpić przez związanie na pastwisku dwóch blisko siebie rosnących krzaczków wierzchołkami – szmatką. Czyje bydło potrafi te krzaczki – zachoruje, pomóc wówczas może tylko wbicie gwoźdźcia we wrota tego ogrodzenia. Porcję można zadać też przez wycięcie nożem szczapki z ogrodzenia, a potem zabranie jej do swego domu – krowa traci wówczas mleko i chudnie. Jeśli podejrzewamy o takie właśnie zadanie należy wziąć nawóz od chorej krowy i odrzuciwszy go na stronę, wypowiedzieć odpowiednie słowa *zamowy*⁵. Inne sposoby zadawania, pozbawiania krowy mleka, to: na rzepę (rzodkiew, jabłko, rzadziej – ziemniak), na kłębek z sierści zwierzęcia, przewiązany czarną nitką.

W drugiej książce tej samej autorki⁶, znajduje się cały rozdział poświęcony zapobieganiu *porczy*, *odżegnywaniu zamów* i uroków rzuconych na zwierzęta, który autorka zatytułowała *забота о животных* (St 295–315). Znajdują się tam 2 teksty wypowiadane *При рождении теленка*⁷, jeden *При покупке коровы*⁸. Swoiście z tym ostatnim wiążą się trzy inne teksty, zapisane pod jednym tytułem: *Чтобы скотина не тосковала по бывшим хозяевам*⁹. Pierwszy z nich jest dłuższy, dwa pozosta-

⁴ W wielu źródłach słowiańskich (nie tylko wschodnich) wspomina się o tak zwanych *wieźmach mlecznych*. Szerzej zob. K. Szczesniak, *Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny*, Gdańsk 2008.

⁵ „Тому, кто попортит – говна, а моей корове – молока” (St 101).

⁶ Н.И. Степанова, *800 новых заговоров сибирской целительницы*, Москва 2005 (skrót St).

⁷ Pierwszy z nich ma być wypowiadany trzy razy pod rząd bez żadnych świadków („Дедушка, соседка, хозяин наш домовый, Прими теленка, как своего ребенка, Пои, корми, от худого глаза стереги”; St 295), drugi zaś, odwołujący się do tego samego *domowika, domowego*, prosi go również o opiekę na nowonarodzonym cielątkiem („Хозяюшка мой домовый, Прими теленочка к нам домой, При достатке корми его сладко, Сам его не обижай и чужим На потеху не давай”; St 295). Pojawia się tu przekonanie, że najlepiej to młode stworzenie upilnuje duch domowy, o którego dbano, którego zabierano ze sobą w czasie przeprowadzki i wierzono, że może on więcej, niż człowiek.

⁸ Zanim wymówi się wróżebne słowa, należy zakupioną krowę zaprowadzić do chlewa, machnąć nad nią miotełką brzoową („Будь твое тело мясное гладко, Молоко бело и сладко, Сметана жирна и вкусна. А ты, батюшка – домовый, Заведи ее в хлев домой. День и ночь охраняй, Сглазить мою коровушку не давай. Ключ, замок, язык. Аминь”; St 295). Tekst ten jest także przemową do *domowika, domowego*, aby dbał o krowę, nie pozwolił jej zauroczyć, ale pewną nowością w stosunku do powyższych *zamów* jest jego klasyczne *zamknięcie* i *zaaminowanie*.

⁹ Co ciekawe, terminem *скотина* obejmuje się tu zarówno krowy, jak i konie oraz *другую скотину*. *Zamowę* zaleca się wypowiadać w sytuacji, kiedy kupione zwierzę nie chce jeść ani pić, co może doprowadzić do jej *padnięcia*. W trakcie wypowiadania słów wróżebnych należy maczać w wodzie *namówionej* pęk gałązek (веник) i skrapiać ową wodą bydłęta. Zabicie ten spowoduje, że „тоска перестанет сушить животину, и она скоро поправиться” (St 297). Pierwsza *zamowa* (będąca z jednej strony przemową do bydłęcia i tłumaczeniem, że dawne gospodarstwo nie istnieje, a w nowym – i siano jest bardziej miękkie i pożywienie ciepłe, z drugiej – prośbą o uszanowanie nowej gospodyni i powracanie z pastwiska na noc do domu) posiada już bardziej klasyczną budowę, zarówno jeśli chodzi o jej początek, jak końcowe *zamknięcie* i *zaaminowanie*: „Стану, благославясь, пойду, прекрестясь, В моем дворе поле, широкое раздолье. Хлеб теплый, сено шелковое, Ешь, наслаждайся, пей, напивайся.

łe – krótsze¹⁰. Wszystkie trzy są typowymi tekstami zażegnującymi pewne kłopoty z nowozakupionymi zwierzętami. Przywoływany tu zbiór *zamów* Stiepanowej zawiera także teksty o tym, *by na pastwisku nic złego się z bydłętami nie stało* (St 315), *żeby bydło nie uciekało* (2 teksty na stronie 296, jeden na stronie 306, jeden na stronie 314–315: *żeby bydło dobrze do domu wracało*), *żeby złodzieje omijali bydło* (s. 296, 302), *żeby krowa w trakcie dojenia nie pokładała się* (s. 299) i skuteczne w sytuacji *Если корова быка не подпускает*¹¹ (St 298, 314). Bydło było ważne dla ludzi korzystających z *zamów*, wystarczy przypomnieć, jak karano we wsi kobiety podejrzane o odbieranie mleka krowom, że przypomnę tu tylko Piotrusię „Dziurdziów” Elizy Orzeszkowej, zatem nie dziwią również *zamowy* stosowane w wypadku, *jeśli krowa mleko straciła* (St 311), a także, *by tegoż mleka nie straciła* (St 311), *słowa od zapalenia gruczołów sutkowych u krowy* (St 304) czy też *od „ciężkiego doju”* (St 310) i tego, *by krowa spokojnie stała przy dojeniu* (St 312–313), *bez powodu nie ryczała* (St 312) i *dawała dużo mleka* (St 311). Wspomniana autorka podaje ponadto *zamowy* na pierwsze ocielenie krowy (St 314), *dobre ocielenie krowy* (St 299), czy też modlitewki wypowiadane w wypadku *trudnego cielenia się krowy* (St 311) oraz *słowa po ocieleniu* (St 314) i teksty wypowiadane w wypadku *rodzenia się martwych cieląt* (St 311). Są odrębne *zamowy* od tego, *by bydło „nie padało”* (St 303, 307–308), *nóg nie łamało* (St 305). Inne teksty dotyczą *zamawiania chudości bydłęcia* (St 309), *krowiej grzybicy* (St 311), lub zawierają rady, typu: *Как заговорить коровий бзык* (St 308–309), w innym miejscu – *понос* (St 308). Są tam też ogólne *обереги на скотину* (w badanym źródle są dwa takie teksty¹², odmawiające złym siłom dostę-

У старого хозяина двор сгорел, Вода высохла, сено вымокло. О старом дворе, О прежнем житье не сомневайся, А мне, своей хозяйке, повелевайся. В любую теплую ночь домой из лесу возвращайся. В лесу и на выпасах не оставайся. Стой горой, дой рекой. Ныне и присно и во веки веков. Аминь”; St 297–298).

¹⁰ Drugi z nich należy wypowiadać w tym miejscu, gdzie było nowokupione stoi: *„Вот тебе вода, вот тебе трава, У бывшей хозяйки трава переросла, вода утекла, А у меня шелковая трава, медовая вода. Пей, жуй, о бывшем дворе не тоскуй. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь”*; St 298). Krótki, perswazyjny tekst, zakończony tradycyjnie, zgodnie z klasyczną budową, ale funkcję zamknięcia pełni tu przeżegnanie, po którym następuje *zaaminowanie*. Ostatni z tego cyklu tekst należy wypowiadać zaraz po przyprowadzeniu nowego bydłęcia do domu, po daniu mu chleba z solą i wody do popicia (*„Тоску запей, печаль зажуй. Будь во веки при мне, при Божьей рабе (имя). Слово мое лепко, дело мое, как репей, цепко. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь”*; St 298). Bez charakterystycznego wstępu, tekst ten zawiera tylko prośbę, a następnie *utocosowanie*, odwołujące się do mocy rzepu i końcowe *zażegnanie* sprawę wraz z *zaaminowaniem*.

¹¹ Tu zaleca się podniesienie lewą ręką spodni męża do krowiego pyska i wypowiedzenie słów: *„Как мой муж (имя) на мне, Так и бык на тебе. Аминь”* (St 298). W tej *zamowie* stosowana jest zasada zastępowania tego samego (funkcjonującego w innym wymiarze) przez to samo, a z klasycznej budowy pozostało oprócz *wezwania* – *zaaminowanie*.

¹² Pierwszy z nich zaleca przyniesienie z rzeki wody, *namówienie* jej i opryskanie miejsca, gdzie żyje bydło ze słowami: *„Пока эта вода сама назад в реку не уйдет, До той поры вражье слово мой скот не изведет. Ключ, замок, язык. Аминь”*. Tekst ten posiada klasyczny wstęp dla tej odmiany *zamów* „dopóki..., dopóty...”. Wymienione w nim słowo, to oczywiście *porcza*, złe słowa. Klasyczne *zamknięcie* i *zaaminowanie*. Drugi tekst należy wypowiadać 9 razy, obchodząc gospodarstwo z pustym wiaderem, *„Помяни, Господи, Кротость царя Давида и мать Елену, Так чтобы враги против меня Дел поганных не замыслили, Ртов своих не отворяли, Двора моего не урочили. Ключ, замок, язык. Аминь”* (St 299).

pu do bydła domowego oraz jedna modlitewka dotycząca *ochrony bydła*, St 315). Zamawiane są też *brodawki na wymionach u zwierząt* (St 306 czy też *wrzoły u koni* (St 307). W tym ostatnim przypadku zalecane było najpierw sporządzenie specjalnej maści (z 200 gram tłuszczu baraniego, 100 gram dziegcia brzoźowego, 50 gram siarki sosnowej i 50 gram wosku; mógł pochodzić on ze stopionej świeczki), nałożonej na szmatkę (po roztopieniu, ostudzeniu do ciepłoty ciała), którą owijano rany, a następnie dopiero należało wypowiedzieć odpowiednie *słowa*.

We wspomnianym wyżej źródle występuje jeszcze *zamowa*: *От мoli и насекомых в доме*, która zaleca obchodzenie domu z zapalonym kadzidłem w czasie ubywającego księżyca. Sam tekst jest wezwaniem do zabrania z domu pcheł, żuków, świerszczy, karaluchów, moli i wszelakich dwuskrzydłych stworzeń i kończy się klasycznym *zaaminowaniem*. Kilka *zamów* poświęcono psom: było to leczenie epilepsji, nieustannego skowytu (tu nakazano postępować tak, jak w wypadku dziecka czymś przestraszonego, stałe płaczącego) dreszczy (u psów i kotów) i bezpodstawnego rzucania się psa na ludzi (St 301–302).

W innym ze źródeł (LS 82), specjalna *modlitewka*, zatytułowana *Молитва святому священномученику Власию, епископу Севастийскому*, której wypowiadanie zaleca się 24 lutego (św. Własija, męczennika), 31 sierpnia (św. Flory i Ławrentija) i 31 grudnia (św. Modesta Jerozolimskiego), a dotycząca *lekarowania zwierząt domowych* znajduje się po modlitewce „od febry i gorączki, a przed tekstem od nagłej i niespodziewanej śmierci. W samym tekście nie ma ani razu wspomnienia o zwierzętach, jest to błagalna modlitwa o opiekę nad modlącymi się, wybaczenie im grzechów i zapewnienie życia w spokoju i pokoju duszy. Tekst ten znajduje się w dziale *leczenie słowem*, w znaczeniu *‘modlitwą w sprawie...’*. W części *leczenie chorób i dolegliwości zagovorami*, znajduje się kolejny tekst: *Снятие порчи с животных* (LS 115), który nie wymienia konkretnego zwierzęcia (w *didaskaliach* wspomina się tylko trzykrotne obchodzenie *порченного животного* z miseczką, w której znajduje się solona woda, i kropienie nią zwierzęcia w czasie wypowiadania słów *odmowy*¹³. On również nie zawiera nazwy zwierzęcia, ani bezpośrednio nie odnosi się do niego, mógłby być prawdopodobnie zatem wypowiadany przy jakiegokolwiek *porczy*, *zadanej* nawet człowiekowi.

Tylko jeden tekst w tym dziale wspomnianego źródła dotyczy świń – jest to *zamowa* na to, by *świnia dobrze przybierała na wadze* (St 304).

W dużym zbiorze *Замовы. Уклад., сістэм тэкстаў, уступ. арт. і камент.* Г. Барташэвіч, Мінск 2000¹⁴ (skrót Z), gdzie występuje układ nieco odmienny: *замовы, звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю чалавека; замовы супраць хвароб; замовы, звязаныя з сямейным і грамадскім бытам*, analizowane teksty pojawiają

¹³ *«Режу и солю, и не даю. Не дам портить ни своему, ни чужому, ни глупому. Ни по глупости, ни по жадности, ни из зависти, ни из корысти, ни по злости. Моя нога вперед встанет, рука опрокинет, и порча сгинет»* (LS 115).

¹⁴ Szerzej o tej pracy pisałam w książce *Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny*, wydanej w Gdańsku w roku 2008 oraz w artykułach: *Świat roślinny zapisany we wschodniosłowiańskich zamowach leczniczych*, [w:] *Шлях да ўзаемнасці. Матэрыялы XIV міжнароднай навуковай канферэнцыі*, рэд. С. Мусіенка, І. Крэнь, Гродна 2007, s. 136–149. ГДУ імя Я. Купалы; *Od przestrachu – zamowa*, [w:] *Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa*, red. A. Kątny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 67–84.

się w dwu pierwszych działach. I co ciekawe, jak wskazują same tytuły – mowa jest tu również o polowaniu, rybołówstwie itp., czyli pojawia się inny aspekt obecności samych zwierząt. Idzie tu nie tylko o zapobieżenie chorobom zwierząt hodowlanych lub domowych, ale również o to, by dzikie zwierzęta (też ryby, ptactwo), łatwiej dawało się łapać czy łowić. I nie chodzi tu tylko o połowy na większą skalę niewodem czy innym typem sieci, ale również o *лоўлю рыбы вудочкай* (Z 10)¹⁵.

Podobnie, jak we wszystkich wcześniej omówionych zbiorach *zamów*, w tekście białoruskim największa ich liczba jest poświęcona krowom, rzadziej – tylko koniom¹⁶ (niekiedy te zwierzęta wymieniane są w tym samym tekście obok krowy, świń, owiec, jeśli jest to *zamowa* od złych zwierząt, wilków itp., Z 147), choć pojawiają się tu i owce i świnie (*zamowa* od wściekłej krowy, koni, owiec, świń, psów i kotów; Z 432; inne teksty: Z 290, 291 – od choroby świń). Specyfiką wspomnianego zbioru jest to, że często dopiero w samym tekście pojawia się gatunek zwierzęcia, a sama *zamowa* nosi na przykład tytuł: *Ад хваробы жыўёлы* (Z 192 – krowa); *Худобу заціняюць* (Z 155 – *кароўка чорная*)¹⁷;

¹⁵ Numer podawany w tym wypadku przy skrócie nazwy źródła oznacza liczbę, umieszczoną przy *zamowie* w tekście.

¹⁶ Konie w *zamowach* nie mają imion, a to, że chodzi o konkretne zwierzę jest zaznaczone w tekście poprzez podanie maści i często określenia mój, ten oto: *маіх каней* (Z 156), *сяму каню* (Z 205), *этага каня* (Z 207, 245), *із варанога каня шарсьці* (Z 202), *этага каня варанога* (Z 253), *вараны конік* (Z 267), *конь мой вараной* (Z 289), *варанога каня* (Z 48), *рыжы, гнеды, вараны, мышасты, серы, сівы* (Z 218), *майму божаму конічку сівенькаму* (Z 195), *гнядога каня* (Z 248), *этага каня сівага* (Z 236), *гнедая шарсьціна, мой конь* (Z 223), *гэтыя лошады, рыжыя* (Z 238), *рыжая, булая (рознага колеру)* (Z 240.) Niekiedy występuje tylko określenie *коń* (Z 224, 279, 280), *konik* (Z 225).

¹⁷ W tekstach *zamów* występujących w tym zbiorze bardzo często podkreślana jest informacja zamawiającego, że chodzi o jego bydło (*moja krowa, moja chudoba*, Z 96–101, 109, 111, 113, 162, 164, 184, 251, *мая каровачка*, Z 118; *ta krowa*, Z 97, 174; *мая кароўка*, Z 122; *мая цялхначка (масць)*, Z 121; *етая скаціна і жываціна*, Z 203; *наша скацінка*, Z 128; *мая скацінка*, Z 103, 108; *а етая скаціна*, Z 204; *гэтая скаціна*, Z 263), o konkretną krowę. W tym ostatnim przypadku, co jest ciekawe, wyjątkowo rzadko występuje imię krowy (*Рабка*, Z 273; *Жанка*, Z 277; *мая Мурка*, Z 125–126; lub wezwanie: *назваць карову*, Z 271). O wiele częściej podawany jest kolor jej sierści, umaszczenia, czasem w postaci pustego miejsca i wezwania, by tu wstawić *масць* (Z 148, 158, 198), *масць каровы* (Z 172), a w większości wypadków – już ściśle określony: *бурая скаціна* (Z 160), *белая шарсьціна* (Z 221), *белая шарсціна* (Z 252), *гнедая шарсціна* (Z 254), *красна кароўка* (Z 196), *красна карова*, Z 105; *красная шарсціна* (Z 162, 212), *красная кароўка* (Z 274), *чорная шарсьціна* (Z 149, 164, 166, 168, 239, 283), *карова мая чорная* (Z 106), *кароўка чорная* (Z 155), *чорна карова* (Z 130), *чорная карова* (Z 186), *рыжая скаціна* (Z 276), *рыжая кароўка* (Z 196), *рыжая скацінка* (Z 167, 250), *рыжая шарсціна* (Z 170, 199, 213), *рыжая шарсьціна* (Z 107, 226, 230), *рыжа шэрсть* (Z 247), *раба карова* (Z 235), *раба кароўка* (Z 272), *рабая кароўка* (Z 94, 173, 194), *чырвоная* (Z 257). W badanym zbiorze występują też w *zamowach* ciekawe określenia pstrej, niejednolitej maści krowy: *скатіна двушэрстняя* (Z 129, 244), *карова чорно-рабая* (Z 287), wyjątkowo występują w tekście *zamowy* dwie maści obok siebie: *рыжая, чорная скацінка* (Z 169); *скаціны бурія, рабыя, красныя не мажэць ўзяці* (Z 131). Są i takie teksty, w których wymieniona jest wprawdzie maść krowy, ale można ją zamienić na każdą inną barwę umaszczenia: *кароўка чорненькая ці якая* (Z 188), *раба (чорна і г. д.)* (Z 272), *сваю скацінку, рыжую (або іншая масць) шарсьцінку* (Z 272), *скаціна-жываціна, такую та шарсьціны* (Z 222), *с етай скаціны, жываціны, с такой та шарсьціны* (Z 222). Niekiedy określenie bywa jeszcze bardziej rozbudowane: *мая рыжа, лыса кароўка* (Z 201). Ciekawa jest też pod tym względem *zamowa* 263, która zaczyna się słowami „*Вызаварваю* (tak w zapisie, K.Sz)

Ад ваўкоў (Z 147 – *конь мой*¹⁸, *карова, авечка, свінія*); *Пры выгане скаціны* (Z 129 – *рагавой скат, авца, свінія*).

Podsumowując te krótkie rozważania, należy podkreślić, że szczególnie często i dokładniej (z rozróżnieniem chorób i dolegliwości, a także specyficznych sytuacji, wymagających zamówienia, jak na przykład tęsknota za byłym właścicielem) w *zamowach* (w funkcji podmiotu, tego, o zdrowie którego wypowiedana jest *zamowa*) obecne są zwierzęta domowe: krowa¹⁹ i koń²⁰, oraz w dalszej kolejności owce, świnię i wyjątkowo²¹ inne stworzenia: psy, rzadziej koty. Bogata obecność tekstów związanych z bydłem domowym wpisuje się w tradycję ludową pogranicza wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny *wieźm mlecznych* i zadawania *porczy* na utratę mleka, chudnięcie krowy. Co ciekawe, tylko w wypadku konia i krowy mamy *zamowy* mówiące o ulżeniu w cierpieniach, choć tam są teksty wskazujące również na samego człowieka: jeśli krowa będzie spokojnie stała – szybciej się ją wydoi, jeśli da więcej mleka – w domu będzie więcej jedzenia, jeśli się zacieli i dobrze ocieli, będzie mięso, bądź nowa jałówka. W wypadku tekstów, odnoszących się do świni – jest tylko dbałość o to, by zwierzę dobrze przybierało na wadze, a inne *zamowy* mają je chronić od wilków. Zwierzęta domowe określane są ponadto różnymi określeniami zbiorowymi, jak na przykład *живёла* (Z 207), *живяціна* (Z 203), *худоба* (Z 137), *скаціна*, *рагавой скот* (to ostatnie określenie występuje jednostkowo w Z 129).

Ciekawą sprawą jest podkreślanie w *zamowach*, że chodzi o konkretne zwierzę (tu odpowiednie zaimki określające), konkretnej maści (interesujące leksemy określające umaszczenie zwierząt), wyjątkowo rzadko – o grupę zwierząt (rzadko w domostwie było kilka krów czy koni), natomiast w stosunku do owiec, czy świń występują tylko określenia: *моје, те ото*. Podobnie też, jak w wypadku zamówów, obejmujących ludzi, wymieniane są imiona (czasem właścicielki zwierzęcia, czasem – samego zwierzęcia). W dużym zbiorze zamówów występują wprawdzie tylko dwa imiona krów (pisane są wielką literą: *Рабa, Жaнкa*), myślę jednak, że tak krowy, jak konie nazywano od barwy ich umaszczenia. Za tą tezę przemawia wyjątkowo ciekawy zbiór leksemów określających umaszczenia krów i koni. Być może, iż w *zamowie*

з гэтай скаціны, чорна-рабой (можа быць рыжай, палавой, бурай і інш.)...”, w której pojawia się jako druga, jeszcze inna maść krowy, do tej pory niewymieniana w badanych tekstach.

¹⁸ Podobne postępowanie mamy w przypadku konia, np. w *zamowie* 85, zatytułowanej *Ад уроку каню*, gdzie występuje określenie *памажы і майму божаму конічку сівенькаму* (Z 85), czy innej *zamowy*: *варанога каня шарсьці* (Z 202), *сям конь* (Z 205), *етат конь* (Z 207).

¹⁹ Rosyjskim leksemem *skot*, jak wygląda ze wspomnianych tekstów obejmowane były również konie.

²⁰ Stosunkowo niewielką liczbę tekstów poświęconych koniom niektórzy badacze tłumaczą tym, że były to zwierzęta świadczące o bogactwie właściciela, a zatem stosunkowo rzadko występujące we wsi. Warto jednak zauważyć, że niektóre teksty są na tyle ogólne, że mogą odnosić się do różnych zwierząt, zwłaszcza, że używane tam określenia: *живёла, худоба*, a nawet *скаціна* nie są jednoznaczne. Niektóre *zamowy* z kolei mają być ochroną zwierząt i ludzi przed ukąszeniem żmij, węży, gadów (Z 293–352, 354–358, 360–429) lub wściekłą i wtedy nie są wymieniane konkretne gatunki zwierząt – są to tak zwane *оберери*.

²¹ W zbiorze (Z) prawie w ogóle nie ma innych zwierząt poza krową, koniem, owcą i świnią (jako podmiotem zamawiania), rzadko kotem czy psem (przy zamawianiu wściekliczny; Z 432) i rybą, czy różnym robactwem (jako coś, co, albo powinno dać się złowić, albo, w drugim wypadku – należy się pozbyć).

funkcję imienia własnego pełnią też zaimki określające i dzierżawcze oraz dodawana do nich barwa umaszczenia²².

Jeśli chodzi o same *zamowy*, to ich budowa często różni się od klasycznej – rzadko są to teksty pełne, zwykle pomijany jest początek, a zostaje samo wezwanie i *zaaminowanie*, czasem (rzadko) poprzedzone umocowaniem, zamknięciem. Niekiedy badanym tekstom magicznym towarzyszą dodatkowe zabiegi, jak na przykład obchodzenie zwierzęcia po kilkakroć z pustym wiadrem, czy pokazywanie zwierzęciu desygatów wspominanych w tekście (spodnie męża). W kilku wypadkach pojawiają się zamiast klasycznych tekstów, swoiste *modlitewki*²³ do poszczególnych świętych, wypowiadane w dzień ich święta.

We wszystkich zbadanych *zamowach* (podobnie, jak w tekstach związanych z ludźmi) pojawia się ta sama wiara w moc słowa, tak *zadawanego*, jak i strzegącego, czy umniejszającego cierpienia zwierzęcia. Zabiegom towarzyszą niekiedy dodatkowe czynności lecznicze (jak przykładanie do wrzodów szmatki nasmarowanej specjalnie zrobioną maścią z dziegcia brzoźowego, siarki sosnowej i wosku) lub używanie przedmiotów, traktowanych jako magiczne – na zasadzie leczenia tego samego przez to samo (spodnie męża przy *niedopuszczaniu byka przez krowę*).

Literatura

- Владимирова Н., *107 рецептов и заговоров народной медицины*, Москва 2005.
- Заговоры и обереги в народной лечебной практике*, автор-составитель Н.А. Фомина, Минск 2004.
- Замовы, уклад., сістэм тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г. Барташэвіч*, Мінск 2000.
- Лечение словом. Молитвы и заговоры*, Минск 2004.
- Молитвенный народный лечебник*, Минск 2000.
- Народная медицина. Ритуальна – магичная практыка, укладанне, прадмова і паказальнікі Т. В. Валодзінай*, Мінск 2007.
- Практика лечения заговорами*, Минск 2004.
- Практика лечения молитвами и заговорами*, Минск 2003.
- Степанова Н.И., *800 новых заговоров сибирской целительницы*, Москва 2005.
- Степанова Н.И., *Гадания сибирской целительницы*, Москва 2006.
- Grek-Pabisowa I., Handke K., Ostrówka M., Zielińska A., *Bohatyrowicze sto lat później*, Warszawa 1998.
- Serczyk W.A., *Katarzyna II*, Warszawa 2006.
- Szcześniak K., *Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny*, Gdańsk 2008.

²² Być może tak było tylko w środowisku chłopskim, lub mogło to dotyczyć zwierząt hodowanych w gospodarstwach wiejskich, bo W.A. Serczyk w swojej książce o Katarzynie II wspomina, iż w momencie, gdy nazwała ona swego pieska Iwanem Iwanowiczem, to wszystkie damy tak samo zaczęły nazywać swoje pieski. Zob. W.A. Serczyk, *Katarzyna II*, Warszawa 2006.

²³ Ten termin był powszechnie znany na Nadniemieniu, zob. I. Grek-Pabisowa, K. Handke, M. Ostrówka, A. Zielińska, *Bohatyrowicze sto lat później*, Warszawa 1998.

Szcześniak K., *Świat roślinny zapisany we wschodniosłowiańskich zamowach leczniczych*, [w:] *Шлях да ўзаемнасці. Матэрыялы XIV міжнароднай навуковай канферэнцыі*, рэд. С. Мусіенка, І. Крэнь, ГДУ імя Я. Купалы, Гродна 2007, s. 136–149.

K. Szcześniak, *Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny*, Gdańsk 2008

Животные в избранных белорусских и русских заговорах

Резюме

Статья касается названий домашних животных, находящихся в печатных сборниках белорусских *заговоров*. В нескольких сборниках мы вообще не нашли никакого заговора этого типа, в одной публикации рекомендовалось, чтобы перед *лекарованием* относившимся к людям поупражняться в *заговорах* зверей, а в остальных исследованных нами сборниках мы нашли таких текстов относительно много. В некоторых текстах, связанных с народным *лекарованием* мы нашли собственные имена животных (чаще всего коров), которых лечили устными *заговорами*, но есть и другие тексты, которые учитывали только апеллятив т.е. имя нарицательное таких видов животных как: корова (очень часто), конь (реже), собака, кошка и исключительно – домашняя птица. В некоторых текстах *заговоров* можно встретить существительные собирательные: скот, домашние животные, домашняя птица. Ссылаясь на собранный нами материал, можно сказать, что удивляет преобладающее большинство *заговоров*, в которых (по сравнению с другими животными) доминируют коровы.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Oksana Szewcowa

Nazwy własne w zbiorze opowiadań Elizy Orzeszkowej *Gloria victis*

Życie i twórczość znanej polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej są ściśle związane z ziemią białoruską, z Grodnem i jego okolicami. Tutaj Eliza Orzeszkowa urodziła się, wyrosła i niemal całe życie mieszkała. Nowelistyka pisarki stanowi trwały dorobek w literaturze polskiej. Począwszy od pierwszego utworu, opowiadania *Obrazek z lat głodowych* (1866), po ostatnie dzieło jej życia – zbiór opowiadań zebranych w tomie *Gloria victis* (1910) – Eliza Orzeszkowa chętnie sięgała po krótkie formy narracyjne.

W swoim ostatnim zbiorze opowiadań pisarka zwraca się ku dniom swej młodości. Przeszłość stała się dlań nowym tworzywem literackim, i to przeszłość określona, sięgająca czasów powstania styczniowego, na które przypadła jej młodość. Eliza Orzeszkowa pragnęła przypomnieć ofiarność ludzi, którzy ginęli za ojczyznę, pragnęła oddać im przede wszystkim hołd, złożyć wyrazy uznania i czci. Uważała bowiem, że taki jest pierwszy obowiązek wobec pokolenia powstańców 1863 roku, stąd i tytuł *Chwała zwyciężonym*, który doskonale odpowiada treściom omawianego tu cyklu opowiadań.

Gloria victis to cykl świadomie przez pisarkę rozplanowany. Oprócz jedności tematycznej (motyw walki powstańczej) ogniwem spajającym poszczególne opowiadania są, obok wyraźnie zaznaczonej obecności narratorki, postacie bohaterów: te same osoby występują w kilku utworach: w jednym – jako postacie główne, w innych – drugoplanowe. Tomik tworzą opowiadania: *Oni* (1907), *Oficer* (1907), *Hekuba* (1908), *Bóg wie kto* (1908), *Gloria victis* (1907), *Dziwna historia* (1904).

Onomastyka literacka jest stosunkowo młodą dziedziną badań filologicznych. Badaniem funkcjonowania nazw własnych w utworach literackich językoznawcy zaczęli zajmować się dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. Do dziś w polskiej literaturze przedmiotu opracowano nazewnictwo w utworach A. Mickiewicza (Szewczyk 1993), S. Żeromskiego (Wilkoń 1970), J. Iwaszkiewicza (Kosyl 1992), M. Choromańskiego (Siwiec 1998), S. Lema (Domaciuk 2003), M. Dąbrowskiej (Raszewska-Klimas 2002) i innych twórców literackich. W językoznawstwie białoruskim wyróżniają się z kolei prace dotyczące funkcjonowania nazw własnych w utworach pisarzy białoruskich (m.in. Шып 2002, 2006) i rosyjskich (m.in. Роголев 2003, 2007).

Naszym zamiarem jest przedstawienie nazewnictwa literackiego, a mianowicie antroponimii, funkcjonującej w zbiorze opowiadań Elizy Orzeszkowej *Gloria victis*. Warto tu przypomnieć, że główną funkcją nazw osobowych w dziele literackim, jak i w rzeczywistości, jest funkcja identyfikacyjno-dyferencycyjna. Liczba osób, które wprowadziła Eliza Orzeszkowa na strony swoich opowiadań nie jest wielka. Bohaterowie główni przedstawiani za pomocą imion i nazwisk: *Romuald Traugutt* (Oni, Of, GV), *Władysław Orszak* (Oni, H), *Feliks Jagmin* (Oni), *Gustaw Radowski* (Oni), *Artur Roniecki* (Oni, H), *Henryk Roniecki* (Oni, H), *Marian Tarłowski* (Oni), *Aleksander Awicz* (Of), *Apolinary Karłowicki* (Of), *Klementyna Roniecka* (Oni, H), *Aniela Tarłowska* (Oni), *Marylka Jaroszyńska* (Oni, BWK), pan *Kalikst Radowski* (CV), pani *Karolina Orszak* (H) lub tylko imion z dodatkowym określeniem: pani *Teresa* (H), pan *Ignacy* (H), pan *Gustaw* (H), *Florenty* (Oni). Bohaterowie drugorzędni i postaci epizodyczne prezentowani są za pomocą samego tylko nazwiska: *Czernicka* (Oni), pan *Burakiewicz* (BWK), *Żemirski* (Oni). Taki sposób nominacji jest dowodem realistycznej techniki nazywania postaci.

W analizowanym zbiorze Elizy Orzeszkowej występują imiona i nazwiska autentyczne oznaczające postacie historyczne: *Romuald Traugutt* (jedna z czołowych postaci, bohater historyczny, postać autentyczna), podobnie, jak: *Feliks Jagmin*, *Gustaw Radowski*, *Władysław Orszak*. Takie antroponimy pełnią w tekście literackim nie tylko funkcję identyfikacyjną, lecz również funkcję lokalizacji w czasie i funkcję informacyjną. Znaną metodą względnej chronologizacji zdarzeń literackich jest wymienienie w tekście utworu nazwisk osób autentycznych, znanych w danym okresie. Najbogatszy materiał faktograficzny zawierają w tym wypadku opowiadania *Oni*, *Oficer*, *Gloria victis*. Na kartach analizowanego tu zbioru opowiadań przewijają się nazwiska znanych dowódców wojskowych i uczestników powstania styczniowego, które sygnalizują wydarzenia historyczne. Potwierdza to również list Elizy Orzeszkowej do Mariana Dubieckiego (6.11.1907), w którym pisarka informuje, że: „partia kobryńska składała się z 400–500 ludzi... Dowódcą tej jazdy był młody Feliks Jagmin (zmarły potem na tyfus w Tiemeniu), adiutantem Naczelnika (Traugutta) Gustaw Radowski, obaj bliscy sąsiedzi i znajomi nasi; służyli też w partii dwaj młodzi Orzeszkowie i inni liczni krewni oraz przyjaciele nasi” (Orzeszkowa 1958: 243).

W badanym tekście opowiadań występują również nazwy autentyczne, ale oznaczające postacie fikcyjne. Zgodnie z teoretycznymi założeniami twórczości realistycznej Eliza Orzeszkowa wprowadziła do swego tekstu imiona naśladujące ówczesne (rzeczywiste) modele i obyczaje nazewnicze. Niektóre imiona opatrzone zostały w tekście opowiadań komentarzem na temat motywów ich nadania. W opowiadaniu *Oficer* dwaj bohaterowie, będący, jak to wynika z tekstu, stryjeczniymi braćmi, mają jednakowe imię i nazwisko: *Apolinary Karłowicki*. Eliza Orzeszkowa w taki sposób komentuje jednakowość imion: „Diedusзка nasz miał imię Apolinary i nas obydwoh tak nazwali” (Orzeszkowa 1986: 72).

W opowiadaniu *Hekuba* zwraca fragment, ważny dla tematu badań: „Właściwie dziewczynie tej, za którą gdy tylko się gdziekolwiek ukazała, panowie jak słończyniki za słońcem się obracali, na imię było *Michalina*, ale ona imię zbyt łada jakim

znajdując, gdy tylko dorosła, zaczęła wszędzie, gdzie tylko mogła, nazywać się i podpisywać się: *Ina*¹ (Orzeszkowa 1986: 104).

Wybór przez pisarkę określonego wariantu imienia był czasem uwarunkowany wiekiem bohatera: dzieci w opowiadaniach nazywane zostały przeważnie imionami spieszczonymi i zdrobniałymi, dorośli – częściej noszą imiona oficjalne. Czasem wybór przez pisarkę określonej formy nazewnictwa zdaje się ujawniać stosunek narratora do bohatera.

W badanych tekstach pojawiają się (oprócz form oficjalnych) formy hipokorystyczne utworzone przez różne formanty, tak od pełnego imienia, jak i od tematu skróconego. I tak w imionach żeńskich są to formanty: **-ka** *Anielka* (Oni, GV) < *Aniela*, *Ludwinka* (H) < *Ludwinka*, *Michalinka* (H) < *Michalina*, *Inka* (H, BWK) < *Ina* (*Michalina*), *Nastka* (H) < *Anastazja*; **-unia** *Stefunia* (Oni, BWK) < *Stefania*, *Klemunia* (H, BWK) < *Klementyna*, *Oktunia* (BWK) < *Oktawia*; **-sia** *Tosia* (Of, BWK) < *Antonina*, *Cesia* (DH) < *Cecylia*; **-usia** *Wincusia* (BWK) < *Wincenta*; **-cia** *Brońcia* (H) < *Bronisława*; **-eczka** *Ineczka* (H) < *Ina* (*Michalina*); **-ynia** *Marynia* (BWK) < *Maria*; **-ylka** *Marylka* (Oni, BWK) < *Maria*.

W imionach męskich są to formanty: **-ek** *Stasiek* (Oni) < *Stanisław*, *Apolek* (Of) < *Apolinary*, *Julek* (H) < *Julian*, *Janek* (H) < *Jan*, *Olek* (H) < *Aleksander*, *Wasylek* (H) < *Wasyli*; **-ś** *Oleś* (Of) < *Aleksander*, *Kaliś* (GV) < *Kalikst*; **-yś** *Maryś* (CV) < *Marian*.

Hipokorystyka tworzy pisarka również od nazwiska kobiety, czego przykładem może być forma utworzona od nazwiska Czernicka za pomocą formantu **-usia**: *Czernusia* (Oni, BWK).

Hipokorystyczne formacje uwydatniają bliskie uczuciowe relacje między postaciami opowiadań, mogą również charakteryzować sposób zachowania się, charakter bohatera. I tak na przykład głównego bohatera opowiadania *Oficer* w rodzinie i szerokiej okolicy nazywano *wesołym Olesiem*. „Słusznie go tak nazywano; bo i teraz nawet, gdy obóz powstańców opuścił... na twarzy jego... malowało się gorące, wembrane mową obfitą i uśmiechem wesołym wybuchnąć gotowe życie” (Orzeszkowa 1986: 56).

Zdrobnień i spieszczeń niemal nie można znaleźć w narracji, występują one bowiem prawie wyłącznie w wypowiedziach bohaterów. Zawsze w postaci pieszczotliwej pojawiają się w badanych opowiadaniach imiona dzieci, gdzie nie tylko wskazują one na wiek tych bohaterów, ale i dobrze pokazują w tekście opowiadań stosunek do nich ludzi dorosłych, odzwierciedlając zapewne również uczucia samej pisarki, która z sympatią opowiada o tych małych bohaterach. Warto tu podkreślić, że Eliza Orzeszkowa zawsze w swoich utworach stosowała imiona dzieci w postaci hipokorystycznej.

Pisarz, na co niejednokrotnie zwracali uwagę teoretycy literatury, chcąc zrealizować poprawnie swój zamysł, powinien dobrze dobierać w tekstach nie tylko imiona, ale i nazwiska bohaterów. W porównaniu z imionami występują one w analizowanych opowiadaniach niezbyt często, określając zwykle liczne szlacheckie rodziny zamieszkałe na Polesiu. Niemal wszystkie nazwiska mają jednakową budowę

¹ *Ina* to skrócona forma imion zakończonych na *-ina* typu *Michalina*, *Halina*, *Regina*, tworzona za pomocą derywacji redukcyjnej, odrzucenia początkowej części imienia. Dzisiaj na Białorusi imię *Ina* (ros. *Инна*, biał. *Iha*) jest samodzielnym oficjalnym imieniem (występuje ono i w spisie imion prawosławnych).

słowotwórczą, zawierają przyrostki **-ski**, **-cki** (uznawane tradycyjnie za nazwiska wskazujące na przynależność noszącej je osoby do stanu szlacheckiego, co wyrażnie świadczy o dążeniu pisarki do realizmu i w tym wypadku): *Radowicki* (Oni), *Roniecki* (Oni, H), *Tarłowski* (Oni), *Karłowicki* (Of), *Roniecka* (Oni, H), *Tarłowska* (Oni), *Jaroszyńska* (Oni, BWK), pan *Radowicki* (CV), pani *Czernicka* (Oni), *Żemirski* (Oni) lub **-icz** (zazwyczaj wyróżniające mieszczan): *Awicz* (Of), pan *Burakiewicz* (BWK).

Od nazwisk oraz imion męskich Eliza Orzeszkowa tworzy formy pochodne, matronimiczne i patronimiczne. Na skutek takiego zabiegu w badanych tekstach opowiadań występują formacje określające żony od nazwisk męskich, tworzone za pomocą przyrostka **-owa**: *Teleżukowa* (H), *Awiczowa* (H). Formacje patronimiczne tworzy Eliza Orzeszkowa w opowiadaniach za pomocą przyrostka **-ówna**: *Tosia Awiczówna* (H).

Autorka posłużyła się (w badanych tu utworach) formami matronimicznymi i patronimicznymi, żeby wskazać na relacje między osobami, na zależności rodzinne, a także po to, aby zasygnalizować stan cywilny bohaterki, podkreślić również przez formę antroponimu to, czy jest ona osobą zamężną czy niezamężną.

Funkcja socjologiczna nazw osobowych polega na wskazywaniu przez nie przynależności społecznej, środowiskowej, narodowej postaci. Wszystkie wyżej przytoczone antroponimy określają szlachtę polską, co wyraźnie widać również w doborze nazw własnych. Natomiast takie imiona jak *Nastka* (H), *Panas* (H), *Wasylek* (H) w białoruskiej wersji fonetycznej wyraźnie wskazują na pochodzenie chłopskie bohaterów. *Nastka* (H) – imię pochodzi od greckiego Anastazja; częściej występowało ono na wschodzie Słowiańszczyzny – nagłosowa nieakcentowana samogłoska *a*- zanika, w ramach tworzenia deminitivum, zaś w wygłosie pojawia się zamiast pierwotnego – formant *-ka*. W opowiadaniu występuje też wariant *Panas* (H), będący gwarową odmianą fonetyczną imienia Afanasij (wariant ze spółgłoską *p* Apanas występował na terenie Białorusi częściej niż z *f*). We wschodniosłowiańskiej wersji fonetycznej wykorzystuje pisarka imię *Wasyl* (H) (w rzymskokatolickim systemie antroponimicznym imię to występuje w postaci Bazyli) z polskim formantem deminutywnym *-ek*. Wszystkie te warianty wschodnie wykorzystwała Eliza Orzeszkowa w zbiorze opowiadań przy wprowadzeniu do nich bohaterów chłopskich, żeby wskazać na ich pochodzenie.

Natomiast, inna postać literacka: „*syn Kaukazu czerkieski kniaź*” jest określona w tekście opowiadania za pomocą imienia w połączeniu z *otczestwem* (imieniem odojcowskim *Borys Elpidorowicz* (H)). Taki sposób nominacji charakterystyczny jest dla wschodniosłowiańskiego systemu antroponimicznego. Jednak tutaj jakość owego *otczestwa* wskazuje dodatkowo na niesłowiańskie pochodzenie bohatera, a pisarka, dbając o urealnienie owej postaci, dodaje: „Przecież ojciec jego Czerkiesem był i za młodu nawet do zbuntowanych należał, razem z Szamilem przeciwko Rosji wojował, ale potem do rozumu przyszedł, wiarę ruską przyjął, na ruskiej ożenił się, wielkim generałem został i ot, syn jego o czerkiestwie swoim już i zapomniał!” (Orzeszkowa 1986: 175). O pochodzeniu bohatera w tekście utworu przypomina wyłącznie imię odojcowskie, pochodzące od antroponimu Elpidor, obcego dla wschodniosłowiańskiego systemu antroponimicznego.

Bohaterka opowiadania *Hekuba* – *Helena Iwanówna* (H) tak mówi o sobie: „Ja troszkę Polka. U mnie ojciec ruski był, a matka Polka, tak mnie troszkę czasem i ciągnie do Polaków” (Orzeszkowa 1986: 172). Pod wpływem tej kobiety wyrzeka się swojej rodziny młoda dziewczyna *Michalina* (H), która w trudnym dla rodziny momencie (kiedy ginie starszy brat, a młodszy trafiają do więzienia) ucieka z księciem Borysem. Zdrada w tekście została przez pisarkę dodatkowo podkreślona poprzez odpowiedni dobór formy antroponimu: *Ina Julianówna*. Dziewczyna ta, mając od urodzenia imię Michalina w końcu opowiadania została określona tylko jako *Ina Julianówna*. A zatem, co warto tu podkreślić, Eliza Orzeszkowa wykorzystywała imiona odojcowskie nie tylko po to, żeby wskazać na pochodzenie bohaterów, lecz poprzez taki, świadomy autorsko, sposób nominacji pokazuje, jak człowiek wyrzeka swoich korzeni, swojej narodowości. I w opowiadaniu *Hekuba*, i w opowiadaniu *Oficer* pisarka przestrzegała tych, którzy emigrowali z kraju przed dylematami, jakimi mogą być udziałem ich dzieci, uświadamiała też, jakie konsekwencje niesie decyzja zrywania więzi z krajem.

Imiona i nazwiska w analizowanych tu opowiadaniach Elizy Orzeszkowej służą zatem identyfikacji postaci, wskazują na stosunki między nimi oraz charakteryzują ich pochodzenie społeczne i narodowe; pokazują również, w jaki sposób razem z postacią zmieniały się formy antroponimiczne ją określające. Eliza Orzeszkowa w zbiorze *Gloria victis* wykorzystała ponadto, w celu urealnienia opisywanych faktów i zdarzeń, autentyczne antroponimy, oznaczające tu zarówno autentyczne, jak i fikcyjne postacie, niekiedy wprowadzając również nazwy obce, które pojawiają się w formie przywołań, aluzji mitologicznych, historycznych czy biblijnych.

Te przywołania pojawiają się na przykład w momencie, gdy pisarka składa hołd wielkiemu wodzowi Romualdowi Trauguttowi, pisząc: „Ten, kto zadania tego miał się podjąć, musiał posiadać bary *Atlasy*² i serce gardzące mieczami *Damoklesowymi*³ (Oni) (Orzeszkowa 1986: 6). Porównuje ona również tego dowódcę ze znanym królem Leonidasem⁴: „Tak grzmieć musiał w wąwozie termopilejskim głos *Leonidasa*” (Orzeszkowa 1986: 218). Porównanie do *Leonidasa* podkreśla heroiczność i tragizm działań Traugutta.

Jednego z powstańców – Feliksa Jagmina – Eliza Orzeszkowa opisuje w sposób następujący: „wysoki brunet, którego dla rysów rzymskich i cery południowej *Scypionem*⁵ czasem nazywano” (Orzeszkowa 1986: 8), „Młody *Herkules*⁶ z kształtów, *Scypio* rzymski z rysów” (Orzeszkowa 1986: 219).

² Atlas w mitologii greckiej syn jednego z tytanów, brał udział w walce tytanów przeciw Zeusowi i za karę skazano go na wieczne podtrzymywanie sklepienia niebieskiego (Winniczuk 1991: 68).

³ Miecz Damoklesa symbolizuje złudne szczęście, stale zagrożone niebezpieczeństwami (Winniczuk 1991: 104).

⁴ Król spartański, kiedy w 480 p.n.e. Kserkses na czele armii perskiej zbliżał się do Grecji, Leonidas na czele 300 Spartan miał za zadanie powstrzymać Persów w Wąwozie Termopilejskim, wszyscy Spartanie zginęli (Winniczuk 1991: 261).

⁵ Scypion – to przydomek jednej z gałęzi rodu Korneliuszów, Publius Cornelius Scipio, sławny wódz rzymski z okresu II wojny punickiej (Winniczuk 1991: 385).

⁶ W mitologii greckiej syn Zeusa, odznaczał się nadzwyczajną siłą, przedstawiano go jako silnego, dojrzałego mężczyznę (Winniczuk 1991: 184).

Ukazanie wielkiej tragedii matki, pani Teresy, która w czasie wydarzeń powstania styczniowego traci swe dorosłe dzieci (ginie najstarszy syn Julek, do więzienia dostają się młodsi – Janek i Olek, piękna córka Inka ucieka z rosyjskim oficerem) zaznacza Eliza Orzeszkowa już w tytule noweli *Hekuba*. „Życie obdarzyło ją nazwą *Hekuba*, Priama, trojańskiego króla żona, która u zwalisk Troi z żalu po synach pobitych i córkach porwanych wyła” (Orzeszkowa 1986: 181).

Wspomniane wyżej aluzje pomagają stworzyć w analizowanym tekście atmosferę wzniosłości, patosu, dodatkowo charakteryzując postacie i ich czyny.

Wszystkie opowiadania w zbiorze Elizy Orzeszkowej *Gloria victis* mają realną podstawę – dominuje w nich, jak już kilkakrotnie tu podkreślano, nazewnictwo realistyczne. W utworach tej pisarki najliczniejszą grupę stanowią antroponimy, przeważają wśród nich imiona, ale nie jest ich zbyt wiele. Eliza Orzeszkowa wykorzystała w swoich opowiadaniach realistyczną antroponimię, nadając swoim bohaterom imiona zarówno w pełnej, oficjalnej formie, jak i w postaci hipokorystyków, tworzonych za pomocą różnych formantów. Imiona dzieci występują tylko w formie pieszczotliwej. Nazwiska stanowią mniejszą grupę w porównaniu z imionami, większość z nich to nazwiska szlacheckie.

Wszystkie przeanalizowane antroponimy wskazują nie tylko na obszerną wiedzę pisarki, lecz i na szanowanie przez nią tradycji nazewniczych. Pisarka wykorzystuje głównie autentyczne nazwy. Zasadą autorki jest ich umiejętne wkomponowanie w całość artystyczną utworu. Nie różnią się one od tła, opisywanych realiów, nastroju, a przede wszystkim opisywanych postaci, ich pochodzenia społecznego i narodowego. Nazwy własne w badanych tu utworach pełnią zatem funkcje: lokalizacyjną, socjologiczną, identyfikacyjną, ekspresywną i symboliczną.

Literatura

- Domaciuk I., 2003, *Nazwy własne w prozie Stanisława Lema*, Lublin.
- Kosyl Cz., 1992, *Nazwy własne w prozie Jarosława Iwaszkiewicza*, Lublin.
- Orzeszkowa E., 1958, *Listy zebrane*, t. IV, Wrocław.
- Orzeszkowa E., 1986, *Gloria victis*, Warszawa.
- Raszewska-Klimas A., 2002, *Funkcja nazw własnych w twórczości Marii Dąbrowskiej*, Piotrków Trybunalski.
- Siwiec A., 1998, *Nazwy własne w prozie M. Choromańskiego*, Lublin.
- Szewczyk Ł.M., 1993, *Nazewnictwo literackie w twórczości Adama Mickiewicza*, Bydgoszcz.
- Wilkoń A., 1970, *Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego*, Wrocław.
- Winniczuk L. (red.), 1991, *Słownik kultury antycznej. Grecja. Rzym*, Warszawa.
- Рогалёв А.Ф., 2003, *Ономастика художественных произведений*, Гомель.
- Рогалёв А.Ф., 2007, *Имя и образ: художественная функция имён собственных в литературных произведениях и сказках*, Гомель.
- Шур В.В., 2002, *Анамастычная лексіка ў беларускай мастацкай літаратуры*, Мінск.
- Шур В.В., 2006, *Онім у мастацкім тэксце*, Мінск.

Skrótów tytułów nowel

BWK – *Bóg wie kto*

DH – *Dziwna historia*

GV – *Gloria victis*

H – *Hekuba*

Of – *Oficer*

Имена собственные в сборнике рассказов Элизы Ожешко *Gloria victis* (Слава побеждённым)

Резюме

В статье анализируются имена собственные, а именно антропони́мы, которые использовала известная польская писательница Элиза Ожешко в сборнике рассказов *Gloria victis* (Слава побеждённым). Обращается внимание на функции имён собственных в тексте рассказов.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

С.М. Толстая

Сакральное и магическое в славянском народном календаре

Славянский народный календарь – область традиционной духовной культуры, в наибольшей степени демонстрирующая синкретизм христианского и языческого, сакрального и магического начала. Это относится как к языковой стороне народного календаря (к системе хрононимов и календарному дискурсу в целом), так и к обрядовому содержанию праздников и всей системы представлений о годовом времени. Хотя мотивы, разрабатываемые народным календарем, в большинстве случаев заимствуются из христианского культа и предания, способ их восприятия и символической разработки, как правило, базируется на примитивной магии и мифологических представлениях.

Если говорить о **календарной терминологии**, то можно выделить несколько моделей, по которым образуются народные названия праздников (хрононимы). Чаще всего они представляют собой результат «конденсации» канонических названий, которые обычно имеют форму развернутых обозначений евангельского события, которому посвящен тот или иной день. Например, в православном церковном календаре день 6/19 сентября носит название «Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах)», а в народном календаре это название сокращается до одного ключевого слова *Чудо* или словосочетания *Михайлово чудо*. Очень часто праздник называется просто по имени святого, память которого отмечается в этот день в церковном календаре, например, день «Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца» получает лаконичное название *Никола* (или *Микола*), часто с добавлением «сезонного» эпитета – *Никола зимний* (в отличие от дня св. Николая в мае); день, называемый в церковном календаре «Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна» (24 июня / 7 июля), называется у восточных славян просто *Иван* или *Иван Купало*, *Иван летний*, *Иван Петровский*, *Иван ведьмин* и т.п. Во многих случаях народные названия полностью заменяют канонические. Так, день 6/19 января в православном календаре называется «Святое Богоявление», а в народной хрононимии он получает название у восточных славян *Крещение*, *Водохрище*, *Иордань*, у сербов – *Водице* и т.п.; канун этого дня «Навечерие Богоявления» называется *Сочельник*, *Голодная кутья*, *Голодная коляда* и т.п.; праздник «Вход Господень в Иерусалим» (воскресенье перед

Пасхой) называется в народной традиции православных славян *Вербное воскресенье*, *Вербница*, у сербов *Цвети*, у поляков *Kwietna* (*Kwietnia*) *niedziela*, *Niedziela palmowa*, *Niedziela Wierzbowa* и т.п.

Мы видим, что в основу народного хрононима кладется главное обрядовое действие праздника или главный объект этого действия (освящение воды на Крещение → в.-слав. *Водохрище*, серб. *Водице*; гадания девушек в крещенский вечер → полес. *Кутья-ворожка* – от *ворожить* ‘гадать’), или же предписания, действующие в этот день (требование строгого поста → в.-слав. *Голодная кутья*). Мотивационным признаком названия могут служить также верования, связанные с этим днем: поверье о том, что в ночь накануне Ивана Купалы активизируют свою опасную деятельность ведьмы, порождает названия типа полес. *Иван Ведьмин*, *Иван Ведьмарский* и т.п.

Если же обратиться к **обрядовому содержанию** праздников в народном календаре и **верованиям**, относящимся к ним, то можно убедиться, что они определяются интерпретацией тех евангельских событий, лиц, ситуаций, которые стали объектом календарного почитания, но, кроме того, мифологическими представлениями, относящимися к конкретному сезонному времени и не связанными непосредственно с канонической семантикой праздника. Еще одним источником (мотивом) ритуалов и верований может служить сама языковая форма календаря, т.е. названия праздников, осмысляемые на основе вербальной магии и порождающие ритуальные действия, запреты и верования. Рассмотрим несколько примеров.

Начнем с праздника **Сретения**, 2/15 февраля. В православном церковном календаре он называется *Сретение Господне* и посвящается памяти о том, как Богородица на 40-й день после рождения Христа принесла его в храм, где произошла встреча новорожденного мессии со старцем Симеоном Богоприимцем, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит «Спасителя, рожденного от Чистой и Пренепорочной Девы». В данном случае семантической основой и ключевым словом толкования евангельского события становится **встреча**, и мотив встречи кладется в основу его древнейшего названия. Хотя «субъектами» встречи в евангельском тексте являются конкретные лица – младенец Христос и старец Симеон, в народном календаре встреча мыслится абстрагированно от персонажей, и праздник называется у восточных славян просто *Сретение*, *Стриченне* и т.п.; у сербов аналогично *Сретење*. Это название и сам праздник ассоциируются, таким образом, с любой ситуацией встречи. Это уже не встреча святого младенца и старца, а встреча двух календарных сезонов – зимы и лета (ср. вост.-слав. «На Сретение зима с летом встречается»), откуда представление об этом дне как о календарной границе, как о конце одного периода и начале другого (ср. пол. помор. «Gromnica – zimy połowica»; «W okresie tym kończy się przedzenie wełny i lnu – czyli zimowe zajęcie» – Stelmachowska 1933: 88). Такая интерпретация праздника актуализирует поверия о счастливой и несчастливой встрече и порождает предостережения, запреты и приметы относительно встречи: считали, что от того, кого ты встретишь в этот день, зависит, будешь ты здоров весь год или болен, счастлив или несчастен, удачлив или нет.

В других традициях (прежде всего католических) евангельское событие, памяти о котором посвящен праздник, воспринимается по-другому: его семантической доминантой становится не ситуация встречи божественного младенца и старца, а событие, главным лицом которого является Богородица, приходящая в храм на 40-й день после родов для обряда очищения и жертвоприношения. Соответственно этому акценту названием праздника становится имя Богородицы как его главного персонажа с различными «эпитетами». Так, в польском народном календаре этот день называется *Matka Boska Gromniczna* или просто *Gromnica*; этот же хрононим распространен в Белоруссии и на Украине (скорее всего под польским влиянием); он восходит к названию свечи (*gromnica* от *grom*), которую зажигают для защиты от грома. Мотив свечи лежит также в основе словенского названия праздника *Svečnica*. Восприятие Сретения как праздника свечей и света (в символическом значении света христианской веры, разгоняющей мрак язычества) находит отражение в ритуале церковного освящения свечей в этот день и определяет многие западноевропейские хрононимы, ср. англ. *Candlemas*, нем. *Maria Lichtmess*, франц. *Jour de la Chandeleur*, итал. *Candelora* и т.п., оно находит также отражение в народных легендах, которые связывают свечу и Богородицу единым сюжетом (примеры см. ниже).

Многие «эпитеты» Богородицы в названии этого праздника никак не связаны ни с евангельским событием, ни с ритуальным содержанием праздника. Так, в болгарском календаре этот день может называться *Зимна Богородица* или *Вълча Богородица*, *Трифенова Богородица* (по следующему дню св. Трифона). Болгарское название *Вълча Богородица* связано с почитанием особых «волчьих дней» в календаре, посвященных защите от волков. В польском календаре мотив волков, хотя и не отражен в хрононимах, присутствует в легендах, относящихся к этому дню. Божена Стельмаховска приводит такие рассказы: «W Zblewie utrzymuje się legenda, że Matka Boska schodzi z gromnicą na ziemię, błogosławi biednym i odstrasza wilki»; «jest też podanie... o człowieku, który w święto Matki Boskiej Gromnicznej corocznie do odległego kościoła świecę zanoślił celem święcenia. Nie zaniedbywał tej pobożnej czynności nawet w podeszłym wieku. Będąc już starcem, szedł raz w święto Matki Boskiej Gromnicznej ze świecą do domu. Naraz z przydrożnego lasu wypadło stado wilków, które rozszarpały go na miejscu. W ostatnim momencie życia ujrzał Matkę Boską, jak pochylała się nad nim, wkładając mu do rąk gromnicę. Następnego dnia znaleziono ciało poszarpane, lecz ręka z gromnicą pozostała nietknięta. O cudownej mocy gromnicy mówi inne podanie z okolic Kościerzyny. Wilki napadły gospodarza w dzień święta Matki Boskiej Gromnicznej. Matka Boska rzuciła między wilki gromnicę i od tego czasu, tj. od 2. lutego wilki chodzą pojedynczo» (Stelmachowska 1933: 92). Любопытной параллелью к болгарскому «звериному» хронониму *Вълча Богородица* является польское народное название этого дня *Matka Boska Niedźwiedzia*, засвидетельствованное в Подгале (Lud 30 1/4: 192–193; цитирую по: Ракитянская 1989: 142), где оно объясняется тем, что «в это время медведи просыпаются от зимней спячки». Медвежий мотивы Сретенья известны также сербам: по поверью, в этот день на восходе солнца медведь выходит из берлоги и смотрит на солнце: от того, увидит ли он в этот день свою тень, зависит, возвратится

ли он назад в берлогу или отправится в лес добывать себе пищу (Неделькович 1991: 232).

Таким образом, хотя праздник, отмечаемый 2-го февраля, во всех этнических и локальных традициях посвящен памяти об одном и том же евангельском событии, разные традиции делают разные смысловые акценты и выделяют в нем разные семантические доминанты и мотивы, рассматривая это событие в одном случае как знаковую встречу святого Младенца и старца, в другом – сточки зрения Богородицы, как акт послеродового очищения в храме и жертвоприношения; в третьем – вообще отрываясь от сюжета и связывая праздник с мотивом свечи, т.е. предлагая его символическую трактовку.

Возьмем еще один праздник – **Благовещение** (25 марта / 7 апреля), который в православном календаре занимает очень высокую позицию, приближаясь по своему значению к Пасхе (меньшее значение придается ему в католическом календаре). В большинстве славянских традиций название праздника сохраняет связь с каноническим, церковным названием и с главным мотивом евангельского события, которому посвящен праздник: в.-слав. *Благовещение*, серб. *Благовесту*, хорв. *Blagovijest*, пол. *Zwiastowanie*, *Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny* и даже *Zwiastowanie Pańskie* и др. Но есть, как и в случае с праздником Сретения, хрононимы, совпадающие с именем главного персонажа этого события: у словаков, наряду с *Zvestovanie Panny Márie*, встречаются свернутые варианты: *Panna Mária*, *Matka*, *Mala Mara*, то же в польском календаре, но там представлена еще одна мотивационная модель (возможно, книжного происхождения) – *Słowo Wcielone* или *Wcielenie Słowa* (Ракитянская 1989: 161), которая актуализирует еще один компонент (объект) прототипической ситуации, а именно – саму весть.

Если же мы обратимся к обрядам и верованиям этого дня, то обнаружим, что мотив «(благой) вести» трактуется в них не как весть о будущем рождении Христа, а как известие о конце зимы и наступлении весны, а эпитет *благой* не обязательно имеет тот сакральный смысл, который заключен в каноническом названии праздника (весть о чудесном рождении Спасителя): у южных славян слово *благой* имеет значение ‘сладкий, мягкий добрый’, а *благо* означает ‘домашний скот’ или ‘имущество, богатство, деньги’; именно эти значения приносятся в семантику праздника и определяют многие магические действия этого дня. В зависимости от толкования ключевых слов хрононима (*благая весть*) обычаи и верования, относящиеся к празднику, насыщаются либо мотивами начала весны, хозяйственного года, пробуждения земли после зимнего сна, прилета птиц и т.п. (это главное содержание обрядности Благовещения), либо рекомендациями сажать огурцы и перец, чтобы они были «благими», т.е. сладкими (вост. Сербия), либо предписаниями отправляться искать «благо», т.е. клады (Славония). См. подробнее: (Толстые 1995).

В христианском (как церковном, так и народном) календаре представлены праздники двух основных типов: 1) «событийные», т.е. посвященные определенным евангельским событиям (Рождество, Сретение, Благовещение, Вознесение, Преображение, Успение, Введение Богородицы во храм, Воздвижение и т.п.), и 2) «персонажные», т.е. посвященные памяти сакральных лиц – пророков, святых, мучеников и т.д. Для народного календаря характерно

преимущественно персонажное восприятие праздников, своего рода «персоцентричность»: во многих случаях, даже когда церковный календарь посвящает тот или иной день памяти о событии, народный календарь склонен делать акцент не на самом событии, а на соответствующем сакральном лице – участнике (субъекте) события. Эта особенность народного календаря отражается в способах номинации праздников, т.е. в системе хрононимов. В разных этнических и локальных традициях соотношение «событийных» и «персонажных» хрононимов оказывается различным. Например, 15/28 августа называется у русских «событийно» (*Успение*; в церковном календаре «Успение Пресвятой Богородицы»), у сербов «персонажно» (*Велика Госпојина*), у поляков двояко (*Wniebowzięcie, Marii Wniebowzięcie, Matka Boska Zielna, Matka Boska Żniwna* и др.).

Характерной чертой польской народной хрононимии можно считать преобладание в ней «персонажных» хрононимов, в особенности это касается названий богородичных праздников. Мы уже видели это на примере праздника 2 февраля (Сретения). Еще ярче это проявляется в хрононимах Благовещения: в этом случае «событийные» номинации (*Zwiastowanie*) занимают периферийное положение, тогда как «персонажный» тип номинаций представлен очень широко и разнообразно. День 25 марта называется в разных районах Польши: *Matka Boska Strumna, Srumienna, Roztworna, Wiosenna, Wygnana, Żabiczna* или *Dzień Matki Boski Kwietnej, Ożywiającej, Zagrzewnej*. Имя сакрального персонажа сочетается здесь с эпитетами совершенно иного характера, не имеющего отношения к сакральному началу: кашубские эпитеты *Strumna, Srumienna* мотивированы тем, что «подо льдом начинает биться первый ручей», эпитет *Roztworna* – тем, что «земля растворяет свои недра, и наружу выходят земноводные, пресмыкающиеся, насекомые; у жаб и змей открываются рты, «заросшие» зимой» (Sychta 1969: 58, 59); на Мазурах название *Matka Boska Wygnana* объясняли тем, что в этот день совершается первый выгон скота на пастбище (Stelmachowska 1933: 119); подгальский хрононим *Matka Boska Żabiczna* – тем, что в это время начинают квакать лягушки (Lud 30 1/4: 193, цитирую по Ракитянская 1989: 144); хрононимы *Dzień Matki Boski Ożywiającej* и *Matki Boski Zagrzewnej* – тем, что «в этот день оживает природа» и что «согревается земля» (Ракитянская 1989: 144). Нужно отметить, что все эти мотивы присутствуют не только в календарной номинации, но и широко представлены в обычаях и верованиях, относящихся к Благовещению (см. Толстые 1995).

Если собрать все многочисленные польские календарные «эпитеты» Богородицы, то среди них можно выделить несколько типов в зависимости от мотивации. Лишь очень немногие относятся к самому библейскому персонажу Богородице – *Najświętsza, Niepokalanie Poczęta, Bolesna*. Все остальные эпитеты (среди них больше всего кашубских) относятся не к Богородице, а к персонифицированному календарному дню, связанному с ее именем. Это могут быть «календарные» эпитеты, определяющие место богородичного дня в годовом цикле (*Matka Boska Adwentowa, Przedgodna, Majowa*); это могут быть «сезонные» эпитеты, определяющие день по приметам погоды и состоянию природы (*Strumienna, Roztworna, Ożywiająca, Zagrzewna, Kwietna, Żabiczna*), по хозяйственным занятиям (*Wygnana, Rybacka, Jagodna, Siewna*,

Żniwna, Żytosiewna); наконец, эти эпитеты могут отражать ритуальные практики или приемы, относящиеся к данному богородичному дню. Так, эпитет *Zielna* мотивирован практикой освящения трав в этот день, *Gromniczna* – обычаем освящения свечей 2 февраля; эпитеты *Szkaplerzna* и *Różańcowa* даны по предметам культа (ладанке и четкам).

Еще один пример соотношения канонического христианского содержания праздника и его народной интерпретации дает день **Сорока мучеников** (9 марта), посвященный памяти сорока севастиийских воинов, принявших мученическую смерть от рук язычников. В народном календаре это событие порождает двоякую символическую трактовку. Одним импульсом для нее становится число 40 (по поверьям, прилетает сорок птиц из вырея; пекут сорок хлебцев и т.п.) и этим же числом мотивируется название праздника: в.-слав. *Сорок мучеников*, *Сороки*, болг. *Свети четирисе*, пол. *Czterdziestu męczenników* и т.д. Другим импульсом служит мотив самих мучеников-воинов, соответственно праздник у южных славян часто называется *Младенци* (серб., болг.), и так же (*младенци* или *младенчићи*) называются выпекаемые к этому празднику пресные хлебцы, которые в этот день было принято раздавать соседям и пастухам. Этот пример интересен еще и тем, что в некоторых сербских областях (например, в Хомолье) этот день по аналогии праздниками, называемыми именами святых, считается днем памяти несуществующего святого *св. Младена*, называемого также *Змеиным днем*; к нему приурочены магические обряды защиты от змей, а также превентивные ритуалы, обеспечивающие здоровье на целый год.

Примеры подобной реинтерпретации канонических христианских хрононимов и соответствующих евангельских событий в языковой форме и ритуальном содержании народного календаря можно было бы многократно умножить¹.

Литература

Stelmachowska B., 1933, *Rok obrzędowy na Pomorzu*, Toruń.

Sychta B., 1969, *Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, т. 3.

Недельковић М., 1991, *Годишњи обичаји у Срба*, Београд.

Ракитянская А., 1989, *Польский народный календарь в этнолингвистическом освещении*, Дипломная работа, МГУ, Научный рук. Н.И.Толстой, Москва.

Толстые Н.И., С.М., 1995, *Благовещение*, [в:] Н.И. Толстой (ред.), *Славянские древности*, т. 1, Москва, с. 182–188.

¹ Работа является частью проекта, поддерживаемого грантом РГНФ 08-04-0053а.

Sacrum a magia w słowiańskim kalendarzu ludowym

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie sposobów współdziałania elementów chrześcijańskich, stanowiących podstawę sakralną kalendarza ludowego, z elementami ustnej tradycji ludowej opartej na zasadach magii i mitologii. Chodzi zarówno o nazwy świąt dorocznych (chrononimy) jak i obrzędy, zwyczaje, wierzenia, zakazy, prognostyki, związane z poszczególnymi świętami. Odrębne tradycje etniczne i lokalne w swej interpretacji (werbalnej i kulturowej) jednostek kalendarzowych kładą nacisk na różne strony zdarzenia, o którym opowiada ewangelia, i nadają im odmienne znaczenia symboliczne. Ilustrują to nazwy i obrzędowość świąt 2/15.2 (Matka Boska Gromniczna), 25.3/7.4 (Zwiastowanie), 9/22.3 (Czterdziestu męczenników) i in. w różnych prawosławnych i katolickich tradycjach słowiańskich.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Ольга Трофимова

Формирование языковой нормы в феномене делового текста: история и современность

Влияние делового языка на формирование норм общелитературного языка отмечалось в истории не однажды, начиная с первых деловых бумаг: одной из первых фиксаций древнерусского языка был именно деловой текст – грамота 1130 г. великого князя Мстислава Володимировича (сына Владимира Мономаха) и его сына Всеволода, данная Юрьеву монастырю. Князья предоставляли монастырю материальные выгоды, монахи же должны были, «пока мир состоит», молиться за них. Развитие договорных, правовых, социальных отношений «тянуло за собой» развитие устной и письменной деловой речи, которая оформилась в особый функциональный стиль русского литературного языка – официально-деловой – основную форму репрезентации русского языка как государственного.

В настоящее время все больше ученых, политиков, журналистов – тех, кто активно воздействует на формирование языковой ситуации в стране, разделяют мнение о том, что русский язык как государственный – это системообразующий фактор сохранения целостности и стабильности Российской Федерации. Его статус определен в Конституции РФ, поддержка и защита – в Федеральном Законе от 01.06.2005 «О государственном языке Российской Федерации», пункт 3 статьи 1 которого утверждает, что «порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации определяется Правительством Российской Федерации».

Итак, официально-деловая речь, являясь по существу основной формой реализации русского языка как государственного, требует обязательного соблюдения норм. Это особенно важно при составлении документов, ибо «документы представляют собой систему принятых по соглашению ограничений на использование естественного языка» (Жилина 2002: 94).

Сегодняшние изменения делового русского языка обусловлены не только усилившимся влиянием англо-американских традиций на систему российского делопроизводства (Стеблецова 2001; Лагутина, Щуко 2005:

130–152), на стиль ведения деловых переговоров, но и развитием новейших Интернет-технологий. Деловое Интернет-общение активизировало практическую и теоретическую значимость проблемы общения человека и компьютера. Не исключается и формирование «универсального делового языка для межнационального общения», ибо по своему синтаксическому строю и по общности значений слов компьютерные варианты разных языков оказываются ближе, чем их живые разговорные варианты. О.А. Жилина в этой связи обращает внимание на то, что официально-деловой язык «внутренне формализован, поскольку он функционирует в определенных модельных ситуациях; существует необходимость научить машину полностью понимать и воспринимать деловые тексты. Однако практика показывает, что для этого, возможно, придется адаптировать естественный язык к нуждам компьютера. А это, в свою очередь, может привести к формированию новых языковых норм» (Жилина 2002: 94; см. также: Ершов 1982).

Современная электронная деловая переписка охватывает решение разнообразных служебных и профессиональных вопросов. Лингвисты говорят о том, что «этикетные особенности электронного делового письма обусловлены спецификой компьютерного дискурса вообще и электронной переписки в частности» (Карабань 2005: 75). Электронный документ нарушает сложившиеся стереотипы бумажного, выходит за рамки строгого официально-делового стиля и являет собой «контаминированное образование – результат взаимодействия различных функциональных стилей: официально-делового, разговорного, публицистического, языка рекламы». Утверждается, что синтаксическая структура электронного делового письма подвержена влиянию разговорной речи и включает неполные предложения, экспрессивный порядок слов. Возникает вопрос – о какой именно разновидности делового письма идет речь? Можно ли переносить эти наблюдения на всю электронную переписку? Ведь исследованию в большей мере подвергается переписка по профессиональным вопросам хорошо знакомых друг с другом деловых партнеров, т.е. некий аналог устной профессиональной речи.

Современный деловой человек, чиновник и депутат одинаково активно используют и традиционные (устная речь, документ на бумажном носителе), и новейшие формы деловой коммуникации, поэтому можно считать закономерным тот факт, что (в голове у носителей официально-делового стиля и, следовательно, в деловой коммуникации вообще) неизбежно происходит их взаимовлияние, сопровождающееся, среди прочего, нарушением стилистических, лексических и проч. норм. В XXI веке повторяется ситуация, известная, например, с XVIII века – века кардинальных изменений в русском языке и российском делопроизводстве, когда в российских провинциальных канцеляриях методом проб и ошибок вырабатывались формуляры документов и подыскивались адекватные формы выражения административной мысли, о чем можно судить по анализу черновиков деловых бумаг, сохранившихся, например, в фондах Государственного архива Тюменской области (Трофимова 2002, 2005, 2007, 2009), или заключительных рапортов-экстрактов (в их сопоставлении с инициативными рапортами) в составе следственных дел (Голованова 2008).

Несомненно, нарушение норм, в том числе норм грамматического строя языка является коммуникативным барьером (Кушнерук 1999: 17), отвлекающим реципиента от мысли говорящего. Так, в речи докладчика на одной из конференций, посвященной ротации управленческих кадров как антикоррупционной мере, обороты **«извлекать достойных кадров из системы...»* и *«мобилизовать кадры на те или иные участки работы»*, прозвучавшие в соседних предложениях, обратили на себя внимание слушателей, но заставили их задуматься не о сути общественно-политической проблемы (как того желал говорящий), а об ошибках в функционировании категории одушевленности – неодушевленности русских существительных. Сегодняшние депутатские и чиновничьи «муки слова» напоминают муки служителей канцелярий XVIII века, которые, чтобы ёмко выразить новые в русской жизни смыслы или построить лаконичный текст, придумывали такие слова, как *«благорассмотрение»*, *«вытаскивание»*, *«отрекательство»*, *«отрицательство»*; см., например, фрагмент обязательства, принятого на себя тюменским разночинцем Григорием Непряхиным 3 мая 1764 г. (знаком / отмечен конец строки оригинала):

«... акакъ доозначенного сроку уменя Непряхина о^и / Воино^и доживе^т то я Непряхи^и ево Воинова обявлю / для зарабатывания доста^ины^х денег^и е^{му} Колову / а ежели наозначенно^и срокъ нео^ибавлю и учиню хотя / малую просрочку или о^и Воино^и о^именя Непряхина / куда з^{бе}жить то состоящие нане^и Воинове / зазаплатю мое^и доста^иные восе^инатца^т / рублевъ заплати^т мне Непряхину о^ибше зде^ими / своими ему Колову квышеписанному сроку / бе^ивсяки^х приносимы^х вотгово^ирку резоновъ / и о^ирекате^ильствъ ивто^и поне^и Непряхине / ручается тюменско^и разночинецъ Алексей / Ситниковъ вчемъ иподпишетца...» (ГАТО, ф.И-47, оп.1, д.2496, л.32).

В том же XVIII веке в русский язык вошло много заимствований, чуждых русскому слуху, но сегодня ставших родными для россиян: *«армия»*, *«вымпел»*, *«гавань»*, *«матрос»*, *«ордер»*, *«рапорт»*, *«конфедерат»*, например:

«№ 1411 Поданъ декабря 2^и 1763 го^и / Записа^и сооб^иши^т к о^ипуску

Втюменскую воево^идскую канцелярию / Верхнего стана о^исоцкого Василья Кузне^ицова / репортъ

Поданно^и мне именованно^и истюменской / воево^идской канцеляри^и инструкци^и велено = / мне именованно^и ввышеписанно^и Верхне^и / стане смотрение име^т что^и дракъ блядки корче^иства / воровъ разбо^иниковъ беглы^х са^ида^т матрозовъ / рекрутъ небыло ивсилу онои инструкци^и вселехъ / идеревня^х беглы^х са^идать матрозовъ рекрутъ / пришлы^х беспашпо^итны^х дракъ блядки / икорче^иства неимелось вминуше^и ноябре м^ице / исостояло все благополучно того ради / Тюменской воево^идской канцеляри симъ / ирепортуу декабря 1 дня 1763 го^и

Ксему репорту вместо соцкого / Василья Кузнецова прозбою ево копиистъ / Василеи Чюриловъ руку приложилъ» (ГАТО, ф.И-47, оп.1, д.5248, л.7).

«1773 году мая 21 числа тюме^иской / казацкой команды казаки испольскихъ / пленныхъ конфедератовъ Александръ Духовичъ / Антоніи Рых^илевски втюме^иско^и каме^и/дантской канцеляри дали сию по^иписку, / вто^и что^и поуволненіи ихъ исказацкой / службы погороду Тюмени жить і^и насвое^и / пропитаніи порядочно

никаки^х шалостей = / нечинить ипомиру нешататца, вче^м / иподписуютца Ксеи па^тписке въ/место о^тставленны^х казако^в Духовича / j Ры^хле^вского j^х прошениемъ се^п/жантъ Яко^в Мартьяно^в руку / jприложилъ» (ГАТО, ф.И-6, оп.1, д.335, л.15).

И тогда, и сейчас главное условие заимствований – языковые контакты, в том числе дистанционные (в XVIII веке – посредством деловых бумаг, доставляемых из столицы в Тюмень в среднем в течение двух–трех месяцев и тиражирующих новые языковые нормы), расширяющиеся в современном мире. И первоначальное как будто «неправильное» употребление слова есть не что иное, как поиск словом новой для себя жизни в пока ещё чужой языковой среде. Но если сегодняшние «спикер» и «вице-спикер» перейдут из речи журналистов в официальные документы (как это стало, например, с «паралимпиадой» и «сурдолимпиадой»), то станут русскими словами и у того, кто займёт эти должности, появятся новые обязанности.

Таким образом, сегодня вновь актуализируется вечная проблема административной системы – степень самостоятельности функционирующей в ней личности, мера её влияния на общую ситуацию, в том числе языковую. Хотя неизменным остается сам принцип создания делового текста как такового и использования в нем языка: «Типовое построение официально-делового текста выступает в качестве рамки, в которой пишущим совершается конкретизация текста документа – его языковое наполнение (сфера действия языковых норм), причем масштаб самостоятельности пишущего зависит от того, к какому типу текста-образца относится документ. [...] С переходом к изложению переменных элементов содержания делового текста возрастают диапазон поиска и возможности выбора языковых средств для передачи конкретных обстоятельств дела – и соответственно возрастают трудности, стоящие перед составителем текста документа. [...] Трудности поиска могут облегчаться за счет знаний (навыка) и речевого опыта пишущего» (Культура... 2000: 224–225).

Исследование скорописных деловых текстов сибирской провинции позволяет утверждать, что деловой текст можно рассматривать как некий феномен – феномен посредника в общении человека и государства. Как показала история, это порой единственное адекватное времени своего создания свидетельство функционирования языка, позволяющего проследить становление языковых норм в их жанрово-стилевом «хронотопе».

Литература

- ГАТО – Государственный архив Тюменской области (далее указываются номер фонда, описи, дела, листа)
- Граудина Л.К. и Ширяев Е.Н. (ред.), 2000, *Культура русской речи*, Москва.
- Голованова О.И., 2008, *Тюменские следственные дела 1782–1796 гг. в аспекте лингвотекстологического и источниковедческого анализа*, Автореф. дисс. ... канд. филол. наук, Тюмень.
- Ершов А.П., 1982, *К методологии построения диалоговых систем: феномен деловой прозы*, [в:] *Вопросы кибернетики. Общение с ЭВМ на естественном языке*, Москва.

- Жилина О.А., 2002, *О влияние компьютерных технологий на изменения в языке деловых документов*, [в:] *Преподавание и изучение русского языка и литературы в контексте современной языковой политики России*, Н. Новгород, с. 94.
- Карабань Н.А., 2005, *Особенности функционирования коммуникативной категории вежливости в электронной деловой переписке*, «Мир русского слова», № 1–2, с. 74–77.
- Кушнерук С.П., 1999, *Документная лингвистика (русский деловой текст)*, Волгоград.
- Лагутина Т.М., Щуко Л.П., 2005. *Деловое письмо: Справочник*, Москва–Санкт-Петербург, с. 114–115.
- Стеблецова А.О., 2001, *Национально-культурная специфика делового письма (на материале английского и русского языков)*: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Воронеж.
- Трофимова О.В., 2002, *Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг.: Книга II. Памятники тюменской деловой письменности. Из фондов Государственного архива Тюменской области*, Тюмень.
- Трофимова, О.В., 2005, *Категориальный анализ текста рукописного документа XVIII века*, [в:] *Проблемы филологии в синхронии и диахронии*, Челябинск, с. 20–30.
- Трофимова О.В., 2007, *Рукописный деловой текст и его «автор»: следы взаимодействия (на материале допросов из фондов Государственного архива Тюменской области)*, [в:] *«Единым письмом употреблением памяти подкрепляется вечность»*, Санкт-Петербург, с. 355–368.
- Трофимова О.В., 2009, *Аспекты лингвистического анализа регионального делового текста XVIII века*, [в:] *Язык – текст – дискурс: традиции и новации*. В 2-х ч., Самара, ч. 2, с. 6–14.

Kształtowanie normy językowej w tekście oficjalnym: historia i współczesność

Streszczenie

Analiza dokumentów archiwalnych, na których w przeważającej części opiera się artykuł, pozwala dokładnie określić datowanie zmian norm językowych z uwzględnieniem warunków lokalnych. W XVIII wieku to właśnie w treściach dokumentów często pojawiały się nowe formy językowe, odzwierciedlające rzeczywistość historyczną.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Bogdan Walczak

Języki słowiańskie wśród języków świata dawniej i dziś

Niniejszy artykuł wypadałoby zacząć od zwięzłej charakterystyki dzisiejszej sytuacji językowej naszego globu, co jest z wielu względów zadaniem niełatwym. Niepodobna nawet względnie dokładnie stwierdzić, ile języków jest dziś na świecie w użyciu. W różnych opracowaniach można znaleźć bardzo różne liczby¹. Moim zdaniem najbardziej wiarygodna jest tu liczba od 6500 do 7000 języków². Rozbieżność ocen ma głównie dwa źródła. Pierwsze wynika z faktu, że nie ma kryteriów pozwalających na odróżnienie – by się w tym miejscu posłużyć współczesną terminologią lingwistyczną – „[...] etnolektu ze statusem odrębnego języka od etnolektu ze statusem dialektu czy gwary jakiegoś języka”³. Drugim źródłem niemożności ustalenia liczby języków świata jest brak dokładniejszej wiedzy o wielkiej liczbie etnolektów, przede wszystkim tzw. egzotycznych, używanych w tropikalnych lasach Amazonii czy Azji Południowo-Wschodniej, w górach Nowej Gwinei, Pamiru, Hindukuszu czy Himalajów lub wysp południowego Pacyfiku. Zaledwie 5% języków świata doczekało się

¹ By się ograniczyć tylko do polskiej literatury przedmiotu: Marian Jurkowski (*Wstęp*, [w:] *Wielka encyklopedia geografii świata*, t. XIV: W. Maciejewski, *Świat języków*, Poznań 1999, s. VII) szacuje liczbę języków świata na ponad 8000, Witold Maciejewski (op.cit., s. 3) – na 6000–7000, natomiast Alfred F. Majewicz (*Języki wymierające i wyrażone – stan i perspektywy*, [w:] W. Maciejewski, op.cit., s. 96) – na 6500–7000. Majewicz, najlepszy polski znawca zagadnienia, autor najnowszej polskiej syntezy w tym zakresie (*Języki świata i ich klasyfikowanie*, Warszawa 1989), uwzględnił w swojej opinii dane najnowszych wielkich syntez językoznawstwa porównawczego (R.E. Asher i in., *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, t. I–X, Pergamon Press, Cambridge 1993 i Ch. Moseley, R. E. Asher, *Atlas of the World's Languages*, Routledge, London–New York 1994), jego opinia wydaje się więc najbardziej prawdopodobna.

² Zob. przypis 1.

³ A.F. Majewicz, *Języki wymierające...*, s. 95. Zob. na ten temat B. Walczak, *Język czy dialekt – problem lingwistyczny?* [w:] *Korowód idei i metod. Prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury*, pod red. G. Kubskiego i M. Mikołajczak, Zielona Góra 2006, s. 23–32 i idem, *Status etnolektu (problem „język czy dialekt”) w polskiej literaturze językoznawczej*, [w:] *Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej*, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 115–124.

satysfakcjonujących opisów (w postaci słowników jedno- lub/i dwujęzycznych, gramatyk i podręczników służących do ich nauki). 20% (a więc około 1300) języków ma jedynie opisy cząstkowe. Utrwalonymi tekstami dysponujemy w odniesieniu do 30% języków. O 70% wiemy właściwie tylko tyle, że istnieją.

Współczesną sytuację językową świata charakteryzują głównie dwa zjawiska: rosnąca, nasilająca się dysproporcja językowego podziału naszego globu oraz nieznane dotąd w dziejach świata przyśpieszenie procesu wymierania języków.

Dysproporcje w językowym podziale świata istniały zawsze. Zawsze były języki wielkich (tzn. licznych) wspólnot: ludów, narodów, społeczeństw itp. – i języki o niewielkiej liczbie użytkowników. Dziś jednak te dysproporcje przybierają wręcz trudne do wyobrażenia wymiary. Kilka liczb dla ilustracji tej tezy (trzeba tu cały czas pamiętać, że przyjęliśmy jako najbardziej prawdopodobną liczbę języków świata 6500–7000).

I tak ponad połowa ludności świata mówi tylko 12 językami. Są to: chiński (w pięciu odmianach) – 1 mld 200 mln użytkowników, czyli 20,8% ludności świata, angielski (jako ojczysty, liczy się więc tu tylko jego *native speakerów*) – 460 mln użytkowników, czyli 8% ludności świata, hindi – 433 mln użytkowników, hiszpański – 365 mln, portugalski – 177 mln, arabski – 160 mln, rosyjski – 150 mln, japoński – 125 mln, francuski – 123 mln, indonezyjski – 120 mln, bengalski – 119 mln i niemiecki – 98 mln. Może jeszcze bardziej uderzające jest inne zestawienie: około 98% ludności świata posługuje się 2% języków świata (te 2% to około 140–150 języków), natomiast około 98% języków świata (jest to wciąż jeszcze liczba 6500–7000) jest używane przez zaledwie 2% ludności świata. Jak to komentuje najlepszy polski specjalista w tej dziedzinie, Alfred F. Majewicz:

Ta olbrzymia dysproporcja jednoznacznie wskazuje na istnienie relatywnie małej liczby języków tak zwanych dużych [dodajmy, że zaledwie 11 języków przekracza 100 mln użytkowników, zaś jedynie 50 języków ma populacje użytkowników mieszczące się w przedziale od 99 do 10 mln; dodajmy też, że zdaniem Waltera Onga zaledwie 78 języków ma rozwinięte odmiany pisane⁴ – B.W.], oraz ogromnej większości języków tak zwanych małych, języków o mniejszym zasięgu używalności (ang. *lesser-used languages*, franc. *langues moins répandues*)⁵. „Populacje użytkowników bardzo wielu języków nie przekraczają 100 000; są jednak bardzo liczne języki o liczbie użytkowników liczonej w tysiącach zaledwie, setkach, a nawet dziesiątkach⁶.

Na przeciwnym biegunie największych (jak chiński, angielski, hindi itd.) sytuują się takie języki jak (dane z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku): menomini – 50 użytkowników, tuscarora – 30 użytkowników, iowa – 5, osage – 5 (wszystkie wyżej wyliczone to języki Indian Ameryki Północnej, a wśród nich menomini to jeden z najlepiej poznanych i opisanych – dzięki badaniom Charlesa F. Hocketta – języków indiańskich), ubychijski (północnokaukaski język z rodziny azjanickiej) – 1 użytkownik⁷.

⁴ Zob. W. Ong, *Oralność i piśmienność*, Lublin 1992.

⁵ A.F. Majewicz, *Języki wymierające...*, s. 96.

⁶ Ibidem, s. 98.

⁷ Zob. M. Krauss, *The World's Languages in Crisis*, *Language* 68, 1, 1992, s. 4–10.

Skrajnie nieproporcjonalna jest też geograficzna dystrybucja języków. Są obszary, nieraz bardzo wielkie, względnie jednolite pod względem językowym, a są inne, gdzie na relatywnie niewielkim terytorium jest w użyciu wiele języków. Raz jeszcze oddajmy głos Alfredowi F. Majewiczowi:

Na niewielkich obszarowo wysepkach może występować do kilkudziesięciu różnych języków, bywają też wielojęzyczne wioski, gdzie granica między społecznościami mówiącymi różnymi językami przebiega wzdłuż wewnątrzwioskowych ścieżek. Takimi obszarami są przede wszystkim Nowa Gwinea [absolutny rekord zróżnicowania językowego – w użyciu jest tam około 100 odrębnych rodzin języków papuaskich – B.W.], podnóża Himalajów, Hindukuszu i Pamiru, Azja Południowo-Wschodnia (południowe Chiny, północny Wietnam, północna Tajlandia), wyspy Indonezji i niektórych państw wyspiarskich południowego Pacyfiku, okołorównikowe obszary Afryki, Amazonia, Kaukaz i tym podobne⁸.

Państwami o największym zróżnicowaniu językowym są: Papua Nowa Gwinea – co najmniej 850 języków (również dalej na pierwszym miejscu podają minimalną liczbę języków), Indonezja – 670 języków, Nigeria – 410, Indie – 380 (według niektórych źródeł znacznie więcej, około 1300–1500, ale według tych źródeł w Papui Nowej Gwinei jest w użyciu ponad 3000 języków; jedna i druga opinia nieprawdopodobna), Kamerun – 270, Australia – 250 (lecz niemal wszystkie tubylcze bliskie są wymarcia), Meksyk – 240, Kongo (dawnej Zair) – 210, Brazylia – 210, Chiny – około 200 itd. Około 5000 języków występuje na terytorium zaledwie 22 państw (na 192 suwerenne państwa świata według stanu z roku 1996), choć często przekracza ich granice.

Na przeciwnym biegunie sytuują się takie w najwyższym stopniu jednolite pod względem językowym państwa jak: w Europie Portugalia – 99,5% portugalskojęzycznych Portugalczyków i Islandia – 98,5% islandzkojęzycznych Islandczyków, a w Azji Japonia – ponad 99% japońskojęzycznych Japończyków, Korea – ponad 99% koreańskojęzycznych Koreańczyków (dotyczy to obu państw koreańskich) i – co może być zaskakujące – Bangladesz – 97,6% bengalskojęzycznych Bengalczyków.

Europa, z wyjątkiem Kaukazu (którego przynależność geograficzna jest, jak wiadomo, sporna: na obszarze między Morzem Kaspijskim a Morzami: Czarnym i Azowskim granica Europy i Azji przebiega albo Obniżeniem Kumsko-Manyckim (w takim ujęciu cały Kaukaz pozostaje poza Europą), albo głównym grzbietem kaukaskim, albo na południe od Kaukazu (a w takim ujęciu cały Kaukaz wchodzi w skład Europy)), należy do obszarów o stosunkowo niewielkim zróżnicowaniu językowym. Używa się w niej około 130 języków, podczas gdy w Ameryce – ponad 2000 (a według najbardziej rygorystycznych szacunków przynajmniej 1230) czy w Afryce – około 2 000 (choć według „minimalistycznych” danych zaledwie 572).

Choć trochę uwagi należy teraz poświęcić drugiemu wyróżnikowi współczesnej sytuacji językowej świata, a mianowicie gwałtownemu przyspieszeniu procesu wymierania języków. Oczywiście języki wymierały zawsze. Wymarły języki tak wielkich i świetnych cywilizacji jak sumerska, akadyjska czy hetycka. W Europie w naszych czasach dysponujemy w tym względzie nawet szczegółowymi danymi. I tak w 1777 roku w wieku 102 lat zmarła Dolly Pentreath, ostatnia użytkowniczka

⁸ A.F. Majewicz, *Języki wymierające...*, s. 97–98.

języka kornickiego (celtycki język z grupy brytańskiej, używany w Kornwalii). W 1893 roku zmarł Tuone Udaina, ostatni użytkownik języka dalmatyńskiego (język romański używany na wybrzeżu dalmatyńskim i okolicznych wyspach). W 1948 roku dokonano nagrań na płycie gramofonowej tekstów języka manx (inaczej mański – język celtycki z grupy goidelskiej, używany na wyspie Man położonej na Morzu Irlandzkim): informatorem był stuletni podówczas John Joseph Kneen, jeden z ostatnich użytkowników tego języka (ich liczbę szacowano w 1950 roku na 10 osób). Przykłady można by mnożyć.

Oczywiście data śmierci ostatniego użytkownika nie jest tożsama z datą wygaśnięcia języka. W rzeczywistości język umiera wcześniej niż jego ostatni użytkownik – umiera wówczas, gdy ustaje jego przekaz międzypokoleniowy, tzn. gdy język przestaje być przekazywany młodszemu pokoleniom.

Jak już wspomnieliśmy, dziś proces wymierania języków gwałtownie przybiera na sile. Według danych ONZ w dobie obecnej co dwa tygodnie na świecie wymiera jeden język, przy czym nie widać najmniejszych możliwości zahamowania tego procesu; wręcz przeciwnie, będzie się on z pewnością nasilał. Według wiarygodnych prognoz w ciągu najbliższych dwudziestu lat, a więc jeszcze za życia większości z nas, z powierzchni ziemi zniknie ponad połowa języków jeszcze dziś będących w użyciu (przypomnijmy, że tę liczbę oszacowaliśmy na 6500–7000 języków). Wprawdzie niektórzy specjaliści kwestionują prognozowane tempo procesu (przesuwając feralną datę wymarcia ponad połowy języków w głąb bieżącego wieku), jednak co do rozmiarów strat panuje pełna zgoda.

Trudno, by było inaczej, gdy wspomniana wyżej prognoza ma solidną podstawę w postaci alarmujących danych o przekazywaniu międzypokoleniowym na gruncie wielu języków. Na przykład wiadomo, że z 20 rdzennych języków Alaski młodszemu pokoleniom przekazywane są tylko dwa. Spośród 187 tubylczych języków Kanady i USA aż 149 (tzn. 80%) wykazuje przerwy w przekazywaniu międzypokoleniowym. Na północnych krańcach Rosji z 30 języków tubylczych przekazywane są trzy. I tak dalej. Języki, na których gruncie przekaz międzypokoleniowy został przerwany, to – nawet niezależnie od liczby żyjących jeszcze użytkowników – „języki w stanie śmierci klinicznej” (według trafnego określenia Alfreda F. Majewicza)⁹. O wielu językach nie wiemy, czy żyją jeszcze (i w jakiej liczbie) ostatni ich użytkownicy. W Europie dotyczy to w szczególności wymierających języków ugrofińskich z grupy bałtofińskiej, używanych w Rosji na obszarze między Petersburgiem a jeziorem Ładoga, jak wepski (zwany inaczej czudzkim), wotski, ingryjski (inaczej iżorski) czy liwski (ten ostatni, inaczej niż poprzednie, używany na Łotwie, nad Zatoką Ryską).

Za granicę bezpiecznej przyszłości języka przyjęło się uważać jego minimum stutysięczną populację użytkowników. Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, języków takich jest zaledwie około 600, a więc mniej niż 10% wszystkich języków świata. Jednak w rzeczywistości sprawa jest o wiele bardziej złożona. Z jednej strony zdumiewającą żywotność i stabilność liczby użytkowników w ciągu wieków wykazuje wiele języków papuaskich, australijskich, austronezyjskich czy kaukaskich, których liczba użytkowników nie przekracza setki osób (a na przykład językowi aleuckiemu, używanemu na Wyspach Komandorskich, już w 1846 roku prorokowano rychłą śmierć – i proroctwa takie powtarzały się w latach 1919, 1963

⁹ Ibidem, s. 103.

i 1983 – a tymczasem, choć dogorywający, język aleucki żyje do dziś), z drugiej zaś – w warunkach nowoczesnej cywilizacji, na przykład w warunkach europejskich, stutysięczna populacja użytkowników języka nie gwarantuje jego bezpiecznej przyszłości. W dzisiejszych warunkach europejskich język, którego liczba użytkowników, spadając, osiągnie stan rzędu może nawet kilkuset tysięcy, skazany jest na postępujący uwiąd. Małe narody czy grupy etniczne, w warunkach współczesnych z reguły dwujęzyczne, nie są w stanie utrzymać swojego języka etnicznego w funkcji języka standardowego obsługującego wszystkie dziedziny życia zbiorowego, o pełnym profilu odmian funkcjonalnych, z odmianą naukową (obejmującą pełne spectrum dziedzin i dyscyplin naukowych z ich specjalistyczną terminologią) włącznie. A wycofanie języka ojczystego z nauki, wyższych szczebli systemu oświatowego, środków masowego przekazu informacji itd. i ograniczenie go do sfery życia rodzinnego i prywatnego oznacza – w warunkach dwujęzyczności – początek końca. Dlatego faktycznie zagrożone są na przykład wszystkie języki celtyckie: irlandzki z liczbą użytkowników od 20 000 do 40 000–50 000 (mimo statusu języka państwowego – obok angielskiego – w Republice Irlandii), szkocki z liczbą użytkowników przekraczającą 90 000, walijski z liczbą użytkowników szacowaną według jednych źródeł na 400 000, a według innych nawet na 500 000–800 000 (tak czy owak najżywotniejszy dziś język celtycki), i bretoński (używany we francuskiej Bretanii), o którym najmniej wiadomo na skutek centralistycznej polityki językowej Francji (prawdopodobnie liczy on ponad 10 000 użytkowników). Wśród języków słowiańskich do zagrożonych należą języki łużyckie, w szczególności dolnołużycki (którego liczba użytkowników, wyłącznie dwujęzycznych, nie przekracza pewnie kilku tysięcy).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie znamy wypadku wskrzeszenia języka, który w ścisłym tego słowa znaczeniu wymarł. Przywoływany zwykle w tym kontekście casus języka hebrajskiego nie może być przykładem takiej sytuacji. Hebrajski nigdy nie był *stricto sensu* językiem martwym. Wprawdzie przed przeszło dwoma tysiącami lat ustał przekaz międzypokoleniowy hebrajskiego prymarną drogą jego naturalnej akwizycji w rodzinie i hebrajski wyszedł z użycia jako język potoczny, nie ustał jednak nigdy jego przekaz międzypokoleniowy drogą nauki szkolnej i przez te dwa tysiące lat był hebrajski językiem religii i nauki. Współczesne „wskrzeszenie” hebrajskiego polegało więc jedynie na przywróceniu jego naturalnej akwizycji w rodzinie i na poszerzeniu funkcji (zakresu stosowalności) – aż do funkcji języka państwowego Izraela i potocznego języka większej części społeczeństwa izraelskiego.

Jedyną szerzej znaną próbą wskrzeszenia języka *stricto sensu* martwego jest próba restytucji wymarłego w XVIII wieku języka kornickiego. Dzięki wytrwałości i uporowi grupy zapaleńców, dziś już sięgającej liczby kilkuset osób, wychodzą w języku kornickim czasopisma, tomiki poezji i prozy, nowe tłumaczenia Ewangelii, podręczniki (z kasetami magnetofonowymi) do nauki języka kornickiego itd. Najwięksi entuzjaści usiłują rozmawiać na co dzień po kornicku i przekazywać ten język swoim dzieciom. Na mniejszą skalę i z mniej spektakularnymi wynikami podejmuje się takie próby w odniesieniu do wymarłego w połowie XX wieku języka mańskiego. Nie brak i prób bardziej skrajnych. Do najosobliwszych należy niewątpliwie przedsięwzięta przez grupę łódzkich językoznawców (indoeuropeistów i filologów klasycznych) próba restytucji nie zaświadczonego w żadnym tekście,

rekonstruowanego języka praindoeuropejskiego (wspomnieni lingwiści układają w tym języku oryginalne teksty, a podobno nawet usiłują nim mówić).

Pomijając ostatni przykład, który wolno traktować jako rodzaj naukowej zabawy, trzeba stwierdzić, że realne szanse powodzenia prób wskrzeszenia języków martwych są znikome. Najprawdopodobniej nie uda się wyjść poza to, co osiągnęli entuzjaści języka kornickiego, a co można by nazwać swego rodzaju wegetacją języka o statusie swoistego skansenu.

Pomijam już tu zagadnienie uregulowań prawnych (w skali międzynarodowej) zmierzających do ochrony języków zagrożonych (stosowne dokumenty, jak Ateńska Deklaracja Praw Mniejszości, Konwencja Ramowa na rzecz Ochrony Mniejszości Narodowych, Europejska Karta Języków Mniejszościowych/Regionalnych, Deklaracja Praw Mniejszości ONZ itp. są stosunkowo łatwo dostępne) i przechodzę do miejsca języków słowiańskich na tak nakreślonej mapie językowej świata.

Od czego zależy miejsce danego języka wśród innych? W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na następujące czynniki:

„Rangę języka określa: liczba użytkowników, ich rozprzestrzenienie i aktywność handlowa [raczej należałoby to ująć szerzej: gospodarcza – B.W.], potencjał wytwórczy i naukowy, poziom materialny, dochód, wartość i rola literatury [znów należałoby to ująć szerzej: kultury – B.W.], znaczenie wojskowe”¹⁰.

Pierwszy z tych czynników sytuuje języki słowiańskie bardzo wysoko. Rosyjski, z liczbą użytkowników szacowaną na 150, a nawet (według niektórych źródeł) 170 mln (co jednak mało prawdopodobne), mieści się wśród 11 największych języków świata o ponadstulionowych populacjach użytkowników. Polski, z liczbą od 42 (minimum) do 48 (maximum) mln posługujących się nim – w Polsce i za granicą – jako pierwszym językiem, sytuuje się na końcu drugiej lub na początku trzeciej dziesiątki (przypomnijmy raz jeszcze: na 6500–7000 języków świata). Trzeba tu wyjaśnić, że dane statystyczne wielu państw pozostawiają, gdy chodzi o ścisłość i wiarygodność, wiele do życzenia, co nie pozwala na bardziej precyzyjne ustalenie miejsca polszczyzny. Wśród 50 (po czołowej jedenastce) języków, których populacje użytkowników mieszczą się w przedziale od 99 do 10 mln, oprócz polszczyzny sytuuje się ponadto: ukraiński z liczbą prawie 39 mln użytkowników, czeski z liczbą 12 mln użytkowników i serbochorwacki (tak wciąż jeszcze w wielu kompendiach językoznawczych) z liczbą od 18 do 20 mln. Jeśli jednak, uwzględniając realną sytuację językową na obszarze byłej Jugosławii, podzielimy go na serbski, chorwacki, bośniacki i czarnogórski, wypadnie on z grupy 50 języków o populacji od 99 do 10 mln.

Pozostałe języki słowiańskie (w niniejszym referacie nie uwzględniam tzw. (termin Aleksandra Duličenko¹¹) mikrojęzyków słowiańskich jak kaszubski czy łemkowski (rusiński)) sytuują się w grupie około 600 języków (mniej niż 10% języków świata), których liczba użytkowników przekracza 100 tysięcy: bułgarski – 9 mln, serbski – 8,6 mln, białoruski – 6–7 mln (liczba stanowczo zawyżona), chorwacki – 6,8 mln, słowacki – 6 mln, słoweński – 2 mln, macedoński – 2 mln, bośniacki – 2 mln i czarnogórski – 700 tysięcy. Jedynie wymierające – jak już wspomnieliśmy – języki

¹⁰ W. Maciejewski, op. cit., s. 39.

¹¹ A.D. Duličenko, *Slavjanskie literaturnye mikrojazyki. Voprosy formirovanija i razvitija*, Tallin 1981.

łużyckie nie mieszczą się w tej grupie: górnołużycki z liczbą 55 tysięcy użytkowników i dolnołużycki z liczbą 12 tysięcy użytkowników (zdaniem sorabistów obie liczby znacznie zawyżone).

Ponadto (co bardzo ważne) o wszystkich językach słowiańskich można (*mutatis mutandis*) powiedzieć to, co Witold Maciejewski powiedział o języku polskim:

[...] sytuacja polszczyzny jest wzorcowa: Polacy są narodem, który ma swój język i nie ma drugiego narodu, który uznawałby polszczyznę za swój język etniczny. [...] jest to język wyposażony w kompletny zestaw atrybutów. [...] jest [etnolektem] ogólnonarodowym, skodyfikowanym, posiada odmianę pisaną o przynajmniej sześciusetletniej tradycji, ma własne odmiany funkcjonalne, socjalne i terytorialne, jest wreszcie językiem oficjalnym, obowiązującym na terytorium RP¹².

Spośród czynników przesądzających o randze języka, wyliczonych wyżej, najważniejsze wydają się dwa: stopień jego uprawy, a zwłaszcza prestiż zależny od prężności politycznej i ekspansywności kulturalnej społeczeństwa jego użytkowników. Wiedział o tym już w XVI wieku Łukasz Górnicki, gdy tak wyjaśniał ówczesną pozycję łaciny:

[...] rzymski język dla tego jest wzięty, iż ci, którzy nim mówili, władali wszystkim światem. [...] za królów rzymskich nie była w takiej wadze rzymska mowa, ani tak obfita; czemu? iż i ubogie było jeszcze państwo, i nie uczynili go byli jeszcze Rzymianie pisaniem poważnych rzeczy obfitym. Aż potym, gdy męstwo a sprawiedliwość rzymska świat posiadała, a oni uczeni Rzymianie poczęli to, czego się u Greków nauczyli, łacińskim językiem pisać, toż się dopiero ten język podniósł i przyszedł ku tej doskonałości, którą teraz widzimy¹³.

Nie inne są przyczyny dzisiejszej światowej kariery angielszczyzny: angielski się szerzy i cieszy w skali światowej wciąż rosnącą popularnością za sprawą i w wyniku roli, jaką pod względem politycznym, gospodarczym, kulturalnym i cywilizacyjnym odgrywała w skali światowej w drugiej połowie XIX wieku Wielka Brytania, a w wieku XX, w szczególności w jego drugiej połowie, Stany Zjednoczone.

Historia polszczyzny w pełni potwierdza tezę Górnickiego. Potęga polityczna państwa Jagiellonów i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ekspansywność kulturalna i prestiż językowy społeczeństwa użytkowników polszczyzny dobrze tłumaczą jej historyczną pozycję w Europie, zwłaszcza środkowo-wschodniej. Zewnętrznikami tej pozycji były takie fakty, zjawiska i procesy językowe jak (fakt o wymiarze symbolicznym) miejsce polszczyzny w renesansowym wielojęzycznym słowniku Ambrożego Calepina (przed angielskim!), wpływ, jaki wywierała na inne języki Rzeczypospolitej, przede wszystkim na język ruski Wielkiego Księstwa Litewskiego i południowo-wschodnich województw koronnych, wpływ wykraczających nawet poza granice Rzeczypospolitej, gdyż obejmujący księstwa rumuńskie, Mołdawię i Wołoszczyznę (w XVII wieku, okresie największego nasilenia polskich wpływów kulturalnych, znajomość języka polskiego stała się w wyższych

¹² W. Maciejewski, op.cit., s. 16–17.

¹³ Cyt. według: W. Taszycki, *Wybór tekstów staropolskich XVI–XVIII wieku*, wyd. III, Warszawa 1969, s. 68.

warstwach społeczeństwa rumuńskiego znamiennym starannym wykształcenia i wyższej kultury), oraz Moskwę (gdzie w drugiej połowie XVII wieku, za panowania cara Aleksego Michajłowicza, polszczyzna stała się, w sferach dworskich i w kręgach bogatego bojarstwa, językiem modnym), wreszcie równorzędna wobec języka niemieckiego pozycja polszczyzny na obszarach językowo mieszanych, głównie w Prusach Królewskich (zrazu też Książęcych) i na Śląsku w XVI, XVII, a nawet jeszcze w XVIII wieku¹⁴. Dopiero osłabienie, a potem upadek Rzeczypospolitej spowodował spadek prestiżu języka polskiego, na skutek czego w Prusach czy na Śląsku górę wziął język niemiecki (choć i wówczas zdarzały się jeszcze takie wypadki jak casus Samuela Bogumiła Lindego – urodzonego w niemiecko-szwedzkiej rodzinie toruńskiej, lecz z wyboru Polaka i lektora języka polskiego na uniwersytecie w Lipsku, który, choć polszczyzny nie wyniósł z domu i w związku z tym nigdy nie zdołał jej w mowie dobrze opanować, przeszedł do historii jako autor pierwszego wielkiego słownika narodowego, który stanowi największy przełom w całych dziejach polskiej leksykografii).

W XIX stuleciu, okresie niewoli narodowej, pozycja polszczyzny była już tylko pochodną ekspansywności kulturalnej i prestiżu językowego jej użytkowników. Mimo zmienionej sytuacji politycznej pod zaborem rosyjskim (w Galicji austriackim) nadal się utrzymywały polskie wpływy kulturalne i językowe na Rusi. Z polszczyzny jako najstarszego podówczas słowiańskiego języka literackiego o nieprzerwanej tradycji czerpały też kształtujące się w dobie odrodzenia narodowego nowożytnie języki czeski i słowacki¹⁵.

Podobnie potwierdza tezę Górnickiego historia języka rosyjskiego. I on swoją pozycję języka światowego zawdzięcza mocarstwowej w skali świata roli, jaką

¹⁴ Dwujęzyczni byli tam nie tylko Polacy, ale i Niemcy, o czym świadczy obfitość drukowanych w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Wrocławiu, Brzegu, Oleśnicy itd. różnego rodzaju podręczników do nauki języka polskiego, przeznaczonych dla Niemców: słowników, słowniczków, gramatyk, samouczków, rozmówek, wzorów listów itp. Zob. na ten temat B. Walczak, *Zarys dziejów języka polskiego*, wyd. II, Wrocław 1999.

¹⁵ Ledwie tu zasygnalizowane zagadnienia doczekały się rozległej literatury przedmiotu, której niepodobna tu przytoczyć nawet w wyborze. Ograniczę się więc do przypomnienia podręcznikowych syntez historii języka polskiego: Z. Klemensiewicz, *Historia języka polskiego*, cz. I–III, Warszawa 1961–1972; T. Lehr-Spławiński, *Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój*, wyd. 3, Warszawa 1978; B. Walczak, *Zarys dziejów języka polskiego*, op. cit. oraz wskazania kilku prac szczegółowych bardzo ściśle związanych z międzynarodową pozycją polszczyzny w dobie średnio- i nowopolskiej: A. Zaręba, *Wpływ polszczyzny na słownictwo innych języków słowiańskich*, *Język Polski* XLI, 1961, s. 1–19; E. Linęta, *Wyrazy polskiego pochodzenia w języku rumuńskim*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974; B. Walczak, *Obcojęzyczny element zachodni i wschodni w rozwoju słownictwa polszczyzny ogólnej*, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny 102, 1987, s. 67–71; idem, *Między Wschodem a Zachodem (Uwagi o leksyce polskiego języka literackiego)*, [w:] *Dzieje Lubelszczyzny*, t. VI, pod red. R. Łuźnego i S. Nieznanowskiego, Warszawa 1991, s. 89–103; idem, *Zachód i Wschód w dziejach języka polskiego*, [w:] *Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej*, pod red. A.W. Mikołajczaka i M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2003, s. 28–46; idem, *Wpływy ruskie w polskim języku literackim*, [w:] *Polska – Ukraina: partnerstwo kultur*, pod red. B. Bakuły, Poznań 2003, s. 19–31; idem, *Kultura jako czynnik integracji europejskiej – przykład Rzeczypospolitej Obojga Narodów*, [w:] *Kulturowe konteksty integracji europejskiej*, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2004, s. 23–33.

w drugiej połowie XX wieku, od lat drugiej wojny światowej do swojego rozpadu, odgrywał Związek Radziecki, czyli – w planie językowym – Rosja.

Innym narodom słowiańskim (poza średniowiecznymi Czechami w obszarze kultury) nie było dane odgrywać większej roli w skali ogólnoeuropejskiej, co też odzwierciedla międzynarodowa, historyczna i dzisiejsza, pozycja ich języków.

Jaka jest więc dziś międzynarodowa pozycja języków słowiańskich i jak się przedstawiają ich szanse i perspektywy w przyszłości?

Wydaje się, że u progu trzeciego tysiąclecia wolno na przyszłość języków słowiańskich (z wyłączeniem wymierających języków łużyckich) patrzeć z optymizmem. Pozwala na taki optymizm i liczba ich użytkowników, i fakt, że wszystkie one (łużyckie już wyłączyliśmy) mają dziś status oficjalnych języków państwowych (pod tym względem najsłabiej się rysuje pozycja białoruskiego). Rosyjski zapewne jeszcze długo będzie się liczył do tzw. języków światowych (choć samo pojęcie języków światowych w jego dotychczasowym kształcie raczej nie ma przyszłości). Do największych (gdy chodzi o liczbę użytkowników) języków świata należą i będą należeć polski i ukraiński. Pozostałe charakteryzują się mniejszymi populacjami użytkowników, są to jednak – i w tym zakresie nie widać tendencji regresywnych – populacje wyłączające je ponad wszelką wątpliwość z obszaru (w skali światowej), jak to wykazaliśmy wyżej, wciąż rosnącego) języków zagrożonych. Przede wszystkim jednak trzeba mieć świadomość tego, że miejsce języków słowiańskich na językowej mapie świata zależy w rozstrzygającej mierze od samych ich użytkowników: od miejsca, jakie narody słowiańskie zdołają zająć wśród narodów Europy i świata, od ich prężności i ekspansywności gospodarczej i kulturalnej oraz od świadomej i w skali społecznej zorganizowanej troski o harmonijny rozwój ich języków narodowych. Jak ważny jest stosunek do języka jego użytkowników, w jakim stopniu od nich samych zależy jego przyszłość – też już wiedział Łukasz Górnicki, gdy pisał: „I nasz język polski rychło by urósł, gdybyśmy się go rozmiłowali”¹⁶. Wprawdzie miłości do języka ojczystego nie można zadekretować, ale nie ulega przecieży wątpliwości, że narody słowiańskie dały i wciąż dają tej miłości liczne dowody¹⁷.

¹⁶ W. Taszycki, op. cit., s. 68.

¹⁷ W odniesieniu do języka polskiego i w nieco innym, węższym (europejskim) ujęciu zagadnienie, które jest przedmiotem niniejszego artykułu, przedstawiłem już w pracach: B. Walczak, *Miejsce języka polskiego wśród języków Europy u progu trzeciego tysiąclecia*, [w:] *Być Europejczykiem*, pod red. A.W. Mikołajczaka, Gniezno 2002, s. 82–108 i idem, *Szanse polszczyzny w jednoczącej się Europie u progu XXI wieku*, Łużyckie Zeszyty Naukowe 2, 2006, s. 5–13. W kontekście światowym miejsce języka polskiego przedstawiłem w referacie na III Kongresie Polonistyki Zagranicznej (zob. B. Walczak, *Język polski wśród języków świata u progu trzeciego tysiąclecia*, [w:] *Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych*, pod red. M. Czermińskiej, K. Meller i P. Flicińskiego, Poznań 2007, s. 89–99).

Przygotowując niniejszy artykuł, korzystałem z wielu pozycji dotąd w przypisach nie przywołanych. Wymienię choć najważniejsze i najużyteczniejsze z nich: G. Décsy, *Die linguistische Struktur Europas. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft*, Wiesbaden 1973; idem, *Statistical Report on the Languages of the World as of 1985*, Bloomington 1996; P. Hajdú, *Narody i języki uralskie*, Warszawa 1971; *Języki indoeuropejskie*, pod red. L. Bednarczuka, t. I–II, Warszawa 1986–1988; W. Mańczak, *Z zagadnień językoznawstwa ogólnego*, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970; *The World's Major Languages*, ed. B. Comrie, London 1980; B. Walczak, *Universalism or Particularism? (The Process of Linguistic Unification and Differentiation Today and Tomorrow)*, [w:] *Culture of the Time of Transformation. II International Congress „The*

Славянские языки среди языков мира в прошлом и сегодня

Резюме

В настоящей статье автор дает общую характеристику языковой ситуации на планете и приблизительно определяет количество существующих языков. Огромный процент языков мира (95%) остается за пределами описания, лишь 30% закреплены в письменности. В нынешнее время наблюдаются диспропорции в языковой классификации на земном шаре и быстрое вымирание т.н. малых языков. Наблюдается сравнительно малое число больших, а также большое количество малых языков. На территории, где проживают славяне, вымирают сегодня лужицкие языки, в то время как русский язык занимает высокое место среди языков мира (по числу 11-е в мире говорящих на нем).

Cultural Identity of the Central-Eastern Europe", ed. J. Brendel, Poznań 1999, s. 71–76; idem, *Uniwersalizm czy partykularyzm? (Procesy unifikacji i dyferencjacji językowej dziś i jutro)*, [w:] *Kultura – Język – Edukacja*, t. 3, pod red. R. Mrózka, Katowice 2000, s. 183–193; A. Weinsberg, *Językoznawstwo ogólne*, Warszawa 1983. Głównym źródłem danych statystycznych, przytoczonych w referacie, jest opracowanie W. Maciejewskiego (op. cit.).

W nieco skróconej wersji niniejsza praca została już opublikowana w Bułgarii w języku bułgarskim (*Mjastoto na slavjanskite ezici sred svetovnite na praga na treteto chiljadoletie*, Plovdivski Universitet „Paisij Chilendarski” – Naučni Trudove 44, Filologija, 2006 [wyd. 2008], s. 18–31).

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Kinga Wenklar

Językowy obraz wdowy w polskich i ukraińskich pieśniach ludowych

Na gruncie polskiej pieśni ludowej zagadnienia kulturowo-językowego kontekstu obrazu wdowy dotknął Jerzy Sierociuk, analizując pieśni traktujące o dziewczynie, z której kawaler czyni wdowę (Sierociuk 2003). Dowodzi on znaczenia tego wyrazu w zachowanej archaicznej jego postaci (jak wiadomo, utrwalona struktura tekstuwa pieśni, oparta na regularnym rymie, sprzyja tego typu zjawiskom, por. Bartmiński 1973). Tradycyjne myślenie upatruje momentu sankcjonującego małżeństwo w zwyczaju nocy poślubnej, przypisując tym samym zasadniczą rolę tworzenia związku kobiety i mężczyzny aktowi seksualnemu (Sierociuk 2003: 175). W powyższej perspektywie wdową staje się nie tylko kobieta, której umarł mąż, ale również każda ta – i jest to definicja dominująca w językowym obrazie polskiej pieśniowej wdowy – która współżyła z mężczyzną, a mimo to pozostaje niezamężna (*Moja panno bywaj zdrowa / ja kawaler a ty wdowa / prendko byś to ogdowiła / Ino nocke ze mnom spała* – Witanowski 1893: 71; por. Tomaszewski 1934: 47; Saloni 1899: 228). Częstym potwierdzeniem takowej znaczeniowej implikacji jest fakt posiadania przez rzekomą wdowę dziecka¹ (*Ja kawaler z pirściontekiem, / a ty wdowa z dziciontekiem* – Bartmiński 1973: 147 i 8).

Polskie pieśni kreują zatem obraz wdowy oparty na dwóch dominantach znaczeniowych. Jest to przede wszystkim kobieta młoda, wręcz dziewczyna, co w materii języka potwierdzają głównie deminutywne formy kobiecych imion (Jagiełło 1975: 41) lub wyrażona wprost cecha młodości (*wdowuś moja, wdowuś / młodoś owdowiła* – Lubicz 1893: 197 i 262). Drugą podkreślaną jej właściwością jest wolność rozumiana jako otwartość na nowe, przygodne kontakty seksualne. W wypadku obu tych cech obraz wdowy nawiązuje do komponentów znaczeniowych ludowego pojęcia panieństwa. Skądinąd w odniesieniu do kawalera pieśniowa wdowa

¹ Interesującym sformułowaniem jest zanotowane w Małopolsce południowej określenie **polna wdowa** 'panna z dzieckiem': „Na wsi jeźli dziewczyna, która panieństwo utraci, to nie chodzi więcej w wianku, tylko zazwyczaj w rąbku; zowią takową dziewczynę: polną wdową” (Pauli 1838: 89–90), czy też **słomiana wdowa** 'kobieta nieżyjąca z mężem, porzuciona' (Dworakowski 1935: 8). Krakowska *przespanka* 'panna z dzieckiem' określana bywała **wdową w chustce** (Cercha 1900: 152).

pojawia się w kolekcji właśnie z panną (*Niejedna panienka / i niejedna wdowa / polecą za wami* [kawalerami – K.W.] / *do samego Lwowa* – Gonet 1901: 112). Ponadto analiza jednostek znaczeniowych tworzących w językowym obrazie wdowy fasetę Obiekt sugeruje definicję wdowy jako ‘kobiety skorej do niezobowiązujących kontaktów seksualnych’: do wdowy chętnie udaje się odrzucony przez pannę kawaler (*A ja pójdę se do gdowy / tam interes mam gotowy* – Pyrek 1906: 247; *Moja pani siostró, / trzymajże sie ostro / za cztery podkowy, / bo idą do gdowy* – Magierowski 1889: 157; Cercha 1900: 171) czy niewierny kochanek (*Tyś konika okulbaczył / jedziesz se do wdowy* – Kolberg 1879: 13; por. Kolberg 1865: 130; Udziela 1891: 178). Potwierdzają ponadto ten obraz porzekadła typu: *Jak kot do spyrki, / tak chłopcy do gdowy Jewki* (Kapecówna 1927: 175)².

Językowy obraz wdowy ukraińskiej – reprezentowany w niniejszym artykule przez model zaczerpnięty z kultury huculskiej – koresponduje z obrazem wyłaniającym się z polskich pieśni ludowych, wykazując jednak interesujące przesunięcia akcentów w strukturze semantycznej modelu pojęciowego **wdowa**³.

Próbując rekonstruować definicję kognitywną pojęcia **wdowa** należy przyznać, że nazwy obiektu: **wdowa** (*ty ny znajesz, bidna wdowo, / kuda twój syn chodyt* – P III 483), **wdowońka** (*a wdowońka seretońka / wole wyhaniąje* – Utoropy), **udowońka** (P II 46), **wdowycia** (Rk II 713) odsyłają w pewnym stopniu do literackiego rozumienia wyrazu ‘kobieta, której zmarł mąż’ (por. dla języka polskiego: Dorosz IX 903 oraz dla ukraińskiego: Hrin IV 320). Definicja ludowa sygnalizuje brak męża, bez informacji jednak o jego śmierci. Konteksty nie pozwalają rozstrzygnąć, czy ów mąż był, ale zmarł, czy też nigdy go *de facto* nie było. Istotne zaś jest, że nieobecności męża towarzyszy przeżycie smutku i stan samotności: wdowa przedstawiana jest jako ta bez gospodarza (*hazdy ne majesz*: Utoropy), działająca sama, w pojedynkę (*ja sama budu dity hoduwały*: Utoropy), będąca w żałobie (*samaż u żałobi*: Utoropy). Ponadto samotność wdowy eksplikuje hiponimiczne określenie **sierota** (tu w zdrobniałej postaci wyrazu: *seretońka* – Utoropy). Słownik Jana Janowa oddaje huc. *syrota, syrotiuk, syrotyszcz* w znaczeniu ‘biedak’ (Janów 226), co pozostaje w bliskiej korespondencji z właściwością najczęściej przypisywaną ukraińskiej pieśniowej wdowie (*zapłakała bidnaja wdowa / zy swojemi diwońkami*: P II 62; *kozaczeńko... powertaje do bidnoji wdowy*: Utoropy; P III 483; 484)⁴. Przykład kołomyjki z Tłumacza, odnotowanej przez Oskara Kolberga (P II 108), jak i znaczna frekwencja

² W ukraińskiej tradycji obraz wdowy z punktu widzenia kawalera nie rysuje się tak atrakcyjnie. Związany jest z nią symbol krwawej drogi (w analogii z kryminalną – do matki i złotą – do dziewczyny). Wyraża on ważny element obrazu wdowy jako kobiety, z którą nie należy wiązać się, gdyż komplikuje ona życie młodego mężczyzny.

³ Rekonstrukcję modelu opieram głównie na materiale wyekscerpowanym z tomów DWOK: **P II** – Kolberg Oskar (1963a), *Pokucie, Dzieła wszystkie*, t. 30, Kraków – Poznań; **P III** – Kolberg Oskar (1963b), *Pokucie, Dzieła wszystkie*, t. 31, Kraków – Poznań; **Rk II** – Kolberg Oskar (1971), *Ruś karpacka, Dzieła wszystkie*, t. 55, Wrocław – Poznań oraz nagraniach własnych sporządzonych w trakcie badań terenowych w rejonie kołomyjskim, Ukraina (tu: w. **Utoropy**, pieśni zanotowałam od Marii Petriwny Boldysz i Anastazji Sabadasz, wrzesień 2004; lipiec 2005).

⁴ „Smutne i beznadziejne jest życie wdowy. Pieśni nazywają ją biedną wdową” (Франко 1980: 243).

pojawiania się kolekcji 'wdowa i dzieci' (por. wyżej: Utoropy), pozwalają przypuszczać, że fakt posiadania męża przez kobietę rozumiany jest tu podobnie jak zarysowuje to w odniesieniu do polskich pieśni Jerzy Sierociuk. Analogiczną formułą dla polskiego: *ja kawaler, / a ty wdowa* jest tu ukraińskie: *a ja kozak na konyku, / a ty wdowa do wiku* (P II 108).

Podobnie jak w obrazie polskiej pieśniowej wdowy, ukraińska również jest kobietą młodą. Młodość wdowy denotuje zawartość fasety Obiekt: jest ona – na równi ze swoją córką – przedmiotem zalotów ze strony młodych kozaków. Wpisując wdowę w model uwodzonej dziewczyny tradycja sprawia, że obraz wdowy konotuje fakt przekroczenia granic porządku społecznego, moralnego, czasowego oraz zasadza się na pewnej dysharmonii, zakłóceniu. Podkreśla to zastanawiający szereg właściwości przypisywanych pieśniowej wdowie. W obrębie pieśni o wdowie uwodzącej kozaków, w których nie rozpoznaje ona swoich synów, pojawiają się trzy równoległe, przypisywane równocześnie temu samemu obiektowi, a pozostające we wzajemnej znaczeniowej sprzeczności cechy: młoda, stara i głupia (*Hoj ty wdowo mołoda, / jaka stara taj durna* – P II 35).

Właściwości **młoda** i **stara**, jak się wydaje, nie służą określeniu wieku kobiety, ale jej stanu, kondycji – nazwijmy ją – społecznej. Młodość wnosi tu konotacje tradycyjnie przynależące językowemu obrazowi dziewczyny – panieństwo, status bycia panną „na wydaniu”, skłonność do flirtu, zainteresowanie młodymi mężczyznami etc., czyli wszystko to, co wyraża się również w działaniu pieśniowej wdowy, buduje jej aktywność (i jak wskazuję wyżej, w równym stopniu tworzy obraz polskiej pieśniowej wdowy). Znaczenie to wzmacnia fakt, że podobnie jak dziewczyna – wdowa znajduje się blisko wody, podejmując jedną z kobiecych pieśniowych czynności, jaką jest czerpanie wody (*wiszła wdowa po wodu*: P II 35; 37)⁵.

Starość wdowy wynika z jej przeszłości, rzeczywistej – w sensie tomistycznym, odpowiadającej prawdzie – kondycji: miała już męża, a teraz jest matką dorosłych dzieci (tu: kozaków, których uwodzi i córki „na wydaniu”), pokonała zatem całą drogę życia należną kobiecie, spełniła swoje życiowe zadania. Starość jest w tym kontekście znamieniem zebranego doświadczenia, dopełnienia życiowych ról.

Głupota wdowy wynika zaś z niezrozumienia znaków czasu. Nie rozpoznając swoich synów, nie rozpoznaje także i samej siebie jako matki. Ktoś, kto nie wie, kim jest i jakie jest należne mu w świecie i między ludźmi miejsce, jest głupi – nie zasługuje na szacunek.

Abstrahując od specyfiki balladowego obrazowania postaci, warto przyjrzeć się ukształtowaniu językowego obrazu wdowy w lirycznych gatunkach ukraińskich pieśni. W dalszym ciągu głównymi komponentami znaczeniowymi pozostają tu młodość, samotność i powiązane z nimi kontekstowo przeżycia, takie jak smutek, żal, tęsknota. Wdowa nader rzadko występuje tu w kolekcji z dziećmi (jeśli pojawiają

⁵ Współwystępowanie w twórczości ludowej kobiety i wody to nie tylko efekt konotacji wód jako żeńskich i płodnych (Kowalski 1998). Rzeka to granica, która dzieli ludzi (jej przekroczenie zaś łączy ich), ale i etapy życia, stany, stąd podać rękę przez rzekę to tyle, co wyjść za mąż (SSiSL 1999: 257). Woda to także początek i koniec miłości, miejsce zalotów, to tu pojawia się kochanek, tu dziewczyna czerpie wodę, co eufemizuje czynność oznaczającą współżycie (Bartmiński 1974). Urszula Majer-Baranowska podaje kompleks *pole/ogród i krynica* jako w sposób ustalony towarzyszący dziewczynie w funkcji tła dla dokonujących się zalotów (SSiSL 1999: 280).

się, są to zwykle małe dzieci: *dribni dity* – Utoropy). To zaś, co specyficzne w tym obrazie, najbardziej interesujące, to znaczenia narastające w obrębie materiału językowego zgromadzonego wokół faset Lokalizacja i Czynności obiektu.

Ukraińska pieśniowa wdowa przedstawiana jest podczas pracy w polu – zbiera i rozkłada do suszenia len (*Oj, popid haj zełeneńkij, / brała wdowa lon toneńki* – Rk II 507), wygania w pole wołu, sama pozostając w domu (*a wdowońka seretońka / wole wyhaniaje. / / Idy wole w czyste pole / taj pasy ty same* – Utoropy), lub wykonuje inne kobiece prace wiążące ją z domem, np. przędzie (Utoropy). Wszystkie one na poziomie symbolicznym wyrażają treści obrazujące wdowę jako kobietę, której płodność i gotowość do współżycia nie zostaną zrealizowane. Len to roślina symbolizująca niewiastę, czystość i wierność, wykazuje powiązania z obrzędowością weselną. Dziewczeta wysiewały len lub sypały ziarna lnu do pościeli, by zwabić do domu przyszłego małżonka. Obfity plon lnu w magiczny sposób wiązał się z płodnością dziewczyny, która go zasiewała (Szczęśniak 2008: 208–11). Zatem wdowa zbierająca z pola len płacze nad sobą i brakiem mężczyzny, który nadałby sens jej płodności (*A jak brała, taj płakała, / jak stełyła, tó tużyła* – Rk II 507). Tę samą treść wyraża motyw wypędzania samotnego wołu w pole. Pasanie wołków jest w pieśniach ludowych czynnością symboliczną i znaczy tyle, co ‘współżyć’ (Sierociuk 1980: 243). Figura wdowy, która wygania wołu, sama pozostając w domu, wyraża niemożność podjęcia aktywności seksualnej pomimo posiadanej potencjalnej gotowości (*bo nemaje hospodare, / ne pide za wamy* – Utoropy). Symboliką erotyczną obarczona jest również czynność przędzenia (Wężowicz-Ziółkowska 1991: 152), wskazuje na upływający czas (Krawczyk-Tyrpa 1999: 431).

Spośród lokalizacji wyrażających symbolicznie gotowość do miłości należy wymienić konteksty, w których młoda wdowa wychodzi spod drzewa – derenia (*a z pid toho derena / wyszła wdowa młoda* – P II 35; 37), przebywa w okolicy wody (*wzięła wdowa wodu brat’* – P II 35; 37) lub pod zielonym gajem (*Oj, popid haj zełeneńki / brała wdowa lon toneńki* – Rk II 507). Erotyczne konotacje wody omówiłam wyżej, zaś motyw drzewa, lasu, gaju z jednej strony – jako „(...) kraniec znanego, swojego, oswojonego świata, miejsce stanowiące horyzont” (Bracki 2002: 179) – wyraża otwarcie na to, co dopiero przyjdzie, na nowe sytuacje i kontakty. Z drugiej – nawiązuje do kręgu znaczeń koncentrujących się wokół motywu ogrodu, sadu, zaczerpniętego z językowego obrazu pieśniowej dziewczyny. Należący do wdowy rozkwitający ogród (*Taj u mojim horodeczku / rozmajeni kwity, / taj wziev by ty za żinoczku...* – Utoropy 1) wnosi takie konotacje jak młodość, vitalność, płodność, często też symbolizuje kobiecą płciowość⁶.

Na osi pieśniowego czasu ukraińska wdowa jest kobietą młodą – konotuje takie cechy jak nieszczęśliwość i samotność, charakteryzuje ją podobieństwo do pieśniowej dziewczyny ze względu na otwarcie tej postaci w przyszłość, jest znakiem zakłóconego porządku kobiecego życia, w którym vitalność i płodność ulegają zmarnotrawieniu przez zawieszenie w pustce. Co interesujące, pieśniowa **baba**, która traci męża, nie wkracza w ramy modelu wdowy, lecz realizuje motyw śmierci małżonka

⁶ W odniesieniu do pieśniowej dziewczyny zielony ogród, porośnięty trawą, zieleń, barwinkiem symbolizuje nienaruszoną kobiecość, dziewictwo (*A je w moim ohorodi / trawyci zełena – / ne хочzu si widdawaty, / czekaju Semena* – P III 338) (por. Bartmiński 1974; Wężowicz-Ziółkowska 1991).

w zupełnie odmienny sposób – jako moment radosnej wolności, zgodnie z prawdą ujętą przez Iwana Frankę w odniesieniu do ukraińskich pieśni: „Niewola kobiety kończy się wraz ze śmiercią męża” (Франко 1980: 243).

Literatura

- Bartmiński J., 1973, *O języku folkloru*, Wrocław.
- Bartmiński J., 1974b, „Jaś koniki poił”. *Uwagi o stylu erotyku ludowego*, „Teksty”, nr 2, s. 11–24.
- Bracki A., 2002, *Słowiańskie pieśni ludowe. Problem rozumienia tekstu*, [w:] Ю.А. Катунин (red.), *Культура народов Причерноморья*, Jalta, s. 376–82.
- Cercha S., 1900, *Przebieczany, wieś w powiecie wielickim*, ME IV, s. 81–210.
- Dworakowski S., 1935, *Zwyczaje rodzinne w powiecie wysokomazowieckim*, Warszawa.
- Gonet S., 1909, *Śpiewki z okolicy Andrychowa*, Lud XV, s. 108–36.
- Jagiełło J., 1975, *Polska ballada ludowa*, Wrocław.
- Kapецówna A., 1927, *Nazwiska ludowe ze wsi Poręba Wielka powiatu limanowskiego*, „Język Polski”, t. XII, Kraków, s. 173–178.
- Kolberg O., 1865, *Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa...*, Seria I, Sandomierskie, Warszawa.
- Kolberg O., 1879, *Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa...*, Seria XII, W. Ks. Poznańskie, cz. IV, Kraków.
- Kowalski P., 1998, *Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie*, Wrocław–Warszawa.
- Krawczyk-Tyrpa A., 1999, *Atrybuty mężczyzn i kobiet utrwalone w polszczyźnie*, [w:] J. Adamowski, S. Niebrzegowska (red.), *W zwierciadle języka i kultury*, Lublin, s. 427–33.
- Lubicz R., 1893, *Przyczynki do nowego słownika języka polskiego*, PF IV, s. 173–279.
- Magierowski L., 1889, *Kilka wiadomości o ludzie polskim ze wsi Wesołej w pow. brzozowskim*, Zb XIII, s. 151–62.
- Majer U., 1980, *Kochać* [w:] SLSJ, s. 83–118.
- Pauli Ź., 1838, *Pieśni ludu polskiego w Galicji*, Lwów.
- Pyrek J., 1906, *Piosnki żołnierskie*, Lud XII, s. 233–49.
- Saloni A., 1899, *Lud wiejski w okolicy Przeworska*, Wisła XIII, s. 223–48.
- Sierociuk J., 1980, *Wół*, [w:] SLSJ, s. 240–53.
- Sierociuk J., 2003, *O wdowie z pieśni ludowej, czyli językowo-kulturowy kontekst małżeństwa w polszczyźnie*, [w:] J. Gardzińska, A. Maciejewska (red.), *Znak językowy w pejzażu semiotycznym*, Siedlce, s. 170–178.
- Szcześniak K., 2008, *Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny*, Gdańsk.
- Tomaszewski A., 1934, *Mowa ludu wielkopolskiego. Charakterystyka ogólna*, Poznań.
- Udziela S., 1891, *Lud polski w pow. ropczyckim w Galicji*, Zb XV, s. 5–180.
- Wężowicz-Ziółkowska D., 1991, *Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku*, Wrocław.
- Witanowski M.R., 1893, *Lud wsi Stradomia pod Częstochową. Szkic etnograficzny*, Zb XVII, s. 14–135.
- Франко І., 1980, *Жіноча неволя в руських піснях народних*, [w:] І. Франко, *Твори. У 50 т.*, т. 26, Kijów, s. 210–253.

Skróty

- Hrin – Грінченко Б., *Словарь української мови*, t. I–IV, Kijów 1907.
- Janów – Janów J., *Słownik huculski*, oprac. Janusz Rieger, Kraków 2001.
- Lud – „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, Lwów..., Wrocław, od 1895.
- ME – Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. I–XIV, 1896–1919.
- PF – *Prace Filologiczne*, Warszawa od 1885.
- SLSJ – *Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny*, red. J. Bartmiński, C. Hernas, Wrocław 1980.
- SSiSL 1999 – *Słownik stereotypów i symboli ludowych*, red. J. Bartmiński, t. I: *Kosmos*, cz. 2: *Ziemia, woda, podziemie*, Lublin.
- Wisła – „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny”, I–XX, Warszawa 1887–1917.
- Zb – *Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności*, I–XVIII, Kraków 1877–1895.

Языковая картина женщины в польских и украинских народных песнях

Резюме

В статье представлено важнейшие смысловые компоненты языковой картины вдовы. На основе народных песен проведено сравнение польского и украинского (гуцульского) образца этого значения.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Wiesław Witkowski

Zarys historii zewnętrznej języków wschodniosłowiańskich od połowy XIV w. do początków XVIII w.

W połowie XIV w. ziemie ruskie znajdowały się już w stanie daleko posuniętej dezintegracji politycznej i kulturalnej. Na północno-wschodniej ich części, podbitej w większości sto lat wcześniej przez Tatarów, istniało kilka rywalizujących między sobą organizmów państwowych (głównie księstw), wśród których dominujące miejsce zajmowały Moskwa (od 1328 r. rezydencja metropolity) i Nowogród Wielki, wyróżniający się swoim na wpół republikańskim ustrojem.

Na południowy zachód od tych obszarów (nazywanych przynajmniej do XVI w. Rusią Zaleską) rozciągały się ziemie, zamieszkałe głównie przez ludność wschodniosłowiańską, jakie – z wyjątkiem Rusi Halickiej, inkorporowanej do Polski przez Kazimierza Wielkiego – wchodziły już przynajmniej od kilku dziesięcioleci w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zawarta w Krewie w 1386 r. unia polsko-litewska, inicjująca ściślejsze związki między tymi dwoma państwami, określiła na szereg dalszych stuleci bardzo podobny rozwój społeczny i kulturalny wszystkich podległych im ziem ruskich.

Oprócz pamięci o nie tak dawnej przecież wspólnocie w ramach Państwa Kijowskiego łączyła niewątpliwie wszystkich Słowian Wschodnich bogata obrzędowość prawosławna, kultowy język cerkiewnosłowiański a wreszcie inspiracje literackie czerpane za pośrednictwem południuosłowiańskim z Carogrodu. O ile jednak Ruś Zaleską cechowała, zaszczerpiona zapewne przez Greków, odraza do wszystkiego co zachodnie, „papieżnickie”, o tyle Ruś Zachodnia, zachowując pieczołowicie własne tradycje, potrafiła adaptować z pożytkiem dla siebie niektóre struktury organizacji społecznej właściwe „łacinnikom”. Ziemiaństwo ruskie przyswajało sobie po części zwyczaje a stopniowo też i prawa przysługujące szlachcie polskiej, prawosławni zaś mieszczenie korzystali z możliwości wstępowania do cechów¹, podstawy organizacyjnej późniejszych bractw cerkiewnych.

Dostępne nam dzisiaj źródła do dziejów Słowiańszczyzny Wschodniej nie zawierają żadnych bezpośrednich informacji o szkołach na Rusi przed końcem XVI w.

¹ Prawo magdeburskie w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego wprowadzać zaczęto w zasadzie dopiero pod koniec XV w. Jedynie Wilno otrzymało je z rąk Jagiełły już w 1387 r.

Jedynie w pochodzących z XIV i XV stulecia żywotach ruskich świętych znaleźć można wzmianki o tym, że ich bohaterowie rozpoczynali naukę „gramoty” w siódmym roku życia, jedna zaś z miniatur żywotu Sergiusza Radonieńskiego przedstawia, jak się zdaje, nauczyciela (diaka) z grupką uczniów². Z pewnością przecież w umiejętności tej kształcono wówczas przede wszystkim (jeśli nie wyłącznie) kandydatów do stanu duchownego. Chlubny wyjątek w tym zakresie stanowił Nowogród Wielki i jego okolice, np. Stara Rusa. Dzięki prowadzonym na owych terenach od lat pięćdziesiątych XX w. badaniom archeologicznym, które pozwoliły wydobyć na światło dzienne setki gramotek na korze brzoźowej, mamy prawo zakładać, że sztuka czytania i pisania była tam dość powszechna również wśród ludności świeckiej obu płci. I to już przynajmniej od XII w.³

Język cerkiewnosłowiański czternastowiecznej Rusi, język jej ksiąg liturgicznych i całego prawie (poza gramotami) pozostałego piśmiennictwa nie był już tym samym językiem, jaki znamy np. z Ewangeliarza Ostomira (1056–1057). W ciągu trzech stuleci ulegał on stopniowym zmianom, które zbliżyły go w pewnym stopniu do ówczesnej mówionej ruszczyzny. Ten proces nieuchronnej – jak by się mogło zdawać – ewolucji został przecież właśnie pod koniec XIV w. powstrzymany wyraźnie oddziaływaniem silnych tendencji zachowawczych, które historycy kultury nazywają drugim wpływem południowsłowiańskim. Wpływ ten, wywołany okresowym ożywieniem kontaktów między wschodnią a południową słowiańszczyzną, przejawiał się we wprowadzaniu do tekstów pisanych na Rusi tych różnorodnych zmian graficznych, fonetycznych, morfologicznych, składniowych i leksykalnych, jakie wedle poglądów tyrnowskiej szkoły patriarchy Eutymiusza przywrócić miały piśmiennictwu cerkiewnosłowiańskiemu jego pierwotną, cyrylometodejską postać. Zewnętrzne, tj. graficzno-ortograficzne ślady tego wpływu przetrwały stosunkowo długo na Ukrainie, gdzie sporadycznie trafiały się jeszcze i w drukach drugiej połowy XVII w. Jednakże znacznie głębiej i trwalej odbiły się one w strukturze gramatycznej i leksyce piśmiennictwa Rusi Zaleskiej⁴.

W okresie od drugiej połowy XV w. do pierwszych dziesięcioleci XVI w. granica między Wielkim Księstwem Moskiewskim a Wielkim Księstwem Litewskim przesunęła się dość znacznie na zachód. Jednakże nie tyle ta nowa i już względnie stabilna, ile właśnie dawniejsza, owa z XIV i XV w. zaznaczyła się w tamtejszej ruszczyźnie całym pękiem wyrazistych izoglos, odgraniczających w znacznej mierze i do dziś gwa-

² Zob. Б.А.Рыбаков, *Просвещение*, [w:] *Очерки русской культуры XIII–XIV веков*, ч. 2, Москва 1970, s. 162.

³ Zanik zwyczaju posługiwania się korą brzoźową jako materiałem piśmienniczym w drugiej połowie XV w. wiąże się, być może, z ostatecznym podbiciem ziem nowogrodzkich w 1478 r. przez Wielkie Księstwo Moskiewskie Iwana III.

⁴ To właśnie w efekcie tego wpływu utrwaliły się w niej (a nawet poszerzyły zakres swojego użycia) takie bardzo typowe cechy fonetyki s.-c.-s. jak št, žd (przede wszystkim z prasłowiańskiego tj i dj) czy, przykładowo, grupy TraT, TlaT (odpowiadające ruskim ToroT, ToloT), taka bardzo typowa właściwość słowotwórstwa s.-c.-s., jaką stanowiły wyrazy złożone, taka bardzo typowa osobliwość (archaizm) morfologii s.-c.-s., jaką stanowił system czterech imiesłów odmiennych, czy wreszcie taka, utworzona na wzór grecki, konstrukcja składniowa, jaką był w ruskiej cerkiewszczyźnie przynajmniej do XVII w. celownik niezależny.

ry białoruskie i ukraińskie od gwar wielkoruskich⁵. Prócz tego, co z pewnością nie mniej ciekawe i znaczące, granica owa zachowała się przynajmniej aż do początku XX w. w świadomości tamtejszych mieszkańców. Olaf Broch, znakomity sławista norweski, który wyniki swoich badań nad gwarami dawnego pogranicza rosyjsko-białoruskiego opublikował w książce *Говоры к западу от Мосальска* (Петроград 1916), podaje tam (s. 88), że mieszkańcy wschodniej części działu wodnego między rzeką Ugrą i rzeką Bołwą nazywali powszechnie tereny położone na zachód od nich Polska. Broch odnotował ów fakt czterysta lat po tym, jak przestała tam istnieć granica z Wielkim Księstwem Litewskim!

Ale też właśnie Polska, a ściślej ówczesna jej stolica – Kraków – stała się miejscem wydarzenia, jakie zapoczątkowało ważny etap w dziejach kultury (w tym też i w dziejach języka) całej szesnastowiecznej Rusi. Około 1491 r., a więc na przedświecie epoki Odrodzenia przybysz z Frankonii, student krakowskiej wszechnicy, Schweipolt Fyol wydał tam cztery księgi liturgiczne Kościoła Wschodniego: *Oktoich*, *Czasosłow* i dwa *Triodiony*. Tymi to bowiem publikacjami rozpoczęła się światowa historia cyrylicznego drukarstwa.

Natomiast już całkiem epizodycznie, bo tylko dwoma latami studiów, związał się z podwawelskim grodem pierwszy białoruski humanista i jeden z pierwszych słowiańskich krzewicieli czarnej sztuki – Franciszek Skoryna⁶. Jego biblijne druki praskie (a także, choć już w mniejszym stopniu, wileńskie) oprócz ich nie dającego się przecenić znaczenia kulturalnego, tworzą bardzo ważny początkowy etap rozwoju opartej na cerkiewszczyźnie – ale z widoczną (osobliwie w leksyce i składni) przymieszką żywej mowy – odmianki zachodnioruskiego (białoruskiego) języka literackiego.

Prekursorska działalność wydawnicza Skoryny nie prędko znalazła kontynuatorów na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsze, niezbyt fortunne choć bardzo ciekawe próby drukowania cyrylicą podjęły dopiero w latach sześćdziesiątych XVI w. dwie efemeryczne drukarnie nowowiercze: jedna – Kawieczynskiego w Nieświeżu, druga – Ciapińskiego o nieznanej lokalizacji. Mniej więcej równocześnie z nimi tłoczył w Zabłudowie na zlecenie i koszt Grzegorza Chodkiewicza księgi cerkiewne uciekinier z Moskwy Iwan Fiodorow. Nie jemu jednak, lecz wileńskim Mamoniczom przypisuje się największe zasługi w dziele upowszechniania pod koniec XVI w. druków cyrylicznych na Rusi Zachodniej. Przede wszystkim oczywiście ksiąg liturgicznych, jakie zresztą w znacznych ilościach eksportowano do Moskwy i krajów południowosłowiańskich. Ale nie tylko. To właśnie Mamonicze na zlecenie Lwa Sapiehy zrealizowali w 1588 r. druk Statutu Litewskiego, będącego razem monumentalnym zabytkiem prawodawstwa i języka białoruskiego. To oni dwa

⁵ W. Kuraszkiewicz, *Ugrupowanie języków wschodniosłowiańskich*, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XIV, Kraków 1955, s. 99–100.

⁶ O początkowym okresie jego życia wiemy bardzo mało. Do Krakowa przybył on nie później niż w 1504 r., aby w tutejszej akademii kontynuować naukę, jakiej podstawy opanował u katolickich duchownych (prawdopodobnie bernardynów) w rodzinnym Połocku. Już jako krakowski bakałarz wyruszył do Italii. W roku 1512 zdobył na uniwersytecie padewskim tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W latach 1517–1519 wydał w Pradze 24 księgi Starego Testamentu. Niestety, nie udało mu się dokończyć tego pomnikowego przedsięwzięcia. Wraca do kraju, osiada w Wilnie i tu w drukarni własnej, wspierany przez Jakuba Babicza, kończy swoją działalność drukarską dwiema jeszcze książkami.

lata wcześniej opublikowali inny, zredagowany również w języku białoruskim druk świecki – *Трибуналь обывателямъ Княжества Литовского*. To u nich (także w 1586 r.) wydany został w niewielkim nakładzie pseudodamaskinowy traktat gramatyczny pod tytułem *Кграматыка славеньска языка*.

Tym, czym dla Rusi litewskiej byli Skoryna i Mamonicze, dla szesnastowiecznej Rusi koronnej stał się, przybyły około 1572 r. do Lwowa, Iwan Fedorowycz (onże Fiodorow) – impresor lwowskiego *Apostoła*, dwu elementarzy-bukwarów (1574 i 1578), przede wszystkim zaś przesławnej *Biblij Ostroskiej* (1581). Wkrótce po jego śmierci (bo już w 1586 r.) owocną działalność wydawniczą podjęła i przez szereg stuleci prowadziła lwowska drukarnia bracka.

Na Ruś Zaleską (a ściślej: wyłącznie do Moskwy) sztuka typograficzna dotarła niechybnie już pod koniec lat pięćdziesiątych XVI w. Pochodzące z anonimowej drukarni najdawniejsze kitajgorodzkie Ewangeliarze cechuje prymitywna technika tłoczenia i brak kart tytułowych. Pierwszym znanym z imienia drukarzem rosyjskim był wspomniany parokrotnie wyżej Iwan syn Fiodora, wydawca moskiewskiego *Apostoła* z 1564 r. Po jego wymuszonej ucieczce do Rzeczypospolitej kilka innych ksiąg liturgicznych wytłoczył pod koniec tegoż stulecia jego uczeń – Andronik Timofiejewicz o przezwisku Niewieża.

Jak widać z powyższego, szesnastowieczne drukarstwo wschodniosłowiańskie nie naruszyło – poza Białorusią – dominującej dotychczas roli cerkiewszczyzny. Nie zepchnęło też na dalszy plan literatury rękopiśmiennej, w jakiej zresztą znacznie wyraźniej i bogaciej odzwierciedlały się tendencje do wypierania mało zrozumiałej mowy ksiąg kultowych przez żywy język miejscowej ludności ruskiej. Przy czym również i tutaj przodujące miejsce przyznać wypadnie piśmiennictwu białoruskiemu. W nim bowiem najwcześniej zaczął się formować, związany z rodzimym podłożem, język szeroko rozumianej beletrystyki. Pierwsze znane nam, pochodzące z końca XV w., utwory tego typu wykazują jeszcze dość znaczne zróżnicowanie językowe: w utworach rodzimych (*Opowieść o Borysie i Glebie*, *Żywot Eufrozyny Połockiej*) przeważa, uwarunkowany zarówno tradycją jak też tematyką, żywioł cerkiewny, natomiast w utworach tłumaczonych dominuje już wyraźnie nie wolny od wtrętów zachodniosłowiańskich mówiony język miejscowy. Ów typ języka właściwy jest całej bodaj szesnastowiecznej literaturze przekładowej. I to niezależnie od tego, czy czerpała ona ze źródeł polskich czy też serbskich.

Mimo iż stosunki społeczno-kulturalne na koronnych ziemiach ruskich nie odbiegały w znaczący sposób od stosunków, jakie panowały na ówczesnej Rusi litewskiej, to przecież przyczyny i zakres zmian jakościowych języka szesnastowiecznego piśmiennictwa ukraińskiego były (jak możemy sądzić na podstawie zachowanych zabytków) odmienne od opisanych powyżej. O ile bowiem na gruncie białoruskim główną przyczyną wypierania zakorzenionej od wieków cerkiewszczyzny przez żywy język miejscowej ludności ruskiej było oddziaływanie wzorów importowanej literatury świeckiej, o tyle tutaj, przede wszystkim na Naddniestrzu, zasadniczy impuls do przeprowadzania tychże zmian przyniósł religijny ruch reformacyjny. Pierwsi, nie zawsze znani nam z imienia propagatorzy nauki luteranńskiej, kalwińskiej czy ariańskiej przekładają (z różnym zresztą efektem) Ewangelię i inne księgi religijne „с польского языка на рѣчь русскую” na „мову простую”. I tak oto powstają: *Ewangeliarz Peresopnicki* (1556–1561), którego pisarze – archimandryta Grzegorz

i Michał z Sanoka – poza tekstem cerkiewnosłowiańskim i Szarfenbergowskim Nowym Testamentem (Kraków 1556) korzystali z luterńskiego wydania Ewangelii, dokonanego przez Seklucjana (Królewiec 1551), *Apostoł Krechowski* (z lat sześćdziesiątych XVI w.), oparty na tekście kalwińskiej *Biblii Radziwiłłowskiej* (Brześć 1563) czy Nowy Testament Wołyniaka Walentyna Nehalewskiego (1581) – przekład dokonany z Nowego Testamentu arianina Marcina Czechowica (Raków 1577)⁷.

Na Rusi Moskiewskiej wiek XVI nie przyniósł żadnych istotniejszych zmian językowych. Najbliższy do mówionego tzw. język kancelaryjny funkcjonował tu, jak i w poprzednich stuleciach, jedynie w drugim, pozaliterackim obiegu, tj. w zabytkach prawno-administracyjnych i bytowo-gospodarczych. Nie rozszerzały jego funkcji i nie sprzyjały jego doskonaleniu przekłady beletrystyki z obcych żywych języków, jako że takich nie było komu i nie było dla kogo dokonywać. Nie stał się on też nośnikiem zachodnich idei reformacyjnych, których głosiciele nie mieli wstępu do najpotężniejszej już wówczas twierdzy bizantyjskiej ortodoksji. Dawniejsze, trudno dziś powiedzieć czy w pełni świadome próby wprowadzania elementów żywego języka do piśmiennictwa innych gatunków, np. do *Задонщины* czy do opisu podróży do Indii twerskiego kupca Nikitina, nie znalazły w XVI w. swojej kontynuacji. Nie stanowiły jej pisma Iwana Piereswietowa, który jako przybysz z zachodu nie może być uważany za wyraziciela tendencji językowych moskiewskich ludzi pióra.

A w środowisku tym autorytet cerkiewszczyzny był wówczas bodaj czy nie większy niż kiedykolwiek przedtem. Rosnącej w siłę Rusi Moskiewskiej, owemu proklamowanemu przez Filoteusza trzeciemu Rzymowi, którego władca ogłosił się w 1547 r. carem, metropolita zaś uzyskał w 1589 r. godność patriarchy, niezbędny był dla oficjalnego (a więc i świeckiego) użytku odpowiednio bogaty i odpowiednio wyrobiony język. A takim w warunkach moskiewskich była właśnie cerkiewszczyzna⁸.

Podczas gdy w dziejach kształtowania się kultury i języków Rusi Zachodniej wiek siedemnasty zaczął się praktycznie już w ostatnich poprzedzających go dziesięcioleciach, to na Rusi Wschodniej początki zmian językowych właściwych temu stuleciu wystąpiły wyraźniej dopiero w kilkanaście lat po 1600 roku.

Dwa były główne źródła, dwie główne przyczyny zmian kulturalno-językowych na Rusi Zachodniej pod koniec XVI w.: rozwój ilościowy i jakościowy szkół

⁷ Krótką ale bardzo cenną informację, rzucającą jasne światło na charakter „prostej mowy”, na jej stosunek zarówno do cerkiewszczyzny jak też do polszczyzny, daje nam właśnie sam Nehalewski, gdy w przedmowie do swego przekładu wyjaśnia przyczyny, jakie go do podjęcia owego dzieła skłoniły. Pisze on tam mianowicie, że uczynił to „...за намовою и напominаниєм многихъ учоныхъ, богобойныхъ а слово божее милующихъ людей, которые писма польскаго читати не умыють а языка словенскаго читаючи писмомъ русскимъ выкладу з словъ его не розумѣють...” Wynikałoby więc z tego, że przekład ów dokonany został dla ludzi, posiadających sztukę czytania tekstów w alfabecie cyrylickim (piśmie ruskim), nie rozumiejących jednak języka cerkiewnosłowiańskiego (słowiańskiego). Dla ludzi zarazem, którym nieznajomość alfabetu łacińskiego (tylko alfabetu!) była przeszkodą w korzystaniu z istniejących już wydań ksiąg biblijnych w języku polskim.

⁸ Oczywiście umiejętność posługiwania się tym martwym i nawet dla bardziej wykształconego wyższego duchowieństwa niezbyt zrozumiałym językiem wymagała długich i żmudnych ćwiczeń. To też tym większe uznanie wzbudzić w nas musi sprawność do jakiej w używaniu go dochodzili (nieliczni co prawda) szesnastowieczni pisarze. Między innymi również car Iwan Groźny.

prawosławnych tudzież powstanie bogatej literatury polemicznej związanej z kościelną Unią Brzeską. Funkcjonujące dotychczas – nie sposób dziś ustalić jak liczne – elementarne szkółki ruskie przy cerkwiach czy przy monasterach, nastawione głównie na kształcenie kleru, w znikomym tylko stopniu mogły służyć ludności świeckiej. Zresztą bardziej przedsiębiorcza a żadna wiedzy młodzież ruska zapisywała się na uniwersytet krakowski bądź nawet i na uczelnie zagraniczne. Tak na przykład zdobywali tytuły i godności naukowe Jurij Kotermak czy Franciszek Skoryna. Teraz jednak, pod koniec XVI w., w sytuacji, gdy na ziemiach litewsko-ruskich Rzeczypospolitej z jedne strony szerzyły coraz to bardziej swoje nauki Kościoły reformowane, z drugiej strony organizować zaczęli swoje szkoły jezuiti (w 1570 r. w Wilnie, w latach osiemdziesiątych w Połocku i Nieświeżu, pod koniec stulecia w Grodnie i Jarosławiu), ludność prawosławna poczuła się poważnie zagrożona i musiała podjąć niezbędne działania obronne.

Pierwszą szkołę o wyższym od dotychczasowego i wszechstronniejszym programie nauczania ufundował jeszcze przed 1580 r. w swojej rodowej siedzibie książę Konstanty Wasyl Ostrogski. Za jego przykładem i wzorem zaczęły organizować swoje szkoły co bogatsze bractwa cerkiewne: we Lwowie w 1586 r., w Wilnie i w Kijowie w 1588 r., w Mińsku i w Brześciu w 1592 r. z początkiem zaś XVII w. – dalsze. Nowe szkoły wymagały nowych podręczników. Nie wystarczało im ani wspomniane już wyżej skromniutkie wileńskie kompendium gramatyczne z 1586 r., ani elementarze Iwana Fedorowicza. Na szczęście znaleźli się ludzie biegli w sztuce gramatycznej i słownikarskiej, którzy potrafili zaspokoić powstałe zapotrzebowanie. W 1591 r. we Lwowie staraniem tamtejszego bractwa (stąd jej tytuł *Аделфотисъ*) wyszła drukiem gramatyka grecka z równoległym przekładem cerkiewnosłowiańskim. W 1596 r. Lawrenty (Wawrzyniec) Zizani wydał w Wilnie gramatykę cerkiewnosłowiańską i niedatowany słowniczek języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z tłumaczeniem tzw. prostą mową. Wszelako nie te pierwsze, lecz nieco późniejsze prace ukraińskich filologów – gramatyka Melecjusza Smotryckiego i leksykon Pamby Beryndy – przyczyniły się szczególnie do podniesienia znajomości języka cerkiewnosłowiańskiego wśród prawosławnej ludności wschodniej Europy i stały się szczytowym osiągnięciem siedemnastowiecznej nauki ukraińskiej⁹.

Niechybnie przecież z podręczników Smotryckiego i Beryndy korzystali słuchacze pierwszej półwyższej uczelni prawosławnej na ziemiach ruskich, jakim było Kolegium Kijowskie. Kolegium to, utworzone w 1632 r. na bazie szkoły brackiej i ławrskiej przez metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę (i stąd nazywane Kolegium

⁹ Wydana w Jewiu w 1619 r. książka Melecjusza Smotryckiego nosi tytuł *Грамматику словенскія правильное свнтазма*. W przekładzie na polski – *Prawidłowe zestawienie gramatyki cerkiewnosłowiańskiej*. A o tym, że zestawienie to było jak na owe czasy bardzo udane i przydatne, świadczy najdobitniej fakt, iż stanowiło ono przez nieomal półtora stulecia najbardziej autorytatywne źródło wiedzy o języku starocerkiewnym. Wszystkie zaś nieco późniejsze drukowane gramatyki były bądź to jego reedycjami, bądź przeróbkami. Podobnie rzecz się miała ze słownikiem Pamby (Pawła) Beryndy. Jego *Леґіконъ славеноросскій и именъ тлѣковніе* (wydanie pierwsze – Kijów 1627, wydanie drugie – Kuteino 1653), zaplanowany zapewne jako komentarz językowy dla studiujących Pismo Święte (stąd ów rozbudowany dział onomastyczny), stał się w praktyce tworem autonomicznym, bogatym (liczącym blisko siedem tysięcy wyrazów hasłowych) zbiorem leksyki cerkiewnosłowiańskiej, z jakiego czerpali obficie wszyscy późniejsi autorzy prac tego typu aż do początku XVIII w.

Kijowsko-Mohylańskim) miało kształcić przede wszystkim kadry wyższego duchowieństwa. Że jednak program jego obejmował szeroko zakrojone studia filologiczne, wielu jego absolwentów, osobliwie w późniejszym okresie, po przyłączeniu Kijowa do Rosji pełniło obowiązki nauczycieli również na ziemiach wielkoruskich, szerząc oświatę typu zachodniego w państwie carów.

Drugą, jak już było wspomniane, przyczyną zmian kulturalno-językowych na Rusi Zachodniej był rozwój bogatej literatury polemicznej, związanej z kościelną Unią Brzeską 1596 r. Powstrzymując się tutaj od merytorycznej oceny tego wydarzenia, musimy przecież podkreślić wyraźnie i zdecydowanie jego pozytywne skutki dla rozwoju języka publicystyki na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej. I to tym bardziej, że w żywej i bogatej polemice między przeciwnikami i zwolennikami połączenia obu Kościołów szlifowała się nie tylko i nie tyle nawet ruska cerkiewszczyzna, ile właśnie wspomniana już parokrotnie „prosta ruska mowa”. Mowa, za której pośrednictwem szerzone w polemicznych drukach idee były w stanie dotrzeć do szerokich kręgów odbiorców, nie obytych dostatecznie z uczonym językiem „słowieńskim”. Dokonana wówczas pełna nobilitacja żywego języka zachodnioruskiego przyczyniła się rychło do powstawania w ciągu całego XVII w. licznych publikacji zarówno o tematyce religijnej jak i świeckiej, pisanych zarówno prozą jak i mową wiązaną. Ze sporej liczby ówczesnych ludzi pióra wspomnieć tu można przykładowo choćby Damiana Naliwajkę (rodzonego brata Semen!), Kasjana Sakowicza, Kirię Stawrowieckiego, Joannicjusza Galatowskiego czy Antoniego Radziwiłowskiego¹⁰.

Nieprzerwane, nawet jeśli stosunkowo ograniczone kontakty Rusi Moskiewskiej ze światem zewnętrznym sprzyjały przenikaniu do rosyjskiej cerkiewszczyzny sporej ilości zapożyczeń. Że były to jednak przeważnie importy leksykalne, nie naruszały one zasadniczo struktury języka i – co ważniejsze – nie naruszały odwiecznych relacji między językiem kancelaryjnym, powiązanim z żywą mową, a na wpół martwym językiem ksiąg kultowych i literatury, jaka w XVII w. bezpośrednio lub pośrednio służyła jeszcze głównie potrzebom Cerkwi. Pierwszego poważnego, choć nie od razu widocznego w tekstach wyłomu w istniejącym stanie rzeczy dokonały w okresie „wielkiej smuty” mało skądinąd chwalebne polskie dymitriady. Polacy w Moskwie – nie sami przecież lisowczycy – dawali możliwość Rosjanom zapoznawania się, nawet jeśli bardzo jednostronnego i powierzchownego, nie tylko z pewnymi przejawami obcej im kultury materialnej, lecz także z polskim językiem i jego funkcjami. To, co rozpoczęła magnacka zachłanność i szlachecka szabla, kontynuowały w następnych dziesięcioleciach setki ludzi różnego stanu (bo również rzemieślników i chłopów) z całej Rzeczypospolitej, którzy bądź to dobrowolnie, bądź jako jeńcy wojenni znajdowali swoją drugą ojczyznę w Moskwie. Im to, a w drugiej połowie stulecia także wychowankom Kijowsko-Mohylańskiego Kolegium, zawdzięczała kultura rosyjska upowszechnienie w państwie carów tłumaczonych z polskiego czy to na cerkiewszczyznę, czy też na język, jaki by można nazwać nawet moskiewską odmianką „prostej mowy” całego szeregu polskich i zachodnioeuropejskich utworów naukowych i literackich. Zaś kulturalne szczyty społeczeństwa rosyjskiego – świa-

¹⁰ Przynajmniej co czwarty spośród wszystkich pisarzy zachodnioruskich XII w., niezależnie od tego, czy posługiwał się on cerkiewszczyzną czy „prosta mową” pozostawił część swojego dorobku w języku polskim.

domość, że żywy, ogólnie zrozumiały język mógłby służyć również jako narzędzie wypowiedzi literackiej.

Zawdzięczały głównie w teorii. W praktyce bowiem przez kilka jeszcze dekad (właściwie aż do trzeciej ćwierci XVII w.) nawet w stołecznej Moskwie wszystko sprzyjało zachowaniu dotychczasowego stanu. O wyjazdach młodzieży za granicę dla pobierania tam nauki nawet mowy być nie mogło. Nieliczne siedemnastowieczne szkoły o poziomie wyższym od elementarnego, o jakich istnieniu coś wiemy (luterkańska w Niemieckiej Słobodzie od 1621 r., „grecka” przy Czudowskim monasterze od 1632 r. czy Rtiszczewowska przy Andriejewskim monasterze od lat czterdziestych) nie były w stanie wykształcić na odpowiednim poziomie dostatecznie licznej i dostatecznie wpływowej grupy ludzi, którzy by chcieli i mogli rozwijać własne piśmiennictwo na wzór europejski i wprowadzać doń potoczny język rosyjski. Należy przy tym mieć jeszcze na uwadze, że jedyna przez dłuższy czas drukarnia w całym państwie¹¹ – moskiewski Pieczatnyj Dwor – znajdowała się pod ścisłym nadzorem patriarchy, służyła w zasadzie potrzebom Cerkwi i w ciągu całego XVII w. wydrukowano w niej tylko siedem książek o tematyce świeckiej. W tym trzy – *Учение и хитрость ратнаго строенія...* (1647), *Уложение царя Алексея Михайловича...* (1649) i *Уставная грамота о пошлинахъ...* (1657) zostały na wyraźne polecenie carskie zredagowane w rosyjskim języku kancelaryjnym.

Istotne innowacje w systemie oświaty, warunkujące przyszłe zmiany w charakterze języka pisanego (przede wszystkim literackiego) zaszły dopiero pod sam koniec stulecia: w 1682 r. ogłoszony został Przywilej akademicki (Академическая привилегія), określający zadania przyszłej uczelni wyższego typu, a w pięć lat później przy Zaikonospaskim monasterze rozpoczęła działalność Słowiano-Greko-Łacińska Akademia, pierwsza na ziemiach rosyjskich szkoła, której absolwenci byli już w stanie nawiązywać kontakty z europejską myślą naukową. Jednakże jeszcze na przełomie XVII i XVIII wieku stosunki językowe w Rosji nie uległy żadnym widocznym zmianom. Świadczy o tym wyraźnie cytowana przez H.W. Ludolfa opinia samych ówczesnych Rosjan, wedle których „mówić należy po rosyjsku, pisać zaś po cerkiewnosłowiańsku” (...apud illos dicitur, loquendum est russice et scribendum est slavonice...) ¹².

Jeśli ze względu na szczególną aktywność społeczno-kulturalną i towarzyszące jej zmiany w relacji „język cerkiewnosłowiański: żywy język wschodniosłowiański” uznalibyśmy wiek XVI za stulecie białoruskie, wiek XVII za stulecie ukraińskie, to wiek XVIII zasłużyłby już bezwzględnie na nazwę stulecia rosyjskiego. Co prawda nie tyle jeszcze z powodu zdecydowanych zmian językowych (te dokonywały się powoli i wyraźnie zauważalne stały się dopiero pod jego koniec), ile z racji zasadniczych reform życia kulturalnego w Rosji z jednej strony, wyraźnego zaś słabnięcia tegoż na ziemiach ukraińskich i białoruskich – z drugiej.

¹¹ Publikacje kijowskiej Ławry Pieczerskiej, jaka od 1664 r. znalazła się już w granicach państwa moskiewskiego, były jako podejrzane o błędy „papistowskie” bardzo źle widziane przez Cerkiew rosyjską.

¹² *Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica russica quae continet non tantum praecipua fundamenta russicae linguae verum etiam manuductionem quandam ad grammaticam slavonicam*, Oxonii 1696, str. trzecia nlb. przedmowy (Praefatio).

Nowe zawitało do Rosji już w pierwszych latach panowania Piotra, zwanego przez potomnych Wielkim: w 1703 r. zaczyna wychodzić w Moskwie pierwsze czasopismo – „Вѣдомости”, rok później opuszcza prasę drukarską *Леѣіконъ треязычный* Fiodora Polikarpowa Orłowa, w tymże dziesięcioleciu powołane zostają do życia pierwsze specjalistyczne szkoły wojskowe, kształćące – przy braku innych – po części także kadry służb cywilnych: matematyczno-nawigacyjna, artyleryjska, medyczna i chirurgiczna. Zarazem i hierarchowie Cerkwi Prawosławnej zaczynają zakładać przy swoich siedzibach seminaria duchowne. Powstają pierwsze większe księgozbiory: Teofana Prokopowicza – liczący ponad 3 tysiące woluminów, Borysa Golicyna i Andrieja Ostermana – każdy liczący ponad 2 tysiące tomów. W 1725 r., roku śmierci cara Piotra rozpoczyna w Petersburgu działalność Imperatorska Akademia Nauk a przy niej wkrótce i akademickie gimnazjum. Profesor elokwencji owej szkoły Wasilij Trediakowski – mierny poeta, lepszy prozaik – zasłużył się szczególnie swoimi badaniami nad językiem ojczystym. Jego opublikowany w 1748 r. traktat pod nieco mylącym tytułem *Разговоръ... объ орѡграфіи...* zawiera pierwszy (wyprzedzający prace gramatyczne Łomonosowa) bardzo osobliwy ale też (przynajmniej partiami) zaskakująco wnikliwy opis fonetyki żywej rosyjszczyzny XVIII w.

Очерк внешней истории восточнославянских литературных языков с половины XIV в. по начало XVIII в.

Резюме

Если примем согласно с широко распространенным в науке взглядом, что XIV столетие было периодом, в котором уже остаточно совершился распад языкового единства восточных славян, то по меньшей мере с начала следующего века мы можем рассматривать отдельно (конечно в этой степени, в какой позволяют на это исторические данные) судьбы трех славянских языков, какие теперь называются белорусский, русский и украинский.

Настоящая статья описывает внешние (то есть политические и культурные) условия, в каких эти языки (в их письменной форме) развивались с конца XIV до первых десятилетий XVIII века. А их развитие происходило поразному: раньше всего письменность на базе живого, разговорного языка появилась на землях нынешней Белоруси, потом, почти на столетие позже, на землях нынешней Украины, а лишь с начала XVIII в. в России.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Karina Zajęc-Haduch

Językowy obraz kobiecego ciała w literaturze rosyjskiej

Analiza językowego obrazu kobiety w twórczości rosyjskich prozaików nurtu wiejskiego, tworzących głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego wieku: Fiodora Abramowa, Wasilija Biełowa, Walentyna Rasputina oraz Wasilija Szukszyna, przywołuje myśl pisarza zza naszej południowej granicy, który w jednej ze swoich powieści stwierdza: „Kobieta [...] nie wie co to beztroska niepamięć o ciele” (Kundera 1990: 114). Troska o wygląd zewnętrzny towarzyszy bohaterkom utworów „dieriewienszczyków” niezależnie od tego, czy są to dopiero rozkwitające dziewczyny (Abramowska Аляка), dojrzałe kobiety (Настя – *Живи и помни* Rasputina), czy też staruszki, na których czas odcisnął już swoje piętno (Дарья – *Прощание с Матёрой* Rasputina, Баба Соха – *Мамониха* Abramowa).

W tekstach lingwistycznych dotyczących problematyki kobiecej zainteresowanie kieruje się głównie w stronę psychiki kobiety, jej standardowych cech charakteru, zalet i wad (Anusiewicz, Handke 1994). Nie sposób jednak przedstawić stereotypu kobiety nie odwołując się do podstawowej, najbardziej namacalnej sfery istnienia – c i e l e s n o ś c i (Hornung, Jędrzejczak, Korsak 2001; Wiśniewski 2001; Brytek-Matera 2008). O tym jak ważny jest to dla językoznawcy obiekt badawczy przekonuje chociażby Jolanta Maćkiewicz: „Po pierwsze – argumentuje – nazwy ciała stanowią istotną (podstawową) część słownictwa potocznego każdego języka. [...] Po drugie, nazwy części ciała są we wszystkich chyba językach niewyczerpanym źródłem neosemantyzmów, powstających zazwyczaj w procesie metaforyzacji, rzadziej – metonimizacji. [...] Po trzecie [...] ciało – co dokumentuje frazeologia – stanowi punkt odniesienia przy wyrażaniu relacji przestrzennych (*mieć coś pod nosem, pod ręką*) [oraz jest podstawą] porządkowania i aksjologizacji przestrzeni... [...] Po czwarte, ciało, a właściwie cielesność czy ucieleśnienie (embodiment), stanowi doświadczeniową podstawę rozumienia [...] [oraz] specyficznie ludzkiego postrzegania świata” (Maćkiewicz 2006: 11–15).

„Doświadczenie człowieka jest w dużym stopniu ucieleśnione. Społeczna historia człowieka jest także i historią jego ciała, z kolei historia ciała ma swoje wymiary społeczne” (Melosik 1996: 61) – stwierdza Zbyszko Melosik, podkreślając zarazem znaczenie, jakie przypisywane jest w kulturze ciału, a w szczególności ciału kobiecemu, które podlega nieustannej ocenie ze względu na jego atrakcyjność. Melosik określa tę sytuację mianem „estetycznej dyskryminacji kobiet” (Melosik 1996:188).

Wolf natomiast opisuje „mit piękna” (beauty myth), skłaniający kobiety do mierzenia własnej wartości w aspekcie ich wyglądu fizycznego, jako sposób uprzedmiotowienia kobiety w celu jej kontrolowania (Wolf 1991).

Wśród środków językowych, jakimi posłużyli się pisarze w analizowanych utworach w celu przedstawienia niesłabnącego (mimo upływu lat) zainteresowania kobiet własną cielesnością główną rolę spełnia komentarz odautorski (narracja), opisujący zachowanie kobiet: «...стояла перед зеркалом и с удовольствием разглядывала свои [...] глаза, [...] рот, груди...» (A, L: 115)¹, «она [...] разделась [...] встала у окна под луну и принялась внимательно, с нетерпеливой жадностью осматривать себя...» (R, P: 309).

Przejawy przywiązywania przez kobiety dużej wagi do swego zewnętrznego wizerunku odnaleźć można również w partiach dialogowych. W jednym z utworów Rasputina starucha Daria, zastanawiając się podczas rozmowy z przyjaciółką nad własnym wyglądem, nad tym, jak ją postrzegają inni ludzie, wykazuje się dużą dozą samokrytycyzmu i autoironii, określając się mianem *баба-яга*, a swą powierzchowność charakteryzując krótko, acz dosadnie przy pomocy frazeologizmu *Ни кожи, ни рожи*, który w języku potocznym używany jest w odniesieniu do bardzo brzydkich, zniszczonych osób (*Словарь фразеологических синонимов русского языка*, 1997: 150). Świadoma zmian, jakie w jej wyglądzie poczynił wpływający czas jest również baba Socha (Abramow), która nie protestuje, gdy zostaje nazwana Babą Jagą i dodaje «– *Хромая, горбатая, [...], вся мохом обросла*» (A, M: 240–241). Tym samym słownikowa definicja *бабы-яги* – ‘bardzo brzydki, szpetny człowiek’ (*Словарь фразеологических синонимов русского языка* 1997: 150) zostaje przez nią wzbogacona epitetami *хромая* ‘kulawa’, *горбатая* ‘garbata’, oraz frazą *мохом обрасла* – w znaczeniu ‘zdziczeć, zaniedbać się’.

W patriarchalnej społeczności syberyjskiej wsi poza ciężką fizyczną pracą, która wydaje się być tu kwestią bezdyskusyjną, przewidywanymi dla kobiety dwoma podstawowymi typami aktywności są macierzyństwo i seksualność. «Мне – mówi jeden z Abramowskich bohaterów – *девка нужна такая, чтобы спереди была баба (uroda, seksualność), а со спины лошадь (predyspozycje do ciężkiej pracy)* [...] *Да, чтобы каждый год по мужику рожала*» (aspekt macierzyński) (A, J: 373–374). W obliczu powyższych jasno sprecyzowanych wymagań reprezentantów płci męskiej, co do fizycznych właściwości idealnej życiowej partnerki, nie budzi zdziwienia fakt, że opis kobiecego ciała, jaki można odnaleźć w analizowanych utworach (których autorami, co warto podkreślić, są również mężczyźni) zawęży się do obszarów (elementów), eksponujących głównie funkcje seksualne. Kobiętę budują przede wszystkim: piersi: «У Нюры была *высокая красивая грудь...*» (A, O: 182), nogi: «Вот уж девка, и красивая и работница. А *ноги* возьми, *что вырублены*» (B, P: 15), usta: «*Губы её мягкие, полураскрытые, помнились...*» (Sz, R: 197).

Ważnym elementem kobiecego wizerunku są oczy, opisywane nie tylko (co godne podkreślenia) ze względu na ich walory estetyczne, takie jak: k o l o r – uwypatniany przy pomocy przymiotnikowych nazw barw (*зелёные* (A, L: 115), *голубые* (A, T-M: 545), *синие* (Sz, R: 41), *серые* (A, DK: 23), *чёрные* (A, Z: 387) oraz za sprawą

¹ Litery w nawiasie oznaczają nazwisko pisarza (A – Abramow) oraz utwór (L – Алька), z którego został zaczerpnięty dany cytat, a cyfra – stronę, na której znajduje się przytoczony przykład. Wykaz użytych skrótów znajduje się w bibliografii końcowej.

epitetów charakteryzujących kobiety pod względem koloru oczu: *синеглазая бабенка* (A, F: 437), *голубоглазая девчонка* (A, O: 182), *черноглазая женщина* (A, B: 175), czy *го з м и а r*: wyrażany najczęściej poprzez przymiotnikowe nazwy wielkości towarzyszące leksemowi *глаза*: *большие глаза* (Sz, KK: 455), *глаза прищуренные, маленькие* (R, M: 193). Oczy bohaterek analizowanych utworów są również zwierciadłem ich wewnętrznego świata. Z oczu można wyczytać zarówno chwilowy nastrój, aktualny (prześciowy) stan ducha kobiet: wściekłość i gniew – *сердитые глаза* (Sz, R: 367), smutek, z troskanie – *печальные глаза* (A, G: 472), strach, niepokój – *испуганные глаза* (Sz, R: 48), jak i stałe właściwości ich psychiki, charakteru: *веселые глаза* (A, Z: 387) – uzewnętrzniają radosne usposobienie, pogodę ducha, *живые глаза* (A, S: 454) – stanowią wyraz żywotności, aktywności, *умные глаза* (Sz, R: 367) – świadczą o walorach intelektualnych, *нахальные глаза* (A, DK: 23) – to przejaw bezczelności, arogancji.

Szeroką gamę cech oddają również związki syntaktyczne, w skład których wchodzi czasownik wskazujący na proces patrzenia oraz okolicznik sposobu. Na przykład: zwrot *смотпеть ласково* (Sz, KK: 455) – konotuje takie cechy jak serdeczność, łagodność, delikatność, za zwrotem *смотпеть доверчиво* (Sz, R: 397) – kryje się bezgraniczna ufność, całkowite oddanie, a fraza *посмотрела с интересом* (A, S: 454) – wyraża ciekawość, zainteresowanie tym, co dzieje się wokół.

Niezależnie od tego, jaki fragment intymnego świata kobiety odbija się w jej oczach, nie ulega wątpliwości, że warunkiem koniecznym do wzbudzenia zainteresowania ze strony mężczyzny jest fizyczna uroda. W odniesieniu do kobiet, których uroda odpowiada określonym kanonom piękna, najczęściej stosowaną nazwą jest *красавица*, występująca w stałych s frazeologizowanych połączeniach z przymiotnikami *писаная* 'bardzo ładna, piękna kobieta, podobna do starannie (misternie) wykonanego rysunku' (Кузнецов 1998: 466), *первая* 'najlepsza ze wszystkich piękności, pierwszorzędną, doskonałą' (Кузнецов 1998: 792).

Epitetowi *красавица* towarzyszą s frazeologizowane porównania *как картиночка, как игрушечка, как куколка* uwypatniające pozytywne wartościowanie tego leksemu: «*Писаная красавица! [...] Чистенькая, гладенькая, как картиночка*» (A, Ż: 461), «*...такая была красавица. Как игрушечка.*» (A, T-M: 540), «*...она [...] изящная, как куколка*» (Sz, R: 280).

Za istotę godną pożądania uważana jest dziewczyna rumiana (określana jako *кровь с молоком* [A, Z: 465]), o pełnych, kobiecych kształtach, tryskająca życiową energią i swym wyglądem zadowalająca wszystkie zmysły: «*Была у них в селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать*» (Sz, R: 355).

Zdrowie, energię, żywotność kobiecego ciała, a tym samym jego atrakcyjność konotuje w wyekscerpowanych przykładach kolor czerwony, przy czym podstawowy przymiotnik *красный* podlega tu niejednokrotnie słowotwórczej modyfikacji (*краснолицая старуха*) (A, DK: 23)), bywa zastąpiony synonimicznym określeniem *румяный* («*У старухи было румяное [...] личико...*» (Sz, KK: 423), «*...старуха, еще довольно крепкая, прямая, [...] с румяными щеками*» [A, O: 194]), bądź jego znaczenie wyraża związek frazeologiczny *как ягода* («*Танька стала сама как ягода*» (B, R: 139)). Jak słusznie zauważa jednak Irena Vaňková: „Frazeologizmy nigdy w takich wypadkach nie oznaczają wyłącznie zdrowego koloru, ale odnoszą się do

całego wyglądu osoby – przeważnie dziewczyny lub młodej kobiety – jej (zdrowego) fizycznego piękna, atrakcyjności, bądź świeżości” (Vaňková 2000: 108).

Ideałowi męskiego pożądania osoby kipiącej zdrowiem, z rumieńcem na policzku, przepełnionej energią przeciwstawiony jest typ bohaterki z bladą, pozbawioną koloru twarzą, sygnalizującą niekorzystny stan zdrowia lub/i ducha. Blandość wyrażona jest przy pomocy przymiotników *бесцветная* (A, T-M: 540), *белая*. Stopień bledości w przypadku wyrazu *белая*, zostaje uściślony dzięki zastosowaniu sfrageologizowanego porównania *белая, как сметана* (A, P: 76): «Горничная. Сгорбленная, бесцветная, худая, без зубов, старуха старухой», «А вот сама Антонина Петровна будто из войны вынырнула. Худенькая, тоненькая и белая – белая, как сметана, – не льнет на солнце». W opozycji do rumianej, pełnej życia twarzy pozostaje *бескровное лицо* – twarz, w której ustało życiodajne krążenie krwi, która jako prototypowy nosiciel koloru czerwonego, konotuje żywotność, ciepło i energię, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu (Tokarski 1995, Vaňková 2000): «Старуха Дарья, [...], чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками» (R, M: 67).

«Так уж устроены все девочки на свете – с рождения тряпичницы» (A, L: 101) – konstatuje w jednym ze swoich utworów Abramow, podkreślając zarazem, jak istotnym elementem kobiecego wizerunku jest strój. W zebranym materiale niewiele wprawdzie można znaleźć opisów, które w sposób całościowy (wyczerpujący) ukazywałyby typowy ubiór mieszkanki północno-syberyjskiej wsi, ale na podstawie dostępnych informacji, pochodzących z poddanych analizie utworów, można odtworzyć poszczególne części codziennej kobiecej garderoby. Należą do nich:

– nakrycia głowy: *косынка, платок, повойник* – ‘dawne nakrycie głowy rosyjskich zmężnych chłopek w postaci opaski, nakładanej pod chustkę’ (Кузнецов 1998: 853), któremu nieodłącznie towarzyszy inny tradycyjny element ludowego kobiecego stroju – *сарафан* (‘sukienka bez rękawów, nakładana na koszulę’ (Кузнецов 1998: 1149)): «толстая, с красным лицом и в красном платке тётка» (R, D: 591), «...её облик никак не вязался с тем, что говорила о ней Зина. Маленькая, худенькая, невзрачная. На голове пестрая шерстяная косынка, как повязка, стягивающая щеки при зубной боли» (A, N: 308), «...одета она была по современному [...] от прошлого разве что полинявший бордовый сарафан, да домотканый пояс с кистями да синий повойник, выглядывающий из-под тёплого бумазейного платка, по-старинному повязанному концами наперёд» (A, W: 291);

– zakładana na górne partie ciała, chroniąca przed zimnem *фуфайка* bądź *лже-ска кофта*: «Катерина [...] ещё без фуфайки, скорехонько покормила меньшого» (B, P: 39), «...работальницы в ситцевых летних кофтах» (B, P: 46);

– ‘miękkie zimowe obuwie z wysoką cholewą, sfolowane z wełny’ (Кузнецов 1998: 110) – *валенки*: «...кто [...] сейчас в деревне шлепает в валенках летом? [...] А *Лидка* ходила в валенках» (A, L: 122). Warto zauważyć, że u Rasputina pojawia się w odniesieniu do tego typu butów nazwa *катанки*, charakterystyczna dla nienormatywnej potocznej mowy z obszaru Syberii, na co wydaje się wskazywać Кузнецов, uzupełniając słownikową definicję tego leksemu wyrażeniem *высокие сибирские катанки* (Кузнецов 1998: 421): «Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки» (R, P: 300);

Należy podkreślić, że podstawowy element kobiecego ubrania – *платье* ‘*su-kienka*’, pojawia się rzadko, a jeżeli już się pojawia to przede wszystkim przy opisie kobiet niecodziennych (niepospolitych), wyróżniających się na tle ogółu pod jakimś względem i tą swoją odmiennością intrygujących: «*Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон – часы на золотой цепочке... [...] из всех-то она выделялась за столом, гордая сидела, умная, воспитанная – очень и очень непростая*» (Sz, R: 313). W opisie wyglądu tego typu kobiet obecna jest biżuteria. Kobiety zwykle natomiast (zapracowane, zmęczone, zabiegane) są całkowicie pozbawione jakichkolwiek ozdób. Ich jedyną możliwością na rzucenie nieatrakcyjnych, niezbyt kobiecych, ale jakże praktycznych, z uwagi na charakter ich codziennych zajęć, ubiorów i zaprezentowania się w nieco bardziej szykownych strojach, są określone okoliczności tj. wyjście do cerkwi, spotkanie z mężczyzną, zaręczyny. Wygląd kobiet w tego typu sytuacjach charakteryzowany jest przy pomocy epitetów *нарядные, празднично одетые / разодетые* (A, P: 42), (A, O: 193), (R, P: 300). Pojawia się też w tym kontekście określenie *как царевна разодета* (A, T-M: 487) – konotujące okazałość i dostatek (niekoniecznie wykwintność), na miarę carskiej córki.

Podsumowując zaprezentowane rozważania na temat językowego obrazu kobiecego ciała w utworach rosyjskich prozaików nurtu wiejskiego, trudno nie zgodzić się z poglądem, że jest to obraz idiolektalny (Kadyjewska 2001: 329), charakterystyczny dla danej grupy pisarzy, cechujący się heterogenicznością, tzn. z jednej strony składający się z elementów wspólnych użytkownikom danego języka etnicznego, z drugiej – z elementów indywidualnych, właściwych jedynie nosicielowi badanego idiolektu (Kozłowska 2009: 127). Jak słusznie zauważa Ewa Sławkowa: „w świetle współczesnej refleksji humanistycznej, zmieniających się paradygmatów metodologicznych w językoznawstwie [...] nie da się języka pisarzy rozumieć wyłącznie utylitarnie i traktować tylko w kategoriach służebności wobec języka ogólnego [...] język każdego twórcy to „głos niepodległy”, nie tylko tworzący wartości estetyczne, lecz także w sobie tylko właściwy sposób formułujący sądy o świecie [...] Język pisarza to język tajemnicy, do której językoznawstwo za pomocą swojego instrumentarium próbuje się zbliżyć” (Sławkowa 2009: 39–40).

Literatura

- Anusiewicz J., Handke K. (red.), 1994, *Płeć w języku i kulturze*, „Język a Kultura”, t. 9.
- Brytek-Matera A., 2008, *Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychofizycznym*, Warszawa, s. 11–44.
- Hornung M., Jędrzejczak M., Korsak T. (red.), 2001, *Ciało, płeć, literatura*, Warszawa.
- Kadyjewska A., 2001, *Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie pism Cypriana Norwida)*, [w:] A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), *Semantyka tekstu artystycznego*, Lublin, s. 321–332.
- Kozłowska A., 2009, *Problemy z idiolektem*, [w:] T. Koprysz, A. Kozłowska (red.), *Język pisarzy jako problem lingwistyki*, Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, Warszawa, s. 111–131.
- Kundera M., 1990, *Nieśmiertelność*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
- Maćkiewicz J., 2006, *Językowy obraz ciała*, Gdańsk.

- Melosik Z., 1996, *Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne*, Poznań-Toruń.
- Sławkowa E., 2009, *O różnych sposobach językoznawczej refleksji nad językiem artystycznym*, [w:] T. Koprysz, A. Kozłowska (red.), *Język pisarzy jako problem lingwistyki*, Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, Warszawa, s. 25–44.
- Tokarski R., 1995, *Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie*, Lublin.
- Vaňková I., 2000, *Mienić się różnymi kolorami. Zabarwienie skóry jako symbolizacja cech i stanów psychofizycznych człowieka*, [w:] *Studia z semantyki porównawczej*, Warszawa, s. 105–117.
- Wiśniewski L. (red.), 2001, *Między słowem a ciałem*, Bydgoszcz.
- Wolf N., 1991, *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, Morrow, New York.

Słowniki

- Кузнецов А.С., 1998, *Большой толковый словарь русского языка*, Санкт-Петербург.
- Словарь фразеологических синонимов русского языка*, 1997, ред. А. Бирих, Мокиенко В.М., Степанова Л., Ростов-на-Дону.

Skróty i literatura źródłowa

- A** – **Абрамов Ф.**, 1982, *Трава-мурава: повести и рассказы*, Современник, Москва;
DK – Деревянные кони; **P** – Пелагея; **L** – Алька; **B** – Безотцовщина; **O** – Вокруг да около; **M** – Мамониха; **W** – В Питер за сарафаном; **G** – Поля открой глаза; **N** – Однажды осенью; **S** – Собачья гордость; **J** – Дела российские...; **Z** – Из рассказов Олены Даниловны; **F** – Библией; **Ż** – Надежда; **T-M** – Трава-мурава.
- B, P** – **Белов В.**, 1984, *Повести и рассказы*, Художественная литература, Москва.
- B, R** – **Белов В.**, 1997, *Плотничьи рассказы*, [в:] *Русская современная литература (70–80-е гг.): Хрестоматия*, Минск, с. 120–143.
- R** – **Распутин В.**, 1989, *Повести*, Минск; **D** – Деньги для Марии; **P** – Живи и помни; **M** – Прощание с Матерой.
- Sz, R** – **Шукшин В.**, 1985, *Рассказы*, Художественная литература, Москва.
- Sz, KK** – **Шукшин В.**, 1975, *Калина красная, киноповесть*, [в:] *Избранные произведения в двух томах*, т. 1, Молодая гвардия, Москва, с. 419–492.

Языковая картина женского тела в русской литературе

Резюме

В статье анализируется языковая картина женского тела в творчестве представителей русской деревенской прозы (Абрамова, Белова, Распутина, Шукшина). Забота женщин о своём внешнем виде находит отражение как в описывающем поведении героинь авторском комментарии (повествовании), так и в диалогических партиях. Женскую физиономию в анализированном языковом материале составляют грудь, ноги, губы, подчёркивающие сексуальный и материнский аспекты женственности, но существенный элемент – это также глаза, описываемые не только с точки зрения эстетических достоинств, но и являющиеся зеркалом внутреннего мира женщины. К показателям идеала женской красоты можно отнести: румяное лицо, полные, женственные формы и жизненную энергию.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Beata Ziajka

Językowy obraz rodziny w świetle przezwisk i przydomków wiejskiej wspólnoty kulturowej (na przykładzie wybranych wsi małopolskich)

Pojęcie rodziny funkcjonujące w szeroko rozumianej przestrzeni języka i kultury odnosi się do kręgu elementarnych doświadczeń każdego człowieka. Wraz z takimi pojęciami jak: *matka, dom, społeczność, kraj, naród, ojczyzna* tkwi w samym centrum powszechnie uznanego systemu wartości (Bartmiński 1997: 11–12), tworzy rdzeń polskiej kultury¹.

N.I. Tołstoj, badając słowiańskie kultury narodowe, wyróżnił ich kilka typów, m.in. kulturę ludową charakteryzującą się swoistą obrzędowością, wierzeniami oraz występowaniem specyficznego języka – gwary (Tołstoj 1992: 19). Elementem odróżniającym poszczególne wspólnoty kulturowe jest językowy obraz świata rozumiany najogólniej jako „zawarta w języku, różnie zwerbalizowana interpretacja rzeczywistości dająca się ująć w postaci zespołu sądów o świecie” (Bartmiński 2006: 12).

Za pochodną utrwalonego społecznie językowego obrazu świata należy więc uznać wartościowanie (Bartmiński 2006: 138), czyli orzekanie o wartości, tj. stwierdzenie „czy coś jest dobre, czy złe pod jakimś względem, czy też znajduje się w jakimś punkcie skali wartości pomiędzy dobrym i złym” (Puzynina 1997: 93). Przyjmując za R. Tokarskim, że „język [...] kumuluje w sobie i utrwała doświadczenia społeczne” (Tokarski 1993: 335), można wnioskować, że kulturowy obraz rodziny zakodowany w języku mieszkańców wsi, będzie się różnił od wizerunków rodzin ukształtowanych w innych kręgach kulturowych.

Językowym rezultatem interpretacji i wartościowania otaczającej rzeczywistości przez wiejską społeczność komunikatywną są m.in. przezwiska i przydomki. Jako że akt nominacji przezwiska jest świadomym procesem twórczym człowieka mającym na celu uwypuklenie tych cech desygnatu, które odbiegają od przyjętej w danym środowisku normy, toteż przezwiska i przydomki stanowią nieocenione źródło wiedzy o ludowym systemie aksjologicznym.

¹ L. Dyczewski podaje, że analiza opracowań na temat kultury polskiej pozwala wyłonić czternaście najbardziej typowych grup wartości. Według tej typologii *rodzina – rodzinność – dom* znalazły się na pierwszym miejscu (Dyczewski 2002: 29).

Pod pojęciem przezwiska rozumiem dodatkową i nieoficjalną nazwę własną określającą osobę lub grupę osób². Za M. Biolik przyjmuję ponadto, że przezwisko to nazwanie mające najczęściej zabarwienie emocjonalne oraz posiadające motywację semantyczną (Biolik 1983: 174–175). Przydomki z kolei traktuję jako miana dzie dziczne sygnujące całe rodziny, będące podstawą do określeń głowy rodziny, nazw żon, synów i córek (Biolik 1983: 172). Zgadzam się z M. Biolik, że przydomek może posiadać emocjonalne zabarwienie i przez pewien czas zachowywać w świadomości mówiących skojarzenia z nosicielem tej nazwy jako przezwiska (Biolik 1983: 179).

Niniejszy tekst stanowi próbę zarysowania językowo – kulturowego obrazu rodziny z punktu widzenia wiejskiej aksjologii. Bazę materiałową tworzą przezwiska i przydomki zebrane w małopolskich wsiach wchodzących w obręb gminy Babice w powiecie chrzanowskim. Niektóre nieoficjalne antroponimy zostały przytoczone wraz z komentarzami mieszkańców ukazującymi szerszy kontekst kulturowy nazwania zgodnie z założeniami metodologii językowego obrazu świata.

„Świat wiejskiej wspólnoty jest bardzo mały, zamyka się w obrębie własnej wsi” – pisze H. Kurek (Kurek 2004: 146). Hermetyczność środowisk wiejskich powoduje, że rodzina poddawana jest permanentnej kontroli ze strony wioskowej społeczności. Jak przyznaje ponad 70-letnia respondentka *luże więżũm f̣yskuo ȳo kãzdym, navet cȳo kto kady psu dũ gãrka ṿzucã* [Z]. Z. Jabłonowska podaje, że jeszcze na początku XX w. grupa lokalna sprawowała faktyczną kontrolę nad rodziną, „która odpowiadała przed nią za stosowanie norm społecznie obowiązujących w stosunkach między mężem a żoną, w wychowaniu dzieci, w dysponowaniu gospodarką” (Jabłonowska 1975: 53). Obecnie można przyjąć, że nadzór ten znalazł przedłużenie w formach językowych wyrażających dezaprobatę dla pewnego rodzaju zachowań. Zdecydowanie najsurowiej oceniane są te zachowania poszczególnych członków rodziny, które niszczą wspólnotę rodzinną od środka, zagrażają wprost jej fizycznej egzystencji. Spośród nieoficjalnych antroponimów najbardziej negatywny ładunek emocjonalny niosą nazwy ojców wykazujących się wobec swoich bliskich agresją słowną lub fizyczną. *Beria* [Z] jest przezwiskiem mężczyzny, który będąc permanentnie pod wpływem alkoholu, tyranizuje swoją rodzinę: *maiũm te žouxy p̣ży ñym gexy-ne; musũm ućekać dȳo bap̣ki cũ ñiȳšã na druȳim kũĩńcu f̣si* [Z]. Wykładnikiem skrajnie negatywnych emocji względem ojca – tyrana jest tu semantyzacja nazwy własnej będącej nośnikiem pejoratywnego wartościowania. Przeniesienie tejże nazwy własnej ma – w zamierzeniu jej kreatora i użytkowników – podkreślać nieprzystawalność agresywnych zachowań nie tylko do wizerunku ojca, ale i człowieka w ogóle. Agresję w wydaniu ojca rodziny implikuje także miano *Burzyk* [J] nadane z powodu inicjowania przez nosiciela nazwania częstych kłótni w rodzinie i sąsiedztwie: *Bużyk bȳo buży zguode i robi zaiȳšã* [J]. Zarówno kontekst kreacyjny nazwy jak i jej przejrzysta wartość semantyczna (*burzyk* – nomina agensis od czasownika *burzyć*) wskazują jednoznacznie na destrukcyjną moc sprawczą jednostki, która jest postrzegana jako propagator idei niezgody. Z podobnym typem zachowań asocjuje także przezwisko *Budzik* [Z] określające mężczyznę, który regularnie co rano ma w zwyczaju kłócić się ze swoją żoną, czym budzi sąsiadów. Społeczna dezaprobata wyrażona w nieoficjalnym antroponimie przyjmuje jednak formę nieco złagodzoną

² Chodzi tu o tzw. przezwiska zbiorowe, a więc te posiadające nacechowanie emocjonalne z racji odniesienia do wspólnoty, zbioru (Cieślakowa 2005: 177).

na skutek ironiczno-żartobliwego wydźwięku nazwy. Z formalnego punktu widzenia jako tworzywo przezwiska mógł posłużyć rzeczownik nieżywy o utrwalonym w języku polskim znaczeniu albo czasownik 'budzić' – w tym wypadku derywat *budzik* posiada ogólne znaczenie tego, który budzi. Ale *budzik* w języku badanej społeczności to także określenie koguta, którego pianie do dziś jest postrzegane – zwłaszcza przez najstarsze pokolenie – jako naturalny wyznacznik początku dnia. Porównanie kłócącego się mężczyzny z kogucim głosem³, którego słyszalność nie zamyka się w obrębie gospodarstwa właścicieli, ma służyć podkreśleniu uciążliwości małżeńskich waśni dla otoczenia. Nazwa nie określa więc stosunków wewnątrzrodzinnych, ale obrazuje relacje rodzinno-społeczne. W odczuciu wspólnoty wiejskiej kłótnia w wydaniu małżonków nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla kondycji rodziny, powinna jednak zamykać się w obrębie własnego domostwa.

Jednym z elementarnych składników wiejskiego systemu normatywnego jest ocena rodziny wydana na podstawie obserwacji emocjonalnych relacji zachodzących między poszczególnymi jej członkami. Zachowania językowe wiejskiej społeczności dowodzą, że uczuciowość nie wpisuje się w kanon pożądanych na wsi wartości⁴. Zdaniem B. Tryfan przyjęte na wsi kryteria wartościowania pomniejszające znaczenie życia uczuciowego wynikają z wielowiekowej przewagi czynników ekonomicznych nad emocjonalnymi. „Roztkliwianie się, serdeczność oceniano negatywnie jako przejawy słabości i mazgajstwa. [...] I nie jest to brak wrażliwości na potrzeby ciepła, tylko pewien styl życia, ukształtowany w konkretnych warunkach egzystencji”⁵ – pisze badaczka (Tryfan 1977: 29).

Językowy obraz rodzinnej uczuciowości implikują formy przezwiskowe *Mqż* [M] oraz *Miłość* [Z] będące sygnantami mężów, których uczucia względem żon – w opinii lokalnej społeczności – przybierają skrajne formy. Pierwszy mężczyzna zyskał swe mocno ironiczne miano *Męža* na skutek wykonywania prac polowych w obręcce, drugi z kolei zbyt mocno afiszował w młodości swoje uczucia do żony: *уобуапіду їм пшы луґак, қауову і навет ф куюсьце чымду їм за рынке* [Z]. Dobór językowych środków wyrazu wskazuje, że wszelkie przejawy egzaltacji nie mieszczą się w sferze ludowych wyobrażeń o mężu i ojcu rodziny. Leksemy *mqż* i *miłość*, stanowiące podstawy motywacyjne przezwisk, zdecydowanie nie należą do repertuaru czynnego słownictwa najstarszego pokolenia mieszkańców wsi. Na badanym obszarze – podobnie jak w innych gwarach – na określenie współmałżonka jak i dorosłego mężczyzny stosuje się neutralny znaczeniowo leksem *chłop* (por. Piechnik 2009: 94): *kto by ta gǫdǫ na хуопа муš; xyba inŭ f куюсьце іаg mu še пшы ксынзу пшысінгǫ*. W świetle wypowiedzi 67-letniej mieszkanki Mętkowa nazwa *mqż* konotuje słowa małżeńskiej przysięgi zatwierdzonej formalnie nałożeniem obrączek.

³ R. Tokarski podkreśla, iż stosowanie nazw zwierząt w odniesieniu do człowieka zazwyczaj niesie ze sobą wartościowanie *in minus* (Tokarski 1993: 338, 359). Na częste stosowanie metafor animalistycznych w funkcji przezwisk zwraca uwagę także Cz. Kosyl (Kosyl 1998: 197–198).

⁴ Do podobnych wniosków doszła A. Piechnik. Na podstawie przeprowadzonej analizy ludowych ekspresywizmów określających kobiety i mężczyzn badaczka stwierdziła, że „okazywanie sobie uczuć (zwłaszcza publiczne) to zachowanie niewskazane i uznawane przez starszych mieszkańców wsi za gorszące” (Piechnik 2009: 142).

⁵ Zwraca także na to uwagę J. Kaś (Kaś 2002: 105).

Użycie tej „uroczystej” formy wyrazu (por. Piechnik 2009: 94; Szymczak 1974: 359) w codziennej komunikacji jest więc postrzegane jako zachowanie językowe noszące znamiona sztuczności i dziwactwa. Jako twór przezwiskowy antroponim *Mqż* jest więc nośnikiem zdecydowanie negatywnego wartościowania. Biorąc pod uwagę, że w obrębie form przezwiskowych dominują nazwy desygnatów postrzeganych zmysłowo (Oronowicz 1999: 15), również wykorzystanie abstrakcyjnego rzeczownika *miłość* jako bazy leksykalnej przezwiska należy interpretować jako świadectwo odżegnywania się członków wiejskiej mikrowspólnoty od jednostek przesadnie afirmujących swoje uczucia. Ekspresję negatywnych emocji skondensowanych w nieoficjalnych nazwaniach dodatkowo wzmacnia fakt, że sygnowane osoby to mężczyźni, reprezentanci rodzin, od których wymaga się statecznego i poważnego zachowania (Kąs 2002: 106).

Stosunek opisywanej wspólnoty do kwestii eksponowania uczuć wyraża także przezwisko *Wystawa* [Z] piętnujące babcię, która *uazi z źeckim puo cauy fsi žima ne žima, a v nežele jag luže idum dū kuošćoua, tuo vystaviā tuo źecko dū uokna, zeby luže vižeł'i; tag jagby nig ni mīāu źecka ino uūna; takie robi vystavy* [Z]. Aksjologiczna interpretacja antroponimu dowodzi, że zachowanie babci dziecka nie jest oceniane w kategoriach emocjonalnych, lecz odbierane jako przejaw ekscentrycznej miłości „na pokaz”. Słuszności powyższej tezy dowodzi forma przezwiska, w której kreator odwołał się do desygnacyjnego komponentu apelatywu *wystawa* przywołującego witrynę sklepową jako miejsce, gdzie wyklada się towar w celu jego prezentacji, a więc na pokaz.

Specyficzna rola w kreowaniu profilu wiejskiej rodziny przypada nieoficjalnym antroponimom komunikującym przynależność rodzinną. Na badanym mikroobszarze kulturowym funkcję taką pełnią nazwania: *Mójcie* [M] (przydomek rodziny, której przodek, dumny ojciec licznych synów, używał zwrotu *mój ci* podkreślając przynależność dzieci do siebie jako reprezentanta rodziny) oraz *Nasze* [M] (przydomek rodziny, w której mówi się o poszczególnych członkach zawsze poprzedzając ich imiona zaimkiem nasz/nasza). Spetryfikowane w obu przydomkach zaimki dzierżawcze wskazują „na posesywny aspekt wyznaczania kategorii *swój* w odniesieniu do najbliższej rodziny” (Masłowska 2007: 92). Podejmowane przez poszczególnych członków rodziny działania językowe mające na celu zaakcentowanie silnego poczucia rodzinnej wspólnoty są jednak odbierane przez lokalną społeczność jako dążność do wyższego wartościowania swoich poprzez podkreślenie atrakcyjności i „lepszości” własnej rodziny. Ukonstytuowanie się substantywizowanych zaimków jako nieoficjalnych mian wynika więc z konstatacji jaskrawego naruszenia normy.

W lansowanym przez wiejską społeczność stereotypie rodziny nie mieszczą się także jednostki manifestujące językowo swe negatywne emocje związane z krewnymi. Egzemplifikację takiego zachowania stanowi przezwisko *Urazki* [Z] sygnujące trzy wiecznie skłócone i narzekające na siebie siostry, które *s kłym by ne stanyuy tū uopovīdaiūm, ze xuovaiūm duū sebie iakīešik urazy* [Z]. Na temat rodziny, jaka by ona nie była, nie należy więc wypowiadać się źle. Publiczna eskalacja złości i żalu grozi sankcją karną w postaci obmowy lub przezwiska.

Ostre sądy ferowane są także pod adresem tych wspólnot rodzinnych, które na skutek własnego wyboru żyją w izolacji społecznej. Mizantropijne zachowania rodzin piętnują przydomki *Sobscy* [Z] oraz *Dziurniki* [Z]. Antroponim *Sobscy* bazujący

na apelatywie o emocjonalności eksplicytniej wyraża zdecydowanie pejoratywny stosunek opisywanej mikrowspólnoty do zachowań będących udziałem wspomnianej rodziny. Utworzenie nazwy przez dodanie do apelatywu *sobek* sufiksu *-ski*, a więc strukturalnego elementu nazwiska, które jest postrzegane jako stały wyróżnik rodziny, ewokuje niezmienność i trwałość egoistycznych postaw opisywanej wspólnoty rodzinnej. Podobny wydźwięk posiada przydomek *Dziurniki*. W tym wypadku wyobcowanie rodziny zostało podkreślone przez użycie miana o podwójnej motywacji, *Dziurniki* bowiem stronią od ludzi, ale też mieszkają na uboczu. Stanowiący podstawę aktu nominacji leksem *dziura* konotuje więc jednocześnie nieprzystępność miejsca zamieszkania rodziny jak i nienaturalność jej zachowań.

„Życie we wspólnocie wiejskiej wyznacza priorytetowe miejsce rodzinie, rządzi się też prawami widocznymi w języku, a wynikającymi z rodzaju kontaktu (nieoficjalnego)” – pisze A. Cieślíkowa (Cieślíkowa 2005: 180). Dowodem wysokiej pozycji rodzin w wiejskim środowisku jest m.in. fakt występowania przydomków, o których współcześnie możemy mówić jedynie w gwarach (Cieślíkowa 2005: 180). Językowy obraz wiejskiej rodziny wpisany w fakultatywne nazwania osobowe odzwierciedla sposób myślenia o niej w kategoriach wspólnoty. Konceptualizacja rodziny dokonuje się jednak głównie poprzez pryzmat zachowań jej poszczególnych członków. Wartościowanie jednostki wynika częściowo z przynależności rodzinnej, toteż każdy krewny powinien czuć się zobligowany do godnego reprezentowania swoich na zewnątrz.

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy przezwisk i przydomków, status ontologiczny elementów tworzących językowy obraz wspólnoty krewniaczej jest zróżnicowany. Z jednej strony negowane są zachowania afirmatywne i postawa ekstrawertyczna, z drugiej zaś za niepożądane uchodzą próby odcięcia się od lokalnej społeczności. Najbardziej cenioną wartością w życiu rodzinnym wydaje się więc być przeciętność. Prototypowa rodzina wiejska, a więc taka, która niczym szczególnym się nie wyróżnia, stanowi pożądaną i oczekiwany wzorzec.

Literatura

- Bartmiński J., 1997, *Dom i świat – opozycja czy współdziałanie*, [w:] G. Sawicka (red.), *Dom w języku i kulturze. Materiały z konferencji „DOM w języku i kulturze”*, Szczecin, s. 11–22.
- Bartmiński J., 2006, *Językowe podstawy obrazu świata*, Lublin.
- Biolik M., 1983, *Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim)*, „Onomastica”, t. XXVIII, s. 165–179.
- Cieślíkowa A., 2005, *Przezwiska zbiorowe i przydomki*, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), *Polskie nazwy własne – Encyklopedia*, Warszawa–Kraków, s. 177–180.
- Dyczewski L., 2002, *Więź między pokoleniami w rodzinie*, Lublin.
- Jabłonowska Z., 1975, *Rodzina w XIX i na początku XX wieku*, [w:] J. Komorowska (red.), *Przemiany rodziny polskiej*, Warszawa, s. 52–71.
- Kąs J., 2002, *Wizerunek mężczyzny i kobiety w tradycyjnej społeczności wiejskiej (na materiale gwar orawskich)*, [w:] M. Skarżyński, M. Szpiczakowska (red.), *Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji jego jubileuszu*, Kraków, s. 101–109.

- Kosyl Cz., 1998, *Przezviska ludowe określające wzrost i tuszę (próba analizy semantycznej)*, [w:] S. Warchoł (red.), *Rozprawy Slawistyczne*, t. 14: *Przezviska i przydomki w językach słowiańskich*, cz. I, Lublin, s. 189–209.
- Kurek H., 2004, *Językowo-kulturowy obraz wsi podkarpackiej wpisany w nazwy roślin*, [w:] H. Kurek, J. Labocha (red.), *Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata*, Kraków, s. 129–156.
- Masłowska E., 2007, *Językowe i kulturowe konteksty towarzyszące wyznaczaniu granic tożsamości rodzinnej i grupowej w kaszubszczyźnie*, [w:] *Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej*, 42 SOW, Warszawa, s. 91–103.
- Oronowicz E., 1999, *Przezviska w gwarach dawnego powiatu jarosławskiego (analiza semantyczna, wpływy wschodniosłowiańskie i południowosłowiańskie)*, [w:] S. Warchoł (red.), *Rozprawy Slawistyczne*, t. 15: *Przezviska i przydomki w językach słowiańskich*, cz. II, Lublin, s. 11–25.
- Piechnik A., 2009, *Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem)*, Kraków.
- Pierścińska-Maruszewska A., 2008, *Językowy obraz rodziny w ludowych pieśniach małopolskich*, praca doktorska napisana pod kierunkiem doc. dr hab. Anny Tyrpy, Kraków.
- Puzynina J., 1997, *Słowo – wartość – kultura*, Lublin.
- Szymczak M., 1974, *Mężczyzna i jego synonimy w historii i dialektach języka polskiego*, „Prace Filologiczne”, t. XXV, s. 353–360.
- Tokarski R., 1993, *Słownictwo jako interpretacja świata* [w:] J. Bartmiński (red.), *Encyklopedia kultury polskiej XX w.*, t. 2, Wrocław, s. 335–362.
- Tołstoj N.I., 1992, *Język a kultura (Niektóre zagadnienia słowiańskiej etnolingwistyki)*, „Etnolingwistyka” 5, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 15–25.
- Tryfan B., 1977, *Rodzina wiejska*, Warszawa.

Skróty

- J – Jankowice
M – Mętków
Z – Zagórze

Языковая картина семьи в свете прозвищ, кличек деревенской общины (на примере избранных малопольских деревень)

Резюме

Текст является пробой восстановления языковой картины мира вписанного в прозвища, клички деревенской общины. Анализу был подвергнут языковой материал из малопольских деревень расположенных в пределах гмины Babice в повяте Chrzanów. Закодированная в неофициальных названиях картина семьи вытекает из принятой деревенским обществом системы ценностей. Семья создает общину, которая обычно воспринимается сквозь призму поведения ее отдельных членов. Наиболее подвергнуты критике являются семьи, в которых доходит до агрессивного поведения угрожающего семье. Отрицаются также: эпатирование эмоциональностью по отношению к преувеличенному восхвалению, жалобы, чрезмерное подчеркивание семейной принадлежности и всякие признаки мизантропии.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica IV (2011)

Teresa Żeberek

Konceptualizacja obawy w języku rosyjskim i polskim

L. Jordanskaja omawiając semantykę wyrazów oznaczających uczucie strachu zestawia trzy leksemy i trzy identyfikowane z nimi sytuacje: *X boi się, X niepokoi się, X obawia się* (ros.: *боятся, беспокоится, тревожится*, do których możemy też dodać: *онащается*). Różnicę między nimi objaśnia Jordanskaja w następujący sposób: w niepokoiu i obawie jest mniej niż w strachu pewności co do zaistnienia niepożądanego wydarzenia: jeżeli X mówi, że obawia się czegoś, niepokoi się czymś, to myśli, że jemu lub jego bliskim może się zdarzyć coś złego, ale nie ma pewności, że tak będzie¹. Kazimierz Brodziński o obawie pisze: *Obawa jest to pośredni stan bojaźni, w którym człowiek lubo się lęka nieprzyjemnego zdarzenia, nie jest atoli pewny, że się zdarzy i nie bez nadziei, że się odwróci. Obawa jest więcej niż niespokojność, a mniej niż bojaźń* (SJP). W każdym jednak wypadku, zarówno przy uczuciu strachu, jak i niepokoiu czy obawy, X odczuwa pasywnie-negatywny stan emocjonalny, spowodowany tym, że wydarzenie Y jest prawdopodobne, że może być ono złe dla niego lub osoby bliskiej. Nie jest jednak w stanie temu przeciwdziałać, jak np. wtedy, gdy odczuwa gniew i następuje jego reakcja, tu czuje swoją bezradność, ma poczucie własnej słabości². W takich sytuacjach uwidoczni się, jak zauważa J. Puzynina, znaczenie 'zdawać sobie sprawę, mieć świadomość czegoś', podobnie jak to ma miejsce, gdy używamy wyrazów *чув, чувствовать* w znaczeniu 'uświadamiać sobie coś, zdawać sobie sprawę z czegoś'³.

Jak pisze A.M. Lewicki, powołując się na A. Wierzbicką, dla obawy można zaproponować następującą eksplikację: *obawiam się (kogoś lub czegoś)* 'myślę, że ktoś może zrobić mi coś złego, że może stać się coś, co pragnę, aby się nie stało'. Przy takiej eksplikacji w treści tego słowa komponent *czuję* jest podporządkowany komponentowi *myślę*. Czy w takim wypadku obawa jest w ogóle uczuciem? – zastanawia

¹ L. Jordanskaja, *Próba leksykograficznego opisu znaczeń grupy rosyjskich słów oznaczających uczucia*, [w:] *Semantyka i słownik*, pod red. A. Wierzbickiej, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 121–122.

² Ibidem, s. 122.

³ J. Puzynina, *Uczucia a postawy w języku polskim*, „Język a Kultura”, t. 14: *Uczucia w języku i tekście*, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 13.

się Wierzbicka. Natomiast strach i lęk odbierane są nieco inaczej: *on boi się* 'on czuje się tak, jak zwykle się czujemy, kiedy sądzimy, że może się nam stać coś złego', 'on sądzi, że może się stać coś złego'⁴.

J.D. Apresjan, omawiając pojęcie *uczucie*, wydziela w portrecie tego pojęcia sześć faz następujących jedna po drugiej. Zwróćmy uwagę na trzy pierwsze: 1) początek emocji z fizyczną percepcją i umysłową kontemplacją (przyczyny emocji), 2) ocena racjonalna czynnika powodującego emocję, 3) uczucie właściwe, czyli „stan duszy”⁵. W wypadku *strachu* i *lęku* dwie pierwsze fazy mogą być przez podmiot prawidłowo zidentyfikowane, natomiast w wypadku *obawy* sąd danego podmiotu na temat tego, co się może zdarzyć przypomina procesy hipotetyczne: X przypuszcza, że... Sąd oparty jest na jego doświadczeniu, posiadanej wiedzy o świecie z jednej strony oraz na subiektywnym przekonaniu o możliwości takiego, a nie innego rozwoju sytuacji z drugiej. Tak kształtuje się przypuszczenie, że stanie się tak, a nie inaczej. Wystarczy wyobrażenie sobie niebezpiecznej sytuacji: *Подобный jestem do człowieka, przyzwyczajonego do obawiania się strachów, który spokojnie siedzi przy lampie i sam się dziwi bojaźni, która go dręczy w ciemności* (SJP).

W słownikach objaśniających wyrazy *obawa*, *опасение* definiowane są jako nazwy stanu niepokoju, niepewności, co do skutków, następstw czegoś, jako wyrazy, oznaczające także przecucie niebezpieczeństwa, stan oczekiwania czegoś: *Петр начал готовиться к пурге, страшному бичу тундры. Однако опасения не оправдались: снег к утру кончился, туча проплыла на юг* (БАС). *Obawy okazały się nieuzasadnione* (SJP). W nowym słowniku synonimów odnotowane są asocjacje zachodzące między rzeczownikiem *опасение* a czasownikiem *ждать*⁶. O stanie oczekiwania mówi się także przy definiowaniu znaczenia wyrazów *предчувствие*.

Obawa nie łączy się z żadnym bezpośrednim przeżyciem, stan obawy nie podlega większej lub mniejszej intensywności, nie powiemy: * *obawiać się strasznie, mocno, bez pamięci...*, * *опасаться безумно, страшно, жутко...*, gdyż wyrazy te nie łączą się z przysłówkami gradualnymi, oznaczającymi wysoki stopień intensywności, nacechowanymi emocjonalnie, podobnie jak rzeczowniki *obawa*, *опасение*, a także rzeczownik *боязнь*, oznaczający uczucie ze zwykle określoną przyczyną, nie występuje z przymiotnikami o podobnych cechach, por. trudne do zaakceptowania: * *Он думал об этом с сильной боязнью*⁷. *Obawa* może być tylko: *poważna, uzasadniona, bezpodstawna*. *Lęk* może być *silny*, a, gdy oznacza stany nerwicowe, może być *paniczny*: *Tu i tam chwila nieuwagi, brak [...] decyzji lub paniczny lęk powoduje strach jednostki* (SJP). Wysoki stopień intensywności cechy jest natomiast oznaczany w odniesieniu do rzeczowników *strach*, *страх*, *bać się*, *бояться*: *strach silny, paniczny, zwierzęcy; bać się śmiertelnie, okropnie, jak ognia; страх сильный, смертельный*,

⁴ A.M. Lewicki, *Definiowanie a opis znaczenia frazeologizmów*, [w:] *Frazeologia słowiańska*, pod red. M. Bałowskiego, W. Chlebdy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001, s. 106.

⁵ J. Apresjan, *Naiwny obraz świata a leksykografia*, „Etnolingwistyka”, nr 6, pod red. J. Bartmińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 6–8.

⁶ *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка*, pod red. Ю.Д. Апресяна, Издательство „Языки славянской культуры”, Москва–Вена 2004, s. 60–61.

⁷ *Ibidem*, s. 1109–1110.

безумный, панический, неподдельный; бояться страшно, ужасно, смертельно, как огня.

Wróćmy jeszcze do wspomnianego wcześniej stanu oczekiwania, który bliski jest uczuciu strachu oraz stanowi obawy. A. Kiklewicz, badając semantykę strachu, mówi, że uczucie to powodowane jest myślą o stanach, jakie zajądą w przyszłości. „*Źródło lęku znajduje się w przyszłości, więc ten, kto nie myśli o przyszłości, nie ma się czego bać*” – mówi cytowany przez niego M. Kundera⁸. Odniesienia do przyszłości są zarówno sprawą czasu, jak i modalności: mogą spotkać nas rzeczy dobre, mogą złe – wypowiedzi o przyszłości są zatem zmodalizowane subiektywnie.

W jednym ze słowników objaśniających wyraz *опасение* definiowany jest jako: ‘предчувствие опасности, беспокойствия’; *предчувствовать* jako: ‘заранее чувствовать’ (БАС). *Презрение* można określić w ślad za J. Puzyriną, jako oparte na intuicji, instynkcie i/lub innych uczuciach przekonanie, że coś się stanie; przekonanie, to może być niejasne; zazwyczaj towarzyszy mu jakieś (najczęściej negatywne) uczucie. Na pierwszy plan wysuwają się stany świadomości, między nimi a uczuciami pomostem jest instynkt i intuicja, które nie poddają się rozumowaniu. Mówimy o przeczuciach nagłych zmian, nieszczęścia, śmierci⁹. Charakteryzując przeczucie, zaznaczmy, że ten „stan duszy” nie występuje u wszystkich ludzi: *Рокотов был одарен способностью предчувствовать несчастье* (МАС). Przeczucie dotyczy zazwyczaj spraw ważnych dla odczuwającego lub jego bliskich, przeczuwa się raczej wydarzenia złe. Por. wyrażenia: *страшное, непокойщее презрение, презрение несчастья, охватывающее злым, страшным презрением* (SJP), *страшное предчувствие, предчувствие беды, предчувствие опасности, предчувствие скорой смерти, охватывающее дурным предчувствием, быть во власти плохого предчувствия. В последнее время, господя, меня томит какое-то страшное предчувствие, мысль о близкой смерти* (БАС). Ale przeczucie można określić także jako: ‘X jest gotów przeżyć coś innego’, oczekiwać jakichś przeżyć’ i wtedy możemy powiedzieć: *предчувствие счастья, доброе презрение*. Por. jak przedstawia A. Kuprin „stan duszy” jednej z postaci: *Я долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удаляющимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня*¹⁰. I w innym utworze tego pisarza zgoła odmienny metaforyczny obraz: *Сердце замерло у меня в груди от какого-то сладкого предчувствия* (БАС).

W wypadku obawy i złych przeczuć emocje pojawiają się zarówno wtedy, gdy możemy jeszcze zmienić bieg wydarzeń, zapobiegając niekorzystnym i często niespodziewanym zdarzeniom, jak i wtedy, gdy niekorzystnego dla podmiotu rozwoju sytuacji nie da się już zatrzymać. Odzwierciedlają to utrwalone w języku struktury. Pierwszą sytuację ilustrują przytaczane przez M.I. Michelsona: *Опасение – половина спасения. Без опасения в путь не ходи* (‘bądź ostrożny w podróży’). Por. także ich zastosowanie w tekście: *По нынешнему времени завсегда надо опаску держать – сам знаешь, что от малого опасения живет великое спасение*. W drugim

⁸ A. Kiklewicz, *Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej*, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2007, s. 262.

⁹ J. Puzyrina, op. cit., s. 15.

¹⁰ А.И. Куприн, *Поединок*, Издательство „Художественная литература”, Москва 1967, s. 205.

przypadku pozostaje odwołanie się do działania sił wyższych: *Береженного Богъ бережем*¹¹ – *Strzeżonego pan Bóg strzeże*.

Wróćmy jeszcze do sposobów zapobiegania spodziewanym jakimś niekorzystnym sytuacjom, jakie się mogą w przyszłości pojawić. Jeżeli X myśli: *obawiam się, lękam się, boję się, tam złe przeczucia, chcę uniknąć złych zdarzeń*, to zwykle stara się podjąć działania temu zapobiegające. Sytuację taką ilustrują wyrażenia: *на wszelки wypадек, на всякий случай, в случае чего* nazwane przez jedną z pisarek kluczowymi: *Утром Шая остановил меня на проходной и сказал, чтобы я передвинула стол в моем кабинете в прежнее положение, а то, не дай Бог, в случае чего, пристрелят через окно в затылок* – ‘przestaw na wszelki wypadek biurko, będę się mniej o ciebie bał, jeśli, nie daj Boże, coś się zdarzy...’ *О том, что в моей новой должности ключевыми словами станет оговорка „в случае чего” я поняла еще в Иерусалиме...* – pisze dalej D. Rubina. I inny przykład, gdzie owo „в случае чего” towarzyszy czynności: *Возьми-ка... – Вот в случае чего... Когдаходишь в темный подъезд... Да не бойся, это всего лишь лазерный фонарик...*¹² – ‘weź na wszelki wypadek, a nuż się przyda, żeby pomóc ci w trudnej sytuacji, jeśli się w takiej znajdziesz’.

Do wyrazów kluczowych zalicza wyrażenia *в случае чего, на всякий случай* także A.D. Szmielow, który objaśnia je w następujący sposób: ‘zdarzyć się mogą różne rzeczy, wszystkiego nie przewidzisz; mogą się przydać różne środki, którymi człowiek miał szczęście dysponować’¹³. A zatem, podobnie jak w przykładach przytaczanych przez Michelsona, możemy wyodrębnić w nich znaczenie ‘bądź ostrożny, strzeż się sam’.

Co może być inną jeszcze reakcją na obawy i złe przeczucia? Może być tabuizacja wyrażen językowych, nazywających złe rzeczy, których nie chcemy wywołać, mówiąc o nich, np. o przeczuwanej czyjejś śmierci. Milczymy i pewna informacja ma zostać, jak mówiła J. Rokoszowa, „milczącym składnikiem”. Milczenie w tym wypadku ma mieć siłę sprawczą, dotyczy czegoś, co może nie zaistnieć¹⁴. Jeżeli powiedzieliśmy, odwołujemy się do wyrażen lub czynności magicznych i np. mówimy: *одпукай в niemalowane дерево* ‘oby się nie zdarzyło’ bądź wykonujemy ową czynność. Taka reakcja znana jest też Rosjanom.

Reakcją na uczucie niepokoju, oczekiwania na zdarzenia, które mogą być niepomyślne, jest również wspomniane wcześniej odwołanie się do siły wyższej. Służą temu zarówno wyrażenia mówiące o tym, że Bóg jest siłą sprawczą: *как Бог даст; чем Бог порадует, так и будет; jak Bóg da; в Божу надежда*, jak i zawarte w modlitwach prośby o interwencję boską: *от всяких бед нас освободи, от wszelkiego злого zachowaj нас Паніе; od nagłej i niespodziewanej śmierci, od powietrza, глodu, мору, ognia i войны zachowaj нас Паніе; Избави Бог от наглої смерти*. Por. też zamówę jako prośbę skierowaną do Przenajświętszej Bogurodzicy: *О, всемилостливейшая*

¹¹ М.И. Михельсон, *Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний*, Издательство „Терра” – „Терра”, Москва 1944, т. 1, s. 11.

¹² Д. Рубина, *Синдикат*, Издательство „Эксмо”, Москва 2007, s. 11.

¹³ А.Д. Шмелев, *Русский язык и внеязыковая действительность*, Издательство „Языки славянской культуры”, Москва 2002, s. 398–399.

¹⁴ J. Rokoszowa, *Milczenie jako fakt językowy*, „Biuletyn PTJ”, zeszyt L, 1994, s. 41.

*Госпожа Богородица, воздвигни нас из глубины греховныя, избави нас от глада, от губительства, от труса и потопа, от огня и меча, [...] от напрасной смерти, от нападения вражея, от тлетворных ветров и смертельной язвы, от всякого зла*¹⁵.

Podobną rolę spełniają też magiczne praktyki, polegające na zamawianiu odpowiednimi słowami np. chorób ludzi i zwierząt domowych, np. *Заговариваю я у раба Божия (такого-то) двенадцать скорбных недугов от трясовицы, от колючки, от свержева, от огневицы, от колотья, от дергания, от моргания, от слепоты, от глухоты...*¹⁶

Przeciwwagą dla złych przeczuc stanowi nadzieja. Jordanskaja pisze, że z wyrazami *mieć nadzieję*, *надеяться* wiąże się ciekawy przypadek antonimii: jest ono antonimiczne w stosunku do dwóch czasowników: *rozpaczać* (*отчаиваться*) i *bać się* (*бояться*) – w wyrazie *надежда*, zawarte jest założenie, że pozytywny rozwój wydarzeń jest wysoce prawdopodobny, natomiast gdy mówimy *strach*, *obawa*, prawdopodobne jest wydarzenie, które jest złem. Przeciwwstawienie zawarte jest więc w wyrażeniach receptywnych. Jordanskaja przytacza przykłady przeciwwstawienia tych rzeczowników: *Будziemy dzielić strach i nadzieję...; Istnieją sytuacje, w których strach i nadzieja zlewają się w jedno*¹⁷.

Apresjan, przy objaśnianiu znaczeń leksemu *надежда* i innych leksemów, przypomina, jak postępował Spinoza, który omawiając znaczenie, próbował sprowadzić dużą liczbę pojęć złożonych do niewielkiej liczby pojęć prostych. I tak, objaśniając np. wyraz *надежда* (i inne wyrazy) wprowadzał pojęcie przyszłości i dwie proste binarne cechy: 'dobry – zły', i 'rzeczy przypadkowe (mogą nastąpić lub nie nastąpić) – rzeczy konieczne (muszą nastąpić)'. „*Если поjmujemy, że сподзiewана rzecz jest добра i може się zdarzyć, то душа otrzymује стąd постаć званą надеждą*” – cytujemy Spinozę w ślad za Apresjanem i autorem przekładu¹⁸. W wypadku *прещуция* różnica tkwiłaby w pierwszej opozycji 'dobry – zły'.

Jeżeli mówimy *надеяться*, *mieć nadzieję*, w równym stopniu bierzemy pod uwagę emocje, ocenę intelektualną i życzenie, aby się spełniło. Spośród omawianych wyrazów *надежда* jest jedynym, w którym zawarte jest radosne oczekiwanie zdarzenia, któremu towarzyszy poprawa samopoczucia oczekującego, co ilustruje zdanie: *Они [старики-эмигранты] надеются, уж недолго ждать – /Воскреснет твердый знак, вернутся ять с фитою и засияет жизнь эпохой золотою (Иванов)*¹⁹.

Mówiąc o poczuciu bezsilności człowieka w odniesieniu do własnej przyszłości, o przeczuciach, nie sposób nie wspomnieć o tym, że człowiek przeciwdziała im nie tylko przy pomocy wyrażen, którym przypisuje funkcję stanowiącą, zaklęć magicznych, ale także starając się przyjąć wygodniejszą dla siebie postawę życiową, którą możemy określić jako ucieczkę od tkwiącej w naszej mentalności obawy

¹⁵ М. Забылин, *Русский народ. Обычаи, обряды, предания, суеверия*, Издательство „Русская книга”, Москва 1996, s. 321.

¹⁶ Ibidem, s. 321.

¹⁷ J. Jordanskaja, op. cit., s. 121; por. też: A. Kiklewicz, op. cit., s. 258.

¹⁸ J.D. Apresjan, *Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka*, Wydawnictwo „Osso-lineum”, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 26.

¹⁹ *Новый объяснительный словарь синонимов...*, op. cit., s. 565.

o przyszłość. Odzwierciedla ją rosyjski wyraz *авось*²⁰ (*авось все обойдется благополучно*), polskie *a nuż* (*a nuż się uda*), a także wyrażenia takie jak: *якоś то będzie, як Бóg да, как Бог даст, чем Бог порадует, так и будет*; a także inne, mniej znane: *Дает бог и жиду и злomu цыгану; Дал бог рыбу, даст и хлеба; Дал Бог день, даст и пищу; Бог не без милости, казак не без счастья*²¹. Tego typu wyraży i wyrażenia charakteryzują postawę życiową, którą, w ślad za jednym z rosyjskich słowników paremii można nazwać: *неунывающий Россиянин*²², czyli: Rosjanin, którego nie opuszcza nadzieja, por. przytaczane przez W. Dala porzekadło: *Век живи, век надейся*²³. Sam wyraz *авось*, zaliczany, podobnie jak *на всякий случай, в случае чего*, do słów-kluczy, oznacza jednak inną od tych ostatnich, inaczej ocenianą postawę, przed którą należy przestrzec, por. *Авосю верь не вове, Авось да как нибудь могут в ланти обуть, Авось да небось никого не кормят*²⁴, por. polskie: *Nadzieja – matka głupich*.

Obawa i przeczucie łączą się z oczekiwaniem czegoś nieokreślonego, dlatego oczekując nie tylko przyjmujemy albo postawę 'bądź ostrożny, strzeż się sam', albo postawę 'jakoś to będzie, jak Bóg da'. W jednym i drugim wypadku jednak człowiek na tym nie poprzestaje i doszukuje się już nie w języku, a w wydarzeniach zapowiedzi tego, co nastąpi, o czym świadczą liczne zakorzenione w obyczajach wróżby, wiara w sny, dobre i złe znaki.

Skróty

БАС – *Словарь современного русского литературного языка*, Изд. Академии наук СССР, Москва–Ленинград, т. I–XVII, 1950–1965.

МАС – *Словарь русского языка*, под. ред. А.П. Евгеньевой, Изд. Академии наук СССР, Москва, т. I–IV, 1981–1984.

SJP – *Słownik języka polskiego*, pod. red. W. Doroszewskiego, Wyd. PWN, Warszawa, т. I–X, 1958–1969.

Концептуализация опасения в русском и польском языках

Резюме

В статье проводится семантический анализ группы лексем, обозначающих чувства человека, связанные с его представлением о будущем, которое может оказаться неблагоприятным. Автор описывает, как воспринимается опасение, беспокойство, страх, предчувствие плохого, а также надежда на благополучие. Приводит примеры языковых и внеязыковых действий, производимых человеком для того, чтобы избегать несчастья, примеры его поведения перед лицом опасности.

²⁰ Por. informacje o tym wyrazie w: А.Д. Шмелев, op. cit., s. 396–397; T. Żeberek, *Oznaczanie nieoczekiwanego zdarzenia*, [w:] *Słowo i tekst w opisie porównawczym*, pod red. A. Czapiği, Z. Czapiği, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 206.

²¹ В. Даль, *Пословицы русского народа*, Издательство „Художественная литература”, Москва 1989, т. 1, s. 42–43.

²² В.И. Зимин, *Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений*, Издательство „АСТ-ПРЕСС”, Москва 2008, s. 45.

²³ В. Даль, op. cit., s. 42.

²⁴ В.И. Зимин, op. cit., s. 109, 444.

Spis treści

Aneta Banaszek-Szapotałowa

Образы партнёров в текстах русских и польских брачных анкет в Интернете: гендерные и национальные стереотипы

Obrazy partnerów w tekstach rosyjskich i polskich ankiet matrymonialnych w Internecie – stereotypy genderowe i etniczne – streszczenie (7)

3

Leszek Bednarczuk

„Дзяды” Адама Міцкевіча ў беларускім кантэкście

Dziady Adama Mickiewicza w kontekście białoruskim – streszczenie (14)

8

Елена Л. Березович

«Вдова» и «сирота» в славянских языках

«Wdowa» i «sierota» w językach słowiańskich – streszczenie (21)

15

Tadeusz Borucki

O związkach poezji Wisławy Szymborskiej z malarstwem.
Rosyjski przekład *Kobiet Rubensa*

O связях поэзии Виславы Шимборской с живописью. Русский перевод стихотворения «Рубенсовские женщины» – резюме (29)

22

Ewa Donesch-Jeżo

Język medycyny: analiza porównawcza prezentacji systemu języka w materiałach do nauczania specjalistycznego języka angielskiego i rosyjskiego na tle współczesnych teorii przyswajania języka obcego

Язык медицины: сопоставительный анализ представления языковой системы в материалах для обучения профессиональному английскому и русскому языкам на фоне современных теорий усвоения иностранного языка – резюме (36)

30

Ирина Дулебова

K вопросу об общем и особенном в словацком и русском политическом дискурсе

Z problematyki cech wspólnych i osobliwych w politycznym dyskursie słowackim i rosyjskim – streszczenie (41)

37

Renata Dźwigoł

Diabeł tkwi... we frazeologii

Дьявол кроется... во фразеологии – резюме (51)

42

Ж.И. Ерома

Структура судебных протоколов Великого княжества Литовского (на материале Актов Виленской археографической комиссии XVI–XVII вв.)

Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1529, 1566, 1588 reprezentowały wysoki stopień formalizacji zapisów sądowych. W artykule zanalizowano językowe aspekty formalizacji zapisów białoruskich od XVI–XVII w. – streszczenie (57)

52

Henryk Fontański

Modyfikacje fazowe i modalne w łemkowskich zdaniach monopredykatywnych

Фазисные и модальные модификации в монопредикативных лемковских предложениях – резюме (64)

58

Halszka Górny

Obraz idei współzycia Słowian zachowany w toponimii Polski – na przykładzie nazw miejscowych motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi

Представление идеи сосуществования славян, сохранившееся в топонимии Польши, на примере топонимических наименований, мотивированных избранными двусловными именами – резюме (76)

65

Bożena Hryniewicz-Adamskich

Refleksy słowiańskiego kodu kulturowego w staroruskich nazwach osobowych nawiązujących do świata roślin

Реликты славянского культурного кода в древнерусских антропонимах, мотивированных названиями растений – резюме (84)

77

Marcin Jakubczyk

Od błędu do obłądu. Kilka uwag o konceptualizacjach błędzenia w polszczyźnie ludowej na tle języków i kultury Słowian

От ошибки до безумия. Несколько замечаний о концептуализации блуждения в польском народном языке на фоне языков и культуры славян – резюме (94)

85

Ludwika Jochym-Kuslikowa

Neologizmy derywacyjne w powieści Tatiany Tołstoj *Kyś* i ich tłumaczenie w przekładzie Jerzego Czecha na język polski

Словообразовательные неологизмы в романе Татьяны Толстой *Кысь* и их перевод Ежи Чехом на польский язык – резюме (104)

95

Józefa Kobylińska

Derywacja paradygmatyczna w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka w w. XVI–XVIII (południowa Małopolska)

Прагматическая деривация в Громадских книгах в деревне Касина Великая в XVI и XVII в. (южная Малопольша). Имена существительные женского рода (феминатива) – резюме (115)

105

Anna Kostecka-Sadowa

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – o frazeologii w języku polskich mieszkańców Mościsk na Ukrainie

Нет худа без добра – o frazeologii народного говора польских жителей в львовской области на Украине – резюме (122)

116

Zofia Kowalik-Kaleta

Obraz społeczeństwa i kultury duchowej zawarty w nazwach własnych osób (kraje słowiańskie i pozasłowiańskie)

Картина общественной жизни и духовной культуры отраженная в личных именах (славянские и не славянские государства) – резюме (130)

123

Юлия Александровна Кривошапова

Образ Китая в русском языке

Obraz Chin w języku rosyjskim – streszczenie (135)

131

Elżbieta Książek

Интертекстуальность романа «Кысь» Т. Толстой

Intertekstualność w powieści „Kys” T. Tołstoj – streszczenie (42)

136

Наталья Кузнецова

Слова *люди* и *народ* как неофициальные обращения (по материалам Национального корпуса русского языка, www.ruscorpora.ru)

Wyrazy *ljudi* i *narod* jako nieoficjalne formy adresatywne (na materiale Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, www.ruscorpora.ru) – streszczenie (149)

143

Tomasz Kwoka

Nazewnictwo i charakterystyka struktur rodowych w Czarnogórze

Названия и характеристика родовых структур в Черногории – резюме (157)

150

Maria Malec

Tradycje wierzeniowe w słowiańskiej antroponimii

Древние поверья в славянской антропонимии – резюме (165)

158

Barbara Oczkova

Tradycje łaćńskie i cerkiewne w historii chorwackiego języka literackiego

Латинские и церковнославянские традиции в истории хорватского литературного языка – резюме (172)

166

Olga Pańkova, Eugeniusz Pańkow

Perspektywa polskości i kresowości w powieści Z. Żakiewicza *Wilcze łąki*

Польский и пограничный характер романа З. Жакевича *Волчы луга* – резюме (177)

173

Ксения Викторовна Пьянкова

Символика и обрядовые функции неполноценной пищи
в русской культурно-языковой традиции (на славянском фоне)

Symbolika i obrzędowe funkcje niepełnowartościowego
pokarmu w rosyjskiej tradycji kulturowo-językowej
(na tle słowiańskim) – streszczenie (186)

178

Anna Piechnik-Dębiec

Gwarowe ekspresywizmy dotyczące osób dorosłych a określenia
dzieci. Wstęp do językowego obrazu dziecka

Диалектные экспрессивизмы касающиеся взрослых
и определения детей. Введение в языковую картину
детей – резюме (193)

187

Barbara Popiołek

Język czarnogórski – nowy język czy wariant języka serbskiego

Черногорский язык – новый язык или вариант сербского
языка – резюме (200)

194

Agnieszka Pukowska

Słownictwo prawne XV-wiecznej Księgi Kormczej z terenów
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przewinienia i kary

Юридическая лексика в Кормчей книге XV века
с территории Великого литовского княжества. Преступления
и наказания – резюме (207)

201

Beata Raszewska-Żurek

Jak wieszamy psy na ... psie – obraz psa w językach zachodnio-
słowiańskich i ich dialektach

Как вешаем собак на ... собаку – образ собаки в западно-
славянских языках и их диалектах – резюме (216)

208

Katarzyna Smyk

Każda droga dobra, co do ludzi prowadzi. O przenośnych sensach
drogi w polskich przysłowiach

Каждая дорога хороша, которая к людям ведет. О переносных
смыслах дороги в польских пословицах – резюме (225)

217

Stanisław Stachowski

Warstwy etymologiczne turcyzmów w języku polskim

Этимологические пласты тюркизмов в польском
языке – резюме (235)

226

Krystyna Szcześniak

Zwierzęta w wybranych zamowach białoruskich i rosyjskich

Животные в избранных белорусских и русских
заговорах – резюме (244)

236

Oksana Szewcowa

Nazwy własne w zbiorze opowiadań Elizy Orzeszkowej
Gloria victis

Имена собственные в сборнике рассказов Элизы Ожешко
Gloria victis (Слава побеждённым) – резюме (251)

245

С.М. Толстая

Сакральное и магическое в славянском народном календаре

Sacrum a magia w słowiańskim kalendarzu ludowym – streszczenie (258)

252

Ольга Трофимова

Формирование языковой нормы в феномене делового текста:
 история и современность

Kształtowanie normy językowej w tekście oficjalnym: historia
 i współczesność – streszczenie (263)

259

Bogdan Walczak

Języki słowiańskie wśród języków świata dawniej i dziś

Славянские языки среди языков мира в прошлом
 и сегодня – резюме (273)

264

Kinga Wenklar

Językowy obraz wdowy w polskich i ukraińskich pieśniach ludowych

Языковая картина женщины в польских и украинских народных
 песнях – резюме (279)

274

Wiesław Witkowski

Zarys historii zewnętrznej języków wschodniosłowiańskich
 od połowy XIV w. do początków XVIII w.

Очерк внешней истории восточнославянских литературных
 языков с половины XIV в. по начало XVIII в. – резюме (288)

280

Karina Zajac-Haduch

Językowy obraz kobiecego ciała w literaturze rosyjskiej

Языковая картина женского тела в русской
 литературе – резюме (294)

289

Beata Ziajka

Językowy obraz rodziny w świetle przezwisk i przydomków wiejskiej
 wspólnoty kulturowej (na przykładzie wybranych wsi małopolskich)

Языковая картина семьи в свете прозвищ, кличек деревенской
 общины (на примере избранных малопольских
 деревень) резюме (300)

295

Teresa Żeberek

Konceptualizacja obawy w języku rosyjskim i polskim

Концептуализация опасения в русском и польском
 языках – резюме (306)

301